Татьяна Кущ

НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ







Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Научно-образовательный центр «Византиноведение»

Татьяна Кущ

На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2013

УДК 94(100)
ББК Т3(0)4-9
К967

Книга подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.740.11.0578; соглашение 14.A18.21.0480)

Научный редактор
доктор исторических наук, профессор М. А. Поляковская

Рецензенты
доктор исторических наук, профессор Г. Е. Лебедева
кандидат исторических наук, доцент Н. Д. Барабанов

Кущ, Т. В.
К967 На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии / Татьяна Кущ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. — 456 с.

ISBN 978-5-7996-0828-6

Книга посвящена исследованию поздневизантийской интеллектуальной среды как целостного социокультурного феномена на основе анализа системы присущих ей ценностей и норм, идей и представлений, стереотипов деятельности и поведения, институциональных моделей и форм общения. Интеллектуальное сообщество рассмотрено с точки зрения его состава, особенностей функционирования и влияния на культурную реальность Византии последней трети XIV — первой половины XV в. Изучение интеллектуальной жизни Византии на фоне глубокого всестороннего кризиса империи позволило ярче выделить уникальные черты византийской цивилизации, а также оценить способы сохранения классического наследия и характер его воздействия на европейскую культуру.

Книга предназначена для историков и культурологов и может быть рекомендована всем, кто интересуется историей и культурой Византийской империи.

УДК 94(100)
ББК Т3(0)4-9

ISBN 978-5-7996-0828-6



Моей маме с любовью

ВВЕДЕНИЕ



В природе закат и сменяющие его сумерки — лишь пролог грядущего восхода солнца и нового дня. Свойственное жителям Византии представление о цикличности жизни поддерживало у них надежду на лучшее даже при самых тяжких испытаниях, коими изобиловала тысячелетняя история этой империи. Оно давало основание ожидать, что предрассветные лучи обязательно пробьют глухую тьму, в которую периодически погружалась греческая ойкумена, и очередной кризис опять сменится подъемом. Однако заключительный этап византийской истории стал периодом угасания, ее закатом, за которым последовала гибель некогда великой цивилизации. Умудренная опытом прожитых столетий, но уже не способная устоять под гнетом новых испытаний, империя сходила с исторической сцены, теснимая молодым и сильным Османским государством, только вступающим в пору своего расцвета. Надежды на новый восход были похоронены волной турецкого завоевания, не оставившего Византии ни единого шанса на спасение и положившего конец ее существованию. Вместе с тем угасание Византии сопровождалось одним из самых блистательных взлетов в ее духовной жизни, который ученые сегодня называют палеологовским Ренессансом. В книге речь пойдет о людях, которые были причастны к последнему расцвету культуры на закате империи, — поздневизантийских интеллектуалах.

Хронологические рамки книги охватывают чуть менее столетия — последнюю треть XIV и первую половину XV в. В качестве нижней границы условно взят 1371 г., когда после битвы у Черномена на р. Марице Византия вынуждена была признать вассальную зависимость от османов. Впрочем, в поиске истоков тех процессов и явлений, что были присущи интеллектуальной жизни указанного времени, иногда придется совершать экскурсы на несколько десятилетий, а то и столетий назад. Верхним рубежом данного хронологического отрезка служит 1453 г. — год гибели Византии. Однако, поскольку деятельность византийских интеллектуалов продолжалась и после падения империи, в некоторых случаях выйдем за эту границу, доводя исследование практически до самого конца XV в.

Говоря о византийских интеллектуалах, будем иметь в виду не только тех, кто жил во владениях собственно империи, уже довольно незначительных и продолжающих сокращаться, а всех обитателей «византийского мира» в широком смысле слова, куда входили также регионы, уже не принадлежавшие Византии, но по-прежнему находившиеся в ее культурном ареале и сохранявшие ее дух и традиции. Это пространство включало в себя венецианский Крит, Кипр, Крым и Трапезунд. В поле нашего зрения попадет также итальянский регион, ставший в XV в. основным прибежищем византийских ученых-эмигрантов.

В качестве источников в данной работе будут использованы прежде всего риторические сочинения византийских интеллектуалов: письма, диалоги, трактаты, речи (энкомии, монодии), экфрасисы (описания), синкрисисы (сравнения). Эти тексты — источник отнюдь не простой. Границы между отдельными жанрами византийской риторики не были жесткими, и одно сочинение зачастую включало элементы, присущие другим риторическим жанрам. Так, например, в монодии можно увидеть черты синкрисиса и обнаружить разделы, составленные по правилам энкомия, из-за чего некоторые произведения сложно отнести строго к одному жанру риторической литературы.

Кроме того, необходимо помнить и о специфике риторических сочинений. Во-первых, следование требованиям риторического жанра порождало высокую степень абстрактности повествования. Авторы трудов, составленных по правилам высокой риторики, не стремились к хронологически последовательному изложению материала и к точности фактов, подчиняя повествование иной логике компоновки сюжетных линий и расстановки смысловых акцентов. С этой точки зрения не следует ожидать от речи или эпистолярия точного отражения событийной канвы, конкретных имен или последовательности рассказа. Но этот недостаток риторического текста компенсируется другим его достоинством. Характер отбора материала, его презентация, расставленные акценты и высказанные суждения много говорят о позиции автора произведения, его взглядах и предпочтениях.

Во-вторых, необходимость следовать законам жанра заставляла автора усиливать риторическую сторону сочинения, прибегая к аллюзиям, метафорам, сравнениям, иносказаниям, к использованию клише и топосов. Текст, составленный по правилам риторики, всегда насыщен подобными декоративными элементами. Но риторическое обрамление неотделимо от самого текста. Поэтому анализ стилистических приемов, фигур речи или метафор, использованных автором при составлении письма или императорской речи, может многое сказать о его отношении к обсуждаемому предмету.

Кроме того, риторические сочинения отличаются высокой степенью субъективности, поскольку в них на первый план выходит авторское восприятие происходившего и его оценка. Это свойство риторики позволяет увидеть эпоху глазами очевидца, определить мировоззренческую позицию автора и его читателей. Безусловно, указанные особенности риторических сочинений затрудняют работу с данным видом источников, но в то же время определяют их значимость для изучения интеллектуальной истории. Несмотря на малую насыщенность текста конкретно-историческим материалом (по сравнению, например, с историческими хрониками), образцы византийской риторики тем не менее содержат уникальную информацию о политических, социальных, этических и эстетических пристрастиях их создателей.

Большое значение для решения задач настоящего исследования имела такая разновидность риторических текстов, как эпистолы (послания). Автор опиралась преимущественно на тот вид византийских писем, которую Г. Хунгер определил как «литературное частное послание» (*literarische Privatbrief*)[1]. Эти письма, составленные образованными византийцами по усвоенным со школьной скамьи правилам, не нарушали законов риторики, требующих от автора соблюдения высокого стиля, чистоты аттического языка и богатства образной палитры. Но в то же время эпистолы имели, по выражению Г. Хунгера, «конкретное ядро», правда, не всегда очевидное для исследователя[2]. Но именно это «ядро», очищенное от риторической «мишуры», дает богатую информацию о самом адресате и его корреспонденте, сообщая о их личных и служебных связях, карьерных переменах, материальном и социальном положении, круге увлечений, эстетических пристрастиях и пр. Наряду с портретами авторов письма запечатлели и портрет эпохи с ее военными и политическими событиями, культурными явлениями и духовными ценностями. Безусловно, такой портрет эпохи виден нам сквозь призму субъективного восприятия и личных оценок происходившего автором анализируемого текста. Все это заставляет рассматривать эпистолографию как первостепенный источник по изучению интеллектуальной жизни поздней Византии.

Среди огромного количества поздневизантийских писем следует особо выделить корреспонденцию Димитрия Кидониса[3], крупного политика и ученого XIV в. Она насчитывает около 450 посланий. Это одно из крупнейших византийских эпистолярных собраний. Данный корпус является наиболее значимым источником по интеллектуальной истории поздневизантийского периода. Высокая степень осведомленности автора, широта поднимаемых им вопро-

---

[1] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 206.

[2] См.: Ibid.

[3] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Città del Vaticano, 1956—1960. 2 vols.; Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981—2001. T. 1—4.

сов и затрагиваемых тем, образцовое владение риторическими приемами и глубокое осмысление происходившего позволяют исследователю корреспонденции Кидониса получить информацию по самому широкому спектру вопросов политической и культурной жизни империи.

Ценные сведения по истории поздневизантийского времени содержит также эпистолярное наследие Мануила II Палеолога[4], одного из наиболее образованных византийских императоров. Из всей его обширной корреспонденции до нас дошло лишь 68 частных писем. Тем не менее именно корреспонденция Мануила II Палеолога имеет непреходящее значение не только для реконструкции интеллектуального окружения императора или изучения его оценок политических и культурных событий, но и для характеристики такого уникального явления византийской истории, как философ на троне.

Кроме названных эпистолярных собраний, в работе широко использованы греческие письма других поздневизантийских интеллектуалов: Мануила Калеки[5], Иоанна Хортасмена[6], Виссариона[7], Исидора Киевского[8], Андроника Каллиста[9], Иоанна Евгеника[10], Геннадия Схолария[11], Михаила Апостола[12] и др., содержание которых позволяет осветить многие аспекты интересующей нас темы.

---

[4] The letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. Dennis. Washington, 1977.

[5] Correspodance de Manuel Calekas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950.

[6] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969.

[7] Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / ed. L. Mohler. Padeborn, 1967.

[8] Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters / ed. W. Regel // Analecta Byzantino-Russica. Petrograd, 1891; Ziegler A. W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev // OCP. 1952. Bd. 18. S. 135—146; Idem. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev // BZ. 1951. Bd. 44. S. 570—577.

[9] Powell J. Two letters of Andronicus Callistus to Demetrius Chalcocondyles // BNJ. 1938. Vol. 15. P. 14—20.

[10] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912—1923. Τ. 1. Σ. 154—210; 315—322.

[11] Ibid. 1912—1924. Τ. 2. Σ. 182—319.

[12] Lettres inédites de Michel Apostolis / ed. H. Noiret. P., 1899.

Наряду с корреспонденцией византийских ученых автор обращается к письмам итальянских гуманистов в поисках сведений об интеллектуальных контактах образованных греков с их западными коллегами. Особо отмечу греческие письма Франческо Филельфо[13], состоявшего в активной переписке с византийскими учеными, и корреспонденцию Гварино да Верона[14], ученика выдающегося византийского гуманиста Мануила Хрисолоры.

Принципиальное значение для раскрытия вопросов, связанных с реконструкцией политических событий и изучением авторского восприятия ключевых проблем империи, имели риторические сочинения императора-философа Мануила II Палеолога. Его «Нравственный диалог, или О браке» (Διάλογος ἠθικὸς ἤ περὶ γάμου)[15] рассматривает наряду с этическими вопросами проблемы императорской власти в условиях политического кризиса последней трети XIV в. Данное произведение в полной мере раскрывает интеллектуальный потенциал и литературный талант автора, а также помогает понять особенности внутридинастической борьбы последней трети XIV в., раскрыть проблему матримониального выбора василевса как средства политической стабилизации и оценить характер взаимоотношений правителя и его подданных. Кроме того, это сочинение содержит ценные сведения об отношении императора-интеллектуала к выбору жизненной стратегии, о понимании им политической ситуации и возможных вариантах развития событий в условиях внутренних и внешних угроз.

Среди риторических произведений следует выделить монодию, составленную Мануилом II Палеологом на смерть брата, деспота Мистры Феодора. Сочинение, имеющее краткое название «Надгробная речь» (Λόγος ἐπιτάφιος)[16], не только рисует образ идеального правителя и восполняет лакуны в сведениях по истории рубежа

---

[13] Lettres grecques de Francois Filelfe / ed. E. Legrand. P., 1892.

[14] Epistolario di Guarino Veronese / ed. R. Sabbadini. 3 vols. Venezia,1915, 1916, 1919.

[15] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / introd., text and transl. A. Angelou. Wien, 1991.

[16] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his brother Theodore / ed. and transl. J. Chrysostomides. Thessalonike, 1985.

XIV—XV вв., но и раскрывает характер византийско-турецких взаимоотношений, фиксирует авторскую позицию по отношению к османской угрозе. Вопросы, связанные с восприятием ислама и с перспективами межконфессионального общения, нашли также отражение в «Диалоге с мусульманином»[17], написанном этим же выдающимся императором.

Для исследования отношения образованных греков к туркам и к османскому завоеванию, а также для изучения проблемы межконфессионального диалога наряду с сочинениями Мануила II Палеолога были привлечены труды Симеона Фессалоникийского и Георгия Трапезундского. «Увещевание к фессалоникийцам» (Συμβ–ουλευτικὸς πρὸς τοὺς Θεσσαλονίκεις)[18] вышло из-под пера Мануила II во время первой осады турками Фессалоники (1383—1387), а Слово митрополита Симеона о чудесах св. Димитрия (Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον ἐν ἱστορίας τύπῳ τὰ νεωστὶ αὐτοῦ γεγονότα διηγούμενος θαύματα)[19] написано во времена второй осады этого же города (1422—1430). Труд же Георгия Трапезундского «Об истинности христианской веры» (Περὶ τῆς ἀληθείας τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως)[20] был составлен уже после падения Константинополя. Обращение к этим разновременным источникам позволяет проследить динамику развития византийско-турецких контактов и характер изменений в восприятии византийцами своих восточных соседей.

Значительный интерес для исследователя представляют риторические трактаты и речи, в которых нашли отражение социальные

---

[17] Trapp E. Manuel II. Palaiologos. Dialog mit einem «Perser». Wien, 1966; Manuel Palaiologos. Dialoge mit einem Muslim / komment. griech.-deutsche Textausgabe von K. Förstel. Würzburg, 1993—1995. Bd. 1—3; Kaiser Manuel II. Palaiologos. Dialog über den Islam und Erziehungsratschlage / hrsg. W. Baum, übers R. Senoner. Vienna, 2003.

[18] Ὁ «Συμβουλευτικὸς πρὸς τοὺς Θεσσαλονίκεις» τοῦ Μανουὴλ Παλαιολόγου / ed. B. Lourdas // Μακεδονικά. 1955. Vol. 3. P. 300.20—32.

[19] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον ἐν ἱστορίας τύπῳ τὰ νεωστὶ αὐτοῦ γεγονότα διηγούμενος θαύματα // Balfour D. Politico-historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. P. 39—69.

[20] Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры / пер. с древнегр. К. И. Лобовиковой; общ. и науч. ред. Д. А. Поспелова. Самарканд, 2009.

воззрения и идейно-политические идеалы той эпохи. Трактат Мануила Хрисолоры «Слово по поводу письма, содержащего Речь императора» (Λόγος κατ᾽ ἐπιστολὴν περὶ τοῦ βασιλέως λόγου)[21] включает пространные рассуждения интеллектуала об изменениях, необходимых, по его мнению, государству, и рекомендации, которые, на его взгляд, будут полезны обществу. Схожие размышления можно найти и в трактате Георгия Гемиста Плифона[22].

Среди риторических сочинений, использованных в монографии, следует назвать произведения в жанрах экфрасиса и синкрисиса — весьма распространенных в византийской литературе. Для анализа системы литературных образов, применявшихся византийскими интеллектуалами, и гуманистических черт их литературного творчества незаменимым оказалось «Сравнение Древнего и Нового Рима» (Σύγκρισις τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Ῥώμης), составленное Мануилом Хрисолорой[23]. Кроме того, для изучения образного ряда поздневизантийской риторики и характеристики эстетических предпочтений интеллектуалов были привлечены экфрасисы городов, составленные Димитрием Кидонисом[24], Виссарионом[25], Иоанном Евгеником[26], а также описание весны, принадлежащее перу Мануила II Палеолога[27]. Создание экфрасиса или синкрисиса требовало от составителя владения отчеканенными столетиями приемами

---

[21] Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β᾽ Παλαιολόγο // Εἰσαγωγὶ καὶ ἔκδοση Χ. Γ. Πατρινέλι καὶ Δ. Ζ. Σοφιανοῦ. Αθήνα, 2001.

[22] Alexandre C. Plethon, Traite des Lois, ou Recueil des Fragments. P., 1858; Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах / пер. и предисл. Б. Т. Горянова // ВВ. 1953. Т. 6. С. 386—412.

[23] Manuelis Chrysolorae Epistolae / PG. Vol. 156. Col. 24—53; Медведев И. П. Константинополь в сравнении с Римом: взгляд Мануила Хрисолоры // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С. 317—334.

[24] Demetrii Cydonii occisorum Thessalonicae monodia / PG. Vol. 109. Col. 639—652.

[25] Λαμψίδες Ὀ. Ὁ "εἰς Τραπεζοῦντα" Λόγος τοῦ Βησσαρίωνος / Αρχεῖον Πόντου. 1984. Τ. 39. Σ. 20—72.

[26] Λαμψίδες Ὀ. Ἰωάννου Εὐγενικοῦ ἔκφρασις Τραπεζοῦντος. Χρονολόγησις καὶ ἔκδοσις // Αρχεῖον Πόντου. 1955. Τ. 20. Σ. 26—29; Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ Ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις Κορίνθου // Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Τ. 1. Σ. 47—48.

[27] Manuelis Palaeologi Imago veris in aulaeo textili, operis Phtygii // PG. 156. Col. 577—580.

риторического декорирования и знаний литературной традиции. Анализ подобного рода источников позволяет понять принципы творческого освоения византийскими авторами античного наследия.

Кроме риторических произведений, были использованы также исторические труды. Сочинения Никифора Григоры[28] и Иоанна Кантакузина[29], хоть и выходят за хронологические рубежи данного исследования, тоже привлекались к работе для изучения процессов и явлений, истоки которых восходят к предшествующему времени. Следует отметить, что последняя треть XIV в. не оставила нам исторического сочинения, которое бы отразило эпоху столь же полно, как это сделали труды Никифора Григоры и Иоанна Кантакузина. На вторую треть XV в., напотив, приходится деятельность целой плеяды историков, ставших свидетелями заката империи и описавших трагические события падения Византии. Привлеченные к работе труды Дуки[30], Лаоника Халкокондила[31] и Георгия Сфрандзи[32], хоть и охватывают зачастую события более раннего времени, повествуют преимущественно о турецком завоевании столицы и последующих годах османского господства. Для воссоздания исторического фона и восполнения фактологических лакун полезными оказались сведения из так называемых Малых хроник (Βραχέα χρονικά)[33], составленных по принципу погодных записей[34].

---

[28] Nikephori Gregorae Historia Byzantina / ed. L.Schopen ; E. Bekker. Bonn, 1829—1855. Vol. 1—3.

[29] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV / ed. L.Schopen ; E. Bekker. Bonn, 1828—1832. Vol. 1—3.

[30] Ducas. Historia turco-byzantina / ed. I. Bekker. Bonn, 1834; Ducas. Historia Turco-Byzantina (1341—1462) / ed. V. Grecu. Bucarest, 1958.

[31] Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes / rec. E. Darkó. 1—2. Budapestini, 1922—1924; Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem / rec. I. Bekker. Bonnae, 1843.

[32] Георгий Сфрандзи. Хроника / предисл., пер. и примеч. Е. А. Джагацпанян // Кавказ и Византия. Ереван, 1987. Вып. 5. С. 156—251; Georgios Sphrantzes. Memorii. 1401—1477 / ed. V. Grecu. Bucarest, 1966.

[33] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken = Chronica Byzantina Brevoria. Wien, 1975. 3 Vol.

[34] Бибиков М. В. Историческая литература Византии. СПб., 1998. С. 250.

Наряду с нарративными источниками по мере необходимости приходилось обращаться к актовому материалу, представленному в форме регестов императорских хрисовулов и законодательных актов, составленных Ф. Дельгером[35]. Эти сведения были полезны, в частности, для исследования участия интеллектуалов в дипломатических миссиях и представительствах. Кроме того, в качестве источника привлекался церемониальный трактат XIV в. Псевдо-Кодина[36], содержащий сведения об иерархии чинов и позволяющий соотнести должности, которые занимали те или иные интеллектуалы, с действовавшей тогда табелью о рангах.

В качестве вторичного источника использован «Просопографический лексикон» — база данных палеологовской эпохи, собранная австрийскими византинистами[37], в которой содержатся не только биографические сведения об отдельных персоналиях, но также информация об этапах их карьеры, круге общения, контактах, родственных связях, переездах и многом другом, что способно привлечь внимание исследователя в зависимости от поставленных им целей и задач.

Судьбы отдельных византийских писателей и их творческое наследие уже достаточно давно попали в поле внимания исследователей. Однако изучение византийских интеллектуалов как единой группы долгое время не привлекало историков. В научной литературе лишь появлялись замечания о сервилизме и подобострастии образованной элиты перед властью, о рабской зависимости от античных образцов и подражательстве в литературном творчестве[38]. Не случайно в историографии сюжеты, связанные с историей ин-

---

[35] Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München ; Berlin, 1965. Bd. 5.

[36] Pseudo-Kodines. Traite des offices / introd., texte et trad. J. Verpeaux. P., 1966.

[37] Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976—1994. Fasz. 1—12.

[38] См.: Каждан А. П. Византийская культура (X—XII вв.). СПб., 1997. С. 87 (1-е изд.: М., 1968); Mango C. Byzantine Literature as a Distorting Mirror. Inaugural Lecture, University of Oxford, May 1974 // Mango C. Byzantium and its Image. Variorum. L., 1984. P. 17—18.

теллектуалов и интеллектуальной корпорации, долгое время занимали периферийное место, поскольку в центре внимания исследователей социальной истории Византии находились другие общественные группы. Однако накопленный при их изучении опыт[39] дает историку социокультурных аспектов бытования византийской интеллектуальной среды необходимый для ее изучения исследовательский инструментарий.

Впервые попытка анализа интеллектуальной среды как специфического социокультурного явления была предпринята в докладе американского ученого И. Шевченко на XIV Международном конгрессе византинистов в 1971 г.[40] Этот конгресс вообще стал важной вехой в византинистике, поскольку впервые центральной темой такого форума стала история Византии XIV в. — периода, еще достаточно мало изученного к тому времени. Выступая с пленарным докладом, И. Шевченко нарисовал собирательный портрет поздневизантийской образованной элиты, обратившись к анализу базовых характеристик этой немногочисленной, но влиятельной социальной группы. По сути, он не только поставил проблему необходимости исследования этого социального феномена, но и наметил основные направления и подходы в его изучении. Однако докладчик не ставил перед собой задачи дать более полную демографическую, этническую, социальную характеристики, ограничившись в основном статистическими изысканиями и обобщающими замечаниями относительно стиля жизни византийских писателей. Кроме того, его наблюдения касались преимущественно XIV в. Тем не менее именно это выступление положило начало развитию исследовательских штудий в данном направлении,

[39] См., например: Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса XI—XII вв. в Византии. М., 1971; Ostrogorsky G. Observations on the Aristocracy in Byzantium // DOP. 1971. Vol. 25. P. 3—32; Laiou A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period : a Story of Arrested Development // Viator. 1973. Vol. 4. P. 131—151; Idem. The Greek Merchant of the Palaeologan Period: a Collective Portrait // Proceedings of the Academy of Athens. Athens, 1982. P. 96—124.

[40] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIV[th] Century // XIV Congrès International des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 7—30.

наметив проблему изучения византийской интеллектуальной среды XIV—XV вв.

После выхода в свет книги И. Шевченко «Общество и интеллектуальная жизнь в поздней Византии»[41], представлявшей собой сборник ранее опубликованных трудов и содержавшей, в частности, бухарестский доклад, появилась блестящая рецензия на нее А. П. Каждана[42], который попытался скорректировать отдельные выводы автора и развил некоторые из его тезисов относительно характеристик интеллектуальной элиты поздневизантийского общества. А. П. Каждан уточнил и расширил список тех, кого следует отнести к группе интеллектуалов, ввел некоторые новые параметры в изучение писательской среды XIV—XV вв. Эти две работы стали для многих исследователей мощным стимулом к изучению интеллектуальной ситуации в поздней Византии.

В отечественной историографии тема интеллектуальной жизни палеологовского времени разрабатывалась И. П. Медведевым, автором книги «Византийский гуманизм XIV—XV вв.»[43]. Он реконструировал «литературный быт» эпохи, проанализировав такие формы духовного общения, как интеллектуальные кружки («театры») и эпистолярные связи, а также исследовал деятельность выдающегося поздневизантийского гуманиста Георгия Гемиста Плифона и его интеллектуального кружка. Стиль общения византийских интеллектуалов, не являясь целью специального изучения, был лишь контурно, на отдельных примерах, обозначен ученым, открывая, однако, перспективу исследования этого вопроса на более широком источниковом материале.

Большое значение для понимания мира поздневизантийских интеллектуалов имели исследования 70—90-х гг. XX в., посвящен-

---

[41] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in Late Byzantium. L., 1981.

[42] Kazhdan A. The Fate of the Intellectual in Byzantium: A Propos of Society and Intellectual Life in Late Byzantium by I. Ševčenko (L.: Variorum Reprints, 1981) // GOThR. 1982. Vol. 27, №. 1. P. 83—97.

[43] Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976; 2-е изд. СПб., 1997. Гл. 1 : Интеллектуальная жизнь Византии XIV—XV вв.

ные отдельным персоналиям, ряду частных проблем и относительно узких сюжетов, непосредственно связанных с историей византийской интеллектуальности. В специальной литературе рассматривались проблемы византийской традиции воспитания и обучения (Ф. Тиннефельд[44], П. Шпек[45], Р. Браунинг[46]), отношения интеллектуалов к западной науке (Ф. Тиннефельд[47]), гуманистические тенденции в интеллектуальной жизни (Г. Хунгер[48]), представления о дружбе в образованных кругах (Ф. Тиннефельд[49]), формы интеллектуального общения (И. П. Медведев[50], К.-П. Мачке[51]), взаимоотношения интеллектуалов и власти (М. А. Поляковская[52]), а также другие вопросы, пополняя все новыми штрихами собирательный образ византийского ученого сообщества. Историки создали также целую галерею портретов деятелей культуры поздневизантийского времени[53]. В исследованиях отечественных и зарубежных византинистов, посвященных конкретным представителям ученого мира, акцент делался не только на характеристике их литературного наследия, но и на воссоздании духовно-эмоциональной атмосферы эпохи через призму оценки взглядов

[44] Tinnefeld F. Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung in Byzanz // Gymnasium. 1989. Bd. 96, H. 5. S. 429—443.

[45] Speck P. Die kaiserlich Universität von Konstantinople. München, 1972.

[46] Browning R. Byzantine Scholarship // Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. P. 3—20.

[47] Tinnefeld F. Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jahrhundert // BF. 1979. Bd. 6. S. 241—280.

[48] Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts // XIV Congrès International des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 83—95.

[49] Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos // Byz. 1985. T. 55, Fasc. 1. S. 210—244.

[50] Медведев И. П. Литературные «салоны» в поздней Византии // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 53—59.

[51] Matschke K.-P. Die spätbyzantinische Öffentlichtkeit // Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter. Beitrag zur Mentalitätsgeschichte. Gedenken für E. Werner / hrsg. S. Tanz. Frankfurt a/M, 1993. Bd. 2. S. 155—223.

[52] Чекалова А. А., Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть в Византии // ВО. 1996. С. 5—24.

[53] См., в частности: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. Екатеринбург, 1992 (2-е изд. СПб, 1998).

и воззрений византийских интеллектуалов (Г.- Г. Бек[54], Ф. Тиннефельд[55], М. А. Поляковская[56]).

Особое внимание исследователей, обращавшихся к изучению Византии XV в., традиционно привлекала судьба ее писателей накануне и после гибели империи. Вызванная трагическими событиями эмиграция стимулировала сближение византийской и западноевропейской культурных традиций. Теме взаимодействия византийского и итальянского гуманизма была посвящена серия работ Д. И. Джеанакоплоса[57], а также труды Г. М. Хартмана[58], П. О. Кристеллера[59], И. Монфазани[60], Н. Г. Вилсона[61]. Проблема «исхода» византийских интеллектуалов была обозначена и в исследованиях И. П. Медведева, однако вопрос смещения культурных центров на периферию рассматривался им преимущественно на примере Георгия Гемиста Плифона[62]. Феномен трансплантации византийской культуры, как на окраины ее ареала, так и в Италию, являлся характерной чертой бытования интеллектуальной среды позднего периода империи.

---

[54] Beck H.-G. Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis // Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Philosophische-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1974. Bd. 294. Abh. 4. S. 5—16.

[55] Tinnefeld F. Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones // OCP. 1972. Bd. 38, H. 1. S. 141—171.

[56] Поляковская М. А. К характеристике средневекового ученого (значение научной дискуссии в понимании Димитрия Кидониса) // АДСВ. 1983. Вып. 20. С. 40—51; Ее же. К характеристике византийской образованности: учителя и ученики // АДСВ. 1987. Вып. 23. С. 111—120.

[57] Geanakoplos D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330—1600). N. Haven ; L., 1976; Idem. Constantinople and the West. Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches. Wisconsin, 1989.

[58] Hartmann G. M. Die Bedeutung des Griechentums für die Entwicklung des italienischen Humanismus // Probleme der neugriechischen Literatur. Berlin, 1960. Bd. 2. S. 3—36.

[59] Kristeller P. O. Humanismus und Renaissance. Die antiken und mittelalterlichen Quellen. München, 1973. Bd. 1.

[60] Monfasani J. Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other Émigrés. Variorum Reprints. L., 1995.

[61] Wilson N. G. From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance. Baltimore, 1992.

[62] Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 55.

Исследователю поздневизантийского периода неизбежно приходится иметь дело с проблемой межцивилизационных контактов. Происходившее в XIV—XV вв. столкновение разных культурных традиций и религий заставляет обращаться не только к истории развития политических, военных, религиозных и культурных отношений византийцев с соседями, но и к анализу восприятия греками тех народов, с которыми они соприкасались и взаимодействовали. В исследованиях Г. Диттена[63] и И. Кодера[64] затронуты вопросы не только терминологии, использовавшейся для обозначения латинян, но и проведен анализ идейно-политического содержания этнонимической лексики. Тема восприятия турок и отношения византийцев к исламскому миру в целом стала центральной в ряде исследований, проведенных М. Баливе[65], С. Врионисом[66], Дж. Деннисом[67], И. Мейендорфом[68], С. Райнертом[69], Р. М. Шукуровым[70], К. И. Лобовиковой[71]. Эти исследования помогают понять истоки

---

[63] Ditten H. Βάρβαροι, Ἕλληνες und Ῥωμαῖοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern // Actes du XII[e] Congrès international d' études Byzantines. Beograd, 1964. T. 2. S. 273—299.

[64] Koder J. Latinoi — the Image of the other according to Greek sources // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 25—39.

[65] Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc : Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque. Istanbul, 1994.

[66] Vryonis S. Byzantine Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages // GRBS. 1971. Vol. 12. P. 263—286; Vrionis S. The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam // BS. 1996. T. 57, № 1 P. 69—111.

[67] Dennis G. T. Defenders of the Christian People: Holy War in Byzantium // The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World / ed. by A. Laiou and P. Mottahedeh. Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Washington, 2001. P. 31—39.

[68] Meyendorff J. Byzantine Views of Islam // DOP. 1964. T. 18. P. 113—132.

[69] Reinert S. Manuel II Palaeologos and His Müderris / The Twilights of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Impire / ed. S. Ćutčić and D. Mouriki. Princenton; N. Jersey, 1991. P. 39—51.

[70] Шукуров Р. М. Зона контакта. Проблема межцивилизационных отношений в современной византинистике // ВВ. 2000. Т. 59. С.258—267.

[71] Лобовикова К. И. Георгий Трапезундский и Мехмед II Завоеватель // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С. 141—155.

и характер стереотипов, существовавших в представлениях византийцев о других народах, и показывают механизмы их трансформации.

В последние годы мировая византинистика заметно активизировала разработку проблем истории XIV—XV вв. в целом и интеллектуальной истории того времени в частности. О повышении интереса к этой эпохе свидетельствует тематика ряда прошедших конференций и научных мероприятий. В 2000 г. в рамках коллоквиума «Византия, Венеция и франко-греческий мир (XIII—XV вв.)», состоявшегося в Венеции, была поднята тема культурных и научных контактов Запада и Византии[72]. В докладах Дж. Денниса[73], Т. Ганчу[74], Е. Маламут[75] были затронуты разные аспекты проблемы участия византийских интеллектуалов в налаживании диалога с латинским миром. В 2001 г. в Вашингтоне состоялся симпозиум по истории поздневизантийской Фессалоники, где особо была подчеркнута роль этого второго по значению города империи в культурной жизни той эпохи[76]. Среди прозвучавших на научном форуме выступлений следует отметить доклады Дж. Баркера[77], Дж. Денниса[78] и Ф. Тиннефельда[79]. На международных конгрессах византинистов в Париже (2001), Лондоне (2006) и Софии (2011) позднему периоду истории Византии также уделялось значитель-

---

[72] Материалы коллоквиума опубликованы в: Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000. Venezia, 2002.

[73] Dennis G. T. Demetrios Kydones and Venice // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco... P. 495—502.

[74] Ganchou Th. Dèmètrios Kydônès, les frères Chrysobergès et la Crète (1397—1401). De nouveaux documents // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco... P. 435—493.

[75] Malamut E. De 1299 à 1451 au cœur des ambassades byzantines // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco... P. 79—124.

[76] Материалы симпозиума см.: DOP. 2003. Vol. 57.

[77] Barker J.W. Late Byzantine Thessalonike: A Second City's Challenger and Responses // DOP. 2003. Vol. 57. P. 5—33.

[78] Dennis G. T. The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. 2003. Vol. 57. P. 255—264.

[79] Tinnefeld F. Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike // DOP. 2003. Vol. 57. P. 153—172.

ное внимание[80]. В последние годы появился ряд оригинальных исследований о жизни и деятельности отдельных представителей интеллектуального мира (М.-Е. Бланше[81], Л. Торн-Викерт[82], А. Занемонец[83]), рассмотрены не изученные прежде аспекты политической идеологии и роли интеллектуалов в политической практике (Д. Ангелов[84], Т. Киусопулу[85]) и дипломатической сфере (С. Мергиали-Шас)[86]. В современной византинистике изучение истории поздней Византии является одним из приоритетных направлений, переживающих настоящий ренессанс.

Растущий интерес к реалиям того времени был отчасти вызван публикацией сочинений поздневизантийских авторов, осуществленных в последние десятилетия на Западе (А. Ангелу[87], Н. Николудис[88], Х. Патринелис[89], Ф. Тиннефельд[90], Ю. Хрисостомидес[91]).

---

[80] См.: XX[e] Congrès international des études byzantines. 3 vols. P., 2001; Proceedings of the 21[st] International Congress of Byzantine Studies. London, 21—26 August, 2006. 3 vols. L., 2006.; Proceedings of the 22[st] International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22—27 August, 2011). 3 vols. Sofia, 2011.

[81] Blanchet M.-H. Georges Gennadios Scholarios (vers 1400 — vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à la disparition de l'empire byzantine. P., 2008.

[82] Thorn-Wickert L. Manuel Chrysoloras (ca. 1350—1415). Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen vor dem Hintergrund der hellenischen Studien in der itallienischen Renaissance. Frankfurt a/M ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; N. Y. ; Oxford ; Wien, 2006.

[83] Занемонец А. В. Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии. СПб., 2008.

[84] Angelov D. Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204—1330. Cambridge, 2006.

[85] Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology in Byzantium before 1453 / transl. with a preface by P. Magdalino. Geneva, 2011.

[86] Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West and his Office during the Fourteenth and Fifteenth Centuries: a Profile // BZ. 2001. Bd. 94, H. 2. P. 588—604.

[87] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / ed. by A. Angelou. Vienna, 1991.

[88] Laonikos Chalkokondyles: a translation and Commentary of the «Demonstration of History» (Book 1—3) / ed. N. Nikoloudis. Athens, 1996.

[89] Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β' Παλαιολόγο...

[90] Demetrios Kydones. Briefe...

[91] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his Brother Theodore...

Издание новых источников и появление комментированных переводов открыли перед специалистами широкие перспективы в изучении мира интеллектуалов последнего периода византийской истории.

Среди недавних фундаментальных работ по данной тематике следует назвать монографию немецких ученых К.-П. Мачке и Ф.Тиннефельда «Общество в поздней Византии: группы, структуры и формы жизни», вышедшую в свет в 2001 г.[92] В ней особое место занимает раздел, посвященный группе литераторов (die Literaten). Авторы предприняли попытку дать четкую дефиницию понятия «литератор», опираясь на данные источников. Выделяя центры духовной активности в Византии, отмечая открытость писательской среды к латинскому Западу, исследователи подтвердили многие наблюдения И. Шевченко относительно причин упадка культурной монополии Константинополя. Повышенное внимание авторы книги уделили вопросу социальной принадлежности византийских ученых, их социально-политическим функциям. Следуя за И. Шевченко, немецкие исследователи привели просопографический список литераторов, уточнив и расширив их круг. Однако данное исследование отнюдь не подвело черту изучению интеллектуальной среды, а, напротив, показало перспективность дальнейшей разработки этой темы.

Проведение исследования невозможно без обращения к таким классическим работам, как труды К. Крумбахера[93], Г.-Г. Бека[94], Г. Хунгера[95]. Для включения результатов изучения интеллектуальной жизни в контекст социально-политической и культурной истории Византии был привлечен широкий пласт византиноведческой литературы, в том числе исследования, посвященные поздневизан-

---

[92] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen und Lebensformen. Köln ; Weimar ; Wien, 2001.

[93] Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zu Ende des oströmischen Reiches (527—1453). München, 1897.

[94] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959; Idem. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971.

[95] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur...

тийской истории, Дж. Баркера[96], А. А. Васильева[97], А. Вакалопулоса[98], Э. Вернера[99], Дж. Денниса[100], Д. Никола[101], Н. Неджипоглу[102], Г. Острогорского[103], коллективные исследования «Византийский мир»[104] и «Византийская дипломатия»[105].

Хотя историки, в той или иной степени обращавшиеся ранее к данной проблематике, и накопили уже достаточно большой фактологический материал, обобщающего исследования по теме интеллектуальной жизни поздней Византии до сих пор нет. Именно эту лакуну по мере возможности и призвана заполнить предлагаемая читателю книга.



---

[96] Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969.

[97] Васильев А. А. Падение Византии. Л., 1925; Его же. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб., 1998.

[98] Vacalopulos A. E. Origins of the Greek Nation. The Byzantine Period, 1204—1461. N. Brunswick ; N. Jersey, 1970.

[99] Werner E. Die Geburt einer Großmacht — die Osmanen (1300—1481). Weimar, 1985.

[100] Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382—1387. Roma, 1960.

[101] Nicol D. The Last Centuries of Byzantium, 1261—1453. Cambridge, 1993.

[102] Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late Empire. Cambridge, 2009.

[103] Острогорский Г. История Византийского государства. М., 2011.

[104] Le monde byzantine. T. 3 : Byzance et ses voisins 1204—1453 / dir. de A. Laiou et S. Morrisson. P., 2011.

[105] Byzantine Diplomacy / ed. by J. Shepard and S. Franklin. Hampshire, 1992.



Глава 1
ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Просопография и проблема терминологии



ообщество византийских интеллектуалов в последнее столетие истории Византии, как и в предыдущие периоды, представляло собой достаточно четко очерченную социальную группу, которая имела ярко выраженную внутреннюю структуру, была скреплена прочными узами солидарности, жила по своим негласно установленным правилам и занимала постоянное и вполне определенное место в общем ландшафте поздневизантийского общества. Рассматривая эту среду как целостный социокультурный феномен, проанализируем ее количественные, демографические, просопографические и социальные параметры, соединив биографии конкретных людей в единое мозаичное полотно, отражающее историю и судьбу византийской образованности.

Для выполнения данной задачи необходимо прежде всего определить круг интеллектуалов, затем собрать и систематизировать сведения об их жизни, позволяющие нарисовать просопографический портрет каждого из них и всего их сообщества в целом. Подобного рода изыскание в значительной степени облегчается существованием «Просопографического лексикона»[1],

[1] Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976—1994. Fasz. 1—12 (PLP).

который может быть рассмотрен как своего рода неполная «перепись населения» империи в палеологовскую эпоху. Это издание Венского института византинистики позволило сделать достаточно репрезентативную выборку персоналий, изучение которой дало возможность с определенным допущением судить об интеллектуальном сообществе в целом. Составленный по «Просопографическому лексикону» перечень интеллектуалов был сверен и дополнен по спискам, представленным в публикациях И. Шевченко и А. П. Каждана[2]; дополнен именами, указанными в работе Г.-Г. Бека[3] и в совместной монографии К.-П. Мачке и Ф. Тиннефельда[4]; сопоставлен с таблицей имен поздневизантийских эпистолографов, приведенной В. А. Сметаниным[5]. Таким образом, определен круг интеллектуалов конца XIV—XV в., ставших объектом настоящего исследования.

На каждое конкретное лицо составлено своеобразное досье, включающее все известные о нем сведения: происхождение (социальное и этногеографическое), семья, родственные и дружеские связи, образование, карьера, послужной список, литературная деятельность, круг интеллектуального общения и пр. Эти материалы и стали предметом дальнейшего анализа. Методика проведения исследования путем составления анкет, содержащих биографические данные и *cursus honorum* отдельного исторического персонажа, ранее была апробирована в работах А. П. Каждана[6], П. И. Жаворонкова[7]

---

[2] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century // XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 7; Kazhdan A. The Fate of the Intellectual in Byzantium: A Propos of Society and Intellectual Life in Late Byzantium. By I. Ševčenko. L., 1981 // GOThR. 1982. Vol. 27, №. 1. P. 96—97.

[3] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959.

[4] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen und Lebensformen. Köln ; Weimar ; Wien, 2001. S. 373—385.

[5] Сметанин В. А. Византийское общество XIII—XV веков по данным эпистолографии. Свердловск, 1987. С. 27—57.

[6] Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса XI—XII вв. в Византии. М., 1971. С. 17.

[7] Жаворонков П. И. Состав и эволюция высшей знати Никейской империи: элита // ВО. 1991. С. 83—90.

и А. А. Чекаловой[8], которые использовали такой подход при изучении византийской знати и ее места в обществе в разные периоды времени. Такой метод позволяет не только исследовать вопросы социальной статики и динамики, но также решать и более широкий круг проблем, связанных с изучением состава определенной социальной группы с точки зрения этнических, демографических, половозрастных и других характеристик.

Для периода последней трети XIV — первой половины XV в. в результате поиска были выявлены 152 человека, которых мы отнесли к интеллектуальному сообществу. Этот список не является исчерпывающим и, очевидно, может в будущем пополняться новыми данными. И все же любые дополнения едва ли смогут кардинально изменить общую картину, а скорее лишь позволят уточнить некоторые частные выводы.

Список[9] византийских интеллектуалов последней трети XIV — XV в. включает следующие имена:

1. Абрамий, Иоанн (Ἀβράμιος Ἰωάννης), упом. 1371—1391 гг., писатель, врач, астролог, переписчик рукописей, священник (№ 57).

2. Агаллиан, Феодор (Ἀγαλλιανὸς Θεόδωρος), 1400—1474 гг., писатель, переписчик рукописей, диакон, дикеофилакс, великий хартофилакс в Константинополе, великий эконом, митрополит Медеи во Фракии, антилатинянин (№ 94).

3. Амирутци, Георгий (Ἀμιρούτζης Γεώργιος), 1400—1470 гг., философ, теолог, писатель, переписчик рукописей, протовестиарий и великий логофет в Трапезунде, противник унии (№ 784).

---

[8] Чекалова А. А. Сенаторская знать. М., 2000. С. 3—4; Ее же. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя IV — первая половина VII века. М., 2010. С. 8—9.

[9] В перечне приводятся лишь основные сведения о данном человеке. Данные указываются в следующем порядке: фамилия (фамилии), имя, топонимические и другие прозвища, годы жизни или время, к которому относится упоминание о данной персоне, род занятий, официальные должности, религиозно-политическая позиция, номер по PLP.

4. Анагност, Иоанн (Ἀναγνώστης Ἰωάννης), упом. 1429—1433 гг., писатель (№ 839).

5. Ангеликуд, Каллист (Ἀγγελικούδης Κάλλιστος), упом. 2-й пол. XIV в., писатель, монах, противник унии (№ 145).

6. Антоний Византиец (Ἀντώνιος Βυζάντιος), упом. XV в., писатель, учитель в университете в Константинополе (№ 1092).

7. Апостол, Михаил (Ἀποστόλης Μιχαήλ), 1420—1474/1486 гг., писатель, учитель в Константинополе, на Крите и в Италии, переписчик рукописей, латинофил (№ 1201).

8. Аргиропул, Иоанн (Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης), 1415—1487 гг., писатель, переписчик рукописей, учитель в Константинополе и в Италии, священник, униат, гуманист (№ 1267).

9. Аргир, Исаак (Ἀργυρὸς Ἰσαάκ), 1300—1375 гг., писатель, астроном, теолог, монах, антипаламит (№ 1285).

10. Асан, Константин (Ἀσάνης Κωνσταντῖνος), упом. 1358—1415 гг., мелограф, писатель, антипаламит (№ 1503).

11. Аспрофрис, Макарий (Ἀσπρόφρυς Μακάριος), упом. 1-й пол. XV в., писатель, иеромонах (№ 1588).

12. Атуман, Симон (Ἀτουμάνος Σίμων), 1300/18—1383/87 гг., писатель, учитель, монах, архиепископ Фив, епископ в Калабрии, антипаламит (№ 1648).

13. Вальсамон, Михаил Ритор (Βαλσαμὼν Μιχαήλ, ῥήτωρ), упом. 1397—1402 гг., писатель, ритор, учитель патриаршей школы, диакон, протонотарий, великий хартофилакс (№ 2120, 91429).

14. Виссарион (Βησσαρίων), 1399/1400—1472 гг., писатель, переписчик и собиратель рукописей, монах, митрополит Никеи, митрополит Фив, кардинал римской церкви, латинский патриарх Константинополя, униат (№ 2707).

15. Вриенний, Иосиф Философ (Βρυέννιος Ἰωσήφ, φιλόσοφος), 1350—1431/8 гг., писатель, учитель, монах, придворный священник, противник унии (№ 3257).

16. Гавриил (Γαβριήλ), упом. 1368—1416 гг., писатель, монах, митрополит Фессалоники, митрополит Халкедона (№ 3416).

17. Гавриил Философ (Γαβριήλ, φιλόσοφος), упом. 1-й пол. XV в., мелограф, писатель, иеромонах (№ 3428).

18. Гавриилопул Кидонис, Георгий Философ (Γαβριηλόπουλος Κυδώνης Γεώργιος, φιλόσοφος), упом. 1348—1383 гг., писатель, врач, латинофил, антипаламит (№ 3433).

19. Газа, Феодор (Γαζῆς Θεόδωρος), 1400—1475/6 гг., писатель, переписчик и владелец рукописей, учитель в Константинополе и в Италии, униат (№ 3450).

20. Галисиот, Андроник (Γαλησιώτης Ἀνδρόνικος), ум. 1467 г., учитель греческого, переписчик рукописей, монах (№ 3526).

21. Галисиот, Георгий (Γαλησιότης Γεώργιος), упом. 1448—1474 гг., переписчик рукописей, императорский секретарь, великий скеофилакс, монах, диакон (№ 3527).

22. Гемист Плифон, Георгий (Γεμιστὸς Πλήθων Γεώργιος), 1360—1452 гг., писатель, философ, переписчик рукописей, учитель, вселенский судья в Морее, сенатор, неоплатоник (№ 3630).

23. Гемист, Димитрий (Γεμιστὸς Δημήτριος), упом. 1386—1402 гг., писатель, нотарий, протонотарий Великой цекрви, великий сакеларий Великой церкви, диакон (№ 3631).

24. Георгий Пелагонец, Философ (Γεώργιος Πελαγών, φιλόσοφος), 2-я пол. XIV в., писатель, владелец рукописей, антипаламит (№ 4117).

25. Георгий Трапезундский (Γεώργιος Τραπεζούντιος), 1395—1471/72 гг., писатель, переводчик, переписчик рукописей, учитель в Италии, папский секретарь, униат (№ 4120).

26. Глава, Исидор (Γλαβᾶς Ἰσίδωρος), 1341/2—1396 гг., писатель, монах, митрополит Фессалоники (№ 4223).

27. Герметиан, Георгий (Ἑρμητιανὸς Γεώργιος), упом. XV в., переписчик рукописей, переводчик, учитель греческого в Париже (№ 6125).

28. Герметиан, Иоанн (Ἑρμητιανὸς Ἰωάννης), упом. XV в., писатель, переписчик рукописей, учитель (№ 6126).

29. Григорий III Мамма (Γρηγόριος III Μαμμή), ум. 1459 г., писатель, владелец рукописей, иеромонах, латинский патриарх Константинополя, униат (№ 4591).

30. Григорий (Γρηγόριος), упом. нач. XV в., писатель, переписчик рукописей, епископ Метоны (№ 4604).

31. Григорий Философ (Γρηγόριος, φιλόσοφος), упом. XV в., писатель, ученик Плифона, монах (№ 4605).

32. Григорий (Γρηγόριος), упом. 1-й пол. XV в., писатель, монах (№ 4607).

33. Гуделий, Георгий (Γουδέλης Γεώργιος), упом. руб. XIV—XV вв., адресат Иоанна Хортасмена и Димитрия Кидониса, месадзон (№ 4334).

34. Дамила, Нил (Δαμιλᾶς Νεῖλος), упом. конца XIV — начала XV в., писатель, переписчик рукописей, иеромонах (№ 5085).

35. Даниил (Δανιήλ), упом. 2-й пол. XV в., писатель, переписчик рукописей, митрополит Смирны, митрополит Эфеса (№ 5133).

36. Деллапорта, Леонардо (Τελλαμπόρτας Λεονάρδος), 1346—1419/20 гг., поэт, адвокат (№ 27556).

37. Димитрий (Δημήτριος), упом. XV в., писатель, монах (№ 5333).

38. Дисипат Палеолог, Георгий (Δισύπατος Παλαιολόγος Γεώργιος), ум. 1499 г., адресат Андроника Каллиста, советник французского короля Людовика XI (№ 5531).

39. Докиан, Иоанн (Δοκειανὸς Ἰωάννης), упом. сер. XV в., писатель, переписчик рукописей, учитель в Патриаршей школе, антилатинянин (№ 5577).

40. Дорофей (Δωρόθεος), ум. 1444 г., писатель, митрополит Митилены, униат (№ 5929).

41. Дука (Δούκας), около 1400—1470 гг., историк, униат (№ 5685).

42. Евгеник, Георгий (Εὐγενικὸς Γεώργιος), ум. 1406 г., гимнограф, переписчик документов, учитель, диакон, логофет Великой церкви, протонотарий Великой церкви (№ 6188).

43. Евгеник, Иоанн (Εὐγενικὸς Ἰωάννης), после 1394—1458 гг., писатель, переписчик рукописей, патриарший нотарий, диакон, противник унии (№ 6189).

44. Евгеник, Марк (Εὐγενικὸς Μάρκος), 1394—1445 гг., писатель, мелограф, учитель, ритор нотариев, иеромонах, митрополит Эфеса, противник унии (№ 6193).

45. Евлогия (Εὐλογία), упом. 1-й пол. XV в., писательница, монахиня (№ 6277).

46. Евстафий (Εὐστάθιος), упом. нач. XV в., писатель, вселенский судья ромеев, митрополит Веррии (№ 6339).

47. Исайя (Ἠσαΐας), упом. XV в., писатель, монах, латинофил (№ 6745).

48. Иванк, Константин (Ἰβάνκος Κωνσταντῖνος), упом. конца XIV — начала XV в., писатель, судья, учитель риторики (№ 7973).

49. Иоанн (Ἰωάννης), упом. 1-й пол. XV в., писатель, учитель, священник Великой церкви (№ 8740).

50. Иоасаф (Ἰωάσαφ), ум. 1437 г., писатель, иеромонах, протосинкелл, митрополит Эфеса (№ 8916).

51. Иосиф (Ἰωσήφ), упом. XV в., писатель (№ 9079).

52. Исидор Киевский (Ἰσίδωρος), 1380/90—1463 гг., писатель, переписчик и собиратель рукописей, иеромонах, митрополит Киевский, кардинал, латинский патриарх Константинополя, латинофил, униат (№ 8300).

53. Кавакис Рауль, Димитрий (Καβάκης Ῥαούλ Δημήτριος), упом. XV в., писатель, переписчик рукописей в Риме, латинофил (№ 10016).

54. Калека, Мануил (Καλέκας Μανουήλ), ум. 1410 г., писатель, переписчик рукописей, учитель, доминиканец, антипаламит, латинофил (№ 10289).

55. Каллист, Андроник (Κάλλιστος Ἀνδρόνικος), ум. 1476/87 г., писатель, переписчик рукописей в Италии, учитель греческого в Италии (№ 10484).

56. Калофрен, Михаил (Καλοφρενᾶς Μιχαήλ), упом. 1-й пол. XV в., писатель, переписчик рукописей, священник, латинофил (№ 10738).

57. Камариот, Матфей (Καμαριώτης Ματθαῖος), ум. 1490 г., писатель, переписчик рукописей, учитель (№ 10776).

58. Канабутц, Иоанн (Καναβούτζης Ἰωάννης), упом. 2-й четв. XV в., писатель, учитель (№ 10871).

59. Кантакузин Ангел Комнин Палеолог, Иоанн VI (Καντακουζηνός Ἄγγελος Κομνηνὸς Παλαιολόγος Ἰωάννης), ок. 1295—1383 гг., писатель, император, монах, паламит (№ 10973).

60. Кантакузин Асан, Матфей (Καντακουζηνός Ἀσάνης Ματθαῖος), 1325—1383, писатель, правитель Фракии, деспот Мореи (№ 10983).

61. Каппадокс, Досифей (Καππάδοξ Δοσίθεος), упом. XV в., писатель, монах (№ 11058).

62. Кастрин, Димитрий (Καστρηνὸς Δημήτριος), ум. 1491 г., переписчик рукописей, учитель греческого в Италии, учитель в патриаршей школе, гуманист (№ 11393).

63. Катадукин, Димитрий (Καταδουκινὸς Δημήτριος), упом. XV в., писатель, судья (№ 11411).

64. Керамевс, Нил (Κεραμεὺς Νεῖλος), ум. 1388 г., писатель, монах, патриарх Константинополя, паламит (№ 11648).

65. Кидонис, Димитрий (Κυδώνης Δημήτριος), 1324—1398 гг., писатель, учитель, месадзон, антипаламит, униат, латинофил (№ 13876).

66. Кипариссиот, Иоанн (Κυπαρισσιώτης Ἰωάννης), упом. 2-й пол. XIV в., писатель, философ, антипаламит, латинофил (№ 13900).

67. Клада, Иоанн (Κλαδᾶς Ἰωάννης), упом. конца XIV — начала XV в., писатель, гимнограф, мелограф, учитель (№ 11739).

68. Коккин, Филофей (Κόκκινος Φιλόθεος), 1300—1377/8 гг., писатель, гимнограф, монах, патриарх Константинополя, паламит, антилатинянин (№ 11917).

69. Контовлак, Андроник (Κοντοβλάκας Ἀνδρόνικος), упом. вт. п. XV в., писатель, учитель в Базеле (№ 13053).

70. Кохил (Κόχυλας), упом. конца XIV— начала XV в., писатель, иеромонах (№ 13684).

71. Критовул, Михаил (Κριτόπουλος Μιχαήλ), ум. 1470 г., писатель, переписчик рукописей, правитель Имброса, туркофил (№ 13817).

72. Ксанфопул, Игнатий (Ξανθόπουλος Ἰγνάτιος), упом. руб. XIV—XV вв., писатель, переписчик рукописей, монах (№ 20818).

73. Ксанфопул, Каллист II (Ξανθόπουλος Κάλλιστος), упом. 2-й пол. XIV в., писатель, переписчик рукописей, иеромонах, патриарх Константинополя (№ 20820).

74. Лампард, Петр (Λαμπάρδος Πέτρος), упом. сер. XV в., писатель (№ 14415).

75. Ласкарис Пигонит, Иоанн (Λάσκαρις Πηγωνίτης Ἰωάννης), упом. 1-й пол. XV в., мелограф, учитель пения (№ 14535).

76. Ласкарис Риндакин, Иоанн (Λάσκαρις Ῥυνδακηνός Ἰωάννης), 1445—1534 гг., писатель, учитель в Италии, дипломат, библиотекарь (№ 14536).

77. Ласкарис, Константин (Λάσκαρις Κωνσταντῖνος), 1434—1501 гг., писатель, переписчик рукописей, учитель в Италии (№ 14540).

78. Мазарис (Μάζαρις), упом. 1-й пол. XV в., писатель (№ 16117).

79. Мазарис, Мануил (Μάζαρις Μανουήλ), упом. п. п. XV в., писатель, гимнограф, диакон, протонотарий, скеофилакс (№ 16121).

80. Мазарис, Максим (Μάζαρις Μάξιμος), упом. XV в., писатель, монах (№ 16122).

81. Макарий (Μακάριος), упом. руб. XIV—XV вв., писатель, переписчик рукописей, иеромонах, митрополит Анкары, паламит, антилатинянин (№ 16254).

82. Макарий (Μακάριος), упом. XIV—XV вв., писатель, переписчик рукописей, иеромонах (№ 16318).

83. Макарий (Μακάριος), упом. 1-й пол. XV в., писатель (№ 16319).

84. Макрис, Макарий (Μακρῆς Μακάριος), 1382/3—1431 гг., писатель, философ, иеромонах, настоятель монастыря (№ 16379).

85. Матфей (Ματθαῖος), упом. 1395 г., поэт, иеромонах, экзарх (№17309).

86. Матфей (Ματθαῖος), упом. 1437 г., ученик Иоанна Хортасмена, адресат Виссариона (№ 17328).

87. Матфей I (Ματθαῖος), ум. 1410 г., писатель, монах, митрополит Кизика, патриарх Константинополя (№ 17387).

88. Махера, Леонтий (Μαχαιρᾶς Λεόντιος), упом. 1-й пол. XV в., писатель, историк, секретарь (№ 17517).

89. Мелидонис, Димитрий (Μελιδόνης Δημήτριος), упом. XV в., грамматик (№ 17781).

90. Мелитиниот Метохит, Феодор (Μελιτηνιώτης Μετοχίτης Θεόδωρος), ум. 1393 г., писатель, переписчик рукописей, великий сакелларий, архидиакон, паламит, антилатинянин (№ 17851).

91. Мирсиниот, Никита (Μυρσινιώτης Νικήτας), упом. руб. XIV—XV вв., писатель, митрополит Родоса, антилатинянин (№ 19883).

92. Мосх, Иоанн (Μόσχος Ἰωάννης), ум. 1494 г., писатель, переписчик рукописей, учитель, противник унии (№ 19386).

93. Нил (Νεῖλος), упом. 2-й пол. XV в., переписчик рукописей, митрополит Родоса, униат (№ 20046).

94. Нил (Νεῖλος), упом. 1346—1408, писатель, монах (№ 20058).

95. Нил (Νεῖλος), упом. 1-й пол. XV в., писатель, монах (№ 20059).

96. Николай (Νικόλαος), упом. XV в., писатель, хартофилакс Великой церкви, митрополит Фессалоники (№ 20494).

97. Нифон (Νίφων), 1315—1411 гг., писатель, иеромонах (№ 20687).

98. Нотара, Лука (Νοταρᾶς Λουκᾶς), ум. 1453 г., переводчик, эпистолограф, великий дука, месадзон (№ 20730).

99. Оловол, Мануил (Ὀλόβωλος Μανουήλ), ум. 1414 г., ритор, философ, врач, секретарь императора (№ 21046).

100. Палеолог, Мануил II (Παλαιολόγος Μανουήλ), 1350—1425 гг., писатель, император (№ 21513).

101. Палеологина Кантакузина, Елена (Παλαιολογίνα Καντακουζηνὴ Ἑλένη), 1333—1397 гг., императрица, паламитка (№ 21365).

102. Панарет, Михаил (Πανάρετος Μιχαήλ), 1320/30—1386/90 гг., историк, протосеваст, протонотарий (№ 21651).

103. Пепагомен Савромат, Димитрий (Πεπαγωμένος Σαυρομάτης Δημήτριος), упом. XV в., писатель, переписчик рукописей, врач (№ 22359).

104. Плусиадин, Иоанн (Πλουσιαδηνὸς Ἰωάννης), 1429/30—1500 гг., писатель, мелограф, переписчик рукописей, митрополит Метоны (№ 23385).

105. Пиропул, Антоний (Πυρόπουλος Ἀντώνιος), упом. 2-й пол. XV в., писатель, философ, врач (№ 23919).

106. Поф, Мануил (Πόθος Μανουήλ), упом. руб. XIV—XV вв., адресат Мануила II Палеолога и Иосифа Вриенния (№ 23450).

107. Потамий, Феодор (Ποτάμιος Θεόδωρος), 1340—1414 гг., писатель, ритор (№ 23601).

108. Прохор (Πρόχορος), упом. XIV—XV вв., писатель, митрополит Родоса (№ 23855).

109. Прохор (Πρόχορος), упом. нач. XV в., писатель, митрополит Ставрополиса, проэдр Крита (№ 23856).

110. Сахликис Стефан (Σαχλίκης Στέφανος), упом. 1331—1391 гг., поэт, адвокат на Крите (№ 24975).

111. Сгур Дука, Андроник (Σγοῦρος Δούκας Ἀνδρόνικος), упом. XV в., писатель, ритор, антилатинянин (№ 25048).

112. Сервопул Ласкарис (Σερβόπουλος Λάσκαρις), упом. 1429 г., писатель (№ 25182).

113. Симеон Фессалоникийский (Συμεών), ум. 1429 г., писатель, иеромонах, митрополит Фессалоники (№ 27057).

114. Симеонак, Иоанн (Συμεωνάκης Ἰωάννης), 1374—1452 гг., писатель, переписчик рукописей, учитель, священник, протопапа (№ 27083).

115. Сиропул, Сильвестр (Συρόπουλος Σίλβεστρος), ум. 1464 г., писатель, переписчик рукописей, вселенский судья, диакон, патриарх Константинополя, противник унии (№ 27217).

116. Скаран, Димитрий (Σκαράνος Δημήτριος), 1360—1426 гг., писатель, антипаламит, латинофил (№ 26035).

117. Скленгий, Николай (Σκλεγγίας Νικόλαος), упом. 1430 г., писатель, антилатинянин (№ 26106).

118. Скутариот (Σκουταριώτης), упом. XV в., писатель (№ 26199).

119. Софиан, Иоанн (Σοφιανὸς Ἰωάννης), упом. 1458 г., переводчик (№ 26407).

120. Ставра, Нил (Σταυρᾶς Νεῖλος), упом. руб. XIV—XV вв., писатель, переписчик рукописей, монах (№ 26716).

121. Стафидакис, Иоанн (Σταφιδάκης Ἰωάννης), упом. 2-й пол. XIV в., писатель, переписчик рукописей (№ 26735).

122. Сфрандзи Фиалит, Георгий (Σφραντζῆς Φιαλίτης Γεώργιος), 1401—1477 гг., писатель, историк, монах, великий логофет (№ 27278).

123. Схоларий Куртес, Георгий, Геннадий (Σχολάριος Κουρτέσης, Γεώργιος, Γεννάδιος), 1400/5—1472/74 гг., писатель, философ, вселенский судья ромеев, сенатор, патриарх Константинополя (№ 27304).

124. Тарханиот (Ταρχανειώτης), ум. 1390 г., ритор (№ 27471).

125. Фалиеро, Марино (Φαλιέρος Μαρῖνος), 1395—1474 гг., поэт, сторонник унии (№ 29598).

126. Феодор (Θεόδωρος), упом. 1-й пол. XV в., писатель, переписчик рукописей, патриарший нотарий (№ 7475).

127. Феодор (Θεόδωρος), упом. 1427—1467 гг., писатель, переписчик рукописей, диакон (№ 7476).

128. Феофан (Θεοφάνης), ум. 1380/81 г., писатель, проэдр Анкары, митрополит Никеи, паламит, противник унии (№ 7615).

129. Феофан (Θεοφάνης), упом. XIV в., писатель, митрополит Перифеориона во Фракии, настоятель Ватопедского монастыря на Афоне (№ 7616).

130. Феофан (Θεοφάνης), упом. XV в., писатель, иеромонах, противник унии (№ 7617).

131. Филагрис, Иосиф (Φιλάγρης Ἰωσήφ) упом. 2-й пол. XIV в., писатель, переписчик рукописей, учитель, монах, митрополит Крита, противник унии (№ 29730).

132. Филофей (Φιλόθεος), 1326—1389 гг., писатель, гимнограф, иеромонах, митрополит Селимврии, паламит (№ 29896).

133. Филоммат Ангел Клида, Димитрий (Φιλομμάτης Ἄγγελος Κλειδᾶς Δημήτριος), упом. 1-й пол. XV в., грамматик (№ 29927).

134. Форвин, Алексей (Φορβηνοῦ Ἀλέξιος), упом. 1403—1407 гг., учитель, протонотарий (№ 30015).

135. Халкеопул, Афанасий (Χαλκεόπουλος Ἀθανάσιος), ум. 1497 г., писатель, переписчик рукописей, иеромонах, епископ, гуманист (№ 30412).

136. Халкокондил, Димитрий (Χαλκοκονδύλης Δημήτριος), 1423—1511 гг., писатель, переписчик рукописей, издатель, учитель в Италии, гуманист (№ 30511).

137. Халкокондил, Лаоник (Χαλκοκονδύλης Λαόνικος), 1423—1463 гг., историк (№ 30512).

138. Хамает Кавасила, Николай (Χαμαετός Καβάσιλας Νικόλαος), 1322/23—1391 гг., писатель (№ 30539).

139. Хил Принкипс, Никифор (Χειλᾶς Πρίγκιψ Νικηφίρος), упом. 1444—1452 гг., писатель, архонт (№ 30767).

140. Хлор, Димитрий (Χλωρός Δημήτριος), упом. 2-й пол. XIV в., писатель, астролог, переписчик документов, диакон, протонотарий (№ 30869).

141. Хортасмен, Иоанн (Χορτασμένος Ἰωάννης), 1370—1436/7 гг., писатель, переписчик рукописей, учитель, иеромонах, митрополит Селимврии (№ 30897).

142. Хрисафис Дука, Мануил (Χρυσάφης Δούκας Μανουήλ), упом. 1439—1463 гг., писатель, мелограф, переписчик рукописей (№ 31080).

143. Хрисоверг, Андрей (Χρυσοβέργης Ἀνδρέας), ум. 1451 г., писатель, теолог, учитель, доминиканец, митрополит на Родосе, латинофил (№ 31106).

144. Хрисоверг, Максим (Χρυσοβέργης Μάξιμος), ум. 1411/29 гг., писатель, теолог, доминиканец (№ 31123).

145. Хрисокефал, Макарий (Χρυσοκέφαλος Μακάριος), 1300—1382 гг., писатель, переписчик рукописей, учитель, все-

ленский судья ромеев, иеромонах, митрополит Филадельфии, паламит (№ 31138).

146. Хрисококк, Георгий (Χρυσοκόκκης Γεώργιος), упом. 1420—1428 гг., переписчик рукописей, учитель, диакон (№ 31141).

147. Хрисококк, Михаил (Χρυσοκόκκης Μιχαήλ), упом. 1434—1435 гг., писатель, астроном, нотарий Великой церкви (№ 31145).

148. Хрисолора, Димитрий (Χρυσολωρᾶς Δημήτριος), упом. 1384 —1416 гг., писатель, астроном, месадзон, сенатор, противник унии (№ 31156).

149. Хрисолора, Иоанн (Χρυσολωρᾶς Ἰωάννης), 1360—1427 гг., переписчик рукописей, учитель (№ 31160).

150. Хрисолора, Мануил (Χρυσολωρᾶς Μανουήλ), 1350—1415 гг., писатель, учитель, дипломат, гуманист, латинофил (№ 31165).

151. Христоним, Мануил III (Χριστώνυμος Μανουήλ), ум. 1482 г., писатель, учитель, монах, диакон, патриарх Константинополя (№ 31052).

152. Хумн, Макарий (Χοῦμνος Μακάριος), ум. 1380 г., писатель, иеромонах, настоятель Студийского монастыря, протосинкелл (№ 30956).

Приведенный список интеллектуалов является наиболее полным на сегодняшний день. Для сравнения: в перечне интеллектуалов XIV в., составленном американским византинистом И. Шевченко, — 91 имя[10]. В более пространном просопографическом листе литераторов конца XIII — XV в., приведенном в работе немецких историков К.-П. Мачке и Ф. Тиннефельда, — 174 имени[11], из которых только 63 относится к интересующему нас периоду. Представленный же в настоящей работе список превышает число интеллектуалов, упомянутых немецкими учеными, на 89 имен. Таким

---

[10] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIV[th] Century... P. 7. Not. 2.
[11] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz... S. 385.

образом, в нашем распоряжении на сегодня имеется значительно более широкий перечень лиц, принадлежавших к интеллектуальному сообществу.

Ключевое значение для составления представленной здесь выборки имело понятие интеллектуал. От его определения зависит, можно или нет отнести то или иное историческое лицо к числу интеллектуалов. Поэтому остановимся чуть подробнее на дефиниции данного термина, чтобы прояснить принципы отбора персоналий, включенных в приведенный выше список.

Под интеллектуальностью я понимаю комплекс качеств и навыков, обладание которыми позволяет отнести человека к ученому миру. Во-первых, это наличие определенного уровня образования. Но сама по себе хорошая образовательная подготовка и знакомство с традиционным перечнем наук, известных с античных времен, еще не означали принадлежности человека к интеллектуальным кругам. В Византии, в отличие от средневекового Запада, на протяжении всей ее истории образованность не была редким явлением. Следовательно, только лишь хорошее воспитание и образование не могут быть единственными критериями в определении понятия «интеллектуал». К.-П. Мачке и Ф. Тиннефельд предлагают понимать под интеллектуалами (*die Literaten*) в широком смысле тех людей, кто владел аттической грамматикой и стилем древних авторов и демонстрировал классическую подготовку в своих произведениях[12]. В более узком значении к литераторам относятся люди, завоевавшие известность своей эрудицией и оказывавшие влияние на общественную жизнь своей риторикой[13]. Можно было бы, следуя за И. Шевченко, отнести к этой категории «византийских авторов зафиксированных интеллектуальных текстов, то есть византийских писателей»[14]. Однако к интеллектуалам следует отнести не только тех, кто оставил после себя письменные свидетельства сво-

[12] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz... S. 222.

[13] Tinnefeld F. Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike // DOP. 2003. Vol. 57. P. 153.

[14] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIV[th] Century... P. 7.

ей творческой деятельности, иначе вне поля зрения остается довольно заметное количество людей, безусловно включенных в интеллектуальный диалог и участвовавших в культурной жизни своего времени, но не занимавшихся непосредственно писательским трудом или не оставивших нам каких-либо сочинений, которые, возможно, в свое время и существовали, но не сохранились. Поэтому необходимо, на наш взгляд, расширить понятийное поле термина «интеллектуал» и в качестве параметров принадлежности к данной категории использовать следующие критерии:

а) образование как базовая основа;

б) занятие писательской деятельностью как часто присутствующий (доминантный), но не исключительный атрибут (хотя именно наличие написанных текстов является в первую очередь проявлением интеллектуальных способностей человека и позволяет нам судить о талантах автора);

в) участие в различных формах интеллектуального общения.

Последний признак имеет широкое функциональное значение, ибо не только относит человека к интеллектуальному миру, но и качественно определяет стиль его поведения и накладывает отпечаток на весь образ его жизни. Итак, под интеллектуалами будем понимать тех, кто непременно обладал хорошим образованием, часть своей жизни посвящал творческим занятиям и активно участвовал в интеллектуальном общении.

Аргументы в пользу подобной интерпретации данного термина можно найти в самих византийских текстах, авторы которых объясняют, кто может, на их взгляд, быть отнесен к интеллектуальному сообществу. Интеллектуал, характеризуя подобного себе, подчеркивает те качества, которые считает наиболее важными. Характеристика достоинств и их последовательность представляют собой фактически иерархию критериев, по которым интеллектуалы определяют людей своего круга.

На первое место обычно ставится хорошее образование и глубокие познания в науках. Это свойство сразу же выделяет его носителя из массы всех остальных, а отсутствие должного образования, наоборот, приравнивает к простому люду. Исидор Киевский

отмечал, что голова Мануила Хрисолоры «была полна многих и огромных знаний»[15]. Иоанн Аргиропул восхищался «большим остроумием и уникальным, охватывающим все области, знанием»[16] Виссариона Никейского. Виссарион же, в свою очередь, называл Георгия Гемиста Плифона «образованнейшим греком после Платона»[17], ставя его в один ряд с этим непревзойденным авторитетом. Заметим, что он не случайно использует слово «образованный» именно в превосходной степени, подчеркивая тем самым выдающиеся способности этого человека. Дука акцентировал внимание на образованности Виссариона Никейского и Исидора Киевского, считая их наиболее образованными в греческой делегации на Ферраро-Флорентийском соборе[18]. Но образованности должны также сопутствовать и гибкость ума, и острота оценок, и зрелость суждений, и достойный образ мыслей. Поэтому образованность — лишь первое, безусловно необходимое, но не единственное качество, достойное похвал. «Ты обнаружил подвижностью ума и своей речью насколько твой образ жизни благороден и достоин уважения»[19], — так Мануил II Палеолог характеризовал своего друга, подчеркивая взаимосвязь между его строем мыслей и образом жизни. Андроник Каллист добавлял к образованности и нравственному совершенству способность ценить дружбу. Говоря о Георгии Гермониме, он отмечал, что тот был «человеком, имевшим хорошее воспитание и добродетели, и моим другом»[20].

И все-таки главным из качеств, высоко ценившихся в ученых кругах, была мудрость, σοφία[21]. С этой точки зрения Плифон был

---

[15] Ziegler A. W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev // OCP. 1952. Bd. 18. S. 142. Ep. 5.

[16] Neuhausen K. A., Trapp E. Lateinische Humanistenbriefe zu Bessarions Schrift «In calumniatorem Platonis» // JÖB. 1979. Bd. 28. Ep. 1. 10—11.

[17] Alexandre C. Plethon, Traite des Lois, ou Recueil des Fragments. P., 1858. P. 404.

[18] Ducas. Historia Turco-Byzantina (1341—1462) / ed. V. Grecu. Bucarest, 1958. XXXI, 3.

[19] The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977. Ep. 45. 13—14.

[20] Boissonade J. Fr. Anecdota graeca. P., 1833. Vol. 5. P. 420.

[21] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz… S. 241.

для своих учеников выдающейся личностью, ведь, по их мнению, «мудростью он превосходил Соломона и Парменида»[22]. Михаил Апостол называл три вещи, которые связывали его с Виссарионом: «мудрость, добродетель и воспитание»[23]. А Макарий Макрис удостоился высокой оценки от Сфрандзи, поскольку был «человеком, прекраснейшим по мудрости, добродетели и здравому смыслу»[24].

Важным критерием «отбора» оказывается категория λόγος. Под этим семантически богатым понятием, имеющим разные оттенки и значения, понималось, с одной стороны, слово, а точнее, способность к его постижению и искусному владению[25]. Виртуозность речевых оборотов, утонченность образов и красота стиля служили в определенной степени для демонстрации мастерства и зрелости писателя. Интеллектуал должен был иметь литературную подготовку, владеть риторическими приемами, уметь использовать богатство языка. С другой стороны, понятие λόγος означало и знание вообще. Любовь к знаниям (ὁ τῶν λόγων ἔρως), по мнению Мануила II Палеолога, отличала образованного человека от прочих[26]. Постоянно заниматься науками и приумножать знание считалось истинным уделом философа[27].

Таким образом, при составлении списка интеллектуалов в расчет принимались следующие моменты. Во-первых, в него были включены те представители образованного слоя общества, кто оставил

---

[22] PG. 160. Col. 818 A.

[23] Ibid. 161. Col. CXXIX.

[24] ἀνὴρ ἄριστος κατά τε λόγον καὶ ἀρετὴν καὶ σύνεσιν: Georgios Sphrantzes. Memorii, 1401—1477 / ed. V. Grecu. Bucarest, 1966. XXI, 5.

[25] Замечание Я. Н. Любарского в отношении Пселла о том, что «готовность или неготовность, способность или неспособность к постижению и должному использованию λόγος, особенно в его эстетическом смысле, стали критерием для Пселла в разделении людей на “своих” и “не своих”», применимо и к интеллектуальной среде XIV—XV вв.: Ljubarskij Ja. The Fall of an Intellectual: The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium // Byzantine Studies. Essays on the Slavic World and the Eleventh Century. N. Rochelle ; N. Y., 1992. P. 176.

[26] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 25.14.

[27] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz… S. 223.

после себя материальные результаты интеллектуальной деятельности в виде сочинений, переводов, писем и т. п. Поэтому в перечень интеллектуалов попали в первую очередь писатели различного рода[28]. Во-вторых, к числу интеллектуалов были отнесены и те люди, которые играли активную роль в ученой жизни своего времени, участвуя в литературных собраниях и диспутах, поддерживая эпистолярные связи, занимаясь активной преподавательской деятельностью и т. п., но не оставили после себя сохранившихся текстов в силу тех или иных обстоятельств и о творческой деятельности которых известно из сообщений их современников.

Важно отметить, что в список включены лишь те лица, биографические сведения о которых не ограничиваются констатацией факта их причастности к литературной деятельности, но содержат и другую информацию об их жизненном пути, интеллектуальных контактах или карьерных достижениях. Такой подход, разумеется, сократил список, ибо в него не попали те люди, данные о жизни которых слишком скудны и не позволяют судить об интеллектуальном сообществе в целом[29], каковое собственно и является объектом настоящего исследования.

Бесспорно, возникает следующий вопрос: можно ли данную выборку, образованную эмпирическим путем, считать репрезентативной для решения намеченных задач? А. П. Каждан, проводя анализ состава господствующего класса Византии XI—XII вв., рассматривал свой список при всей условности количественных показателей как «естественный», т. е. образованный самими источниками, которые фиксировали в первую очередь тех, кто был на виду, был знаменит, знатен, родовит, и поэтому без всяких со-

---

[28] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 7.

[29] Например, некто Георгий Ангел, живший где-то в XIV—XV вв. (PLP. № 188; Beck H.-G. Kirche und Theologische Literatur... S. 754), о котором известно лишь то, что он написал три небольшие работы религиозного содержания. Такие сведения, к сожалению, ничего не дают для решения поставленных задач, и поэтому Георгий Ангел был исключен из списка.

[30] Каждан А. П. Социальный состав... С. 101.

мнений считал его представительным для вынесения каких-либо суждений об изучаемом сообществе в целом[30]. Наш список в этом смысле также можно считать «естественным», а значит, репрезентативным, ибо в него включены широко представленные в источниках имена.

В какой степени исследование сравнительно небольшой в количественном отношении группы в 152 человека позволяет судить об отношениях внутри интеллектуальной среды в целом, а также о связях таковой с другими частями общества? В этой малой группе общественные отношения были представлены, можно сказать, в концентрированной виде — как непосредственные личные контакты между ее членами. Она объединяла людей, тесно связанных друг с другом дружескими или родственными узами, близко общавшихся друг с другом, занимавшихся совместной деятельностью, четко осознававших свою принадлежность к некоему сообществу и рассматривавшихся как таковое другими людьми. Члены указанной группы обладали заметным весом в обществе и высоким социальным престижем, что нивелирует значение количественных показателей при анализе характерных для нее коллективных практик и социального значения. В микросреде группы было представлено множество самых разных моделей социальных отношений, присущих и более крупным объединениям.

После решения проблемы репрезентативности выборки и определения круга лиц, которых можно отнести к интеллектуальной элите последней трети XIV — первой половины XV в., возникает вопрос о численности этого социального слоя в целом. Несмотря на традиционно широкое распространение образованности в Византии, в поздний период ее истории количество людей, которых можно отнести к интеллектуалам, скорее всего было относительно невелико. По мнению Ф. Тиннефельда, они составляли не более 10—15 % населения империи при Палеологах[31]. В данном отношении Византия в разные периоды своей истории

---

[31] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz… S. 233.

демонстрирует редкое постоянство[32]. Вероятно, в структуре ее общества доля интеллектуалов оставалась практически неизменной. Однако, несмотря на свою относительную немногочисленность, люди интеллектуальных занятий обладали значительным общественным весом, пользовались высоким уважением и выполняли важную социальную функцию.

Следует также отметить, что очерченный круг интеллектуалов не отличался внутренней однородностью. Их сообщество условно можно ранжировать по степени творческой активности, научной значимости ее членов, по весу и авторитету как среди коллег, так и в глазах общественного мнения. Конечно, внутри списка четко выделяется элита, ее лучшая часть, в которую вошли признанные современниками и их потомками писатели, те, кто определял духовный климат в обществе, задавал тон не только в интеллектуальной, но и в общественно-политической жизни империи, такие, к примеру, как Димитрий Кидонис, Плифон, Виссарион Никейский, Георгий Трапезундский, Геннадий Схоларий и пр. На другом полюсе находятся те, кто играл далеко не первую скрипку в культурной жизни, скорее даже находился на ее периферии. К этой категории следует отнести некоторых церковных писателей, таких как, например, иеромонах Макарий Аспрофрис[33]. Между этими крайними точками и располагаются остальные представители списка, в той или иной степени тяготея к одному из обозначенных полюсов.

Но интеллектуальный мир делился не только на элиту и «рядовых» членов. Его представители могли относиться к различным

---

[32] М. Маллетт отмечает немногочисленность литературного сообщества в комниновское время (Mullett M. Aristocracy and Patronage in the Literary Circles of Comnenian Constantinople // The Byzantine Aristocracy to the IX—XIII Centuries / ed. by M. Angold. L., 1984. P. 73), а для конца XIII— XIV вв. И. Шевченко приводит приблизительное соотношение интеллектуалов и численности народонаселения империи, тем самым иллюстрируя свое утверждение об узости ученой прослойки в составе византийского общества (Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIV[th] Century... P. 17). Можно категорически утверждать, что в количественном отношении ситуация в Византии не изменилась и в первой половине XV в.

[33] Hunger H. Spätbyzantinische Bildbeschreibung der Geburt Christi // JÖBG. 1958. Bd. 7. S. 125—140.

социальным слоям, занимать разные ступени в общественной иерархии, придерживаться противоположных политических позиций, принадлежать к враждующим лагерям. Кроме того, в среде интеллектуалов происходило размежевание по идейным убеждениям. Четырнадцатый век разделил византийское общество на сторонников и противников исихазма, что затронуло и образованную часть населения. Отголоски этого противостояния, пик которого все же пришелся на более ранний период — середину XIV столетия, докатились и до конца века. Так, Мануил Калека, один из образованнейших людей своей эпохи и ярый противник учения Паламы, из-за своих убеждений не только не смог стать монахом монастыря в Константинополе, монахи которого были исихастами, но и лишился возможности заниматься преподавательской деятельностью в Византии[34].

Если в XIV в. ученый мир в духе своего времени распадался на сторонников и противников исихазма, то в XV в. он делился на латинофилов, ортодоксов и туркофилов. В ситуации противостояния нескольких политических сил в обществе, видевших спасение империи в союзе либо с Западом, либо с турками, интеллектуалы примыкали к тому или иному течению как идеологи и ярые последователи. Идейные разногласия становились порою поводом для враждебного отношения к инакомыслящим. Однажды выбранной позиции обычно оставались верными до конца, хотя можно назвать и случаи перехода из одного политического лагеря в другой. Таким примером могут служить метания Георгия Амирутци, придерживавшегося последовательно пролатинской позиции на Ферраро-Флорентийском соборе и сыгравшего определенную роль в заключении унии, но по возвращении в Трапезунд порвавшего с латинофильством и выступившего за чистоту православия[35]. Таким образом, несмотря на внешнее единство, внутри интеллектуального мира бушевали идеологические страсти, выливавшиеся в открытые дискуссии и острую полемику по злободневным вопросам.

---

[34] Καλέκας Μανουήλ // Πανκοσμίο Βιογραφίκο Λεξίκο. Αθηνα, 1985. Т. 4. Σ. 216.

[35] Карпов С. П. Трапезундский ученый Георгий Амирутци // ВИ. 1991. № 6. С. 196.

Однако, несмотря на внутренние разногласия и неоднородность византийской интеллектуальной среды, она являла собой особое, отличное от других социокультурное сообщество, что дает возможность изучать ее как отдельный феномен, обладающий такими специфическими параметрами, которые позволяют рассматривать эту среду как единое целое.

Демографический анализ интеллектуальной среды

Даже при беглом взгляде на приведенный выше список поздневизантийских интеллектуалов в глаза бросается то, что в нем представлены преимущественно мужчины. В списке лишь два женских имени: знатная дама Евгения, принявшая постриг под именем монахини Евлогии (но ее творческая деятельность была все же незначительной)[36], и императрица Елена Палеологина, чьи сочинения, к сожалению, до нас не дошли[37]. Писательский труд и ученые занятия были тогда прерогативой мужчин.

В этническом отношении интеллектуальная среда Византии довольно однородна. Хотя это заключение носит скорее условный характер, так как при этнической пестроте населения империи гражданский статус, как известно, определялся ортодоксальным вероисповеданием. Я считаю греком, к примеру, Симона Атумана, хотя он был сыном турка и неортодоксальной гречанки[38]. Явное исключение составляют лишь два человека: критские поэты, выходцы из венецианских фамилий Леонардо Деллапорта (Ντελλαπόρτας, Τελλαμπόρτας)[39] и Марино Фалиеро (Φαλέτρος, Φαλιέρος)[40], однако и их можно отнести к византийцам, ибо они

---

[36] PLP. № 6277.

[37] Кущ Т. В. Елена Кантакузина Палеологина: портрет византийской императрицы // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер.2, Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 10.

[38] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 791.

[39] PLP. № 27556.

[40] Ibid. № 29598.

приняли православие, писали по-гречески и имели грецизированные имена[41].

Одним из важных штрихов собирательного портрета мира интеллектуалов может стать анализ средней продолжительности жизни и брачно-семейных отношений в ученой среде. Для сорока четырех человек известны даты рождения и смерти, что позволяет провести наблюдения демографического характера[42]. В возрасте от 40 до 50 лет умерло лишь два человека (Макарий Макрис и Лаоник Халкокондил), причем причиной смерти Макария Макриса была эпидемия чумы[43]. Больше половины ученых из этого списка перешагнули 70-летний рубеж (старше 70 лет умерло 30 человек). Четырх человек по праву можно отнести к долгожителям: Димитрий Рауль Кавакис (умер в 90-летнем возрасте); Георгий Трапезундский (91 год); Георгий Гемист Плифон (92 года); монах Нифон (96 лет). Если попытаться определить среднюю продолжительность жизни для этого ограниченного круга, то получится очень высокий показатель — приблизительно 72 года. Трудно соотнести эти данные с общей демографической ситуацией в Средние века, когда продолжительность жизни была крайне невысока. Однако здесь необходимо учесть ряд обстоятельств. Во-первых, интеллектуальным занятиям многие предавались уже на склоне лет, имея за плечами жизненный опыт, мудрость, материальные возможности, свободное время. Таким образом, вне поля зрения остаются те, кто, может, и обладал прекрасными задатками к творческой деятельности,

---

[41] См.: Beck H.-G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971. S. 197—199.

[42] К сожалению, многие годы жизни скорее предположительные, как в ситуации с Иоанном Хортасменом, смерть которого, по мнению Г. Хунгера, приходится на 1436/37 г., а П. Шрайнер на основании глубокого анализа источников доказывал, что Хортасмен умер в 1431 г.: Hunger H. Aus den letzten Lebensjahren des Johannes Chortasmenos. Das Synaxarion im Cod. Christ Church Gr. 56 // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 160 ; Schreiner P. Zum Tod des Johannes Chortasmenos // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 220.

[43] PLP. № 16379; Hunger H. Spätbyzantinische Bildbeschreibung... S. 133; Kapetanaki S. An Unpublished Supplication on Barren Olive-Trees by Macarius Macres // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 458.

но не смог реализовать свой потенциал ввиду преждевременной кончины. Скорбь по поводу ранней смерти друзей (θάνατος ἄωρος φίλου), увлеченных научными занятиями, выражена в письмах Димитрия Кидониса, пережившего потерю Радена и Синадина Астры[44], и Иоанна Хортасмена, сожалевшего об оставшихся нереализованными способностях Феодора Антиохита[45]. Во-вторых, относительность полученных данных определяется ограниченностью биографических сведений о других интеллектуалах: возможно, в действительности показатели средней продолжительности жизни были несколько ниже. И, наконец, вне зависимости от эпохи долголетие часто отличает людей, занятых интеллектуальным трудом, поскольку постоянная тренировка мозга, отсутствие чрезмерной физической нагрузки, истощающей организм, всегда благоприятно сказываются на здоровье человека и продлевают ему жизнь.

Любопытные результаты дает и анализ брачно-семейных отношений в среде интеллектуалов. По традиционным средневековым представлениям брак являлся препятствием на пути постижения истины и занятий наукой, отвлекая человека суетой повседневности, а потому, в идеале, ученый должен был быть свободным от семейных уз. Но в действительности лишь немногие, исходя из подобных соображений, сознательно отказывались от создания семьи. Димитрий Кидонис, который считал жизнь в целомудрии необходимым условием свободы ученого[46], для себя избрал путь безбрачия и стремился предостеречь от брака и своего ученика Радена, уверяя: «...если предпочтешь удовольствиям (брака. — *Т. К.*) свободу, философию, литературные занятия и то, чем мы вместе восхищались... то принесешь таким выбором себе пользу...»[47] Однако Раден не желал прислушаться к советам наставника в этом

---

[44] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1. Ep. 98. 40—47.

[45] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 139. 6; 151. 277.

[46] Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos // Byz. 1985. T. 55, Fasc.1. S. 230.

[47] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 186. 12—15.

вопросе, и Кидонису оставалось лишь констатировать: «Но, вероятно, ты станешь рабом общепринятых норм и в будущем вступишь в брак, хотя прежде ты первым стремился порицать эти (нормы. — *Т. К.*)»[48].

Византийские интеллектуалы чаще все же не отказывались от вступления в брак, и нам известно 24 человека[49], которые создали семью и имели детей. Среди них такие видные деятели интеллектуального мира, как Мануил Хрисолора, Геогрий Гемист Плифон, Михаил Апостол, Иоанн Аргиропул, Димитрий Халкокондил, Георгий Трапезундский и др. Не всегда, как мы видим, брак мешал научным занятиям, но благодаря ему можно было разрешить некоторые житейские проблемы. Он позволял улучшить материальное положение, породниться со знатным родом, продвинуться по службе. К примеру, женой Георгия Амирутци была дочь наместника Коринфа Димитрия Асана, состоявшего в родстве с императорским домом[50]. Лука Нотара, став зятем Иоанна VIII и Константина XI Палеологов[51], быстро продвинулся по служебной лестнице и достиг положения месадзона. Георгий Сфрандзи женился на Елене, представительнице знатной семьи из Мистры, дочери императорского секретаря Алексея Палеолога Цамплакона[52], который избрал крестным отцом своих детей деспота Мореи, будущего императора Константина XI[53]. Эти родственные связи благоприятствовали

---

[48] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 186. 9—11.

[49] Феодор Агаллиан, Георгий Амирутци, Михаил Апостол, Иоанн Аргиропул, Леонардо Деллапорта, Георгий Дисипат Палеолог, Георгий Евгеник, Иоанн Евгеник, Георгий Трапезундский, Иоанн Кантакузин, Матфей Асан Кантакузин, Димитрий Рауль Кавакис, Иоанн Клада, Мазарис, Иоанн Мосх, Мануил II Палеолог, Елена Палеологина, Димитрий Савромат Пепагомен, Михаил Панарет, Георгий Сфрандзи, Тарханиот, Димитрий Халкокондил, Иоанн и Мануил Хрисолоры.

[50] PLP. № 784.

[51] С. Рансимен предположил, что его женой была дочь Иоанна VIII на основании того, что Нотара называл себя зятем (γαμβρός) этого императора: Runcimen S. Lukas Notaras, «γαμβρός τοῦ βασιλέος». Heidelberg, 1966. S. 448.

[52] Джагацпанян Е. Д. Предисловие // Георгий Сфрандзи. Хроника / предисл., пер. и примеч. Е. Д. Джагацпанян // Кавказ и Византия. Ереван, 1987. Вып. 5. С. 176.

[53] Grecu V. Georgios Sphrantzes // BS. 1965. Vol. 26/1. S. 63.

служебной карьере Сфрандзи, и в своей «Хронике» он приводит такие слова деспота: «Я дал тебе Мистру (в наместничество. — *Т. К.*) за твою хорошую службу и из-за нашего с тобой кумовства...»[54] Матримониальные связи играли важную роль в укреплении или повышении социального статуса индивида, особенно в условиях ослабленных корпоративных уз в обществе.

Трудно сказать, в каком возрасте обычно вступали в брак люди, имевшие образование. Нам известно, что Михаил Апостол женился в 24 года, Феодор Агаллиан — в 25 лет, Георгий Сфрандзи — в 36 лет, а Димитрий Халкокондил обзавелся семьей, когда ему было уже 64 года. Можно лишь предположить, что люди науки создавали семьи уже в сознательном возрасте, руководствуясь порою и практическими соображениями. Известны примеры повторных браков. Так, упомянутый уже Георгий Амирутци в первом браке был женат на дочери протостратора, во втором — на дочери наместника Коринфа. Примечательно, что трое из списка были связаны брачными узами с иностранками. Димитрий Рауль Кавакис вступил в брак с итальянкой Томмасой Боккали[55]; Георгий Палеолог Дисипат, эмигрировавший во Францию, женился на француженке Маргарите[56]; Иоанн Хрисолора был женат на итальянке Манфредине Дориа, а их дочь вышла замуж за известного итальянского гуманиста Франческо Филельфо[57]. Последний пример симптоматичен еще в одном отношении. В византийском интеллектуальном мире, где все знали друг друга прямо или опосредованно, многие ученые роднились между собой посредством брака, тем самым цементируя внутреннее единство этой корпорации[58]. Когда начинали укрепляться связи с итальянскими гуманистами, то вполне есте-

---

[54] Georgios Sphrantzes. Memorii... XXVII, 2.

[55] PLP. № 10484.

[56] Ibid. № 5531.

[57] Ibid. № 31160, 31170; Ganchou Th. Les ultimae voluntates de Manuel et Iôannès Chrysolôras et le séjour de Francesco Filelfo à Constantinople // Byzantinistica. Spoleto, 2005. Vol. 7. P. 195—196.

[58] Ševčenko I. Théodore Métochites, Chora et les courants intellectuels de’époque // Art et société a Byzance sous les Paléologues. Venise, 1971. P. 17.

ственными стали интернациональные брачные союзы, которые в буквальном смысле роднили два интеллектуальных мира.

Определенные трудности представляет анализ состава семей. Интересным источником по семейным отношениям является «Хроника» Георгия Сфрандзи, в которой описания важнейших политических событий перемежаются краткими сообщениями о личной жизни автора, известиями о его браке, о рождении и смерти детей. Несмотря на свою, казалось бы, лаконичность, эти сообщения предельно эмоциональны, как, к примеру, запись Сфрандзи о кончине его сына Алексея: «И смерть эта сильно потрясла меня. И не знал я, несчастный, что мне уготовано еще более печальное будущее»[59]. Таким же эмоционально окрашенным является описание семейных осложнений, связанных с частыми, к тому же продолжительными отлучками Сфрандзи по государственным делам: «Я боюсь... как бы она [жена] не разгневалась и либо не ушла в монахини, либо не оставила меня и не взяла другого мужа, ибо вчера я приехал, проведя в Иверии год и 11 месяцев, а теперь мне снова уезжать»[60]. Подобные цитаты свидетельствуют о том, что византийским писателям в их повседневной жизни были знакомы те же страхи, проблемы и заботы, что и любому семейному человеку.

Говоря о византийской интеллектуальности, обычно в качестве ее характерной черты отмечают преемственность в образовании[61]. Не стремясь воспроизводить здесь всю «научную генеалогию» мира византийских интеллектуалов позднего периода империи, приведем в качестве примера только один факт, который проиллюстрирует присущие данной среде вертикальные связи. У Димитрия Кидониса учился Георгий Гемист Плифон, ставший впоследствии наставником Виссариона Никейского, учеником которого был Георгий Трапезундский. Эта преемственная связь

---

[59] Georgios Sphrantzes. Memorii... XXVIII, 6.

[60] Ibid. XXXIII, 3.

[61] См.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 12—13; Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 64; Кривушин И. В. Византийское образование при Палеологах // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 27.

между выдающимися интеллектуалами своего времени проходит насквозь через весь рассматриваемый нами период. Подобное звено, выделенное здесь нами из общей цепи, в реальной жизни дополнялось и многими другими узами, связывающими интеллектуальную элиту в единое целое посредством наставнических отношений. Эта черта способствовала сохранению единства ученой корпорации и передачи знаний, нравственных и духовных ценностей от одного поколения к другому.

Еще одна особенность интеллектуальной элиты поздней Византии — семейные традиции в приобщении к научным и литературным занятиям. Многие интеллектуалы были связаны друг с другом не только духовными, но и родственными узами. Любовь к науке и литературе была во многих семьях укоренившейся традицией. В этот период, как ни в какой другой, среди интеллектуалов встречается много близких родственников. В пределах нашего списка можно выделить 13 «семейных кланов»: 1) братья Димитрий и Прохор Кидонисы и состоящий с ними в родстве Георгий Гавриилопул Кидонис; 2) Андрей, Максим и Феодор Хрисоверги; 3) Марк и Иоанн Евгеники и их отец гимнограф Георгий; 4) Лаоник Халкокондил, его отец Георгий и кузен Димитрий; 5) братья Андроник и Георгий Галисиоты; 6) Мануил Хрисолора и его родственники Иоанн Хрисолора и Димитрий Скаран; 7) Мануил II Палеолог, его мать Елена Палеологина, дядя Константин Асан, дед Иоанн VI Кантакузин и родственник (οἰκεῖος) Георгий Гуделий; 8) мелограф Мануил Аргиропул и его сын Иоанн; 9) братья Игнатий и Каллист II Ксанфопулы; 10) Николай Кавасила, племянник и ученик патриарха Нила; 11) Димитрий Рауль Кавакис — правнук Феодора Метохита; 12) кузены Феодор Газа и Андроник Каллист; 13) Иоанн и Георгий Герметианы.

Дать хорошее образование своим детям было желанием многих родителей, заботившихся об их будущем. Безусловно, это было под силу порой лишь обеспеченным семьям. Приведенный нами перечень, где представлены в основном выходцы из состоятельных фамилий, подтверждает это. Любовь и стремление к знаниям, с одной стороны, наследовались детьми от родителей, с другой —

культивировалась в среде ближайших родственников. Таким образом, интеллектуалы нередко оказывались связанными не только духовно, но и кровно со своими предшественниками.

Рассмотрим теперь пространственно-географические характеристики сообщества византийских интеллектуалов, проанализировав места рождения, жизни и смерти его членов. В поздневизантийский период усиливается тенденция пополнения интеллектуальной среды выходцами из провинций. Из 56 человек, место рождения которых нам известно, лишь 23 родились в столице[62], а больше половины (33) были родом из различных регионов и областей империи: Трапезунда (Виссарион, Георгий Трапезундский и Георгий Амирутци), Кипра (Леонтий Махера, Исайя), Крита (Леонардо делла Порта, Иоанн Плусиадин, Стефан Сахликис, Марино Фалиеро), Фессалоники (Димитрий Кидонис, Мануил Хрисолора, Феодор Газа, Макарий Макрис, Николай Кавасила Хамает), Пелопоннеса (Исидор Киевский, Антоний Piропул, Иосиф Вриенний), Афин (Лаоник и Димитрий Халкокондилы), Фракии (Иоанн Аргир) и др. Для 18 человек[63] из общего списка местом смерти стал Константинополь, в то время как за пределами столицы умерло 16[64]. Сведения о местах рождения и смерти интел-

[62] Феодор Агаллиан, Михаил Апостол, Симон Атуман, Иоанн Аргиропул, Георгий Евгеник, Иоанн Евгеник, Марк Евгеник, Мануил Калека, Андроник Каллист, Димитрий Кастрин, Иоанн Клада, Андроник Контовлак, Иоанн и Констанин Ласкарисы, Мануил Оловол, Елена Палеологина, Мануил II Палеолог, Георгий Гемист Плифон, Симеон Фессалоникийский, Геннадий Схоларий, Афанасий Халкеолопул, Мануил Хрисолора, Мануил III Христоним.

[63] Георгий Амирутци, Симон Атуман, Иосиф Вриенний, Димитрий Гемист, Георгий и Марк Евгеники, Матфей Камариот, Иоанн Клада, Филофей Коккин, Матфей I, Мануил Оловол, Елена Палеологина, Мануил II Палеолог, Сильвестр Сиропул, Георгий Сфрандзи, Тарханиот, Димитрий Хрисолора, Макарий Хумн.

[64] Матфей Асан Кантакузин, Леонтий Махера, Мазарис, Нифон, Филофей, Антоний Пиропул, Мануил Калека, Леонардо Деллапорта, Иоанн Кантакузин, Андрей Хрисоверг, Макарий Макр, Нил Керамевс, Димитрий Кидонис, Мануил Хрисолора, Димитрий Скаран, Димитрий Кавакис. В данном перечне учтены только те, чья смерть приходилась на время до 1453 г., так как падение империи и последовавшая эмиграция вынудила многих покинуть пределы Византии и поселиться в других европейских государствах, где они и нашли свой последний приют.

лектуалов свидетельствуют об усилившейся провинциализации культурной жизни поздневизантийского времени.

Хотя столица продолжала оставаться центром духовной жизни Византии[65], в первой половине XV в. ее духовная монополия была основательно подорвана. Наряду со столицей появились и другие центры притяжения интеллектуальных сил[66]. Это было обусловлено падением престижа центральной власти, которая прежде выступала в качестве мецената и покровителя ученых. Одним из таких центров, соперничавшим по насыщенности и активности духовной жизни с Константинополем, особенно в первой половине XV в., стала Мистра[67]. В ней провел последние годы своей жизни Иоанн Кантакузин, здесь началась деятельность Виссариона Никейского[68]. Но ее расцвет связан с появлением там Георгия Гемиста Плифона, которого немецкий исследователь В. Блюм назвал «философом Мистры»[69], и сложившегося вокруг него кружка. Удаленный из столицы императором по наветам местных священников, Георгий Гемист Плифон переселился в Мистру, которую впоследствии покидал лишь изредка[70]. Слава о нем и его школе быстро распространилась по империи, и Мистра стала центром притяжения для всех, кто стремился к постижению мудрости под руководством Плифона.

Фессалоника также привлекала к себе интеллектуалов. Она всегда имела репутацию второго по значимости города в империи. Иоанн Кантакузин назвал ее «первым городом у ромеев после великого (Константинополя. — *Т. К.*)»[71] и «вторым глазом ромейского

---

[65] Бандиленко М. М. Византийские интеллектуалы второй половины XIV— первой половины XV в. // ВИ. 1999. № 11—12. С. 134.

[66] Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz… S. 321—330.

[67] Ζακυθηνὸς Δ. Α. Ἰδεολογιαὶ συγκρουσεις είς τὴν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολιν // Νεά Ἐστια. 1950. Τ. 47. Σ. 798.

[68] Медведев И. П. Из истории Мистры // ВВ. 1967. Т. 27. С. 133.

[69] Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355—1452) / übers. und erl. von W. Blum. Stuttgart, 1988. S. 2.

[70] Медведев И. П. Мистра : очерки истории и культуры поздневизантийского города. Л., 1973. С. 100.

[71] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV / ed. L. Schopen ; E. Bekker. Vol. 1—3. Bonn, 1828—1832. II, 573. 5—7.

государства»[72]. «Ты видишь, — писал Хортасмен своему другу, находившемуся в Фессалонике, — город, который красивее других после нашего»[73]. Во времена Палеологов Фессалоника имела и славу второго культурного центра империи после столицы[74]. Она не только считалась вторым после Константинополя городом по красоте, но и «домом поэтов и риторов», как назвал ее уроженец этого города Димитрий Кидонис[75]. И Мануил II Палеолог превозносил Фессалонику как центр культурной жизни, отмечая издревле культивировавшиеся здесь традиции духовности: «Город, который мог бы справедливо быть назван матерью риторов, или, скорее, источником литературы... Отличаясь здравомыслием и серьезностью своих жителей, он всегда имел многочисленных питомцев, которые, зная, что их отцы, отцы их отцов и даже их более отдаленные предки любили литературу и славу, следовали их путем»[76]. Оживление духовной и культурной жизни Фессалоники наметилось еще в начале XIV столетия, но особенно заметен расцвет наук и образования становится здесь с середины столетия. Однако захват города турками в 1387 г. привел к спаду духовной жизни. Последний всплеск творческой активности здесь пришелся на первые десятилетия XV в., после возвращения Фессалоники под власть империи

[72] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV. III, 108. 16.

[73] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 21. 9.

[74] Браунинг Р. Византийская Фессалоника: уникальный город? // ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: к 70-летию акад. Г. Г. Литаврина. М., 1999. С. 33—34; Nicol D. M. Thessalonica as a Cultural Centre in the Fourteenth Century // Ἡ Θεσσαλονίκη μεταξὺ Ἀνατολῆς και Δύσεως. Πρακτικὰ Συμποσίου τεσσαρακονταετηρίδος τῆν Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Θεσσαλονίκη, 1982. P. 121—131; Leontiades I. G. Gelehrtenkreise im Thessaloniki der Palaiologenzeit // Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἑορταστικὸς Τόμος, 50 χρόνια 1939—1989. Θεσσαλονική, 1992. Σ. 245—255; Tinnefeld F. Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike... P. 153—172; Idem. Demetrios Kydones: His Cultural Background and Literary Connection in Thessalonike // Macedonian Studies. 1989. Vol. 4, № 2. P. 33—43; Rhoby A. Stadtlob und Stadtkritik in der byzantinischen Literatur // Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag / hrsg. von M. Hinterberger und E. Schiffer. Berlin ; N. Y., 2007. S. 294 (Byzantinisches Archiv ; Bd. 20).

[75] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 188.16.

[76] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 84—88.

и до ее передачи венецианцам в 1423 г. В 1430 г. город окончательно был завоеван османами[77]. С Фессалоникой была связана деятельность Иоанна Анагноста, Константина Иванка, Мануила Мазариса, Макария Макриса, Симеона Фессалоникийского.

Еще одним культурным центром был Трапезунд, находившийся под властью Великих Комнинов[78]. Отсюда происходил Виссарион Никейский, продолживший свое образование в Константинополе. В энкомии своему родному городу, написанном в 1436 г., Висарион восхвалял почитание там наук[79]. Родом из этого города был также известный теолог и философ Георгий Амирутци, занимавший высокое положение при последнем трапезундском правителе Давиде I[80].

Безусловно, важное место в списке духовных центров Византии традиционно занимал и Афон.

Однако в этот период наряду с выше перечисленными появляются и другие центры притяжения для людей науки. Это было вызвано тем, что с начала XV в. Италия стала настоящим местом культурного паломничества для византийских ученых, которые находили там приложение своим силам на образовательной ниве. Особой популярностью пользовались университетские города, и это вполне понятно: там существовал особенно высокий спрос на образованных людей. Поэтому среди итальянских городов особенно притягательными для образованных греков были Флоренция, Венеция, Милан и Падуя.

Характерной особенностью интеллектуального мира поздней Византии является повышение мобильности ученых по сравнению с предшествующими периодами. При этом на смену центростремительной тенденции, когда вектор движения интеллектуальных сил был направлен к Константинополю, приходит центробежная.

---

[77] Νεπαντζη-Βαρμαζη Β. Βυζαντινη Θεσσαλονικη εγκωμια της πολης. Θεσσαλονικη, 2005. Σ. 49—52.

[78] Успенский Ф. И. Очерки из истории Трапезундской империи. СПб., 2003. С. 199—262; Карпов С. П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. С. 453—475.

[79] Lampsides U. Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt // BZ. 1935. Bd. 35. S. 15—17.

[80] Карпов С. П. История Трапезундской империи… С. 467—468.

Большинство интеллектуалов в рассматриваемый период лишь периодически проживали в столице. Провинция стала основным местом пребывания для 30 из них[81], живших на Пелопоннесе, Кипре, Крите, в Селимврии, Эпире, Фракии и других районах. Однако интеллектуалы постоянно перемещались не только внутри империи, но и на Запад. 35 человек из представленного списка хоть раз побывали на Апеннинском полуострове или окончательно переселились туда[82]. Однако география путешествий в западном направлении не ограничивалась лишь Италией. 12 человек из нашего списка[83] посещали и другие европейские государства (Англию, Францию, Германию, Польшу, Русь). Некоторые побывали при дворе турецкого султана[84], выполняя дипломатические поручения или в составе миссий. Высокая мобильность, присущая интеллектуальному сообществу в изучаемый период, была связана не только с выполнением служебных функций, но и с общей политической, идеологической и экономической ситуацией, которая провоцировала эмиграцию образованных людей, начавшуюся в конце XIV в. и достигшую апогея в XV в.

---

[81] Иоанн Анагност, Исаак Аргир, Иоанн Герметиан, Григорий (PLP. № 4604), Григорий (PLP. № 4607), Нил Дамила, Дука, Константин Иванк, Димитрий Рауль Кавакис, Матфей Асан Кантакузин, Мануил Мазарис, Макарий (PLP. № 16319), Макарий Макр, Леонтий Махера, Иоанн Мосх, Нил (PLP. № 20058), Нифон, Георгий Гемист Плифон, Иоанн Плусидиан, Прохор (PLP. № 23855), Прохор (PLP. № 23856), Иоанн Симеонак, Нил Ставр, Феофан (PLP. № 7615), Феофан (PLP. № 7616), Иосиф Филагрис, Филофей, Алексей Форвин, Лаоник Халкокондил, Андрей Хрисоверг.

[82] Михаил Апостол, Константин Асан, Иоанн Аргиропул, Симон Атуман, Виссарион, Феодор Газа, Андроник Галисиот, Георгий Трапезундский, Георгий и Иоанн Герметианы, Григорий (PLP. № 4604), Георгий Палеолог Дисипат, Иоанн Евгеник, Евстафий, Исайя, Димитрий Рауль Кавакис, Мануил Калека, Димитрий Кастрин, Димитрий Кидонис, Георгий Гавриилопул Кидонис, Адроник Контовлак, Константин и Иоанн Ласкарисы, Макарий (PLP. № 16254), Иоанн Плусидиан, Димитрий Скаран, Иоанн Софиан, Феодор (PLP. № 7476), Афанасий Халкеопул, Андрей и Максим Хрисоверги, Георгий Хрисококк, Иоанн и Мануил Хрисолоры.

[83] Симон Атуман, Иоанн Аргиропул, Виссарион, Георгий Герметиан, Андроник Каллист, Иоанн Ласкарис, Макарий (PLP. № 16254), Исидор Киевский, Мануил Оловол, Мануил II Палеолог, Андрей Хрисоверг, Мануил Хрисолора.

[84] Леонардо Деллапорта, Дука, Леонтий Махера, Лука Нотара, Георгий Сфрандзи, Димитрий Ангел Клида Филоммат, Лаоник Халкокондил, Димитрий Хрисолора.

Анализ демографических показателей жизни интеллектуального сообщества позволяет заключить, что в указанный период имели место провинциализация культурной жизни и рассеивание интеллектуальных сил, что, впрочем, не нарушало единства корпорации в целом. Однако это была новая тенденция, ибо в предыдущие столетия доминирование Константинополя в культурной жизни было неоспоримо. Перемены в политической ситуации оказывали влияние и на интеллектуальную сферу, вызывая перемещение творческих сил на периферию или за пределы империи.

И. Шевченко, анализируя интеллектуальную жизнь XIV в., разделяет ее участников на тех, кто принадлежал к церковной сфере, и тех, кого он называет мирянами[85]. Рассмотрим в этом плане и наш список, сопоставляя полученные результаты с выводами исследования И. Шевченко, относящимися к XIV в.

Среди интеллектуалов интересующего нас периода больше половины составляют те, кого можно отнести к церковной сфере (76). В их числе не только имевшие какой-либо духовный сан или принявшие постриг, но и люди, занимавшие посты в церковной администрации, хотя при этом они могли оставаться мирянами. В приведенном нами выше списке интеллектуалов немало высших церковных иерархов: 10 патриархов Константинополя[86] и 25 митрополитов[87]. Некоторые интеллектуалы, хоть и не входили сами

---

[85] См.: Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 10—11.

[86] Нил Керамевс, Филофей Коккин, Каллист II Ксанфопул, Матфей I, Григорий III Мамма, Исидор Киевский, Виссарион, Мануил III Христоним, Геннадий Схоларий, Сильвестр Сиропул. Из названных патриархов носили титул латинского патриарха Константинополя Григорий III Мамма (1452—1459), Исидор Киевский (1459—1463) и Виссарион (1463—1472), трое стали во главе Константинопольской кафедры уже после падения Византии: Геннадий Схоларий (1454—1456), Сильвестр Сиропул (1463—1464), Мануил III Христоним (1476—1482).

[87] Феодор Агаллиан во фракийской Медее, Виссарион в Никее, Гавриил в Фессалонике и Халкедоне, Исидор Глава в Фессалонике, Даниил в разное время в Смирне и Эфесе, Дорофей в Митилини, Марк Евгеник в Эфесе, Евстафий в Веррии, Иоасаф в Эфесе, Исидор в Киеве, Макарий в Анкаре, Матфей в Кизике, Никита Мирсиниот на Родосе, Нил на Родосе (PLP. № 20046), Николай в Фессалонике, Иоанн Плусиадин в Метоне, Прохор на Родосе, Прохор в Ставрополисе, Симеон в Фессалонике, Феофан

в церковную элиту, но были близки к ней, как, например, монах Иосиф Вриенний, являвшийся проповедником при дворе Мануила II Палеолога и представителем патриарха на Кипре[88].

Хорошее образование и риторические способности способствовали продвижению по карьерной лестнице, позволяя их обладателям занять высокие должности в церковном управлении. Посты в церковной администрации на разных этапах своей жизни занимали 16 человек[89]. Церковь продолжала сохранять свое могущество, и многие интеллектуалы стремились заручиться ее покровительством в условиях политического и экономического ослабления центральной власти.

Значительная часть лиц из нашего списка (61)[90] приняла монашеские обеты. Но надо учитывать и то, что по традиции многие

в Никее, Феофан во фракийском Перифеорионе, Филофей в Селиврии, Иоанн Хортасмен в Селимврии, Макарий Хрисокефал в Филадельфии, Андрей Хрисоверг на Родосе.

[88] PLP. № 3257.

[89] Протопапы на Крите Иоанн Симеонак и Иоанн Плусиадин, нотарии Великой церкви Михаил Хрисококк и Димитрий Хлор, клирик Великой церкви Мануил, протосинкел Макарий Макр, дикеофилакс Феодор Агаллиан, кафаликос и топорет Евстафий, номикос Великой церкви Феодор (PLP. № 7475), синкелл патриарха Антиохии и великий протосинклитик Иоасаф, хартофилакс Великой церкви Николай, логофеты Мануил и Георгий Евгеник. Двое являлись нотариями патриаршей канцелярии (Иоанн Хортасмен и Феодор (PLP. №7475) и 1 человек был скеофилаксом в Святой Софии в Фессалонике (Мануил Мазарис).

[90] Феодор Агаллиан, Каллист Ангеликуд, Исаак Аргир, Симеон Атуман, Макарий Аспрофрис, Виссарион, Иосиф Вриенний, Нил Дамила, Димитрий, Гавриил Философ, Гавриил (PLP. № 3416), Андроник Галисиот, Георгий Галисиот, Исидор Глава, Григорий (PLP. № 4607), Григорий Философ, Григорий III Мамма, Даниил, Дорофей, Евстафий, Евлогия, Марк Евгеник, Исайя, Исидор Киевский, Иоасаф, Досифей Каппадокс, Нил Керамевс, Филофей Коккин, Кохил, Игнатий Ксанфопул, Каллист II Ксанфопул, Макарий (PLP. № 16254), Макарий (PLP. № 16318), Макарий Макр, Матфей (PLP. №17309), Матфей I, Максим Мазарис, Никита Мирсиниот, Нил (PLP. № 20058), Нил (PLP. № 20059), Николай, Нифон, Мануил II Палеолог, Елена Палеологина, Иоанн Плусиадин, Прохор (PLP. № 23855), Прохор (PLP. № 23856), Сильвестр Сиропул, Георгий Сфрандзи, Геннадий Схоларий, Симеон Фессалоникийский, Нил Ставра, Тарханиот, Феофан (PLP. № 7616), Феофан (PLP. № 7617), Иосиф Филагрис, Филофей, Афанасий Халкеопул, Иоанн Хортасмен, Макарий Хрисокефал, Мануил II Христоним, Макарий Хумн.

приходили к подобному решению лишь на склоне лет, прожив активную жизнь в миру. Примером тому могут служить судьбы Георгия Сфрандзи, известного историка, занимавшего крупные должности при последних Палеологах и лишь в возрасте 68 лет принявшего постриг в монастыре на Корфу[91], или императора Мануила II Палеолог, принявшего монашеский обет за несколько дней до своей смерти[92].

Основными центрами, к коим тяготело образованное монашество, оставались монастыри Константинополя, Афона и Метеор. Большинство известных нам монахов-интеллектуалов занимали далеко не последние места в иерархии духовенства. Многие из них быстро продвигались по карьерной лестнице в лоне церкви. Среди монахов встречались и весьма состоятельные люди. Основателями кельи в столице стали два брата — Каллист и Игнатий Ксанфопулы[93], ктитором монастыря на Крите был Иосиф Филагрис[94]. Нил Дамила основал женский монастырь, составил для него типик и передал ему свою прекрасную библиотеку. В дальнейшем здесь при его поддержке кипела бурная интеллектуальная жизнь[95].

Говоря о духовных лицах, мы имеем в виду лишь тех, кто принадлежал к православной церкви. Но в этот период среди византийских ученых появляются и католики. Широкая полемика по вопросам латинского богословия, начавшаяся в XIV в.[96] и обострившаяся в следующем столетии, а также связанное с нарастанием турецкой опасности упование на военную помощь католического Запада способствовали распространению пролатинских настроений среди различных социальных групп и усилили внимание к запад-

---

[91] Georgios Sphrantzes. Memorii... XLV, 3; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 494; PLP. № 27278.

[92] Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425) : a Study in Late Byzantine Statesmanship. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969. P. 383.

[93] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 784.

[94] PLP. № 29730.

[95] Talbot A.-M. Bluestocking Nuns: Intellectual Life in the Convents of Late Byzantium // Harvard Ukrainian Studies. 1983. P. 608, 613.

[96] Поляковская М. А. Димитрий Кидонис и Запад (60-е гг. XIV в.) // АДСВ. 1979. Вып. 16. С. 55—56.

ной цивилизации в целом. Но если стремление властей Византии к политическому и конфессиональному сближению с Западом было обусловлено надеждой получить оттуда военную помощь, то образованные византийцы ратовали за союз двух церквей исходя из теологических соображений, ибо уже вкусили к тому времени плоды западной схоластики и по достоинству оценили их[97]. Эти мотивы и вызвали переход некоторых интеллектуалов из традиционного православия в лоно католической церкви. Из перечисленных в нашем списке 18 сменили свое вероисповедание[98], причем 11 из них поступили на службу при папском престоле[99]. Мануил Калека, Максим и Андрей Хрисоверги стали доминиканскими монахами[100]. Кардинальского звания удостоились Исидор Киевский и Виссарион. Виссарион, имея значительный вес в римской курии, дважды рассматривался как реальный претендент на папский престол. Примечательно, что среди этих людей также можно выделить круг тех, кто был связан друг с другом отношениями «учитель — ученик». Вероятно, на принятие учеником решения о смене веры существенное влияние могла оказать и позиция наставника в этом вопросе. Вслед за своим учителем Димитрием Кидонисом его ученики Мануил Хрисолора, Димитрий Скаран, Максим и Андрей Хрисоверги перешли в католичество.

Сравним полученные данные с ситуацией XIV в., проанализированной И. Шевченко. Он относит к людям церкви 55 % интеллектуалов того времени. Приведенные выше данные для последней трети XIV — первой половины XV в. показывают, что 50 % общего

---

[97] См.: Hunger H. Byzanz — eine Gesellschaft mit zwei Gesichtern // Historisk-filosofiske Meddelelser. Kobenhavn, 1984. Bd. 51/2. S. 5.

[98] Георгий Герметиан, Георгий Палеолог Дисипат, Георгий Трапезундский, Виссарион, Григорий III Мамма, Исидор Киевский, Иоанн Кипариссиот, Мануил Калека, Димитрий Рауль Кавакис, Иоанн Ласкарис, Феодор Потамий, Афанасий Халкеопул, Максим и Андрей Хрисоверги, Иоанн и Мануил Хрисолоры.

[99] Георгий Герметиан, Георгий Трапезундский, Виссарион, Григорий III Мамма, Исидор Киевский, Иоанн Кипариссиот, Димитрий Рауль Кавакис, Иоанн Ласкарис, Афанасий Халкеопул, Андрей Хрисоверг, Иоанн Хрисолора.

[100] См.: Loenertz R. La société des frères pérégrinants. Étude sur l'Orient Dominicain. Rome, 1937. P. 83—88.

числа интеллектуалов имели отношение к церковным структурам. Думаю, эта небольшая разница может объясняться неизбежной при отсутствии исчерпывающих данных погрешностью в подсчетах, а в действительности же соотношение ученых людей в церковных и светских кругах оставалось, вероятно, и в поздний период примерно таким же, как в прежние времена.

Другая половина интеллектуалов принадлежала к светским кругам. Я не исключаю из их числа и тех, кто занимал определенные позиции в церковной иерархии, так как интеллектуальный образ жизни в своих основных проявлениях продолжал носить светский характер.

Основная масса ученых принадлежала к гражданским лицам. В нашем случае только трое имели отношение к военной службе: Михаил Панарет, часто принимавший участие в походах[101]; Тарханиот, состоявший на военной службе в 1374—1375 гг.[102]; Лука Нотара, бывший великим дукой флота в 1441—1456 гг.[103] Ситуация, когда книжные люди были представлены в основном гражданской частью социума, типична и для более ранних веков Византии[104].

Практические профессии, как и в предшествующий период[105], имело довольно незначительное число интеллектуалов. Здесь стоит оговорить разницу между профессией и должностью. Первая отличается от второй степенью специальной подготовки ее обладателя, и в данном случае речь идет о тех, кто имел такую подготовку и жил за счет своих знаний в определенных областях науки. О двух интеллектуалах известно, что они были судьями[106], а один — адвокатом на Крите (Леонардо Деллапорта). Семеро являлись

---

[101] PLP. № 21651.

[102] Ibid. № 27471.

[103] Ibid. № 20730.

[104] Каждан А. П. Социальный состав... С. 245.

[105] Шевченко отмечает, что интеллектуалы редко имели практическую профессию, и только 5 человек в XIV в. занимались деятельностью врачей и адвокатов (см: Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 11).

[106] Димитрий Катадукин, Константин Иванк. Здесь не учтены те, кто занимал должность вселенского судьи ромеев.

врачами[107], имея специальную подготовку и оставив после себя трактаты на медицинские темы[108]. Ярким примером сочетания врачебной практики и интеллектуальных занятий может служить история Иоанна Аргиропула, который изучал в Италии среди прочих наук и медицину[109], а в 1448—1453 гг. преподавал в больнице при монастыре Продрома, которую основал в Константинополе сербский правитель Стефан Милутин[110]. Другой представитель когорты поздневизантийских врачей Георгий Кидонис Гавриилопул, придворный лекарь Иоанна V Палеолога, получил от Димитрия Кидониса прозвище Философ[111]. Действительно, наряду с врачебным искусством Георгия занимали философские и теологические проблемы[112].

К практической деятельности можно было бы отнести также и преподавание. Безусловно, оно материально вознаграждалось. Но поскольку большинство интеллектуалов имели необходимый для преподавания уровень образования (византийскую систему образования в качестве учителя или ученика прошел почти каждый третий человек из нашего списка), то разграничим профессиональных учителей и тех, кто в лучших византийских традициях брался за наставничество, не рассматривая его, однако, в качестве основного

---

[107] Иоанн Абрамий, Иоанн Аргиропул, Георгий Кидонис Гавриилопул, Димитрий Пепагомен Савромат, Мануил Оловол, Антоний Пиропул, Иоанн Стафидакис.

[108] Э. Трапп, анализируя общественное положение врачей в поздней Византии, особо отмечает большое число ученых, писателей, переписчиков рукописей среди них (Trapp E. Die Stellung der Ärzte in der Gesellschaft der Palaiologenzeit // BS. 1972. T. 33/2. S. 230—234. О врачах, которые входили в интеллектуальную элиту, см.: Кущ Т. В. Образ врача в литературе позднепалеологовской Византии // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 246—257.

[109] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 2. S. 314; Mondrain B. Jean Argyropoulos professeur à Constantinople et ses auditeurs médecins, d'Andronic Éparque à Démétrios Angelos // ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. Miscellanea für P. Schreiner zu seinem 60. Geburtstag / htsg. C. Scholz und G. Makris. München ; Leipzig, 2000. P. 232—237.

[110] Греки именовали эту больницу ξενών (Живојиновић М. Болница краља Милутина у Цариграду // ЗРВИ. 1975. Vol. 16. С. 105).

[111] Tinnefeld F. Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones // OCP. 1972. Bd. 38, H. 1. S. 143.

[112] Ibid. S. 148.

источника своих доходов и имея возможность выбирать себе учеников по собственному желанию. Для изучаемого периода можно обнаружить значительное число профессиональных учителей среди ученых. 30 человек преподавали в Патриаршей школе, светских школах или частным образом[113], двое из них были также наставниками императорских особ[114]. В связи с активной эмиграцией, начавшейся в конце XIV в., 15 человек[115] нашли себе работу на Западе в качестве учителей греческого языка, философии или риторики, давая частные уроки или занимая кафедры в итальянских университетах.

Таким образом, демографические наблюдения позволяют добавить ряд характеристик к собирательному портрету поздневизантийской интеллектуальности. Эта среда, будучи по преимуществу мужской и этнически довольно однородной, была пронизана родственными связями или узами ученичества, укреплявшими внутреннее единство этого сообщества. Как и прежде, жизнь интеллектуалов, родиной которых были разные места Византийской империи, в большей степени была связана с традиционными культурными центрами, первенствующее положение среди которых занимал Константинополь. Однако избранный для изучения период обнаруживает важные перемены в культурной жизни Византии. Это нашло выражение прежде всего в усилении центробежных тенденций, связанных с оттоком интеллектуальных сил не только на периферию

---

[113] Антоний Византиец, Михаил Апостол, Иоанн Аргиропул, Симон Атуман, Михаил Вальсамон, Иосиф Вриенний, Феодор Газа, Иоанн Герметиан, Георгий Гемист Плифон, Иоанн Докиан, Георгий Евгеник, Марк Евгеник, Константин Иванк, Иоанн (PLP. № 8740), Мануил Калека, Матфей Камариот, Димитрий Кастрин, Димитрий Кидонис, Иоанн Клада, Иоанн Ласкарис, Иоанн Мосх, Иоанн Симеонак, Иосиф Филагрис, Алексей Форвин, Иоанн Хортасмен, Андрей Хрисоверг, Макарий Хрисокефал, Георгий Хрисококк, Иоанн Хрисолора, Мануил III Христоним.

[114] Димитрий Кидонис был учителем императрицы Елены Палеологины и будущего императора Мануила II Палеолога; Иоанн Герметиан обучал детей деспота Мореи Андрея — Мануила и Зою Палеологов.

[115] Михаил Апостол, Иоанн Аргиропул, Феодор Газа, Андроник Галисиот, Георгий Трапезундский, Георгий Герметиан, Андроник Каллист, Матфей Камариот, Иоанн Канабутц, Димитрий Кастрин, Андроник Контовлак, Иоанн Ласкарис, Константин Ласкарис, Димитрий Халкокондил, Мануил Хрисолора.

империи, но и за ее пределы. Провинциализация интеллектуальной жизни, означавшая появление нескольких культурных центров, соперничавших по насыщенности интеллектуальной жизни со столицей, и эмиграция ученых, покидавших отечество в поисках лучшей доли, стали характерной чертой этого времени.

Долголетие и активная деятельность не только на ниве интеллектуальных занятий, но и на политическом либо церковном поприще отличали многих носителей византийской образованности. Можно констатировать равное соотношение светских и духовных лиц в кругу поздневизантийских интеллектуалов. Ученые, связанные с церковно-монастырскими структурами, в большинстве своем занимали благодаря эрудиции, знаниям и способностям довольно высокие позиции в этой системе. Лица, не оставлявшие мирские заботы ради церковного служения, также оказывались в рядах чиновной элиты или в императорском окружении.

Место интеллектуалов в придворном мире и структурах власти

В Византии, в отличие от средневекового Запада, интеллектуалы всегда были в х о ж и в о в л а с т ь и б л и з к и к п р е с т о л у[116]. Это связано с двумя существенными обстоятельствами типологического свойства.

Во-первых, Византия была централизованным государством с сильной центральной властью, имевшей изначально публично-правовой характер. Даже в периоды проявления сепаратистских тенденций, институт императорской власти сохранял незыблемость, и двор императора, невзирая ни на какие перемены в политической сфере, оставался ядром всей общественной жизни страны. Это определяло притягательность императорского двора

---

[116] См., например: Чекалова А. А., Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть в Византии // ВО. 1996. С. 5—24; Кущ Т. В. Роль интеллектуалов в придворном мире Поздней Византии // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2009. № 4(66). С. 238—239.

для представителей тех социальных слоев, которые связывали свои карьерные устремления и политические амбиции прежде всего с расположением и покровительством василевса.

Во-вторых, именно служба при императорском дворе или должности в различных ведомствах гарантировали социальное благополучие человека, поскольку не земля (как это было на западе христианского мира), а именно должность придавала человеку социальный вес и обеспечивала ему материальное процветание. Средством повышения социального статуса в византийском обществе традиционно оставалось карьерное продвижение по административной лестнице или в придворной иерархии. По замечанию А. П. Каждана, византийское общество было примером «акорпорированного общества»[117], где доступ к социально значимым ролям был открыт для выходца из любых социальных слоев[118]. Одним из главных факторов, ускорявших продвижение по карьерной лестнице, наряду с личными качествами или заслугами перед императором была образованность — эффективный инструмент социальной мобильности. Человек, обладавший хорошим образованием, имел гораздо больше шансов достичь общественных высот, ведь «византийская элита осмыслялась как “открытая” социальная группировка, доступ в которую обусловливался не наследственными, а личными достоинствами человека»[119].

Эти два обстоятельства обеспечивали высокую степень концентрации интеллектуалов во власти на всем протяжении византийской истории. В свою очередь, высокий престиж бюрократии, определявшийся тем, что решающую роль в системе общественных отношений играли не поземельные, а личные и должностные связи, порождал специфическую социальную стратегию образованной элиты, стремившейся попасть в слой чиновничества или войти в императорское окружение.

---

[117] Kazhdan A., Constable G. People and Power in Byzantium : an Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington, 1982. P. 30.

[118] Каждан А. П. Византийская культура. СПб., 1997. С. 70.

[119] Каждан А. П. Об аристократизации византийского общества VIII—XII вв. // ЗРВИ. 1968. Т. 11. С. 47.

Византийский интеллектуал во все времена желал пробиться ко двору. Как образно выразился И. Шевченко, «императорское солнце по-прежнему грело лучше всего»[120]. В речи, обращенной к Иоанну V Палеологу, Димитрий Кидонис перечислял выгоды, которые приносила государственная должность: ее обладатель приобретает землю и дома, выгодно ссужает деньгами торговцев, получает подношения от просителей, чьи просьбы он доводит до императора, распределяет посты, тем самым усиливая собственное влияние, и продвигает своих родственников по карьерной лестнице[121]. Мануил Калека, хвалясь близостью к императору, писал своему другу Мелидону, что высокое положение при дворе дает ему власть и «увеличивает благополучие»[122]. Именно стремление получить власть и деньги вынуждали Геннадия Схолария настойчиво добиваться в 1430-е гг. должности при дворе[123]. Он писал деспоту Феодору, объясняя свое решение покинуть Константинополь: «Зачем я имел столько хлопот с переездом в другое место, когда мог бы быть счастлив дома? С тех пор ничего не изменилось, правитель не посчитал меня достойным должности, поэтому я не захотел более там оставаться и ждать его решения относительно моей судьбы»[124]. Место при дворе, согласно Мазарису, давало все, о чем только мог грезить человек: богатство, славу, почести[125].

Действительно, провинциальные интеллектуалы стремились в столицу, движимые не только желанием продолжить образование в столичных школах или у маститых ученых, но и осознанием того, что только там можно стяжать славу, признание, императорское

---

[120] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIV[th] Century... P. 17.

[121] Demetrii Cydonii orationes duae // Démétrius Cydonès. Correspondance... P. 21. 22—26.

[122] Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. P. 179. Ep. 9. 30—32.

[123] Blanchet M.-H. Georges Gennadios Scholarios (vers 1400 — vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face a la disparition de l’empire byzantine. P., 2008. P. 300—301.

[124] Oeuvres complètes de Gennade Scholarios / ed. L. Petit, A. Siderides, M. Jugie. P., 1935. Vol. 4. P. 419. Ep. 7. 13—16.

[125] Мазарис // Византийский сатирический диалог / подгот. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской. Л., 1986. С. 94.

благоволение и, если повезет, должность с гарантированным материальным достатком. Ролей, на которые претендовали ученые и писатели, при императорском дворе было более чем достаточно.

Одна из наиболее заманчивых перспектив, открывавшихся перед известным ученым, — стать наставником детей или жены василевса. Сознавая важность образования для коронованных особ, императоры заботились о воспитании своих наследников под руководством опытных учителей. Эта практика, хорошо известная еще с античных времен, имела широкое распространение на протяжении всей истории Византии. Так, император Иоанн VI Кантакузин (1347—1354) пригласил в учителя для своей дочери Елены молодого еще интеллектуала Димитрия Кидониса, который впоследствии по воле своей бывшей ученицы станет и наставником ее сына, будущего императора Мануила II Палеолога (1391—1425). Между учителем и учеником складывались доверительные дружеские отношения, которые влекли за собой императорское расположение и гарантировали высокое покровительство. В случае с Кидонисом именно заступничество Елены позволило ему сохранить полученный при Иоанне VI пост первого министра (месадзона) и после прихода к власти ее мужа Иоанна V Палеолога (1341—1391)[126].

Надежным способом для образованного человека проявить себя и выделиться из придворной толпы было написать энкомий, прославляющий правителя, т. е. императорскую речь (βασιλικὸς λόγος). Подобные произведения, имевшие широкое распространение во все века византийской истории, составлялись по определенным правилам, уходившим своими корнями к Менандру. Традиция восхваления василевса и в поздневизантийское время сохраняла свою актуальность, поскольку помогала интеллектуалу занять место у трона и получить толику императорских щедрот.

Составление хвалебных слов в честь императора или членов его семьи, а также их последующая публичная рецитация приот-

---

[126] Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress Helena Kantakouzene Palaiologina // DOP. 1992. Vol. 46. P. 163.

крывала для автора дверь в придворный мир и оборачивалась «золотым дождем», если сочинение удостаивалось царственного внимания и благосклонной оценки. Интеллектуалы, нуждавшиеся в императорских благодеяниях, соревновались друг с другом в умении расположить к себе василевса, и лесть их не знала границ[127].

Византийский двор никогда не оставался без риторов. Ритор, по замечанию Г.-Г. Бека, был одновременно учителем, политиком и государственным деятелем[128]. Восхваление императора служило прославлению всей политической системы. В силу этого в Византии получил широкое распространение такой жанр, как придворная парадная риторика, являвшаяся неотъемлемой частью презентации власти. Риторика во все времена рассматривалась властью как инструмент политики и средство политической пропаганды[129], поскольку с ее помощью формулировались и доводились до общего сведения базовые основы политической идеологии и представления об императорской власти, политические идеалы и нравственные ориентиры. В энкомиях, несмотря на изобилие в них отточенных веками штампов, отражались и ключевые положения политической теории, и реальная политическая практика. Таким образом, в руках риторов, писавших хвалебные оды императорам, находилось мощное орудие политической пропаганды, служившее укреплению государственной власти. Василевсы, в свою очередь, использовали посвященные им энкомии для того, чтобы убедить оппонентов, но еще больше своих сторонников в правильности проводимого правительством политического курса[130]. Обойтись без красноречия интеллектуалов власть не могла.

---

[127] Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology in Byzantium before 1453 / trans. with a pref. by P. Magdalino. Geneva, 2011. P. 115.

[128] Beck H.-G. Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia // Antike und Abendland. 1969. Bd. 15. S. 98.

[129] Dennis G. T. Imperial Panegyric: Rhetoric and Reality // Byzantine Court Culture from 829 to 1204 / ed. by H. Maguire. Washington, 1997. P. 131; Hunger H. Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden. Wien, 1964. S. 211—214; Idem. Die hochsprachliche profane Literatur... S. 65—74.

[130] Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology… P. 126—127.

Интеллектуал, берущийся за перо, чтобы воспеть императорские достоинства и благодеяния, должен был соблюдать стандартную форму официального восхваления василевса. Показательна в данном отношении речь Иоанна Докиана в честь Константина XI Палеолога, в которой нагромождение топосов и клишированных фраз обезличило объект восхваления до такой степени, что подобное славословие легко могло бы быть обращено к любому из трех последних византийских императоров[131]. Панегирик, который составлялся по классическим законам жанра, тем не менее допускал определенную свободу и вариативность в выборе тем, расстановке акцентов, литературных приемах[132].

Основная задача, стоявшая перед энкомиастом, заключалась в прославлении личности и политики правящего императора[133], а также в создании привлекательного образа правителя. Исидор Киевский в панегирике Мануилу II Палеологу и его сыну Иоанну VIII[134] описывал императора как человека «предусмотрительного, сдержанного, умеренного, человеколюбивого, благоразумного, справедливого, рассудительного, защитника и доброго отца для всех, заботящегося о каждом подданном»[135]. Подобный набор характеристик можно обнаружить в большинстве речей, превозносивших императорские достоинства. Немало потрудился на этой ниве Кидонис, который за свою долгую политическую карьеру составил хвалебные речи в адрес трех императоров, с каждым из них связывая свои надежды на прекрасное правление. Восхваляя

---

[131] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912. Τ. 1. Σ. 221—231.

[132] Dennis G. T. Imperial Panegyric... P.133.

[133] Angelov D. Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204—1330. Cambridge, 2006. P. 161; Karla G. A. Rhetorische Kommunikation in den Kaiserreden des 12. Jhs.: Der Kontakt zum Publikum // JÖB. 2007. Bd. 57. S. 85.

[134] См. анализ энкомия: Schmitt O. J. Kaiserrede und Zeitgeschichte im späten Byzanz : ein Panegyrikos Isidor von Kiev aus dem Jahre 1429 // JÖB. 1998. Bd. 48. S. 209—242.

[135] Καὶ γίγνῃ πᾶσι βασιλεὺς προνοητικός, πρᾶος, ἐπιεικής, φιλάνθρωπος, περι–εσκεμμένος, δίκαιος, εὔβουλος, κηδεμών, πάντων ἤπιος πατήρ, παντὴς ἐπιμελὴς ὑπηκόου: Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Τ. 3. Σ. 199.21—23.

Мануила II Палеолога («его украшают не только пурпур и диадема»), Кидонис писал: «…Если бы его увидел Платон, то сказал бы, что ему [Мануилу] больше, чем Зевсу, свойственны царственный разум и царственная душа»[136]. Иоанн Хортасмен воспевал справедливость, благоразумие и храбрость Иоанна VIII[137]. Иоанн Аргиропул подчеркивал мудрость и образованность того же императора[138]. Панегириком ритор доносил до аудитории свое представление об идеальном правителе и тех чертах, которыми тот должен обладать.

Идеальный правитель, по мнению интеллектуалов, должен сочетать в себе справедливость, мужество, добродетель с почитанием философии и искусством владения словом. К традиционному набору неотъемлемых свойств императорского достоинства[139] они добавляют еще одну черту, которая должна отличать василевса, — образованность высшей пробы, подразумевающая также регулярные литературные занятия, почитание мудрости, интерес к сочинительству, покровительство ученым. Квинтэссенция этой идеи выражена фразой «философ на троне», которая была адресована императору Мануилу II Палеологу. И хотя идеалу отвечали далеко не все императоры, интеллектуалы пытались сформировать как у них самих, так и у остальной аудитории именно подобное представление о достойном правителе.

Елей, обильно расточавшийся на страницах византийских панегириков, зачастую должен был завуалировать скрытую критику в адрес правителя. Она могла носить форму намеков, туманных аллюзий, «камуфлировалась трезвоном восхвалений»[140]. Но, даже пользуясь «эзоповым языком», риторы могли рассчитывать на то, что предмет их обсуждения и осуждения понятен большинству аудитории.

---

[136] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 192, 13—15.

[137] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften… S. 217. 31 — 218. 32.

[138] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Τ. 3. Σ. 317. 8—20.

[139] Hunger H. Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee... S. 114—117; Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей // ВДИ. 1972. № 4. С. 29.

[140] Каждан А. П. Византийская культура… С. 88.

Порой автор действовал по принципу от противного и приписывал объекту своего восхваления те черты, которые он желал бы обнаружить в действительности. Это было связано, с одной стороны, с желанием нюансировать официальный образ правителя, с другой — со стремлением подвергнуть косвенной критике те черты характера, решения и поступки императора, которые не согласовывались с его высоким рангом. Следуя античному принципу свободы слова (ἡ παρρησία), подразумевавшему право прямо высказывать свои мысли, риторы допускали возможность публичной критики власти, хотя эта критика была многократно смягчена славословиями и скрыта под толщей дифирамбов. Именно в праве на критику власти интеллектуалы и видели свою главную функцию в обществе. В соответствии с этим принципом риторы, используя форму императорского панегирика, выражали свое видение того, какой должна быть власть, хотя любая их критика всегда оставалась, по выражению Г.-Г. Бека, лояльной и неконфликтной по отношению к существующей системе (*systemimmanent*)[141].

Интеллектуалы считали себя вправе давать советы правителю, рекомендовать ему лучший способ решения той или иной задачи. В этом случае панегирик должен был повлиять на решения императора либо побудить его к какому-то поступку. Поскольку для поздневизантийского времени главную заботу императора составляла проблема ослабления империи, оказавшейся в состоянии глубокого упадка, интеллектуалы пытались предложить свои рецепты выхода из кризиса. По мнению византийского ученого Мануила Хрисолоры, именно образование является тем чудодейственным средством, которое в состоянии реанимировать могущество империи и спасти ее от грозящей ей гибели. С этой целью в речи, адресованной Мануилу II, он советовал императору содействовать созданию школ, поддерживать ученых и возрождать изучение античного и христианского наследия[142]. Другой ученый, Георгий Гемист

---

[141] См.: Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. München, 1994. S. 123.

[142] См.: Patrinelis C. G. An Unknown Discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Palaeologus // GRBS. 1972. Vol. 13. P. 501.

Плифон, видел путь к спасению империи в использовании правителем «наилучших советников и полезных законов»[143], а в другой речи, обращенной к императору, рекомендовал в качестве советников иметь «определенное число образованных мужей»[144].

Ораторы, выходя на трибуну с панегириком, зачастую ставили перед собой и более приземленную, вполне конкретную цель — высказать личную просьбу или добиться продвижения по службе. Энкомиасты посредством похвальной речи нередко взывали к императору о милостях для себя лично.

С произнесения панегириков начиналась карьера некоторых, в дальнейшем высокопоставленных должностных лиц. Историк Никифор Григора, писатели Никифор Хумн и Феодор Метохит впервые привлекли к себе внимание императора именно на придворных декламациях[145]. Оказавшись в императорском окружении, образованный человек мог рассчитывать на получение высокой должности или титула, ради чего, собственно, и стремился попасть во дворец. Императоры привлекали ученых к государственным делам в качестве чиновников, судей, дипломатов, поверенных лиц, личных секретарей[146]. Среди обладателей высоких титулов придворной табели о рангах можно встретить известных своей образованностью персон. Получение и, главное, удержание должности рассматривалось как важнейшая задача ученого, пробившегося во дворец.

Но не только императорский двор притягивал интеллектуалов, стремившихся к карьерным высотам и материальному благополучию. Носители высокой образованности активно участвовали и в функционировании государственных структур более низкого уровня[147]. Византийская империя как государство с развитым бюрократическим аппаратом имела уникальный опыт включения

[143] Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах / пер. и предисл. Б. Т. Горянова // ВВ. 1953. Т. 6. С. 407.

[144] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 4. Σ. 119.

[145] См.: Angelov D. Imperial Ideology and Political Thought… P. 162.

[146] См.: Чекалова А. А., Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть… С. 16.

[147] См.: Там же.

интеллектуалов в систему центрального управления. Именно из интеллектуальной элиты формировались высшие эшелоны бюрократии[148]. По данным Г.-Г. Бека, около 16 % византийских писателей служили при императорском дворе или входили в число высшей бюрократии[149]. Кроме того, система ценностей, исповедовавшаяся византийцами, включала и такой важный морально-этический компонент, как служение «общему делу», «общей пользе»[150]. Поэтому человек не видел иного пути реализации этой добродетели, кроме как на службе родине и императору. Но если ранее выполнение общественного долга подразумевало в первую очередь обязанности перед императором[151], то под «общим делом» в поздний период существования Византии чаще понималась защита интересов родины, а точнее, спасение империи. В целом, отношения власти и интеллектуалов в последней трети XIV — первой половине XV в. строились на тех же основах, что и в предыдущие периоды. Это было взаимовыгодное сотрудничество, в котором каждая сторона преследовала собственные интересы. Но данный период внес и некоторые коррективы в эти взаимоотношения.

Образованные люди привлекались государством в сферу управления, репрезентации государственной власти, выполняли судебные и исполнительные функции. Научные занятия не приносили желаемого вознаграждения, и это подталкивало ученых, озабоченных проблемами материального плана, к пополнению рядов столичного или провинциального чиновничества, к службе местным правителям, которые охотно пользовались их услугами.

Степень приобщения интеллектуалов к власти зависела в определенной степени от отношения царствующего императора

---

[148] Laourdas B. Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine Society // Κληρονομία. Θεσσαλονική, 1970. P. 84.

[149] Beck H.-G. Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis // Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Philosophische-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1974. Bd. 294. Abh. 4. S. 12.

[150] Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей... С. 29.

[151] Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Никифора Григоры (к вопросу о «греческом патриотизме XIV в.) // АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 92.

к образованию и к ученым людям в целом. В правление Иоанна V Палеолога, безразличного к научным занятиям, двор не изобиловал представителями ученой среды. Напротив, сын этого императора Мануил II, взойдя на трон, оказывал всяческое покровительство писателям. Именно при нем образованные люди стали играть значительную роль в государственных делах. Таким образом, участие ученых во власти определялось и личными качествами императора, и симпатиями самих интеллектуалов. После смерти Мануила II Георгий Сфрандзи, имея возможность служить новому правителю Иоанну VIII, предпочел ему, однако, двор деспота Константина, руководствуясь следующими соображениями: «Так как с господином деспотом Константином связывали меня дружба и полное доверие, коим благоволил Бог... то он особенно хотел, чтобы я был у него на службе»[152].

В последний период существования империи сокращается практика раздачи государственных постов людям из ученого мира. Среди поздневизантийских интеллектуалов немногие имели постоянные должности, хотя уровень их общественного положения был довольно высок. Тот факт, что из 14 первых министров (месадзонов) всего палеологовского времени шесть[153] принадлежали к интеллектуальной элите, свидетельствует о перспективах, открывавшихся перед ученым на государственной службе. В последнее столетие Византии правительство возглавляли Димитрий Кидонис, Георгий Гуделий, Димитрий Хрисолора (при деспоте Иоанне VII в Фессалонике), Лука Нотара[154]. Двое писателей (Георгий Сфрандзи и Георгий Амирутци) достигли титула протовестиария, последовательно пройдя по ступеням служебной лестницы[155]. Титулом

---

[152] Georgios Sphrantzes. Memorii... XV, 5.

[153] Кроме лиц, вошедших в наш список, пост месадзона занимали в более ранний период (1294—1315) Никифор Хумн и сменивший его (1315—1328) Феодор Метохит.

[154] См.: Beck H.-G. Der byzantinische “Ministerpräsident” // BZ. 1955. Bd. 48. S. 311—316.

[155] Дестунис Г. С. Опыт биографии Георгия Франдзия // ЖМНП. 1893. Ч. 287. Отд. 2. С. 427—466; Карпов С. П. Трапезундский ученый Георгий Амирутци... С. 196; Grecu V. Georgios Sphrantzes... S. 62—65; Τσαρας Γ. Σφραντζης, Φιαλιτης ἤ Φραντζῆς // Byzantina. 1977. Т. 9. Σ. 123—139.

сенатора, свидетельствовавшим о высоком социальном статусе и не предполагавшем реального исполнения каких-либо обязанностей, обладали Иоанн Аргиропул, Геннадий Схоларий и Георгий Гемист Плифон.

Византийских интеллектуалов можно обнаружить и в структурах судебной власти. Высокую должность вселенского судьи ромеев (καθολικὸς κριτής τῶν Ῥωμαίων), наделенного широкими полномочиями[156], в разное время занимали Евстафий[157], Макарий Хрисокефал, Геннадий Схоларий, Сильвестр Сиропул. После возвращения с Флорентийского собора Плифон получил должность вселенского судьи в Мистре, которую исполнял до самой смерти[158]. Институт вселенских судей был важной частью судебной системы Византии, и императоры предпочитали назначать на эту должность людей, сведущих в законах, имевших практический опыт[159] и репутацию образованного человека.

Среди интеллектуалов, занимавших посты в аппарате управления, можно отметить трех проэдров (Матфей I в Халкидоне, Дорофей в Сиде, Прохор на Крите), одного протонотария (Михаил Панарет), нотария (Иоанн Евгеник), великого хартофилакса, позднее великого эконома (Феодор Агаллиан), счетовода λογιστής (Димитрий Скаран). Приведенный список должностей показывает в целом скромность занимаемых постов и незначительное число среди интеллектуалов тех, кто имел место в высшей администрации.

Зависимость от должности приводила к тому, что образованные люди оказывались покорны и беззащитны перед лицом власти[160].

---

[156] О должности вселенского судьи см.: Соколов И. И. Вселенские судьи в Византии. Казань, 1915; Его же. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание Патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии. СПб., 2003; Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. С. 225—227; Гаген С. Я. Императорский суд и судьи палеологовской Византии (1261—1453) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 23—26.

[157] PLP. № 6339.

[158] Горянов Б. Т. Предисловие // Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах... С. 387; Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik... S. 28.

[159] Гаген С. Я. Императорский суд и судьи палеологовской Византии… С. 28.

[160] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 9.

Кидонис сравнивал государственную службу с петлей[161]. Неоднократно интеллектуалы, жалуясь на тяготы службы у императора, давали хлесткие характеристики нравам, царившим при дворе. «И вот я получил место поближе к императору, среди придворных дармоедов — ведь ты знаешь, конечно, темы их разговоров, которые здесь тяжелы, как переполненные амфоры, и знаешь, как они упражняются в коварстве из праздности; у них есть только одно желание: ради умножения собственной власти вращаться в обществе императора...», — отмечал Димитрий Кидонис в письме к наследнику престола Мануилу Палеологу[162].

Вхожие во власть интеллектуалы видели пороки, присущие этой сфере. Кидонис язвительно писал по поводу всевластия и скупости императора: «Властители уверены в том, что могут потреблять принадлежащее другим, а из своего никому не дадут и толики. Более того, они считают врагами тех, кто у них что-либо просит»[163]. Он упрекал правителей за то, что «они не позволяют без помех наслаждаться тем, что мы имеем»[164]. Согласно Кидонису, царившие в придворном мире лицемерие, взяточничество и раболепие создавали атмосферу лжи и притворства. В обществе, где «рука одного моет руку другого»[165], глупо надеяться на помощь тех, кто «безвозмездно ничего от себя не скажет»[166]. Столь же острой критике со стороны ученых людей подвергались и злоупотребления государственных чиновников. В одном из писем другу Николай Кавасила, втянутый в судебную тяжбу, возмущался взяточничеством судей, от которых зависел исход дела: «Ты же знаешь суды, судопроизводство и судей, и за сколько они продаются — очень ведь за немногое»[167].

---

[161] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 38. 9—10.
[162] Ibid. Ep. 218. 47—52.
[163] Ibid. Ep. 178. 3—5.
[164] Ibid. Ep. 143. 7.
[165] Ibid. Ep. 158. 40.
[166] Ibid. Ep. 158. 24.
[167] Enepikides P. Der Briefwechsel des Mystikers Nikolaos Kabasilas // BZ. 1953. Bd. 1, H. 1. S. 41. Brief. 14.

Образованные люди, занятые придворной службой, видели жизнь дворца изнутри. Их язвительные отзывы о придворной камарилье рисуют мрачную картину дворцовой жизни, пронизанной подобострастием и лицемерием. Среди их высказываний можно встретить и такие: «вечные страхи из-за гнева императора»[168], «императорский двор сейчас — это поистине рынок для болтовни и угодничества»[169], «сейчас во дворце высмеиваются даже элементарные знания»[170]. В диалоге «Мазарис», появившемся в начале XV в., в сатирической форме описаны интриги, занимавшие умы придворных. По замечанию С. В. Поляковой, эта сатира, по существу является скандальным перечнем придворных обид и конфликтов, подсиживаний и обманов[171].

Однако, попав в придворный круг, который ими так высмеивался, интеллектуалы вынуждены были играть по его правилам, заискивая перед властью, соревнуясь в раболепии, угождая и пресмыкаясь. Вступая в ряды бюрократии и принимая ее «кодекс поведения», интеллектуальная элита вынуждена была исповедовать двойную мораль, заражалась духом сервилизма и низкопоклонства[172]. Пороки, присущие миру бюрократии, проникали в круг интеллектуалов, которые охотились за должностями и милостями, также прибегая к подсиживанию, клевете, лицемерию[173]. Несмотря на это интеллектуалы оставляли за собой право выступать главными критиками власти и изобличителями пороков общества, хотя делали это иносказательно, посредством туманных намеков и аллюзий. И хотя Димитрий Кидонис восклицал: «можно ли желать себе худшего, чем мучения при дворе императора!»[174], — он, как и

[168] Мазарис // Византийский сатирический диалог... С. 96.

[169] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 114. 10—11.

[170] Ibid. Ep. 162. 53—54.

[171] См.: Полякова С. В. Византийский сатирический диалог // Византийский сатирический диалог... С. 164.

[172] См. об этом: Чекалова А. А., Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть… С. 23.

[173] См.: Poljakovskaja M. A. Freisinn oder Angst? Die moralischen Dominanten zweier Korporationsgruppen der byzantinischen Gesellschaft // Byzantium: Identity, Image, Influence : abstracts : XIX Intern. Congr. of Byzantine Studies. Copenhagen, 1996. S. 7621.

[174] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 53. 10.

другие люди науки, искал милости правителя, раболепствуя и угождая ему. Невозможность обеспечить себе стабильное материальное положение посредством интеллектуальных штудий приводила к моральной зависимости ученых от власти.

С другой стороны, присутствие образованной элиты во дворце отчасти меняло придворный климат. Уважение к знаниям и стремление приобщиться к литературному творчеству создавали особую интеллектуальную атмосферу в придворном окружении. Под патронатом императора возникали литературные салоны[175]. Особенно громкую славу стяжали литературные кружки при Андронике II и Мануиле II, поскольку сами эти правители демонстрировали тягу к литературным занятиям. Для ритора важным событием считалось участие именно в императорском салоне, поскольку это позволяло приобрести общественный вес, повысить престиж в глазах других литераторов. Чиновники и представители знати вели переписку, обменивались рукописями, участвовали в обсуждении философских вопросов. Они стремились поддерживать корреспонденцию с видными писателями и философами. Благодаря этому нормы поведения, принятые в среде интеллектуалов, частично проникали и в придворные структуры, просачивались в мир бюрократии, приобщая тем самым политическую элиту к интеллектуальным занятиям.

При сравнительно скромном представительстве интеллектуалов на государственных должностях наблюдалась устойчивая тенденция к использованию их императорами в частном порядке как членов свиты, доверенных особ, советников, императорских секретарей и т. п. Особенно ярко эта тенденция проявилась в правление Мануила II Палеолога, который в качестве личного секретаря, ведавшего всей официальной перепиской императора, держал при себе Мануила Оловола — «грамматика великого и самого благородного автократора... искусного ритора Константинополя, наилучшего из врачей»[176], всецело доверяя ему. Доверенным лицом Мануила II

---

[175] См.: Кущ Т. В. Византийский θέατρον конца XIV—XV в.: некоторые наблюдения // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 325.

[176] Boissonade J. Fr. Anecdota graeca… Vol. 3. P. 119—120.

и его представителем на Лемносе и Пелопоннесе был писатель и мелограф Константин Асан[177]. Подобная практика продолжилась и при двух последних императорах Византии. Секретарями императора Иоанна VIII в разное время были Феодор Газа[178] и Димитрий Ангел Клида[179]. Более или менее официальное положение советника и придворного философа Плифон занимал сначала при Мануиле II, а затем при его сыне, деспоте Мореи Феодоре II, проявив себя умелым политиком[180].

Начиная с 70-х гг. XIV в. внешнеполитическая ситуация Византии преимущественно была весьма сложной, что значительно повысило роль дипломатии. Интеллектуалов стали активнее привлекать к переговорам и чаще включать в состав посольств[181]. Людей науки, имевших хорошее образование, сведущих в делах империи и способных к критическому восприятию происходившего, императоры привлекали к приему иностранных представителей и включали в состав дипломатических миссий, направлявшихся на Запад или к турецкому султану[182]. На этом поприще хорошо себя проявили Димитрий Кидонис, Мануил, Иоанн и Димитрий Хрисолора, Димитрий Ангел Клида Филоммат и Лука Нотара[183], которые неоднократно возглавляли посольства, рассылаемые императорами ради спасения империи. Примером осведомленности и дальновидности ученого-дипломата может служить реакция Сфрандзи на смерть Мурада II и воцарение Мехмеда II. В отличие от трапезунд-

---

[177] PLP. № 1503.

[178] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefe // BZ. 1943. Bd. 42. S. 53.

[179] См.: Удальцова З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии // ВВ. 1950. Т. 3. С. 113.

[180] См.: Blum W. Einleitung // Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik... S. 28.

[181] Barker J. W. Emperor, Embassies, and Scholars. Diplomacy and the Transmission of Byzantine Humanism to Renaissance Italy // Church and Society in Late Byzantium / ed. D. G. Angelov. Michigan, 2009. P. 159.

[182] Медведев И. П. К вопросу о принципах византийской дипломатии накануне падения империи // ВВ. 1972. Т. 33. С. 131.

[183] См.: Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München ; Berlin, 1965. T. 5. № 3169—3526.

ского императора, который был обрадован этим известием, Сфрандзи сразу осознал опасность, исходившую от юного и агрессивного султана: «Тот [Мурад] был стар, попытка выступить против Константинополя была им уже совершена, и ничего такого он больше предпринимать не собирался, а желал лишь мира и спокойствия. Этот же, ставший теперь господином, молод и с детства является врагом христиан; он их поносил и грозился учинить что-либо против них... И если Бог допустит, чтобы в нем возобладали молодость и злоба и чтобы он напал на Константинополь, то я не знаю, что будет»[184].

Внешнеполитические приоритеты поздней Византии определялись усилением османской угрозы. Перед империей стояла задача, с одной стороны, попытаться достичь соглашения с султаном, с другой — обеспечить себе моральную и материальную поддержку Запада[185]. На достижение этих целей были направлены все внешнеполитические действия правительства. Важное значение придавалось дипломатическим миссиям, в которых далеко не последнюю роль играли интеллектуалы.

Димитрий Кидонис, в частности, неоднократно упоминал о своем участии в качестве советника и даже переводчика при переговорах с генуэзскими послами или папскими легатами. Благодаря его личному вмешательству императором Иоанном V Палеологом были приняты посланники папы Григория XI: «Мы приготовили им [послам] дружескую встречу и почтительно разговаривали с ними, когда они были допущены к императору, мы, насколько это было в наших силах, охотно обеспечивали их всем, в чем они нуждались»[186]. Известный историк и царедворец Георгий Сфрандзи выступал

---

[184] Georgios Sphrantzes. Memorii... XXX, 4—6.

[185] См.: Литаврин Г. Г., Медведев И. П. Дипломатия поздней Византии // Культура Византии. М., 1991. Т. 3. С. 352; Oikonomides N. Byzantine diplomacy, A. D. 1204—1453: Means and Ends // Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge 1990 / ed. by J. Shepard and S. Franklin. Hampshire, 1992. P. 75; Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West and his Office during the Fourteenth and Fifteenth Centuries: a Profile // BZ. 2001. Bd. 94, H. 2. P. 588.

[186] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 140. 31—34.

в качестве посредника на переговорах между Исидором Киевским и Константином XI, когда первый приехал в осажденный Константинополь для повторного заключения унии[187].

Другая форма участия интеллектуалов в дипломатической деятельности — сопровождение императорских особ в заграничных поездках в качестве секретарей и доверенных лиц. Император Иоанн V Палеолог в поездке по Италии в 1369—1371 гг. постоянно держал при себе во время переговоров месадзона Кидониса[188]. Во время официальных приемов Кидонис исполнял роль переводчика и советника, ни на шаг не отходя от императора. В письме брату Прохору он сетовал на свою постоянную загруженность делами и отсутствие свободного времени для научных занятий: «Постоянная занятость делами императора, ежедневное прислуживание тем, кто может помочь нам, и поиск возможностей обернуть дело в нашу пользу отвлекают нас от всего, о чем мы, когда были с вами, постоянно, как ты знаешь, заботились»[189]. В путешествии на Запад 1399—1403 гг. Мануила II Палеолога сопровождал Мануил Оловол. «Находясь и днем и ночью вблизи императора в качестве постоянного собеседника»[190], Оловол посетил Италию, Францию, Англию. Он имел огромное влияние на императора, который назначил его своим единственным секретарем и поручал ему все дела[191]. В свите императора в его поездке на Запад, кроме Оловола, находился митрополит Анкары, паламит и религиозный писатель Макарий[192]. Писатель и государственный деятель Георгий Амирутци был приглашен сопровождать Иоанна VIII Палеолога на Ферраро-Флорентийский собор в качестве советника, ибо прекрасно

---

[187] Dölger F. Regesten der Keiserurkunden... № 3534; Георгий Сфрандзи. Хроника... XXXVI, 5.

[188] Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones // Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981. T. 1, Hbd. 1. S. 23.

[189] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 39. 7—11.

[190] Boissonade J. Fr. Anecdota graeca... Vol. 3. P. 122.

[191] Васильев А. А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога по Западной Европе // ЖМНП. 1912. Ч. 39. Май. С. 55.

[192] Там же. С. 56; PLP. № 16254.

разбирался не только в догматических вопросах, но и в искусстве ведения переговоров[193].

Интеллектуалы входили также в состав других многочисленных посольств, рассылавшихся из Константинополя в поисках поддержки против нарастающей турецкой угрозы. Некоторые ученые даже руководили подобными дипломатическими миссиями: например, Димитрий Кидонис, Мануил, Димитрий и Иоанн Хрисолоры, Георгий Сфрандзи, Лаоник Халкокондил, Макарий Макрис, Димитрий Ангел Клида Филоммат, Георгий Гуделий, Лука Нотара. В посольстве к Мураду II в 1446 г. отца сопровождал Лаоник Халкокондил[194]. Макарий Макрис был отправлен в 1429/30 г. императором Иоанном VIII к папе Мартину V в Рим, чтобы обсудить вопрос о заключении церковной унии[195]. Образованным людям поручались порой и столь щепетильные вопросы, как сватовство или выбор невесты для императора. Так, в 1426 г. Виссарион, будущий кардинал папской курии, принимал участие в посольстве к императору Алексею IV в Трапезунд с целью сосватать дочь Алексея Марию в жены Иоанну VIII[196]. В 1449 г. протовестиарий Георгий Сфрандзи был отправлен к правителю Грузии Георгию VIII и императору Трапезунда Иоанну IV Комнину со свитой и подарками, чтобы найти подходящую жену для Константина XI[197].

К выполнению дипломатических поручений интеллектуалы привлекались с завидным постоянством[198]. В правление Мануила II Палеолога в посольской практике ведущие роли играли именно ученые-дипломаты[199]. Более того, дипломатический штат Мануила II

---

193 См.: Карпов С. П. Трапезундский ученый Георгий Амирутци... С. 196.

194 См.: Греку В. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокондила // ВВ. 1958. Т. 13. С. 198—210.

195 См.: Hunger H. Spätbyzantinische Bildbeschreibung ... S. 133.

196 См.: Dölger F. Regesten der Keiserurkunden... № 3421.

197 См.: Ibid. № 3525; Georgios Sphrantzes. Memorii… XXX, 1—2.

198 См.: Медведев И. П. К вопросу о принципах византийской дипломатии... С. 131.

199 См.: Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West... P. 604; Malamut E. De 1299 à 1451 au cœur des ambassades byzantines // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 98—99.

составляли в основном те, кто был связан с василевсом если не родственными узами, то хотя бы дружескими отношениями[200]. По выражению Н. Икономидиса, дипломатия всегда находилась в руках доверенных лиц императора[201]. Например Мануил Хрисолора, близкий друг Мануила II Палеолога и воплощение ученого-дипломата, побывал в качестве представителя императора в 1407 г. при дворе арагонского короля, а также в Венеции, в 1408 г. — во Франции, в 1411 и 1414 гг. — у немецкого императора Сигизмунда, в 1415 г. — на Констанцском соборе[202]. С 1407 г., когда Хрисолора вернулся в Византию после долгих лет преподавания в Италии, до самой смерти в 1415 г. он лишь однажды на короткий срок задержался на родине, проводя все время в разъездах с дипломатическими поручениями[203]. Георгий Сфрандзи, породнившийся с императорским домом, неоднократно (1424, 1432, 1448) посещал ставку турецкого султана Мурада II[204] и ценился в окружении василевса как опытный дипломат.

В целом, активное и разноплановое участие образованных людей в дипломатической деятельности свидетельствует об их тесной связи с властью и непосредственной причастности к политической жизни своего времени.

Уже отмеченная ранее провинциализация интеллектуальной жизни[205] влекла за собой отток интеллектуалов из столицы и поступление их на службу к правителям других областей и даже к частным лицам. Так, известный историк Дука служил у Гаттелузи на Лесбосе в 1421 и 1456 гг.[206], а также состоял секретарем при Джованни Адорно в Новой Фокее (Малая Азия). Иоанн Герметиан занимался

---

[200] Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West... P. 598.

[201] Oikonomides N. Byzantine diplomacy... P. 77—78.

[202] См.: Dölger F. Regesten der Keiserurkunden... № 3317, 3318, 3320, 3329, 3345.

[203] См.: Cammelli G. I dotti Bizantini e le origini dell‘umanesimo I. Manuele Crisolora. Florence, 1941. P. 150—151.

[204] См.: Dölger F. Regesten der Keiserurkunden... № 3413, 3520.

[205] См.: Чекалова А. А. Поляковская М. А. Интеллектуалы и власть... С. 20.

[206] См.: Красавина С. К. Мировоззрение и социально-политические взгляды византийского историка Дуки // ВВ. 1973. Т. 34. С. 94.

воспитанием детей морейского деспота Фомы. Автор же «Кипрской хроники» Леонтий Махера выполнял функции секретаря у Жана де Нореса, рассчитывая на получение жалованья от двора Лузиньянов[207]. Димитрий Скаран был управляющим у богатого соотечественника Иоанна Ласкариса Калофера на Пелопоннесе, а после смерти своего покровителя стал распорядителем его наследства[208]. Мануил II Палеолог в одном из писем к Мануилу Хрисолоре высоко оценил наряду с умственными способностями Димитрия Скарана его практическую сметку, проявившуюся на службе Калоферу: «Скаран имеет и хороший образ мыслей, и большую опытность в том, что ему поручено делать». Скаран, по мнению Мануила II, «лучший из слуг отечества и своего господина»[209].

С конца XIV в. начинается отток интеллектуалов на Запад. Эмигрировав туда, некоторые ученые служили в качестве секретарей, легатов и послов иностранным правителям, в частности папскому престолу, которые охотно использовали опыт, эрудицию и знания образованных византийцев. Апостольским секретарем в Риме был известный писатель Георгий Трапезундский[210]. На службе у папы находились Андрей Хрисоверг, Георгий Герметиан, Иоанн Кипарисиот, Иоанн Хрисолора, Иоанн Риндакин Ласкарис, Афанасий Халкеопул. Принявший католицизм Иоанн Кипариссиот состоял в свите папы Григория XI во время его путешествий (1377) и получал за это жалованье[211]. С миссией от папы Сикста IV (1471—1784) в 1476 г. побывал в Англии Георгий Герметиан[212]. Доминиканец Андрей Хрисоверг выступал посредником в дипломатической переписке между папой Мартином V (1417—1431) и Иоанном VIII

[207] См.: Тивчев П. Леонтий Махера как историк Кипра // ВВ. 1973. Т. 35. С. 166—167.

[208] См.: Eszer A. K. Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros. Forschungen zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen im XIV Jh. Wiesbaden, 1969. S. 114.

[209] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 49. 9—12.

[210] PLP. № 4120

[211] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur ... S. 736.

[212] PLP. № 6125.

Палеологом[213]. Быстрый взлет в церковной иерархии на Западе «великого философа» Андрея Хрисоверга был связан именно с его образованностью: начав карьеру в качестве учителя теологии, он достиг положения апостольского легата на Кипре и Родосе[214].

Наиболее яркий и показательный пример блестящей карьеры византийского интеллектуала на Западе — биография Виссариона[215], преуспевшего, как никто другой, на службе папской курии. На Ферраро-Флорентийском соборе (1438—1439) он возглавлял латинофильское крыло византийской делегации[216]. Однако Флорентийская уния, подписанная греками во многом благодаря усилиям Виссариона, не была принята в Византии, что заставило его в мае 1440 г. навсегда покинуть родину и переселиться в Италию. Пролатинская позиция Виссариона на соборе и его переход в католичество привлекли к нему внимание понтифика. Папа Евгений IV (1431—1447) еще в декабре 1439 г. пожаловал Виссариону сан кардинала римской церкви и назначил ему пенсию[217]. Новый кардинал получил в управление церковь Святых Апостолов в Риме и ряд других церквей и монастырей, а также стал патроном ордена греческих монахов-василиан в Калабрии. В 1440 г. он был назначен на должность митрополита Фив, а затем епископом Сипонто. Эти назначения позволили ему занять высокое положение при папском престоле, подкрепленное званиями и находившимися в его управлении территориями[218]. На понтификат Николая V (1447—1455)

[213] PLP. № 3425.

[214] Darrouzes J. La date la mort d’André Chrysobergès O. P., archevêque de Nicosie et légat apostolique en Chypre // Darrouzes J. Litterature et histoire des textes byzantins. L., 1972. **19**. P. 304.

[215] См.: Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского // ВВ. 1976. Т. 37. С. 74—97; Loenertz R.-J. Pour la biographie du cardinal Bessarion // OCP. 1944. Vol. 10. P. 116—149; Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe Theologe, Humanist und Staatsmann. Padeborn, 1967. Bd. 2.

[216] См.: Удальцова З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе... С.116.

[217] См.: Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского… С. 84.

[218] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 767—769; Bessarion // Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. München, 1974. Bd. 1. S. 192—193; Eubel C. Hierarchia catolica medii aevi. Munster, 1914. Vol. 2. P. 8.

пришелся новый взлет карьеры Виссариона, назначенного в 1449 г. кардинальским епископом Сабинским, а вскоре также епископом Тускуланским. В том же году он получил почетный, хотя и номинальный титул латинского патриарха Иерусалима и сохранял это звание до 1458 г. Высокие посты и синекуры принесли ему богатство, ибо под его контролем оказались богатые монастыри, в том числе василианский монастырь в Гроттаферрата. В 1463 г., спустя всего несколько дней после возведения в сан епископа Негропонта на о. Эвбея, Виссарион удостоился также титула латинского патриарха Константинополя, сменив на этом посту умершего Исидора Киевского. Это звание Виссарион сохранял до самой смерти.

Столь головокружительной карьерой Виссарион был обязан прежде всего своему образованию, эрудиции и опыту. Он дважды (1455, 1471) рассматривался конклавом кардиналов в качестве претендента на пост папы[219]. Однако его кандидатура, возможно, ввиду его греческого происхождения, оба раза отклонялась. Но сам факт его претендентства на папский престол, безусловно, свидетельствует о той высокой репутации и авторитете, которые этот византиец имел в католической церкви.

Виссарион неоднократно выполнял дипломатические поручения в качестве апостольского легата. Во время посольства в Болонью (1450—1455) ему удалось добиться установления мира в городе, раздиравшемся внутренней борьбой. Его усилиями были проведены реставрационные работы местных церквей и Болонского университета. Он пересмотрел университетский статут, привлек новых профессоров, оказал материальную поддержку студентам[220]. На личные средства Виссариона была возведена капелла Вознесения в церкви Санта Мария дель Монте. В благодарность за труды граждане Болоньи воздвигли в городе монумент с надписью «Виссариону, епископу Тускуланскому, кардиналу Никейскому, нашему благодетелю»[221].

---

[219] См.: Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского… С. 88.
[220] PG. 161. Col. CIX.
[221] Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe… S. 326—358.

Помня о своем греческом происхождении, Виссарион постоянно стремился помочь Византии. После падения империи в 1453 г. он считал своей главной задачей мобилизацию европейских государств на борьбу с турками[222]. Пользуясь своим высоким положением в папской курии, Виссарион был последовательным проводником идеи крестового похода против османов. После падения Константинополя он в июле 1453 г. написал письмо венецианскому дожу Франческо Фоскари, обрисовав угрозу Венеции со стороны турок на Адриатике, и призвав выступить на борьбу с ними. Однако его призыв не нашел отклика у венецианцев. По поручению папы Калликста III (1455—1458), видевшего в организации крестового похода средство усилить свои позиции, Виссарион побывал в 1455 г. при дворе неаполитанского короля Альфонса I (1442—1458), пытаясь склонить того к участию в борьбе с врагами христианства. Этой же цели он пытался достичь во время визита в Мантую (1459), где выступил с речью, предлагая подробный план крестового похода и способы его организации[223].

Как папский легат Виссарион в 1460—1461 гг. побывал в Германии, где безуспешно пытался примирить враждующих императора Фридриха III (1452—1493) и его брата — эрцгерцога Австрийского Альбрехта VI. Кроме того, он стремился, хотя также безрезультатно, пропагандировать идею крестового похода в германских землях[224]. В 1463 г., выполняя поручение папы, Виссарион вел переговоры с венецианским сенатом об организации антиосманской военной экспедиции[225]. При непосредственном участии Виссариона папа Пий II (1458—1464) готовил поход против турок,

---

[222] См.: Медведев И. П. Падение Константинополя в греко-итальянской гуманистической публицистике XV в. // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 299.

[223] См.: Медведев И. П., Гаврилов А. К. Речь Виссариона Никейского на Мантуанском соборе о падении Константинополя // ВВ. 2004. Т. 63. С. 292—295.

[224] Meuthen E. Zum Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460—1461) // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1957. Bd. 37. S. 302—333.

[225] См.: Vlachos Th. Bessarion als päpstlicher Legat in Venedig // RSBN. 1968. Vol. 5. S. 123—125.

для которого Виссарион на свои собственные средства снарядил военную галеру, но смерть понтифика в 1464 г. привела к краху этого предприятия[226]. В 1472 г. в звании апостольского легата Виссарион посетил Францию, где пытался увлечь идеей крестового похода короля Людовика XI (1461—1483).

Оказывали покровительство византийским ученым и другие влиятельные люди на Западе. Советником французского короля Людовика XI одно время был Георгий Палеолог Дисипат[227]. Герцог Милана Франческо Сфорца поддерживал не только итальянских гуманистов, но и эмигрантов из Византии, в частности Константина Ласкариса[228]. Помощь крупного финансиста и политического деятеля Флоренции Палла Строцци получали многие образованные византийцы, выполнявшие его мелкие поручения.

Образование позволяло человеку надеяться на получение должности в административном аппарате, при дворе или в церковной системе, рассчитывать на дальнейшее продвижение по службе, кроме того, на достижение материального благополучия. Стремление людей науки занять какую-либо должность, предполагавшую материальное вознаграждение, свидетельствует о том, что многие из них не имели иного, более или менее надежного источника доходов, который позволил бы им отдавать все свое время ученым штудиям, не заставляя искать милостей у сильных мира сего. Но то бедственное положение, в котором оказалась императорская власть на закате Византии, вынуждало людей книги искать себе покровителей не только за пределами дворца, но и за пределами империи.

Социальный статус интеллектуала

Характеризуя среду византийских интеллектуалов, следует заметить, что вопрос об их социальной принадлежности в специальной литературе освещен явно недостаточно. Исследователи,

[226] См.: Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского… С. 87.
[227] См.: Harris J. Greek Emigres in the West. Camberley, 1995. P. 143.
[228] PLP. № 27267.

затрагивавшие эту проблему, в основном ограничивались констатацией факта принадлежности византийских ученых к тому или иному общественному слою. Так, Г. Хунгер склонен полагать, что носителями знаний выступали представители низших групп византийского социума и лишь немногие люди из верхних слоев были приобщены к научным занятиям. Он ставит в один ряд интеллектуалов, крестьян и ремесленников, определяя их как класс «бедных» и противопоставляя средним слоям[229]. Австрийский исследователь подчеркивает, не приводя развернутой аргументации, что «по настоящему деятелями литературы и науки были те интеллектуалы, которые принадлежали по большей части к социально низкому слою πένητες "бедных"»[230]. Не соглашаясь с позицией Г. Хунгера, И. П. Медведев констатирует, не вдаваясь, однако, в более глубокий анализ, что «выходцы из феодальной знати составляли весьма заметную часть византийской интеллектуальной элиты»[231].

Г.-Г. Бек же отмечает, что среди литераторов, задававших тон в культурной жизни, встречаются знатные чиновники, высший церковный клир и сановники. Анализируя состав писательской среды на протяжении всей византийской истории, немецкий исследователь отнес к этой категории 15 императоров; 20 % писателей принадлежало к числу служилой знати и придворным сановникам, около 30 % — к высшему клиру, 15 % были профессиональными учителями[232]. Но, отмечает Г.-Г. Бек далее, материальное положение профессиональных литераторов (*Berufsliteraten*) было далеко не блестящим: «их можно при случае назвать пролетариатом или по крайней мере нищими литераторами, хотя следует помнить, что то, о чем они просили, нередко принадлежало к предметам роскоши»[233]. Они по меньшей мере с завистью смотрели на потенциаль-

---

[229] См.: Hunger H. Johannes Chortasmenos, Persönlichkeit und Werk // Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... S. 46.

[230] Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts // XIV Congrès International des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 93.

[231] Медведев И. П. Византийский гуманизм...С. 26.

[232] См.: Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend... S. 123.

[233] Ibid. S. 123.

ных меценатов, доходные места или хорошо оплачиваемую, но беззаботную службу[234]. И. Шевченко, в свою очередь, отмечает незначительное число земельных собственников среди ученых[235], а также акцентирует внимание на том, что «научный и литературный успех мог открыть путь к высоким должностям в государственной бюрократии и церковной иерархии»[236]. Г. Острогорский делает, в свою очередь, замечание, что высшая аристократия, которой было свойственно стремление приобщиться к культурной жизни, «формировала образованную элиту империи»[237], т. е. напрямую отождествляет интеллектуальную элиту с византийской знатью. А. Лайу считает, что именно крупные землевладельцы — динаты (δυνατοί) — были активны в интеллектуальной сфере и как авторы, и как почитатели таковых[238]. Как видим, столь разные, хоть и немногочисленные, оценки в историографии свидетельствуют о том, что проблема социальной характеристики мира интеллектуалов нуждается в более основательном освещении.

Однако решение вопроса о социальной принадлежности византийских ученых людей представляет немалую сложность, как показал А. П. Каждан в своей работе, посвященной социальной характеристике высших слоев общества[239]. Трудности вызваны, с одной стороны, немногочисленностью и разрозненностью сведений подобного характера, особенно в отношении тех лиц, кто не входил в правящую элиту, с другой — нерешенностью ключевой проблемы понятийного аппарата: до сих пор остается открытым вопрос о факторах, определявших знатность. Г. Вайс[240], отрицая существование

---

[234] Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend... S. 123—124.

[235] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 11.

[236] Ševčenko I. Thèodore Mètochites, Chora et les courants intellectuels de'époque... P. 16.

[237] Ostrogorsky G. Observations on the Aristocracy in Byzantium // DOP. 1971. Vol. 25. P. 29.

[238] См.: Laiou A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of Arrested Development // Viator. 1973. Vol. 4. P. 132.

[239] См.: Каждан А. С. Социальный состав... С. 4—11.

[240] Weiss G. Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969. S. 5.

в Византии аристократии как замкнутого сословия, включавшего узкий круг семей, предпочитает оперировать понятием «знать», понимая под ней социальную элиту в целом, т. е. верхний слой общества[241]. А. Лайу, напротив, отрицает существование в Византии знати в западноевропейском смысле как наследственной группы с официально закрепленными за ней правами и привилегиями и пользуется термином «аристократия», хотя смысловая нагрузка этого понятия близка трактовке термина «знать» у Г. Вайса[242].

Путь, избранный нами для характеристики социального состава ученой среды, состоит в том, чтобы определить, в какой степени интеллектуалы входили в состав византийской знати или были близки к ней. Под з н а т ь ю (родовой или служилой) будем понимать тех, кто достиг высокого положения в управлении государством или в армии, имел земельные владения и зачастую благородное происхождение. А р и с т о к р а т и я была, по сути, той частью родовой знати, которая имела с правившим домом матримониальные связи, обладала крупной земельной собственностью и политической властью[243].

В качестве критериев оценки положения интеллектуалов в обществе выбраны следующие три параметра: 1) происхождение, 2) должности и 3) богатство [244]. Наличие этих качеств придавало человеку общественный вес и престиж. Однако предварительно необходимо оговорить следующие моменты. Во-первых, рассматривая в качестве критерия происхождение человека, нужно учитывать не только социальное положение семьи, в которой родился будущий интеллектуал, но и пытаться проследить (насколько это возможно) наличие аристократических корней его рода. Это позволит оценить социальную мобильность на протяжении ряда столетий и выявить преобладание в занятиях литературной деятельностью того или иного социального слоя. Во-вторых, рассматривая

---

[241] Каждан А. П. Изучение истории византийской знати // ВВ. 1973. Т. 34. С. 294. Рец. на кн.: Weiss G. Joannes Kantakuzenos...

[242] Laiou A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period... P. 132—141.

[243] Ibid.

[244] См.: Weiss G. Joannes Kantakuzenos... S. 5—8, 54—60.

получение высоких должностей и титулов как показатель повышения социального веса человека, попытаемся проследить процесс вхождения интеллектуалов в состав знати, который мог бы свидетельствовать о конвертировании литературной репутации в социальный престиж. И, наконец, понимая под богатством как земельную, так и движимую собственность, постараемся определить материальное состояние интеллектуалов в завершающий период византийской истории.

Принадлежность к знати бесспорна для лиц императорского ранга и для их родственников. Среди интеллектуалов интересующего нас периода было несколько представителей императорского дома: Иоанн VI Кантакузин, его старший сын Матфей, дочь Елена Палеологина и внук Мануил II Палеолог. В родстве с правящей династией состояли Константин Асан, кузен по женской линии Иоанна V Палеолога, и Георгий Гуделий, приходившийся дальним родственником Мануилу II.

К сожалению, лишь в немногих случаях нам известно социальное положение семей, в которых родились будущие интеллектуалы. Димитрий Кидонис, Николай Кавасила, Макарий Макрис, Димитрий Рауль Кавакис, Михаил Критовул, Леонтий Махера принадлежали к знатным родам. Сильвестр Сиропул происходил, вероятно, из высшей церковной знати Константинополя[245]. Дука принадлежал к известной, но обедневшей фамилии[246]. Виссарион был выходцем из небогатой семьи, о чем в эпитафии на его смерть говорит Михаил Апостол: «Родители (Виссариона. — *Т. К.*) не были благородного происхождения и не были известны, но зарабатывали на жизнь своими руками»[247]. Мануил Оловол происходил из торгово-ремесленных кругов: его дед изготовлял шляпы, а отец торговал вином[248].

---

[245] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S.759.

[246] Красавина С. К. Мировоззрение и социально-политические взгляды византийского историка Дуки... С. 98. О фамилии *Дука* см.: Polemis D. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. L., 1968. P. 12.

[247] PG. 161. Col. CXXXII.

[248] См.: Verpeaux J. Contribution à l’ètude de l’administration Byzantine // BS. 1955. Vol.16. P. 279; PLP. № 21046.

Матфей Камариот был сыном священника[249], а Плифон родился в семье протонотария Святой Софии. Отец Марка и Иоанна Евгеников служил чиновником в патриаршей администрации[250]. Таким образом, даже эти ограниченные сведения свидетельствуют о пестроте социального происхождения интеллектуалов. Однако можно предположить, что среди них имелось довольно много выходцев из незнатных семей, ибо обычно среди достоинств человека особо подчеркивалось знатное происхождение, как это делал, например, Иоанн Хортасмен, славя своего друга Феодора Антиохита. В монодии Хортасмен отмечает, что Феодор, имея возможность вести беззаботную жизнь в достатке благодаря полученному наследству и знатному имени, тем не менее посвящал себя интеллектуальным занятиям: «Он, имея хорошее происхождение и оставленное ему родителями огромное состояние, не взирал на удовольствия и не променял жизнь разумную на неразумную»[251]. Поэтому редкость сообщений о происхождении писателей скорее может говорить в пользу того, что число выходцев из средних и низших слоев общества было не так уж и мало, но это вовсе не означает низкого социального статуса, который им не удалось преодолеть при жизни[252]. Дука также постоянно подчеркивает родовитость своих героев и отмечает хорошее происхождение того человека, которого он желает похвалить, неоднократно используя эпитеты «благородный» (εὔγενος), «родовитый» (γενναίος), «знатный» (ἔνδοξος) при перечислении достоинств того или иного лица[253].

Таким образом, то, что в источниках редко упоминается происхождение интеллектуалов, говорит, очевидно, о том, что среди них было достаточно много людей невысокого социального стату-

---

[249] Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S.772.

[250] Ibid. S.755.

[251] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 1. 23—25.

[252] В этом отношении актуально замечание г. Острогорского, что образованному «социальному выскочке из низов общества было легче ассимилироваться в ряды аристократии, чем “неграмотным парням”, чуждым греческому знанию и мудрости» (Ostrogorsky G. Observations on the Aristocracy... P. 29).

[253] Ducas. Historia Turco-Byzantina... 37. 3; 61. 20; 115. 2; 209. 10.

са, сумевших, однако, подняться по общественной лестнице, занять высокое положение и, по замечанию Г. Острогорского, сформировать образованную элиту внутри византийскй аристократии[254].

Попытаемся теперь рассмотреть на протяжении нескольких веков степень знатности рода, к которому относился тот или иной интеллектуал, т. е. взглянуть на родовые группы как макроструктуры, формировавшиеся столетиями. Определенная таким образом родовитость некоторых интеллектуалов вовсе не будет безоговорочно свидетельствовать об их принадлежности к знати в последней трети XIV — первой половине XV в., но лишь об их аристократических корнях, уходящих в века. Насколько представители этих родов смогли к интересующему нас времени удержаться на плаву — это уже другой вопрос, на который по мере возможности тоже попытаемся ответить.

Так как фамильные имена появляются в Византии с конца X в.[255], то можно проследить социальный статус тех или иных родов в предшествующие изучаемому периоду столетия и выявить аристократическое происхождение тех фамилий, представители которых проявили себя на поприще учености. А. П. Каждан, проанализировавший социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв., выделил аристократические семьи, расположив их по степени знатности[256]. Поскольку в имени индивида фиксировались в первую очередь родовые связи и оно выступало своего рода визитной карточкой человека, то можно предположить, что социально наиболее значимые патронимы укоренялись прочнее всего и не вытеснялись полностью из имени. Поэтому не редкостью являются такие многосоставные имена интеллектуалов, как Георгий Дисипат Палеолог, Иоанн Ласкарис Пигонит, Андроник Сгур Дука, Димитрий Филоммат Ангел Клида. Наиболее показательным примером является императорское имя, вобравшее в себя ряд аристократических имен: Иоанн VI Ангел Комнин Палеолог Кантакузин.

[254] См.: Ostrogorsky G. Observations on the Aristocracy... P. 29.
[255] См. об этом: Каждан А. П. Социальный состав... С. 26.
[256] Там же. С. 116—122.

Проанализировав патронимы интеллектуалов, мы выделили 27 человек[257], имевших родовые имена, носители которых в более ранние периоды принадлежали к аристократии. Среди писателей встречаются представители таких старых византийских фамилий, известных еще с XI в. и обладавших прежде высоким общественным статусом, как Агаллианы, Ангелы, Аргиры, Аргиропулы, Асаны, Вальсамоны, Вриеннии, Главы, Гуделии, Дисипаты, Докианы, Дуки, Кавасилы, Кипарисиоты, Коккины, Ласкарисы, Мосхи, Панареты, Пепагомены, Пигониты, Раули, Сгуры, Сиропулы, Тарханиоты, Хрисоверги, Хумны.

Впрочем, за долгие столетия многие фамилии утратили имевшийся у них некогда социальный престиж и к нашему периоду далеко не все обладатели этих старинных имен сохранили то положение в обществе, которое имели их преди. Свой привилегированной статус сумели сберечь некоторые старые фамилии (Асаны, Аргиры, Дисипаты, Раули, Гуделии), выходцы из которых не были чужды и литературным занятиям. Иоанн Аргиропул, чья фамилия известна еще с середины IX в. и принадлежала в IX—XII в. знатным линьяжам[258], сам в XV в. был сенатором, что свидетельствует о сохранении социальных позиций клана на протяжении значительного периода. Дисипаты состояли в родстве с Палеологами и, следовательно, принадлежали к аристократическим кругам XIV—XV вв.[259] Представители рода Вриенниев в поздний период истории империи были активны в церковной сфере, на дипломатической службе и в интеллектуальной жизни[260], оставаясь поэтому на вершине социальной иерархии. В палеологовское время выдвигается на первые позиции ряд других родов, представители которых постепенно входят в состав господствующей элиты. Это Хрисолоры, Нотары, Скараны, Софианы, Оловолы

[257] В данном случае не учитывались представители императорского дома.

[258] См.: The Oxford Dictionary of Byzantium. N. Y. ; Oxford, 1991. Vol. 1. P. 165 (далее — ODB).

[259] См.: Прохоров Г. М. Сочинения Давида Дисипата в древнерусской литературе // ТОДРЛ. 1979. Т. 33. С. 32.

[260] ODB. Vol. 1. P. 329.

и другие[261]. Особенно показательно возвышение при Палеологах семьи Нотары. Этот род, вероятно, происходил из города Монемвасии, и первые его представители были скорее всего воинами и торговцами[262]. Переселившись в первой половине XIV в. в Константинополь, род Нотара с конца этого века принадлежит уже к элите, входя в окружение императора. О том, какое восхождение на вершины власти проделал Лука Нотара, можно судить по его послужному списку (cursus honorum): 1424 г. — посол к Мураду II, 1431—1450 гг. — императорский переводчик, 1435—1449 гг. — месадзон, 1441—1453 гг. — мегадука[263].

В основном носители византийской образованности по своему происхождению принадлежали к р а з л и ч н ы м с о ц и а л ь н ы м г р у п п а м, представляя на одном полюсе «низы» византийского социума, на другом — господствующую элиту. Значительную долю составляли все же представители знати императорской, аристократической или служилой.

Рассмотрим теперь социальное положение, которое интеллектуалы сумели достичь на протяжении своей жизни. Карьерный рост был доступен для представителей всех социальных слоев. Тот, кто обладал хорошим образованием, имел гораздо больше шансов достичь общественных высот[264].

Получение должности гарантировало человеку не только улучшение его материального положения, но и повышение социального статуса, обеспечивавшее вхождение в состав знати. Поэтому должности, занимаемые интеллектуалами, свидетельствовали о том, что человек, даже не имея высокого происхождения, становился частью господствующего класса, либо сохраняя тем самым престиж своего рода, либо обретая знатность в первом поколении.

---

[261] См.: Matschke K.-P. Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spätbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar, 1981. S. 244.

[262] См.: Matschke K.-P. The Notaras Family and its Italian Connections // DOP. 1995. Vol. 49. P. 60—62.

[263] См.: Ibid. P. 66; PLP. № 20730.

[264] См.: Каждан А. П. Об аристократизации византийского общества... С. 47.

Как точно заметил П. И. Жаворонков, «степень знатности» определяет высший титул, пожалованный члену фамилии[265]. К византийской знати своего времени следует в первую очередь отнести обладателей высших званий и должностей. В табели о рангах середины XIV в. Псевдо-Кодина верхние строчки занимают титулы деспота, севастократора, протовестиария[266]. Только два человека из среды интеллектуалов, не связанные родственными узами с императорской семьей, носили титул протовестиария: Георгий Сфрандзи[267] и Георгий Амирутци[268] сумели сделать блестящую карьеру (первый в Константинополе, другой в Трапезунде), достигнув высокого ранга великого логофета, а затем протовестиария. Как было указано выше, четыре человека возглавляли правительство, занимая должность месадзона, трое имели сенаторский титул, что тоже может свидетельствовать об их знатности[269]. К знати надо отнести и верхушку церковной иерархии. Таким образом, можно предположить, что не более 30 % интеллектуалов конца XIV — XV в. относились к высшей знати. И, что особенно важно в данном случае, основная часть ученых людей достигла такого положения благодаря собственным заслугам, что служит дополнительным свидетельством высокой социальной мобильности внутри византийского общества и значения образования для достижении общественных высот.

В изучаемый период сведения о земельных владениях интеллектуалов встречаются крайне редко. Известно, например, что Георгий Амирутци имел крупную земельную собственность и его виноградники были разбросаны по всей империи[270]. Крупными земельными собственниками, естественно, были представители правящего дома и их образованные родственники. Многие имели

---

[265] Жаворонков П. И. Состав, социальная структура и мобильность знати в Никейской империи: (предварительные итоги) // XVIII Междунар. конгр. византинистов : резюме сообщений. М., 1991. С. 1273.

[266] См.: Pseudo-Kodines. Traite des offices / introd., texte et trad. J. Verpeaux. P., 1966. P. 133.

[267] PLP. № 27278.

[268] Ibid. № 784.

[269] См.: Поляковская М. А., Чекалова А. А. Интеллектуалы и власть... С. 16.

[270] См.: Карпов С. П. Трапезундский ученый Георгий Амирутци... С. 196.

возможность получить земельные пожалования в награду за службу императору. Поэтому обладатели должностей в государственных структурах могли быть и собственниками, хотя вряд ли земельные пожалования в этот период были значительными.

Иоанн Хортасмен, которого Г. Хунгер безоговорочно относил к категории неимущих, в письме к императору Мануилу II говорил о себе: «Я, однако, василевс, здесь согласен быть бедным и не обманываю говорящих»[271]. Но, возможно, он сознательно прибеднялся, желая вызвать жалость, привлечь внимание к собственной персоне и получить финансовую помощь от василевса. Тем более что подобное уничижение противоречит известным нам фактам: Хортасмен получал жалованье нотария патриаршей канцелярии, учил детей состоятельных родителей и мог позволить себе покупку рукописей[272]. Поэтому подобные жалобы нужно воспринимать с известной долей скепсиса.

Георгий Гуделий владел, надо полагать, довольно значительной собственностью, раз мог позволить себе пожертвования бедным и церквам. Он завещал собственный дом на госпиталь для бедных[273]. Хортасмен в письме Георгию Гуделию подчеркивает, что тот своим пожертвованием «позволил себе подтвердить звание архонта»[274]. Хортасмен признает существующую в обществе норму, согласно которой благородный или знатный человек непременно должен жертвовать часть своих богатств на нужды страждущих. В этом замечании слышен отголосок античной традиции переноса тяжести благотворительных деяний на плечи более состоятельных сограждан. А. Лайу видит в этом шаге стремление Гуделия, как и других новых аристократов, утвердиться на вершине общества, доказав филантропией свое право на титул архонта[275].

---

[271] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 35. 11—12.

[272] См.: Hunger H. Johannes Chortasmenos, Persönlichkeit und Werk... S. 46—47.

[273] См.: Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 8. 31—32.

[274] Ibid. Ep. 8. 32.

[275] См.: Λαΐου Α. Στο Βυζαντιο των Παλαιολογων: οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα // Ανατυπο απο το Ευφροσυνον αφιερώμα στον Μ. Χατζηδακη. Αθήνα, 1991. Σ. 290.

Материальное положение ученых в тот период действительно весьма различно. Источником благополучия были семейные богатства. Должности при императорском дворе или в церковных структурах позволяли обеспечить достойное существование. Служба богатым людям в качестве учителей или секретарей также давала возможность преодолеть финансовые затруднения. Однако, не имея стабильного и постоянного источника дохода, интеллектуалы испытывали недостаток в средствах. Жалобы на бедность и нехватку денег постоянно звучали в письмах многих византийских «мудрецов»[276]. Хортасмен выпрашивал у императора праздничные одежды, которые сам был не в состоянии приобрести[277]. Димитрий Кидонис, в свою очередь, обвинял императора Иоанна V Палеолога в невыплате жалованья, бросая ему в лицо резкие обвинения[278]. Эти примеры наглядно демонстрируют зависимость людей, находящихся на службе у центральной власти, от получаемого жалованья. Несмотря на занимаемые ими должности и близость ко двору, их материальное положение оставляло желать лучшего.

Зачастую богатство и могущество вызывало зависть в кругах писателей, считавших себя обойденными судьбой. Хортасмен отмечал, что власть и материальный достаток выпадают на долю недостойных людей, которые возносятся тем самым на общественные вершины: «Часто случается, что среди всех могущественным и богатым становится ничтожнейший из людей, и необдуманность судьбы высоко возносит их»[279]. Хортасмен укорял своенравную судьбу в неразборчивости, тогда как люди, наделенные многими добродетелями, вынуждены влачить жалкое существование.

Некоторые зарабатывали себе на жизнь преподаванием, но и оно не обеспечивало устойчивого материального положения. Ген-

[276] См.: Каждан А. П. Византийская культура... С. 87.
[277] См.: Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 26.6—9.
[278] См.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов... С. 34.
[279] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 8.26—28.

надий Схоларий, жалуясь на потерю интереса к знаниям в столице, сокрушался, что те немногие ученики, которые имеют стремление и склонности к философии, из-за бедности не в состоянии оплачивать занятия, и он сам вынужден учить, не надеясь на какое-либо вознаграждение[280].

Тем не менее многие интеллектуалы являлись собирателями рукописей или владельцами библиотек. Это также можно расценивать как обладание богатствами, ибо книга стоила дорого, и только богатый человек мог позволить себе коллекционирование рукописей[281]. Даже если писатель не имел денег, но владел библиотекой, его уже можно отнести к состоятельным людям. О размерах библиотеки Виссариона, завещанной городу Венеции[282], и ее ценности можно судить по каталогу, который поражает разнообразием представленных в нем античных и христианских авторов[283]. Библиотека Нила Дамилы, которую после смерти он оставил женскому монастырю, насчитывала 41 том, из которых 7 он скопировал собственноручно[284]. Кроме литургической и патристической литературы в его собрании находились труды Боэция и Катона[285]. По завещанию Иосифа Вриенния его библиотека переходила церкви Св. Софии в Константинополе[286]. Подобные дары считались весьма ценными, а их дарители почитались как наиболее крупные донаторы, заслуживающие вечной благодарности.

В этот период наметилась также тенденция приобретения собственности и накопления богатств за пределами империи. Так, Лука Нотара, получивший венецианское и генуэзское гражданства,

---

[280] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... T. 2. Ep. 17, 9.

[281] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 28.

[282] Labowsky L. Manuscripts from Bessarion's Library // Medieval and Renaissance Studies. 1961. Vol. 5. P. 108—131.

[283] PG. 161. Col. 701—712.

[284] Talbot A.-M. Bluestocking Nuns: Intellectual Life... P. 613.

[285] О каталоге книг из библиотеки Дамилы см.: Lampros Sp. Das Testament des Neilos Damilas // BZ. 1895. Bd. 4. S. 585—587.

[286] См.: Сметанин В. А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-православным мыслителем (Иосиф Вриенний) // АДСВ. 1990. Вып. 25. С. 139.

владел большими богатствами в Италии, скопленными в результате активной торговли с итальянскими городами[287].

Таким образом, византийские интеллектуалы принадлежали к нескольким социальным группам: к верхушке византийского общества, занимая важные позиции в церковной иерархии или государственной системе; к окружению императора или других состоятельных лиц, находясь на службе и выполняя различные их поручения; к средним слоям, используя свои знания для преподавательской деятельности. В целом же интеллектуалы если и не относились к верхним слоям общества, то находились в непосредственной близости к ним[288].

Подводя итоги, определим основные тенденции, которые возобладали в среде византийских интеллектуалов последней трети XIV — первой половины XV в. Нельзя не отметить творческую активность и социальную мобильность интеллектуалов этой эпохи. Люди образованные входили в состав элиты византийского общества или были тесно связаны с ней. Эта тенденция оказалась достаточно устойчивой на протяжении по крайней мере двух последних столетий истории Византии. Как и прежде, интеллектуальные силы использовались в государственном аппарате, хотя и сокращалась практика привлечения их на высшие посты в структурах власти. Последние императоры предпочитали использовать услуги образованных людей в частном порядке. Нарастающее ослабление центральной власти способствовало центробежным тенденциям в культурной жизни, следствием которых стало перемещение интеллектуальных сил на периферию, способствовавшее расцвету провинциальных городов и расширению географии интеллектуальных центров. Ученые вынуждены были искать защиты

---

[287] Генуэзские власти уже после смерти Луки Нотары пожаловали его юному сыну Якову в 1468 г. хартию, в соответствии с которой за ним закреплялось все имущество, деньги, земля и товары его отца на генуэзской территории: Matschke K.-P. The Notaras Family... P. 74.

[288] В этом отношении ситуация аналогична XIV в. (см: Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century... P. 14).

и покровительства за пределами императорского дворца. Но если на рубеже столетий интеллектуальная жизнь еще не была затронута кардинальными изменениями, во многом оставаясь традиционной, то XV в. прошел под знаком исхода ученых на Запад. Местом их прибежища стали Кипр, Крит, Италия, другие европейские страны. Интеллектуальная среда начинала размываться под воздействием внешних причин, хотя скрепы, связывавшие ученый мир изнутри, все еще оставались довольно прочными.





Глава 2
ФОРМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

«Ученая дружба» в мире византийских интеллектуалов

изантию традиционно относят к таким государствам, в которых были слабо выражены социальная корпоративность и внутрисословные связи[1]. Тем не менее интересующая нас социальная группа интеллектуалов, хотя и не была институциализированной или формализованной, обладала устойчивыми внутренними связями[2]. Как отметил И. П. Медведев, «интеллектуальная среда отличалась гомогенностью и сплоченностью, образуя полузамкнутое... общество ученых, жившее по своим определенным законам, которые весьма напоминают формы интеллектуального общения, характерные для итальянской гуманистической среды»[3]. Интеллектуалы действительно представляли собой особую прослойку византийского социума, отличавшуюся значительной плотностью и прочностью взаимоотношений между собой. Сохранять

---

[1] См.: Kazhdan A., Constable G. People and Power in Byzantium : an Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington, 1982. P. 30.

[2] См.: Поляковская М. А. Византия: феномен некорпорированности общества // Екатеринбургский гуманитарий. 1999. № 1. С. 21.

[3] Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. СПб., 1997. С. 26.

и поддерживать единство ученому миру помогало соблюдение определенных правил и стереотипов поведения, что особенно ярко проявлялось в коммуникативной сфере, поскольку интеллектуальное сообщество — это прежде всего поле взаимных связей и контактов. Отношения, которые пронизывали мир образованной элиты, несли на себе отпечаток «ученой дружбы». Не случайно эта среда создала целый культ дружбы.

«Ученая дружба» была одним из проявлений интеллектуального образа жизни и получила распространение преимущественно в образованных кругах византийского общества. Это явление имело античные корни и продолжало существовать на византийской почве в силу преемственности: именно от Античности Византия унаследовала трепетное отношение к дружбе, имевшей среди представителей образованности интеллектуальный оттенок. «Ученая дружба» — уникальный феномен, достойный внимания еще и потому, что в европейском Средневековье можно встретить лишь спорадические примеры подобных отношений вплоть до эпохи Ренессанса, когда с рождением университетов в XIII—XIV вв. интеллектуальная среда начала оформляться и на Западе. Сам феномен «ученой дружбы» имеет выраженную гуманистическую окраску благодаря его концентрации на характере человеческих отношений и ценности межличностного общения. Не случайно западноевропейская ренессансная культура окажется весьма благоприятной почвой для развития этого феномена, способствуя формированию в среде гуманистов настоящей сети дружеских связей.

Прославление дружбы — один из распространенных топосов в византийской литературе различных эпох[4]. Наиболее известные примеры «ученой дружбы» относятся ко времени македонской

---

[4] А. П. Каждан поставил под сомнение уважительное отношение к дружеским связям в византийском мире. Он заметил, что «к дружбе отношение было крайне настороженное», ссылаясь при этом только на Симеона Богослова и Кекавмена (Каждан А. П. Византийская культура. СПб., 1997. С. 168). С этим мнением не согласился Ф. Тиннефельд, аргументируя собственную позицию наиболее ярким примером Михаила Пселла (Tinnefeld F. «Freundschaft» in Briefen des Michael Psellos. Theorie und Wirklichkeit // JÖB. 1973. Bd. 22. S. 151—168).

и комниновской династий. Утонченную интеллектуальную дружбу высоко ценил Михаил Пселл (XI в.), который поддерживал прочные дружеские отношения со своими современниками Иоанном Мавроподом, Константином Лихудом, Иоанном Ксифилином, объединенными страстью к наукам[5]. Для публициста и общественного деятеля XII в. Евстафия Солунского именно дружба была утешением в лицемерном мире византийского двора. Евстафий верил в совершенную дружбу, которую считал общечеловеческой добродетелью[6]. В ученой среде дружба являлась социальным идеалом[7].

И хотя культ дружбы в большей степени характерен для светских кругов, можно встретить образцы дружеских связей и в среде церковной элиты. Пример тому — отношение к дружбе константинопольского патриарха X в. Николая Мистика, который считал интеллектуальное родство, понимаемое как единомыслие и единочувствие, высшей формой взаимоотношений друзей[8]. Однако для духовных лиц дружба наполнялась христианским содержанием, приближаясь к формулам «любви к ближнему», «духовного единства в Боге», «любви во Христе», отчего приобретала более расплывчатые очертания. Поэтому следование аристотелевскому принципу дружбы (относиться к другу как к «самому себе», видеть в нем *alter ego*) характерно преимущественно для светских кругов.

Отнюдь не все византийские интеллектуалы превозносили дружбу. Осторожно относился к ней автор XI в. Кекавмен, который считал ее удобным средством для достижения личных целей и корыстных интересов. Он не был одинок в своем скептицизме. Симеон Богослов презирал дружбу, которая, по его мнению, изначально

---

[5] См.: Любарский Я. Н. Михаил Пселл: личность и творчество. М., 1978. С. 118; Tinnefeld. F. «Freundschaft» in der Briefen... S. 153.

[6] См.: Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский // ВВ. 1967. Т. 27. С. 78—106; 1968. Т. 28. С. 80.

[7] См.: Kazhdan A. P., Epstein A. W. Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. Berkeley ; Los Angeles ; London, 1985. P. 132.

[8] См.: Малахов С. Н. Дружба и духовное родство в византийском обществе по письмам патриарха Николая Мистика // Докл. межвуз. науч.-теорет. конф. Петропавловск-Камчатский, 1992. С. 59.

расчетлива и своекорыстна[9]. По мнению Иоанна Каматира (XII в.), осуждение и жалость вызывают те, кто имеет много друзей[10]. Скептическое и недоверчивое отношение этих авторов к дружбе вполне объяснимо. Зачастую дружба служила всего лишь заменой официальных связей, предполагая отношения корысти и конкретной выгоды, да и призывы к ней порой имели сугубо риторический характер. Искренность заверений в такой дружбе поэтому могла быть поставлена под сомнение.

Однако, судя по дошедшим до нас источникам, писатели последней трети XIV — первой половины XV в. в большинстве своем все же высоко ценили дружеские отношения, нежели разделяли скептицизм вышеупомянутых предшественников. Иоанн Евгеник в одном из писем заметил, что дружба защищает «от затяжной зимы и внезапно обрушившейся бури, счастливо проводит суда разумных к земле обетованной. Ибо дружба, как говорят, удерживает всех — и страдающих, и повинующихся... <...> является терпеливейшей любовью, не рассуждает о собственной пользе, выбирает ближайших, защищает всех, надеется на всех, и никогда не кончается...»[11] Димитрий Кидонис, который был истинным апологетом дружбы, указывал, что одним из лучших качеств человека является способность находить истинных друзей-единомышленников и в дружбе жертвовать собственными интересами. В энкомии Синадину Астре он указал, что именно образованный человек прежде всего ценит в друге: «он [Синадин] делал своими друзьями тех, кто питал глубокое уважение к истине и предавался литературным занятиям, кто искал умеренности в жизни и в дружеских отношениях думал не о своем преимуществе или о благоприятном положении для себя»[12].

---

[9] См.: Каждан А. П. Византийская культура… С. 168.

[10] См.: Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский... С. 81.

[11] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηναι, 1912. Т. 1. Σ. 198—199. Ep. 24. 1—5.

[12] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1; 1960. Vol. 2. Ep. 101. 31—34.

«Ученая дружба», наполнявшая интеллектуальное общение теплом человеческих отношений, — понятие достаточно многозначное. Немаловажную роль в ней играло дружеское расположение, привязанность и внимание к человеку схожих умонастроений. Однако определяющие позиции в межличностных отношениях, окрашенных «ученой дружбой», занимали интеллектуальные категории учености и любви к науке[13].

Дружба предполагала равенство людей, которых она связывала. Это подразумевало равный уровень образовательной подготовки, схожий образ жизни и мыслей, близость жизненных ориентиров. Поэтому Иоанн Хортасмен предпочитал иметь друзей, которые получили такое же образование, как и он, или которые превосходили его своими достоинствами: «друзьями являются люди, связанные со мной теми же знаниями и пользующиеся теми же учителями, и те, кто превосходит нас от величия натуры своими добродетелями»[14].

Известие о том, что друг посвящает время риторике и наукам, занят самообразованием (αὐτοδιδασκαλία), пишет труды, воспринимались друзьями с одобрением, поскольку свидетельствовало о том, что человек следовал «философскому образу жизни». Мануил II Палеолог хвалил Иванка за то, что тот не почивал на лаврах, а продолжал активно трудиться на ниве наук. Получив всеобщее признание, Иванк тем не менее не стал наслаждаться заслуженным успехом, а «продолжил жить жизнью вместе с Платоном и Демосфеном»[15]. Сам же Мануил II признавал, что проявил немало усердия и труда, чтобы достичь результатов в своем литературном мастерстве[16].

Друзья культивировали друг в друге интерес к знаниям, поощряли усердие в ученых изысканиях. Если же человек, напротив,

---

[13] См.: Любарский Я. Н. Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кируляриев) // ВВ. Т. 35. С. 101.

[14] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 22. 59—62.

[15] The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977. Ep. 45.58.

[16] Ibid. Ep. 33. 4.

жертвовал интеллектуальными занятиями в угоду другим интересам (семья, придворная карьера либо профессиональная деятельность) или не проявлял рвения в науках, то друг пытался вразумить и помочь не сходить с пути ученого. Так, Георгий Философ, вернувшись из столицы в родную Фессалонику, все меньше времени посвящал литературным штудиям, что вызывало обеспокоенность его друга, Димитрия Кидониса. «Но ты, видимо, обретя родителей, друзей и родину, забыл о нас как о тех, кто канули в Лету», — сетовал Кидонис[17]. Он предупреждал молодого друга, что семейные дела могут полностью его поглотить, не оставив времени для научных занятий. Судя по письмам, Георгий клятвенно заверял, что сдержит все данные обещания и не откажется от занятий философией и риторикой. Тем сильнее было разочарование друга, когда все обещания остались невыполненными. Кидонис даже не обвинял, а лишь робко упрекал его в «пренебрежении договоренностью»[18], опасаясь окончательно разорвать дружескую связь.

Если кто-то отходил от научных штудий, его коллеги пытались убедить его в ошибочности упреками, уговорами и даже угрозами. Ничто не могло оправдать человека, изменившего истине. Иоанн Хортасмен, опечаленный известием, что его способный друг Мануил Тарханиот Вуллот прекратил занятия, не принял ни единого слова в оправдание этого поступка: «Сначала я был свидетелем твоего усердия и преданности наукам, когда ты начинал с любовью много заниматься ими. Но теперь скорая перемена и холодность привели к противоположному. Когда с тобой это случилось, мой близкий друг, и в какое короткое время отвернулся от всех надежд и ожиданий? Мы полагаем, что ради денег и плохого дела ты оставил науки...»[19] Хортасмена не удовлетворяли доводы друга, стремящегося как-то оправдаться, и он призывал его сделать выбор в пользу наук.

---

[17] The Letters of Manuel II Palaeologus. Ep. 160. 6—7.

[18] Ibid. Ep. 162. 5.

[19] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 12. 2—7.

Признание риторического таланта друга — высшая оценка его достижений на поприще научных штудий. Хортасмен отмечал в Мануиле Хрисолоре «силу слова и что она непобедима»[20]. Друзья удостаивали друг друга разнообразными эпитетами. Арсенал хвалебных слов в их лексиконе был широк и разнообразен. Мануил II, к примеру, многократно употреблял в сочетании с именем своего друга Мануила Хрисолоры прилагательные «прекрасный (καλός)» или «благородный (ἀγαθός)»[21]. К нему же Исидор Киевский обращался «благороднейший из мужей» (ἀνδρῶν ἄριστε)[22], а Иоанн Хортасмен — «почтеннейший мой (ὦ γενναῖε)»[23]. Исидор Киевский восхищался познаниями Хрисолоры и вспоминал его рассказы о дальних путешествиях: «Иногда, о превосходный среди людей, мы видели твою золотую голову, которая была полна многими и великими знаниями, иногда я слышал твою речь, повествующую то о французах, то о кельтах, то о западных иберах»[24]. Безусловно, образованный друг всегда представал в несколько приукрашенном виде, а его достоинства в определенной степени утрировались. Естественное стремление подчеркнуть лучшие черты своего друга, а также требования эпистолярного жанра породили подобное сочетание комплиментарности с реальной оценкой человека и его заслуг.

Дружба, которая связывала людей, посвящавших время интеллектуальным занятиям, была окрашена общностью научных интересов. Верность в дружбе, взаимопомощь, солидарность, готовность вынести ради друга любые страдания ценились в среде образованной элиты. Основой такой дружбы являлась польза, проистекающая из взаимного общения людей и обмена мнениями. И этот обмен должен был носить свободный характер.

Формой общения между интеллектуалами, которая несла на себе отпечаток «ученой дружбы», была научная дискуссия.

---

[20] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 29. 27—28.

[21] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 49. 2.

[22] Ziegler A.W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev // OCP. 1952. Bd. 18. S. 139. Ep. 5.

[23] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften.... Ep. 29. 20.

[24] Ziegler A.W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe... S. 139. Ep. 5.

Научный спор был одной из любимых форм коммуникации в ученой среде[25]. Дискуссия являлась неотъемлемой частью научных занятий, ведь именно в споре рождалась истина. С одним из своих корреспондентов, Георгием Философом, отличавшимся незаурядными способностями и бескомпромиссностью в полемике, Димитрий Кидонис вел увлекательную дискуссию. Георгий был ярым поборником философии Платона и пренебрежительно относился к Фоме Аквинату, что стало поводом к спору между друзьями[26]. Кидонис, увлеченный трудами Фомы Аквинского, все же сумел убедить Георгия в необходимости изучать сочинения этого философа[27], поскольку, считал он, латинская теология занималась теми же проблемами, что и Платон. Но привязанность Георгия к Платону не позволила ему по достоинству оценить глубину идей Аквината[28]. Жаркая полемика, разгоревшаяся вокруг этих вопросов между друзьями, свидетельствует о допустимости расхождений во взглядах, дающих почву для плодотворного научного спора.

Дискуссия порой длилась годами, превращая корреспонденцию в арену полемических баталий, в которых каждый из участников отстаивал свою систему доказательств. В 1400 г. на Крите состоялся известный диспут между Иосифом Вриеннием и Максимом Хрисовергом по религиозным вопросам, свидетелем чему был Димитрий Скаран[29]. Позднее Скаран сам включился в дискуссию и написал Вриеннию письмо теологического содержания, оспорив его доводы[30]. Дискуссия, развернувшаяся между двумя интеллектуалами,

---

[25] См.: Поляковская М. А. К характеристике средневекового ученого (значение научной дискуссии в понимании Димитрия Кидониса) // АДСВ. 1983. Вып. 20. С. 40.

[26] См.: Tinnefeld F. Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones // OCP. 1972. Bd. 38, H. 1. S. 158—159; Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas // Byz. 1982. Vol. 52. P. 275.

[27] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 33. 46—48.

[28] Ibid. Ep. 33. 4.

[29] См. об этом: Dennis G. T. Introduction // The Letters of Manuel II Palaeologus... P. LVII.

[30] Eszer A. K. Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros. Forschungen zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen im XIV. Jh. Wiesbaden, 1969. S. 114.

постепенно вовлекла в обсуждение и других участников, которые изыскивали все новые и новые аргументы в защиту той или иной точки зрения.

Диспут был не только способом демонстрации собственных знаний, но и формой повышения уровня своего образования. Поэтому в кругу интеллектуалов особенно ценилось *disputatio* с маститым ученым, полемика с которым могла обогатить слушателя и участника ученого спора. К известному философу Георгию Гемисту Плифону «приезжали со всех концов света другие выдающиеся философы»[31], чтобы участвовать в научной дискуссии и обмене мнениями, ведь, со слов Виссариона, тот являлся «отцом и предводителем всех»[32].

Иоанн Хортасмен неоднократно обращался с просьбой к Димитрию Хрисолоре, месадзону Иоанна VII в Фессалонике, чтобы тот согласился включить его в круг своего общения и заниматься с ним науками[33]. Хрисолора, сославшись на свою занятость политическими делами и отсутствие свободного времени для научных занятий, отказал молодому интеллектуалу. Но Хортасмен не потерял надежды добиться его расположения и проявил настойчивость в своей просьбе. Он заметил, что труды, выходящие из-под пера Хрисолоры, свидетельствовали о его постоянной интеллектуальной работе, и Хортасмен ощущал себя достойным принять участие в обмене мнениями с таким авторитетным ученым. Не боясь навлечь на себя гнев такой докучливостью, начинающий литератор умолял Хрисолору не о постоянных встречах, а лишь коротких беседах для обсуждения научных тем. Интересуясь интерпретацией систем Евклида и Птолемея, Хортасмен просил Хрисолору помочь «раз в месяц разрешить два или три наших спорных вопроса»[34].

В среде интеллектуалов формировался идеал ученого, на который они ориентировались сами и который рекомендовали в качестве образца для подражания своим друзьям. Еще Феодор Мето-

---

[31] PG. 160. Col. 817 D — 818 A.

[32] Alexandre C. Plethon, Traite des Lois, ou Recueil des Fragments. P., 1858. P. 404.

[33] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 22. 7.

[34] Ibid. Ep. 22. 89—95.

хит создал образ истинного ученого, который должен посвятить свою жизнь науке, для чего следует пренебречь мелкими радостями семейной жизни[35]. Ради знаний ученый должен отказаться от суетных забот и брака, которые являются главными и порой непреодолимыми препятствиями на пути к достижению намеченной цели[36]. Целую теорию истинно интеллектуальной жизни предложил позднее своим ученикам Димитрий Кидонис, в которой представления Метохита получили дальнейшее развитие и более четкое оформление. Ф. Тиннефельд в статье, посвященной взаимоотношениям Кидониса и его ученика Радена, отметил, что, по мнению Кидониса, важнейшей предпосылкой успешного продвижения по пути философа является свобода (ἐλευθερία). Истинный ученый должен быть свободен от брачных уз, профессиональных дел и политической зависимости, причем свобода от семьи имела принципиальное значение[37]. Свобода от государственной деятельности, являвшаяся одним из элементов еще эпикурейской этики[38], становилась залогом внутреннего комфорта. Поэтому стремление вырваться из круга повседневных забот и общественной жизни приветствовалось как доказательство верности избранному пути философа. Хотя при этом ученый должен был также отказаться от пассивной, сугубо созерцательной жизни и быть человеком деятельным. Но идеал, пропагандируемый Кидонисом, не нашел своего воплощения ни в одном из ученых поздневизантийского времени, хотя стремились к нему многие. Важно другое: и Метохит, и Кидонис пытались выделить в особый (самостоятельный) род занятий интеллектуальную деятельность. Подобное представление об идеале ученого свойственно гуманистическому мировоззрению.

---

[35] Hunger H. Der Ethikos des Theodoros Metochites // Ἑλληνικά: παράρτημα. 1957. T. 9. S. 149.

[36] Медведев И. П. Ренессансные тенденции поздневизантийской культуры // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 224—241.

[37] См.: Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos // Byz. 1985. T. 55, Fasc.1. S. 230.

[38] Эпикур говорил, что «надо высвободиться из уз обыденных дел и общественной деятельности» (см.: Шишкин А. Ф. Из истории этических учений. М., 1959. С. 74).

Основным предназначением ученого, по признанию современников, был поиск истины («результат философии есть нахождение истины»[39]), смысл которого состоял не столько в обретении какого-то абсолютного знания, сколько в самом процессе постоянной познавательной деятельности. Поэтому лучшей похвалой человеку было упоминание, что он трудится для истины, т. е. посвящает свое время научным штудиям[40]. Мануил II Палеолог также признавал важность подобного образа жизни: «Если правда, что каждый человек похож на тех, чьим обществом он наслаждался, тогда можно предположить, что с тех пор, как он живет у вас, он наслаждается приятной жизнью и, что более важно, жизнью философа»[41]. Обретение нового знания, постоянные ученые занятия отождествлялись, таким образом, с поиском истины. И поэтому заслуга Гемиста Плифона в глазах его ученика заключалась в том, что «он открыл самый легкий путь к знанию для тех, кто стоит перед выбором, он указал со всей прямотой и мудростью на тот ложный путь, который сбивал с толку очень многих людей, он освободил людей от высшего обмана <...> ...и всякий, кто верно последует им [его сочинениям], в любом случае не собьется с пути, ведущего к священной истине»[42]. Задача друга — помочь не отклониться от намеченной цели. Хортасмен, обращаясь к одному из своих друзей, призывал его: «покажи мне ошибки в речи и попытайся всеми способами отвести от них друга, помогая тому, кто находится в опасности из-за ошибки уклониться от истины»[43].

Отправив свой математический трактат другу-философу, Хортасмен надеялся услышать его суждение об этом труде, заметив, что если сочинение получит положительный отзыв, то это будет

---

[39] ἔστι φιλοσοφίας τέλος ἀληθείας εὕρεσις (Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 39. 19).

[40] Кидонис рекомендует своего юного ученика Радена Тарханиоту как человека, «заботящегося об истине (ἀληθείας φροντίζοντα)»: Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 14—15.

[41] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 3. 14—17.

[42] PG. 160. Col. 818 AB.

[43] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 9. 23—25.

величайшей радостью для автора. Но корреспондент не должен бояться высказывать критические замечания, опасаясь нанести вред их отношениям («не упускай и не скрывай этого из-за дружбы»[44]). Как заметил Хортасмен, цель философии есть поиск истины, а посему его адресат, безусловно, должен ставить истину выше дружеской привязанности[45]. Приводя в пример Платона и Сократа, Хортасмен призвал друга избрать истину (προτιθεὶς τὴν ἀλήθειαν) и не избегать критических высказываний из опасения задеть автора[46].

Поддержанию корпоративных связей в ученой среде способствовал обмен сочинениями между византийскими писателями, производившийся с целью получить критические замечания и оценку своих творений со стороны собратьев по перу. Зачастую первым читателем и критиком становился человек, который, с одной стороны, питал к автору дружеское расположение (это позволяло рассчитывать на благожелательность отзыва), а с другой — мог вынести суждение о достоинствах и недостатках работы. Иоанн Хортасмен, получив похвалы от монаха Исидора Врана своему литературному сочинению, тем не менее переживал, что именно дружеские чувства определили положительный отзыв: «меня не слишком убеждают столь сильно преувеличенные похвалы, и я боюсь, что это дружба повлияла на твое мнение»[47]. Отправляемое для ознакомления и критики сочинение сопровождалось просьбой сообщить о благосклонном отзыве, а при наличии ошибок указать на них и объяснить[48].

Человеком, способным отметить удачные места и недостатки текста, для Мануила II Палеолога был Мануил Хрисолора, которому император переслал зимой 1409/10 г. эпитафию на смерть своего умершего брата Феодора, оговорив, что она «была сотворена мной скорее плачущим, чем пишущим»[49]. Император обратился

---

[44] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 39. 21—22.

[45] Ibid. Ep. 39. 3—4.

[46] Ibid. Ep. 39. 29.

[47] Ibid. Ep. 7. 4—6.

[48] Хортасмен просит прощения за возможные неточности и настаивает на разъяснении его ошибок (Ibid. Ep. 9. 22—23).

[49] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 56. 2.

с просьбой внести необходимые по усмотрению Хрисолоры коррективы: «Книга приходит к тебе не для демонстрации, как если бы Апеллес и Лисипп показывали друг другу свои творения, а подобно тому, как другие несли одному из них свои произведения для исправления: картины — Апеллесу, статуи — Лисиппу. <...> Убирай из этого сочинения лишнее, иное не медли изменить, дополняй к этому что-то и от себя, ибо я знаю, что оно будет нуждаться в этом»[50]. Позволяя вносить изменения и дополнения и даже настаивая на этом, Мануил II тем самым признавал превосходство способностей Хрисолоры над собственным писательским талантом. Думается, что столь высокая оценка дана вполне заслуженно. Хрисолора не замедлил с отзывом, в котором высоко оценил присланную эпитафию и посчитал излишними любые правки. Возможно, от критики его удержал тот факт, что автором являлся император, и Хрисолора как истинный царедворец не рискнул делать замечания[51]. Но также вполне вероятно, что его благожелательный отзыв был продиктован безукоризненностью стиля надгробной речи или желанием поддержать друга словами одобрения.

Иоанн Хортасмен также послал Каталону свою речь, сопроводив ее просьбой о снисходительности к автору: «Я по твоей просьбе отправил тебе речь. Если она действительно показалась тебе достойной, то слава Богу, если же большая часть ее оказалась слаба, то написавшего не стоит упрекать за это»[52]. Риторичность, которая присутствовала в подобных замечаниях, отнюдь не исключала искреннего желания услышать мнение друга.

Друзья обменивались не только собственными сочинениями, но передавали друг другу произведения своих наставников и друзей. В одном из писем Геннадий Схоларий выразил признательность Димитрию Раулю Кавакису, ученику Плифона, за то, что тот

---

[50] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 56. 22—33.

[51] См.: Patrinelis C. G. An Unknown Discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Palaeologus // GRBS. 1972. Vol. 13. P. 500.

[52] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 4. 3—5.

прислал ему работу их общего учителя[53]. После окончания диспута о предательстве Иуды, в 1409/10 г. проходившего при дворе Мануила II Палеолога между Димитрием Хрисолорой и Антонио д'Асколи, император отправил текст трактата, содержавший положения дискуссии, великому протосинкеллу Евфимию. В ответном письме тот поблагодарил Мануила за присланные материалы: «ты послал нам свой трактат, император, так как хотел нас порадовать и вместе с тем оказать честь: ты, с одной стороны, считаешь нас достойными такого дара, а с другой, доставляешь большую радость самим даром»[54].

Для ознакомления и дружеской критики Виссарион отправил свое сочинение в защиту Платона не только греческим коллегам, но и итальянским знакомым. Его труд заслужил положительный отзыв Иоанна Аргиропула, известного греческого интеллектуала, преподававшего в Италии[55]. Столь же высоко оценил это сочинение и итальянский гуманист Антонио Панормита, который, по собственному признанию, его «прочитал с требовательностью, а также душевным наслаждением, и если бы не знал автора, мог бы солгать, что это написано не в защиту Платона, а самим Платоном»[56].

Когда получили развитие контакты с западными учеными, византийские авторы стали отсылать свои сочинения на отзыв итальянским коллегам, заботясь не только о расширении собственной известности, но и об укреплении дружеских отношений с представителями другой культуры. Так, Мануил II Палеолог неоднократно просил итальянских друзей перевести его трактаты на иные языки и отправить их другим гуманистам: «Ты, который оказывает мне милость, полагая, что труд мог бы прибавить славу написавшему,

---

[53] Ζηση Θ. Γενναδιος Β' Σχολαριος: βιος — συγγραμματα — διδασκαλια. Θεσσαλονικη, 1980. Σ. 362.

[54] «Es wäre gut für jener Menschen, wenn er nicht geboren wäre». Eine Disputation am Hof Kaiser Manuels II. über ein Jesuswort vom Verräter Judas / Einl., krit. Erst. und Übers. von F. Tinnefeld // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 150.

[55] См.: Neuhausen K. A., Trapp E. Lateinische Humanistenbriefe zu Bessarions Schrift «In calumniatorem Platonis» // JÖB. 1979. Bd. 28. S. 142. Ep. 1. 15—17.

[56] Ibid. Ep. 3. 4—6.

прочти и покажи тем, кого знаешь; ты мог бы перевести его на латинский язык и, если решишь, на свой язык»[57]. Мануил Хрисолора также передавал собственные сочинения итальянским друзьям в надежде получить их отзыв и приумножить свою известность в гуманистических кругах. Читателем его «Сравнения Древнего и Нового Рима» стал Гварино да Верона, который был покорен элегантностью стиля произведения и разослал копии другим итальянским гуманистам[58].

Для людей, связанных «ученой дружбой», важна была не только интеллектуальная составляющая их общения. Они проявляли искренний интерес к повседневным делам и проблемам друг друга: сопереживали в трудные минуты, оказывали поддержку и делили радости, заботились о здоровье и материальном благополучии. Например, частые поездки Мануила Хрисолоры по Западной Европе, связанные с выполнением дипломатических поручений императора, заставляли волноваться его близких товарищей. Друзья, понимая всю сложность дальних путешествий, выражали ему сочувствие и обеспокоенность из-за его долгих отлучек, пеклись о его интересах, страдавших в силу его загруженности на государственной службе. Мануил Калека, получив известия о возвращении Хрисолоры на родину, сожалел о близости его нового отъезда в связи с предстоящим путешествием во Францию во главе посольства[59]: «Я радовался тому, что ты увидишь Пелопоннес, но я слышал, что ты желаешь оттуда отправиться во Францию. Обдумав, я решил, что ты берешь на себя дело, которое только обременяет тебя»[60]. Здесь в завуалированной форме высказана и более глубокая мысль, сформулированная в свое время их общим учителем Димитрием

[57] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 60. 14—17.

[58] См.: Homeyer H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstantinopel. Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus // Klio. 1980. Vol. 62/2. S. 533.

[59] Поездка состоялась в 1408 г. (см.: Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München ; Berlin, 1965. T. 5. № 3320).

[60] Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. Ep. 89. 18—21.

Кидонисом: человек, ориентированный на научные занятия, должен быть свободен от всякой службы и политической активности[61]. Как видим, Мануил Хрисолора был далек от идеала своего наставника, и его занятость на императорской службе вызывала сожаление, сочувствие и робкие упреки со стороны его друзей[62]. В любой жизненной ситуации, в которой оказывался ученый, он мог рассчитывать на поддержку и понимание тех, кто питал к нему дружеские чувства.

«Ученая дружба» выполняла и определенные компенсаторные функции в византийском обществе. В ученой среде важную роль играли личная протекция или заступничество, восполнявшие недостаточно развитую в Византии систему социальных связей. Дружеское расположение давало основание надеяться, что просьбы о содействии и поддержке, обращенные к более влиятельному или состоятельному другу, не останутся без ответа. Кидонис охотно оказывал поддержку друзьям, если это было в его силах. Он неоднократно напоминал им о своей готовности прийти на помощь: «если ты полагаешь, что мои слова могли бы быть тебе чем-то полезны... то все, что я могу тебе предложить, находится в твоем распоряжении»[63].

Показательным примером участия в судьбе молодого друга может служить письмо Кидониса, направленное Мануилу II, где он выступил примирителем в конфликте между императором и его воспитанником Асаном. Молодой Асан, раскаиваясь в своем недостойном поведении по отношению к василевсу, обратился к Кидонису с просьбой о посредничестве, надеясь получить от него помощь и заступничество[64]. Тот факт, заметил Кидонис, что «ты [Мануил II] благодаря мне оказал много своих милостей, которые не были достигнуты просьбами других», позволяет надеяться на примирение.

---

[61] Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία... S. 227.

[62] Мануил Калека неоднократно выражал свое недовольство загруженностью Хрисолоры на службе (Correspodance de Manuel Calecas... Ep. 24. 10—14).

[63] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 67.

[64] Ibid. Ep. 212. 22.

Кидонис не мог не встать на защиту молодого человека, так как, по его мнению, «если кто-то спокойно наблюдает, как хулят друга, то он тоже может быть причислен к клеветникам из-за своего молчания»[65]. Кидонис просил Мануила II простить Асана, проявив снисхождение к его юношеской пылкости и экспрессивности: «Я прошу тебя, император, подумать о том возрасте, в котором он потерял контроль над собой, и о том, как тяжело молодые люди переносят, когда их ругают и позорят»[66].

Друзья оказывали содействие молодым людям, только ступившим на стезю научных занятий, вводили их в круг образованных людей, помогали обрести полезные связи. Кидонис на правах друга рекомендовал некоему аббату своего итальянского знакомого: «Я посылаю тебе этого молодого человека, чтобы он, как многие другие, получил от тебя содействие», ибо этот аббат уже неоднократно помогал тем, «кто почитает красоту»[67].

Друзья нередко защищали друг друга. Оскорбление друга воспринималось ими как личное, а все нападки на человека, к которому они питали дружеские чувства, принималось его друзьями и на свой счет. Поддержка друга была делом чести для интеллектуалов. Такая ситуация сложилась вокруг Мануила Хрисолоры, который по своим политическим взглядам был последовательным сторонником тесного союза с латинским Западом. Вероятно, его откровенно пролатинские настроения вызывали нападки при дворе со стороны влиятельных особ. Об этом упоминал Кидонис: «Хрисолору, очевидно, ни один не осудил бы за любовь к латинянам, если бы он не афишировал собственное мнение»[68]. Хрисолора, по всей вероятности, часто подвергался критике со стороны тех, кто придерживался традиционного убеждения в том, что «римляне наносят вред философии»[69]. Иоанн Хортасмен встал на защиту Хрисолоры от нападок его противников, заметив, что «они [латиняне]

---

[65] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 212. 23—24.
[66] Ibid. Ep. 212. 33—35.
[67] Ibid. Ep. 360. 4—7.
[68] Ibid. Ep. 358. 20—21.
[69] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 29. 13—14.

нисколько ей не вредят, но стремятся надлежащим образом учиться у того, кому достаются их достойные похвалы»[70]. Мануил Хрисолора порой намеренно игнорировал подобные обвинения некоторых своих современников и даже в какой-то степени провоцировал критиков своим молчанием. Но это приводило подчас к тому, что объектом нападок злопыхателей становились его друзья. Хортасмен умолял Хрисолору выступить в защиту собственных убеждений или вложить в руки друга оружие, с помощью которого можно было бы разрушить все возводимые обвинения: «Так как ничего определенного я не могу сказать о тебе, они обвиняют тебя в ложности твоих мыслей и, кроме того, в дерзости и несправедливости. Поэтому выведи, о благородный, нас, ради Бога, из затруднения, дабы мы знали, что надо ответить вопрошающим в твою защиту»[71]. Друзья всегда были готовы отстаивать честь друг друга, вместе защищать интересы каждого из них, вместе действовать в конфликтах или сложных ситуациях. Этим и были ценны подобные отношения, не ограничивавшиеся общностью научных интересов.

«Ученая дружба», имевшая ярко выраженный светский характер, была распространена преимущественно в высших кругах византийского социума. Канон дружбы, унаследованный с античных времен и культивируемый на протяжении всей византийской истории, имел выраженную эмоциональную окраску, хотя тенденция к усилению интеллектуальной стороны дружбы была очевидна. Дружба понималась в кругу интеллектуалов как высшая добродетель, чем подчеркивалась избранность тех, кто обладал способностью поддерживать дружеские отношения.

Интеллектуальное сообщество тесно связывало своих членов узами различного рода. В большинстве своем интеллектуалы знали друг друга если не лично, то опосредованно, через общих друзей или знакомых. Это объясняется, во-первых, тем, что занятия подобного рода находили своих приверженцев среди ограниченного числа людей: число писателей-современников было невелико.

[70] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 29. 15.
[71] Ibid. Ep. 29. 18—21.

Во-вторых, они вращались в определенных кругах: либо при дворе правителя, либо вокруг какой-либо авторитетной в научной среде личности. В-третьих, этому способствовали традиции, существовавшие в интеллектуальном мире. Система образования, которая покоилась на тесных личных контактах, регулярные встречи, обмен мнениями в кружках, эпистолярные связи скрепляли единство ученой среды. Среди интеллектуалов можно было встретить друзей юности, учившихся у одного учителя и знавших друг друга с молодости, таких как воспитанники Димитрия Кидониса или ученики школы Плифона. Поэтому далее мы обратимся к анализу отношений, устанавливавшихся между учителем и его подопечным в годы обучения и окрашенных светом «ученой дружбы».

Наставники и их подопечные

«Ученая дружба», столь характерная для византийской интеллектуальной среды, предполагала взаимопонимание, духовное родство и близость жизненных ориентиров людей высокого уровня образованности и нравственной культуры, посвящавших свое время творческой деятельности и научным занятиям. Это явление было достаточно индивидуализированным, так как симпатия и расположение обращались на конкретного человека, с конкретными достоинствами и недостатками, что наглядно демонстрируют отношения между наставниками и учениками.

Связь «учитель — ученик» являлась одной из наиболее распространенных форм интеллектуального общения. Это было обусловлено тем, что люди науки не только накапливали знания, но и выступали в роли носителей духовности, выполняя важную задачу сохранения и передачи интеллектуального наследия следующим поколениям ученых. В силу этого проблема воспитания и обучения была для них особенно актуальна[72].

---

[72] О проблеме византийской системы образования см.: Гукова С. Н. Школа и образование в поздней Византии // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 395—411; Кривушин И. В. Византийское образование при Палеологах //

Кроме того, образование в Византии было и средством социальной мобильности. Получив его, можно было повысить свой социальный статус. Образовательная система представляла собою «социальный лифт», открытый для выходцев из различных социальных групп, позволявший подняться с нижних этажей общества на самые его вершины[73].

В духе древнегреческой теории воспитания (παιδεία) Византия не знала понятия формального обучения, сводившегося к более или менее безличной передаче знаний и навыков. По мнению Ксенофонта, «никто не может ничему научиться у человека, который не нравится»[74]. Следуя античной традиции, воспитание представлялось византийцам исключительно как глубокое личное общение, в котором старший является одновременно наставником, другом и идеалом ученика, а тот, в свою очередь, должен испытывать расположение к учителю. Византийский учитель унаследовал от своих античных предшественников отеческое отношение к своим подопечным[75]. В этих условиях дружба между учителем и учеником оказывалась необходимым элементом воспитания. Восполняя то, чего не могли дать другие социальные институты, она не только аккумулировала в себе эмоциональный заряд межличностного общения, но и выполняла социально-когнитивную функцию.

Учитель руководил штудиями молодых людей, помогал им ориентироваться в бескрайнем океане знаний и делать свой собственный выбор. Под руководством первого учителя происходило становление личности, формирование жизненной позиции

Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 20—33; Browning R. Byzantinische Schulen und Schulmeister // Das Altertum. 1963. Bd. 9, H. 2. S. 111; Idem. Byzantine Scholarship // Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. P. 3—20; Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig ; Berlin, 1926. S. 68—72; Tinnefeld F. Schooling in the Palaiologan Period // Byzantium: Identity, Image, Influence : Abstracts : XIX Intern. Congr. of Byzantine Studies. Copenhagen, 1996. P. 7521; Idem. Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung in Byzanz // Gymnasium. 1989. Bd. 96, H. 5. S. 429—443.

[73] См.: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 396.

[74] Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993. С. 116.

[75] См.: Browning R. Byzantinische Schulen und Schulmeister... S. 111.

и мировоззрения. Понятия «учитель» и «друг» для образованного византийца неразрывно связаны. Учитель был настоящим другом, помогавшим делать первые шаги по пути к цели, к которой стремились душа и ум ученика.

Воспитание и обучение проходили в дружеской атмосфере. У ученика складывался определенный идеал человека-ученого, важными достоинствами которого были эрудиция — своеобразный универсализм знаний, постоянное стремление к самосовершенствованию, непрестанный поиск истины. И подопечные наставника стремились достичь этого идеала.

Отношения «учитель — ученик» имели в Византии глубокие традиции[76], которые могут быть проиллюстрированы множеством примеров из разных периодов византийской истории. Весьма показательны отношения со своими учениками Николая Мистика (X в.)[77], Михаила Пселла (XI в.)[78], Евстафия Солунского (XII в.)[79], Никифора Влеммида (XIII в.)[80].

Византийской образованности была присуща и еще такая характерная черта, как преемственность[81]. Нетрудно заметить, сколь крепко многие видные деятели Византии были связаны между собой отношениями учителя и ученика. Ученик, повзрослев, сам становился учителем для молодых людей, стремившихся овладеть науками под руководством опытного наставника. Эта нить, не прерываясь, тянулась через поколения на протяжении нескольких веков. Можно проследить цепочку, соединяющую учеников и учителей последних палеологовских столетий. Учеником Никифора

---

[76] См.: Tinnefeld F. Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung... S. 429—443.

[77] См.: Малахов С. Н. Дружба и духовное родство... С. 57—60.

[78] См.: Безобразов П. В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890. С. 122—123; Любарский Я. Н. Михаил Пселл: личность и творчество... С. 117—124.

[79] См.: Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский... С. 80—81.

[80] См.: Барвинок В. И. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911. С. 268.

[81] См.: Поляковская М. А. К характеристике византийской образованности: учителя и ученики // АДСВ. 1987. Вып. 23. С. 111.

Влеммида был Георгий Акрополит[82], который впоследствии стал учителем для Григория Кипрского, Феодора Ласкариса и Григория Пахимера. Последний, в свою очередь, был другом учителя своего учителя — Никифора Влеммида. Григорий Кипрский обучал наукам Никифора Хумна и Феодора Музалона[83]. Учителем Никифора Григоры был константинопольский патриарх Иоанн XIII Глика, который в письме к Феодору Метохиту (тоже учителю Григоры) рассуждал о дружбе как об одной душе в двух телах[84]. Никифор Григора со временем стал наставником Иоанна Кипариссиота и детей своего учителя Метохита[85]. Среди учеников Димитрия Кидониса числился Георгий Гемист Плифон, репутация которого привлекала позднее в его школу многих видных греков. К его ученикам относили себя митрополит Эфесский Марк Евгеник, патриарх Геннадий Схоларий, кардинал Виссарион[86]. Сам же Геннадий Схоларий, прошедший в юности выучку не только у Плифона, но и у Марка Евгеника, Иоанна Хортасмена и Иосифа Вриенния, давал уроки Матфею Камариоту и Георгию Софиану[87]. Приведенные примеры показывают, что отношения «учитель — ученик» были своего рода скрепами, удерживавшими единство интеллектуальной среды еще и в вертикальном срезе, а определение «учитель учителей» (διδάσκαλος τῶν διδασκάλων) относилось ко многим византийским интеллектуалам.

Традиция тесных наставнических отношений сохранялась и в конце XIV — XV в.[88] Большинство византийских интеллектуалов получили классическое образование под руководством опытных и сведущих наставников. Среди наиболее известных и авторитетных учителей своего времени выделяются Димитрий Кидонис

[82] PLP. № 518.
[83] Ibid. №19439.
[84] Ibid. № 4271.
[85] Ibid. № 4443.
[86] Ibid. № 3630.
[87] Ibid. № 27304.
[88] О традициях образования в Византии см.: Constantinides C. N. Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204 — ca. 1310). Nicosia, 1982. P. 90—113; Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel... S. 65—72.

и Георгий Гемист Плифон. Оба они были известными философами, признанными мастерами слова, влиятельными учеными и, безусловно, одаренными учителями. Их слава и авторитет притягивали учеников, стремившихся получить знания именно от них. Остановимся на анализе отношений, которые складывались между учителем и его учениками в кругу Димитрия Кидониса, поскольку его корреспонденция содержит богатый материал, проливающий свет на характер подобных взаимоотношений. Пример Кидониса интересен еще и тем, что он был воспитателем целой плеяды интеллектуалов, заявивших о себе в конце XIV в. и задававших тон в интеллектуальной и политической жизни Византийской империи.

Сам Кидонис учился у Нила Кавасилы, митрополита Фессалоники и известного богослова[89]. В период ученичества у Кидониса завязалась дружба с племянником учителя, Николаем Кавасилой Хамаетом[90], с которым он сидел за одной партой. «Общность родины, воспитания и годы учебы»[91] стали прочной основой дружеских отношений между ними. Оба хранили взаимную привязанность, несмотря на возникшие у них позднее идейные разногласия[92], и избежали разрыва благодаря тому, что духовное родство оказалось сильнее идеологических расхождений[93]. Довольно рано Кидонис начал преподавать самостоятельно, быстро заслужив признание как талантливый педагог. Несмотря на успешную политическую карьеру (около сорока лет он был первым министром при Иоанне VI Кантакузине и Иоанне V Палеологе) Кидонис всегда находил время для занятий с учениками. В их круг входили и особы императорской крови, разделявшие его литературные увлечения (Елена Палеологина, Мануил II Палеолог), теологи, писатели и риторы,

---

[89] PLP. №10102.

[90] Николай Кавасила стал впоследствии видным религиозным деятелем, оставившим после себя риторические и богословские сочинения. В 1353 г. он был одним из трех претендентов на патриарший престол (см.: Ibid. № 30539).

[91] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 98. 31—34.

[92] Димитрий Кидонис всегда придерживался антипаламитских взглядов и пролатинских убеждений, в то время как Николай Кавасила Хамает был сторонником учения Григория Паламы.

[93] См.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 75.

игравшие заметную роль в политической жизни империи (Мануил Калека, Максим и Андрей Хрисоверги, Мануил Хрисолора, Георгий Гемист Плифон, Димитрий Скаран), а также молодые люди, хоть и не достигшие литературных высот, но получившие хорошее классическое образование (Раден).

Единственная женщина среди подопечных Кидониса — Елена Палеологина Кантакузина[94]. Родившаяся в 1333/34 г., она была младшей дочерью Иоанна Кантакузина, взошедшего 21 мая 1347 г. на императорский трон под именем Иоанна VI. Через несколько дней после коронации отца[95] в храме Богоматери Влахернской состоялось венчание Елены и императора-соправителя Иоанна V Палеолога[96]. В дальнейшем Елена будет играть заметную роль не только в политической, но и литературной жизни столицы.

Учителем тринадцатилетней императрицы Иоанн VI Кантакузин назначил Кидониса, которому было тогда около двадцати трех лет. Возможно, молодой учитель испытывал к юной ученице не только дружеское расположение: она оказалась единственной женщиной, о ком он хорошо отзывался и с кем поддерживал теплые отношения на протяжении всей своей жизни. Он не жаловал особ женского пола, и, вероятно, Елена стала единственным исключением потому, что ей, по словам Кидониса, было чуждо «кокетливое жеманство других дам»[97].

Елена получила блестящее образование под руководством своего наставника. В одном из писем он отмечал «аттическую грациозность» ее слога[98]. У нас нет сведений о круге их чтения и характере

---

[94] О Елене Палеологине Кантакузине см.: PLP. № 21365; Nicol D. The Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100—1460. A Genealogical and Prosopographical Study. Washington, 1968. P. 135—138; Papadopulos A.Th. Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259—1452. Amsterdam, 1962. S. 46. О переписке Кидониса с Еленой см.: Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress Helena Kantakouzene Palaiologina // DOP. 1992. Vol. 46. P. 155—164.

[95] 24 или 28 мая 1347 г. — см.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken.Wien, 1975. T. 2. S. 271.

[96] Papadopulos A. Th. Versuch einer Genealogie der Palaiologen... S. 46.

[97] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222. 145.

[98] Ibid. Ep. 389. 8.

занятий, но можно предположить, что учитель следовал традиции, согласно которой ученика знакомили с трудами классических авторов, обучали составлению риторических сочинений, прививали ему навыки литературного творчества. Очевидно, ученица оказалась весьма способной, что было особенно заметно на фоне ее собственного мужа. Иоанн V, на службе у которого в то время находился Кидонис, не соответствовал, на его взгляд, идеалу просвещенного правителя, ибо, в отличие от Елены, не проявлял никакого интереса к научной деятельности[99]. Но это лишь еще больше оттеняло литературные таланты его жены, вызывавшие восхищение Кидониса.

О высоком уровне образования императрицы свидетельствует круг ее корреспондентов. Среди них были крупнейшие интеллектуалы своего времени: все тот же Димитрий Кидонис, историк Никифор Григора, патриарх Филофей Коккин (он посвятил Елене трактат о восхвалении души[100]), а это значит, что она хорошо владела риторическим мастерством и нормами эпистолярного общения, которое в среде византийских интеллектуалов превратилось тогда в настоящее искусство[101].

Взращенная одним из образованнейших людей своего времени, окруженная известными интеллектуалами, юная императрица оказалась в эпицентре культурных событий эпохи. Она с интересом изучала и труды своих современников, и тексты древних, обсуждала вопросы риторики, выносила суждения о книгах, ею прочитанных. Судя по письмам Димитрия Кидониса, Елена неоднократно получала от него в дар его сочинения и переводы, ибо он высоко ценил ее авторитетное мнение[102].

---

[99] В письме, адресованном Иоанну V, Кидонис, зная нелюбовь императора к чтению различного рода сочинений и литературе вообще, извинился за собственное письмо, которое оказалось слишком длинным и утомительным для получателя: «я знаю, что превысил размер письма, и, кроме того, я знал, что вам не доставляет наслаждение чтение длинных речей» (Ibid. Ep. 117. 75—77).

[100] PLP № 11917.

[101] Кущ Т. В. Эпистолярная практика в поздней Византии // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 39. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып.10. С. 5—15.

[102] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 25; 256.

И сама она не была чужда литературным опытам. Кидонис писал ей: «Ты заслужила честь трудами, вышедшими из-под твоего пера, и занималась литературными штудиями с таким успехом, что превзошла многих, кто состарился, изучая риторику»[103]. К сожалению, сочинения императрицы не сохранились, но высокие оценки современников ее литературным творениям красноречиво говорят о неординарных способностях, которыми она обладала.

Из письма Кидониса известно, что Елена составила хвалебную речь (ἐπινίκιοι λόγοι) в честь одной из побед своего отца. Письмо датируется 1347—1352 гг.[104] — временем, когда Иоанн VI Кантакузин еще находился у власти (его низложили в 1354 г.). Этот панегирик юной императрицы заслужил высокую оценку ее наставника. В письме к своей бывшей ученице Кидонис восхищается безукоризненным стилем и изяществом ее слога: «Прекрасные слова посвятила великолепная дочь великолепному отцу»[105] . «Венок из слов», которым увенчала Елена императора-отца, достоин, по мнению Кидониса, самых высоких похвал: «Мы слушали, как в женских устах расцвел звук, который нас столь очаровал»[106]. Своими литературными и риторскими успехами Елена, по словам интеллектуала, опровергла известное мнение Софокла о том, что «молчание украшает женщину»[107]. Радуясь ее успехам, наставник желал ей и впредь «такой красоты, что превосходит красоту Елены, ибо красота слова бессмертна»[108]. И если красота героини Гомера стала причиной раздоров и войн, то красота слова, считает Кидонис, принесет славу автору и пользу близким людям[109].

Елена Палеологина была сторонницей учения Паламы[110], но, несмотря на это, она вполне терпимо относилась к его оппонентам,

---

[103] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222.190—192.
[104] См.: Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress... P. 155.
[105] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 389. 4.
[106] Ibid. Ep. 389. 10.
[107] Ibid. Ep. 389. 12—13.
[108] Ibid. Ep. 389. 18.
[109] Ibid. Ep. 389.19—25.
[110] См.: Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress... P. 158.

к числу которых принадлежали и латинофилы из ее ближайшего окружения. Тот факт, что Кидонис, будучи сторонником западной культуры и ярым антипаламитом, направил Елене для прочтения и замечаний свой перевод столпа западной схоластики Фомы Аквинского, свидетельствует не только о том, что он высоко ценил мнение императрицы, но и о том, что она была толерантна к латинофильской позиции своего наставника. Блестящее образование Елены позволило ей по достоинству оценить переводы из трудов Аквината, о чем с восторгом упоминает Кидонис в одном из своих писем[111]. О том, что она не просто благоволила к латинофилам, но и сама испытывала симпатии к Западу, говорит и тот факт, что папа Урбан V хвалил Елену за усердие в делах веры и дружественность по отношению к латинянам[112].

Все же в отношениях Кидониса и его ученицы не могло не существовать определенной дистанции, поскольку дружба связывала интеллектуала не просто с женщиной, а с императрицей. Это определяло утонченность похвал и восторженный тон его писем. Тем не менее в их корреспонденции преобладала дружеская откровенность. Кидонис выделял в своей ученице и почитательнице душевную глубину, ум и отзывчивость — качества, особенно ценные для ее высокого положения: «ей это дано судьбой — быть причисленной к ним [императорам], но добродетель связывает ее с царем царей [Богом]»[113].

Елена, в свою очередь, много сделала для своего бывшего наставника, которому его политические пристрастия, религиозные взгляды и довольно сложный характер создали немало проблем при дворе. Ее заступничество позволило Кидонису вернуться после опалы, последовавшей за смещением Иоанна VI Кантакузина, правительство которого он возглавлял, на государственную службу

---

[111] См.: Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 25; Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress... P. 157.

[112] Acta Urbani V (1362—1370) // Pontificia commissio ad redigendum Codicem iuris Canonici orientalis / ed. A. L. Tautu. Vaticano, 1964. Fontes. Ser. 3. Vol. 11, № 124 (6.11.1367).

[113] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 143. 15.

в 1355 г., когда муж Елены, Иоанн V Палеолог, вновь дал ему пост первого министра[114]. Еще раз Елена помогла Кидонису вернуть императорскую милость в 1374 г., после чего он, благодаря ее поддержке, сохранял свое положение во власти на протяжении еще долгого времени[115]. Она помогала бывшему наставнику, когда тот оказывался в трудном финансовом положении. Кидонис высоко ценил ее расположение: «Проявления твоей милости сопровождали меня на протяжении всей моей учительской жизни, и ты всегда давала мне больше, чем я мог бы пожелать себе сам. Ты занимала мою сторону, когда я нуждался в деньгах, ты поддерживала великодушно меня в моей нужде, так что твоя благосклонность ко мне была не только утешением в моей бедности, но и источником изобилия вообще»[116]. Позднее, в знак признательности за все, чем была обязана Кидонису, Елена завещала ему часть своего имущества, когда решила принять постриг в монастыре Святой Марфы[117]. В конце жизни Кидонис признавал, что Елена всегда благоволила ему и оказывала поддержку: «Господь послал тебя нам как удивительное лекарство, которое приносило изумительную силу и помогало в нужде, болезнях, интригах, унынии, в каждой ситуации, где необходимо было содействие»[118]. Преданность учителю — одна из добродетелей, украшавших Елену.

Она же выбрала его в качестве наставника для своего сына, будущего императора Мануила II, и тем самым способствовала воспитанию под руководством мудрого учителя одного из наиболее образованных правителей в истории Византии. Мануил II Палеолог воплотил на практике идеал своего наставника, мечтавшего видеть на престоле правителя-философа. Он был, по словам Кидониса, тем, «кто либо создает рукописи, либо пишет письма

---

[114] О должности месадзона см.: Beck H.-G. Der byzantinische «Ministerpräsident» // BZ. 1955. Bd. 48. S. 312—316.

[115] Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress... P. 163.

[116] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222. 7—11.

[117] См.: Nicol D. The Family of Kantakouzenos… P. 137; Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones // Démétrius Cydonès. Correspondance… S. 46. Anm. 261.

[118] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222. 26—28.

и поднимает то и дело весьма дискуссионные вопросы»[119]. Такое увлечение ученика научными занятиями доставляло Кидонису двойную радость, ибо «человек, который умеет владеть своим словом, является рулевым государственных дел»[120]. Несмотря на огромную разницу в возрасте и социальном статусе, разделявшую Кидониса с Мануилом, отношения учителя и ученика переросли в дружбу.

Для Кидониса дружеское расположение императорской особы было особенно значимо. Он неоднократно благодарил Мануила за те чувства, которые тот питал к своему наставнику: «Любое богатство менее дорого, чем моя выгода, так как у меня есть господин и друг, тот... кто стал для меня помощником и чья симпатия вознесла меня к высокому званию»[121]. Кидонис испытывал сильную привязанность к своему ученику: «Даже книги, которые мне дороже всего, не способны заглушить стремление к тебе»[122].

Мануил II отвечал учителю уважением и преданностью: «я всегда придавал возможности дружеского общения с тобой больше значения, чем порабощенные золотом придают его накоплению»[123]. Император понимал, насколько высока степень доверия в их отношениях, и ценил в учителе способность видеть в нем равноправного собеседника: «Ты часто считал меня достойным получения твоих сочинений, хотя я был моложе и, понятно, менее сведущ в литературе, чем теперь»[124]. В отношении учителя к ученику не было снисходительности или высокомерия, как, впрочем, не было их и со стороны багрянородного ученика. Мануил всегда почтительно относился к Кидонису, полагая, что нужно испытывать уважение «к старшим и друзьям, которые были твоими учителями и к которым ты относился как к родителям»[125].

---

[119] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 120. 10—15.
[120] Ibid. Ep. 120. 18—20.
[121] Ibid. Ep. 192. 35—39.
[122] Ibid. Ep. 218. 74—75.
[123] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 7. 4—5.
[124] Ibid. Ep. 5. 10—12.
[125] Ibid. Ep. 45. 46—47.

Император всегда ценил ум Кидониса, его опыт в политических делах и дружеское участие, поэтому неоднократно привлекал его к решению политических задач и обращался за помощью в государственных делах: «Если ты возвратишься домой, то твои советы помогут в преодолении наших неприятностей и бедствий»[126]. В атмосфере придворного лицемерия и сервилизма иметь надежного и преданного друга для императора было особенно важно. Мануил рассчитывал на непредвзятость мнения, искренность высказываний и разумность советов Кидониса, которые контрастировали со всеобщим раболепием и услужливостью: «ведь ты не такой, как те, другие, чей голос слаще меда»[127].

Мануил II бережно заботился о наставнике, став ему надежной опорой на старости лет. Он проявлял беспокойство о его самочувствии, интересовался делами и заботами, призывал отказаться от дальних плаваний, которыми, несмотря на возраст, грезил Кидонис. Маниул II стремился уберечь стареющего учителя от волнений, поскольку тот, оставаясь деятельной и неравнодушной к судьбе отечества натурой, всегда проявлял интерес к делам императора. Мануил старался из дружеских чувств не беспокоить бывшего учителя проблемами, с которыми ежедневно сталкивался: «Мы предпочитаем не делить с тобой наши трудности»[128]. Относясь к бывшему учителю как к отцу, испытывая к нему искреннюю привязанность и любовь, Мануил действительно являл собой пример благодарного ученика.

Но если Елена Палеологина и ее сын Мануил II были особами императорской крови, что создавало определенную дистанцию между ними и Кидонисом, то его отношениям с другими учениками такие социальные барьеры не препятствовали.

Радена сближала с Кидонисом общая родина — Фессалоника[129], что придавало их отношениям оттенок некой родственности.

---

[126] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 4. 28—29.

[127] Ibid. Ep. 5. 18—19.

[128] Ibid. Ep. 3. 37.

[129] Tinnefeld F. Demetrios Kydones: His Cultural Background and Literary Connection in Thessalonike // Macedonian Studies. 1989. Vol. 6. N. S. 2. P. 39.

Кидонис сам признавался, что любил Радена «больше, чем собственного сына»[130]. Именно он должен был реализовать на практике идеалы своего учителя.

Кидонис вводил ученика в мир античных авторов. Позднее Раден не раз радовал его совершенством стиля писем и сообщениями о научных занятиях. Но в дальнейшем ученик не оправдал надежд учителя. Кидонис огорчался тому, что Раден предпочитает литературным занятиям материальные выгоды карьеры при императорской особе[131], и расценивал его активную государственную деятельность как прямую угрозу научным штудиям. Заверения Радена, что тот остается философски беспристрастен и на службе у Мануил II Палеолога, Кидонис воспринимал с большой долей скепсиса[132].

Для Кидониса, избравшего целью своей жизни занятия наукой, казалось немыслимым пренебрежение философией ради практической деятельности. Он пытался уберечь Радена от неправильного выбора и тогда, когда отец стремился приобщить того к своим коммерческим делам. Переписка между учителем и учеником не только содержит дидактические наставления, но и высвечивает нравственные ориентиры истинного ученого. Жизнь образованного человека, по мнению Кидониса, не могла сочетаться с предпринимательской деятельностью[133]. Он был уверен, что мудрость «принесет мало пользы, если думать только о том, чтобы применить ее в торговых или общественных делах»[134]. Ученые занятия, по его мнению, не только не носят прикладного характера, но и являются противоположностью практической деятельности. Для усиления эффекта своих слов наставник рисовал малосимпатичный образ торговца, осуждая моральные приоритеты торгашеской среды[135]. Кидонис не желал, чтобы его ученик стал «одним из этих торгов-

[130] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 363. 23—24.

[131] Ibid. Ep. 310. 47—52.

[132] Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία... S. 233.

[133] Ibid. S. 231—233.

[134] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 428. 17—18.

[135] Кущ Т. В. Торговцы в оценках интеллектуала // Вспом. ист. дисциплины. СПб., 2007. Т. 30. С. 247—253.

цев мукой или лавочником»[136]. Кидонис понимал, насколько велико искушение деньгами, и боялся, что Раден, оказавшись на перепутье между философствованием и материальным благополучием, выберет последнее. Поэтому он наставлял воспитанника: «Если мы сводим все благо к деньгам и достигаем этого в жизни, то все прекрасное от нас оказывается сокрыто, и мы считаем торговцев более важными, чем семь искусств»[137]. Для Кидониса несовместимы такие понятия, как наука и деньги, возвышенное и заземленное, духовная жизнь и практическая деятельность. И потому он увещевал ученика: «Ты должен презирать деньги, даже если бы их было много»[138].

Чтобы Раден мог противостоять тем, кто пугал его бедностью, Кидонис советовал вооружиться словами Солона: «Мы не хотели бы обменивать добродетели на богатства. Так и быть, будьте богатыми, если вам это удалось! Но для нас иметь мудрость важнее, чем долю в богатствах, а презрение к торгашам ценнее, чем их сокровища»[139]. Он убеждал ученика, что заниматься наукой вовсе не означает жить в нужде, ибо «многие получили большое богатство благодаря научным занятиям, хотя и поменьше, чем торговцы с их уловками»[140]. Для Кидониса подобная дилемма — богатство или жизнь ученого — решалась в пользу последней, но многие молодые люди не всегда могли устоять перед соблазном материального благополучия и приносили ему в жертву талант и призвание.

Кидонис умолял ученика развеять его сомнения, сделать верный выбор и прибыть к учителю для совместных занятий. Неоднократные, но пустые обещания Радена вскоре приехать лишь усиливали разочарование Кидониса, видевшего в них только «глупую шутку»[141] . И тем не менее великодушие учителя позволяло ему прощать нерадивого ученика. В монодии на смерть Радена, умершего

---

[136] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 177. 10—11.
[137] Ibid. Ep. 177. 22—24.
[138] Ibid. Ep. 169. 26.
[139] Ibid. Ep. 177. 19—22.
[140] Ibid. Ep. 177. 27—28.
[141] Ibid. Ep. 351. 21.

молодым, Кидонис подчеркивал привязанность своего ученика к учителю: «Он не переставал называть себя моим рабом в письмах и разговорах»[142].

На закате жизни Кидонис давал уроки Мануилу Калеке[143], Максиму Хрисовергу[144] и Мануилу Хрисолоре[145], своим последним и очень преданным ему ученикам. Именно под руководством Кидониса они познакомились с аристотелевской философией и латинской схоластикой (в первую очередь с трудами Фомы Аквинского). Влияние учителя было настолько глубоким, что его интерес к западной науке определил идейную ориентацию учеников, пришедших позднее к решению принять католичество[146]. По примеру учителя Мануил Калека открыл в столице собственную школу, где преподавал грамматику, поэзию и риторику[147], хотя его уроки и не пользовались большой популярностью[148].

В последние годы жизни Димитрий Кидонис особенно сблизился с Мануилом Калекой, который стал его поверенным в делах[149]. Учитель доверил ему копировать собрание своих писем. Мануилу же Хрисолоре он завещал после смерти часть своих рукописей. Подобно тому как сам Кидонис оплакивал кончину Радена, так и его ученики тяжело переживали потерю учителя, являвшегося для них одновременно и наставником, и другом.

Учительская судьба Кидониса сложилась весьма удачно. Он всегда был окружен учениками, которые в большинстве своем питали нежные чувства к наставнику, разделяли его интересы

---

[142] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 363. 35—36.

[143] PLP. № 10289.

[144] Ibid. № 31123.

[145] Ibid. № 31165.

[146] См.: Поляковская М. А. К характеристике византийской образованности... С. 116.

[147] Correspodance de Manuel Calecas... Ep. 7. 28—31.

[148] См.: Mergiali S. L'Enseignement et les Lettrés pendant l'époque des Paléologues (1261—1453). Athena, 1996. P. 164.

[149] См.: Mercati G. Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleka e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della teologia e della letteratura bizantina del secolo XIV. Studi e testi, 56. Città del Vaticano, 1931. P. 106—123.

и убеждения, поддерживали его не только духовно, но и материально. Общественная деятельность и творческие достижения подопечных вызывали гордость учителя, видевшего в их успехах и свою заслугу.

Благодарность и расположение к учителю ученик обычно сохранял на всю жизнь, а после смерти наставника заботился о его добром имени, восхваляя его в монодиях и речах, поминая в письмах к друзьям, распространяя славу о нем в образованных кругах. К сожалению, не сохранилось речей, посвященных памяти Кидониса, но в нашем распоряжении есть свидетельства заботы других писателей о памяти учителей. Так, Иоанн Хортасмен, просясь в ученики к Димитрию Хрисолоре, обещал прославлять наставника после его смерти[150]. Виссарион оплакивал смерть своего учителя и описывал его достоинства в письмах друзьям: «Мы оживляем умершего отца в своих речах и получаем наслаждение от добродетели и мудрости, заключенных в его трудах и сочинениях. Он пренебрегал всевозможными радостями, устремляясь только к ним [добродетелям]»[151]. Хороший учитель был достоин того, чтобы ученики хранили о нем светлую память.

Таким образом, в Византии отношения «учитель — ученик» цементировали корпоративность интеллектуальной среды, создавая новые связи, способствуя сохранению существовавшей в этой социальной группе системы ценностей, поддерживая традиции образования. Учитель вводил ученика не только в мир знаний, но и в круг ученых, обеспечивая тем самым воспроизводство интеллектуальной среды. Эти отношения выполняли социальную задачу сохранения и развития ученой корпорации. Кроме того, они были особой формой общения, благодаря которой обе стороны оставались в выигрыше: ученик утолял свою жажду знаний, а учитель обретал продолжателя своего дела.

---

[150] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 22. 100—103.

[151] Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / ed. L. Mohler. Padeborn, 1967. Ep. 11. 22—25.

Принятые в Византии практика наставничества и модель обучения имели выраженную гуманистическую окраску. Не случайно в Италии эпохи Ренессанса стали возникать школы одного учителя, а нити наставнических отношений связывали несколько поколений итальянских гуманистов, подобно тому как это было принято на протяжении многих столетий среди византийских интеллектуалов.

Интеллектуальные кружки

Одной из форм интеллектуального общения были византийские интеллектуальные кружки («театры»)[152], собиравшие образованную аудиторию для обсуждения научных вопросов, знакомства с новыми литературными произведениями коллег, обмена мнениями и открытой дискуссии, на которые распространялись законы «ученой дружбы».

Салонная организация не была спорадическим для Византии явлением: ее распространение напоминало «эпидемию»[153], охватившую образованную элиту, особенно в период палеологовского Ренессанса. Для Средневековья литературные салоны и кружки Византии были, конечно, уникальным явлением, аналога которому мы не встретим в европейском мире вплоть до эпохи Возрождения. Подобные объединения, именовавшиеся «академиями», приобрели популярность в гуманистических кругах Италии лишь с XV в.[154]

---

[152] Проблеме византийского театра впервые внимание уделил австрийский исследователь Г. Хунгер (Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts // XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 94; Idem. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. I. S. 211). Эта тема получила развитие в работах И. П. Медведева (Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 17—25; Его же. Литературные «салоны» в поздней Византии // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 53—59; Medvedev I. P. The so-called θέατρα as a Form of Communication of the Byzantine Intellectuals in the 14th and 15th Centuries // Ἡ ἐπικοινωμία στὸ Βυζάντιο. Αθήνα, 1993. P. 227—235). Также о театре говорит К.-П. Мачке: Matschke K.-P. Die spätbyzantinische Öffentlichkeit // Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter. Beitrag zur Mentalitätsgeschichte. Gedenken für E. Werner / hrsg. S.Tanz. Frankfurt a/M, 1993. Bd. 2. S. 169—170.

[153] Medvedev I. P. The so-called θέατρα... P. 227.

[154] Кудрявцев О. Ф. От эрудитских собраний к научным сообществам: итальянские академии XV—XVII вв. // СВ. 1985. Т. 48. С. 176—194.

Византийский же прообраз итальянских академий имел более долгую историю и более мощную традицию, уходившую в античные времена.

Сведения об этом феномене интеллектуальной жизни Византии содержатся преимущественно в эпистолярных сочинениях, которые передают дух литературных салонов, атмосферу интеллектуальных споров, эмоции участников и реакцию аудитории.

Что же такое византийский «театр»? Г. Хунгер понимает под «театром» аудиторию (*das Auditorium*) как пространство и как слушателей (*Raum und Zuhörerschaft*)[155]. Вслед за ним И. П. Медведев вкладывает в определение «театр» тот же смысл: «аудитория как таковая, т. е. само помещение... и участники собрания»[156]. Обратим внимание на содержательную сторону данного феномена, рассматривая «театр» как специфическую форму коммуникации. Подчеркнем, что нас интересует не столько форма, сколько сама практика общения.

В источниках для обозначения подобных собраний используются следующие названия: театр (τὸ θέατρον), совещание или совет (τὸ βουλευτήριον), музей (τὸ μουσεῖον), сады Муз (κῆποι Μουσῶν), собрание (ὁ ἀγών). Вероятно, для самих византийцев эти понятия не были тождественны[157], однако сейчас уже трудно судить о том, чем отличались эти виды собраний. Можно лишь предположить, что подобное терминологическое ранжирование определялось различиями в способе и месте их проведения, составе участников, поводах для организации или чем-то другом. Но для нас важнее содержание происходившего, поэтому мы будем использовать собирательный термин «театр», говоря обо всех этих собраниях.

---

[155] Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur... S. 94.

[156] Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 17—18.

[157] Мануил II в письме Иванку разграничивает эти понятия: προκλήσεις παρὰ τὰ βουλευτήρια, παρὰ τὰ μουσεῖα, παρὰ τὰς δίκας αὐτάς (The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 19—21). Также не отождествляет понятия «агон» и «театр» Виссарион: ἐν ἀγῶνι καὶ θεάτρῳ ἀλλήλοις ἁμιλλώμενα (Aus Bessarions Gelehrtenkreis... Ep. 4. 16).

Риторические сочинения создавались в ученой среде, по выражению Г. Хунгера, «не для глаз, а для ушей»[158]. Но образцы риторического мастерства предназначались не для рыночных площадей, а для узкого круга слушателей, принадлежавших к интеллектуальной элите[159]. Поэтому функционирование «театра» непосредственно связано с избирательным характером интеллектуального сообщества. Эта социальная группа (*die soziale Verdichtung*, по определению Г. Хунгера) образовывала целую систему связей, через которую осуществлялось межличностное общение[160]. И «театр» играл важную роль в этой системе, позволяя, с одной стороны, данному сообществу проявлять свою элитарность, исключительность (поскольку «театр» был собранием избранных), с другой — реализовывать коммуникативную функцию. «Театр» как способ общения предполагал ораторство перед аудиторией, публичное выступление или открытый диспут.

Существование «театра» отражает специфическую особенность византийского менталитета, для которого, по выражению К.-П. Мачке, была характерна «репрезентативная гласность»[161]. О том, что происходило на литературных собраниях, какова была реакция аудитории на выступления ораторов или чем завершился диспут, быстро становилось известно в ученом мире благодаря эпистолярным сообщениям участников этого действа. Происходившее в «театре», являвшемся способом самовыражения византийских интеллектуалов, «транслировалось» вовне, о чем заботились сами члены собраний. Открытость «закрытых заседаний» была важной чертой этого уникального явления.

Подобные кружки функционировали на протяжении всей византийской истории. Небольшая ретроспектива в предшествующие периоды позволяет охарактеризовать «театр» как традиционное для Византии явление. В IX в. подобный кружок сложился вокруг пат-

---

[158] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 1. S. 68.

[159] Kazhdan A. Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1979. Bd. 28. S. 15.

[160] Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur... S. 94.

[161] Matschke K.-P. Die spätbyzantinische Öffentlichkeit... S. 193.

риарха Фотия, позднее с удовольствием вспоминавшего об атмосфере дружбы и уважения в отношениях между участниками собрания[162]. В XI в. кружок с философским уклоном собирался при константинопольской патриаршей школе, во главе которой стоял Михаил Италик[163]. В XII в. участниками литературно-научного кружка Евстафия Солунского были такие видные интеллектуалы, как Евфимий Малаки и Михаил Хониат[164]. Собрания ценителей науки и литературы часто собирались при образованных императорах, оказывавших покровительство ученым, приближая их ко двору. Так, в XIII в. при Никейском дворе Феодора II Ласкариса существовал интеллектуальный кружок, членами которого были Никифор Влеммид и Георгий Акрополит[165]. Упоминание о «театрах» часто можно встретить и у византийских авторов первой половины XIV в., например у Никифора Григоры, Николая Лампина, Мануила Рауля[166]. Собирались «театры», объединявшие известных риторов и ученых, при наиболее образованных императорах поздней Византии — Андронике II и Мануиле II Палеологах.

«Театр» предполагал участие в собрании интеллектуально рафинированной публики. Доступ в него открывал большие возможности для заведения новых знакомств, укрепления прежних связей, создания репутации в кругу коллег. Он был важным элементом корпоративного единства. Как Иосиф Вриенний через систему «театров» познакомился с Кидонисом, Мирсиниотом, Максимом Хрисовергом, Мануилом Пофом, Нилом Дамилой, Мануилом Калекой, Иосифом Филагрисом, Иоанном Хортасменом, Димитрием Скараном[167], так и другие интеллектуалы были связаны друг с другом благодаря участию в подобных собраниях. «Театр», таким образом,

---

[162] Памятники византийской литературы IX—XIV вв. М., 1969. С. 11.

[163] Там же. С. 32.

[164] Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский... С. 106.

[165] Жаворонков П. И. Гуманистические мотивы в культуре Никейской империи // ВВ. 1989. Т. 50. С. 151.

[166] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... S. 211.

[167] См.: Сметанин В. А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-православным мыслителем (Иосиф Вриенний) // АДСВ. 1990. Вып. 25. С. 137.

укреплял корпоративные связи, объединявшие интеллектуальное сообщество в одно целое, а также создавал условия для существования этого единства.

Важным событием в жизни ученого считалось участие в *салоне*, который собирался при императорском дворе. Это позволяло привлечь внимание императорской особы, продвинутся по социальной лестнице, укрепить престиж в глазах других литераторов. Подобную ситуацию описал Иоанн Хортасмен, когда речь его друга митрополита Евстафия была зачитана в литературном кружке, на котором присутствовал сам император[168]. Положительная реакция василевса, «исполненного всей мудрости, всей добродетели и грации»[169], усилила всеобщий благосклонный отзыв[170]. Успех в присутствии императора означал двойную победу и являлся залогом будущих удачных выступлений. Но не только литературная слава ждала человека, отличившегося в присутствии императорской особы. Победитель риторического состязания мог рассчитывать на карьерное продвижение. Иоанн Хортасмен заметил, что красноречие василевс вознаграждал должностями[171].

При Мануиле II Палеологе сложился литературный кружок, о котором он неоднократно упоминал в своих письмах. На собраниях, во главе которых стоял сам император, зачитывались письма, риторические сочинения, научные трактаты, приходившие василевсу от его корреспондентов, велась оживленная дискуссия. В послании Димитрию Хрисолоре император упомянул о большом количестве писем, ставших предметом обсуждения собравшейся аудитории:

> Сотня писем, которые ты недавно прислал нам, вызвали множество аплодисментов, множество слов восхищения тех, кто не знал твоих способностей. Одни восхищались количеством писем, другие — стремительностью движения в каждом, третьи — иными свойствами, и каждый — их богатством. Но для меня все письма были поводом изумиться и тому, что впечатлило других, и по другим причинам. Действительно, они совершенны во всех отношениях. Но в одном, однако, мы не можем хвалить тебя: имея возмож-

[168] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 10. 3—5.
[169] Ibid. Ep. 10. 9—10.
[170] Ibid. Ep. 10. 17.
[171] Ibid. Ep. 49.

ность послать десять тысяч, ты послал лишь сотню. Кто-нибудь другой, знакомый с твоим легким пером, мог бы даже покритиковать тебя за лень[172].

Другой раз Мануил II описал «театр», где прозвучало сочинение его корреспондента Феодора Кевкадена:

> То, что ты написал, было зачитано перед небольшим, но не лишенным достоинства театром. Его участники были, кстати, достаточно опытны в ораторском искусстве, и их суждение высоко ценилось среди писателей. Один из них восхищался построением фраз, другой — красотой выражений, и все они были поражены краткостью мыслей, облеченных в немногие слова. Каждый находил что-то особое, чему аплодировал, и все вместе аплодировали работе в целом. Я также нашел ее превосходной, хотя и сидел молча, пока остальные топали ногами и кричали от восторга. Но что особенно порадовало меня в написанном тобою и что, на мой взгляд, является твоей сильной стороной, так это значение, которое ты придаешь умеренности. Твое стремление достичь того, о чем хотел бы сказать в своем сочинении, было чрезвычайно велико, что вполне естественно, но все-таки ты избежал всех излишеств[173].

Инициатива проведения «театра» не всегда принадлежала императорской особе. Гораздо чаще центром литературного собрания становилась фигура авторитетного ученого или ценителя наук. Кидонис упоминает о «театре», который собирал его друг Тарханиот[174]: «Подобно Платону ты подобрал себе подходящую аудиторию для литературных докладов и всех заставляешь согласиться со своим мнением»[175]. О таком же небольшом кружке, возможно, говорит и Иоанн Евгеник: «и сейчас, окруженный хором слушателей, превосходный Николай является нашим руководителем, и, вероятно, призываемый некоторыми из друзей, он произнес дважды или трижды речь, вызвав восторг, изумление и похвалы»[176].

---

[172] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 61. 2—9.

[173] Ibid. Ep.27. 2—12. Ср. перевод этого фрагмента И. П. Медведевым: Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 19.

[174] Кстати сказать, о Тарханиоте мы узнаем только из писем Кидониса (Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones // Démétrius Cydonès. Correspondance... S. 218). Можно полагать, что он вряд ли был крупной фигурой в интеллектуальном мире, тем не менее мог собрать вокруг себя заинтересованную аудиторию.

[175] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 78. 18.

[176] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... T. 1. Σ. 158. Ep. 4. 9—12.

Интересна история Константина Иванка, уже в юные годы заслужившего репутацию уважаемого ритора и опытного руководителя собраний. Приведем фрагмент письма об истории карьеры молодого интеллектуала, выступавшего арбитром на различных научных состязаниях:

> Уже в юные годы ты проявил способности ритора, а когда достиг возраста ученичества, то уже и сам был готов учить. В то время как твои ровесники уделяли внимание играм, ты вел себя, как подобает взрослому и мудрому мужу, и единственный среди юношей избежал насмешек, розги, плети и пронизывающего взгляда опытного школьного учителя. Когда же ты сам стал учителем и получил всеобщее признание, ты не опозорил доброе имя и профессию, уважаемую всеми, но еще более вызвал уважение к себе своим тонким умом и умением говорить. С самого начала, со времен твоей молодости тебя упоминали среди мужей, выделяющихся благодаря риторическим способностям, но ты не давал поводов для зависти, поскольку все гордились твоим природным талантом. <...> Вскоре тебе была оказана честь быть приглашенным на собрания, в академии, в суды; люди там хотели услышать твое мнение и с удовольствием уступить тебе место среди первых. Но ты, младший, краснел, оказавшись на первом месте среди людей почтенного возраста. И часто ты, должно быть, сожалел о присутствии на собраниях своих ученых коллег; тебе не давали передышки, и ты должен был слушать мудрецов, учителей, правоведов, философов, риторов, поэтов, привлекавших души юношей, и ты должен был либо в одиночку вести с каждым из них трудную, изнурительную борьбу, либо считаться оставившим поле боя[177].

Участники «театра», произнося речь или зачитывая собственное сочинение перед собравшейся публикой, стремились добиться ее расположения, восторженных отзывов и благосклонности. Выступление в «театре» становилось показателем литературной зрелости и риторического дарования участника. Успех в таком собрании зависел от содержания произнесенной речи, умения защититься от каверзных вопросов, быстроты реакции в ответах и проявленной эрудиции. Один из корреспондентов Мануила II Палеолога, участвуя в диспуте, который развернулся в одном из «театров», избежал провала, сумев благодаря убедительности своих ответов и мгновенной реакции устоять перед нападками публики[178]. Удачное выс-

[177] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 45. 6—29.
[178] Ibid. Ep. 45. 12—13.

тупление новичка открывало доступ в круг писателей и ученых. «Ты поразил наш театр», — писал Кидонис молодому другу, еще только начинавшему свою литературную карьеру[179]. Это было в некотором роде заявкой на признание коллегами, пропуском в интеллектуальный мир. Достойных новичков в «театре», по выражению Кидониса, «приветствовали рукоплесканиями более опытные»[180].

«Театр» порой становился настоящей ареной, на которой разгорались жаркие риторические баталии между интеллектуалами, расходившимися во взглядах или выражавшими разные мнения. Пальма первенства на этих негласных соревнованиях доставалась тому, кто, по словам Мануила II Палеолога, смог продемонстрировать в полной мере стройный образ мысли, стилистическое совершенство и литературное мастерство[181].

Однако участие в литературном салоне не всегда приносило славу и одобрение публики, которые не всегда зависели от содержания произнесенной речи. Реакция на услышанное во многом зависела от состава участников, так как «театр» мог включать аудиторию с разной степенью подготовленности. Письмо Феодора Кавкадена получило положительные отзывы благодаря тому, что его «зачитали в маленьком, но хорошем театре»[182], объединившем сведущих людей. Выступление перед столь авторитетной аудиторией давало надежду на объективную оценку. Но большее наслаждение маститому и уверенному в своих силах ученому доставляла перспектива увлечь своей речью широкую публику, включающую и людей неподготовленных. «Мы приложили немало сил, — писал Мануил II в письме Триволу, — чтобы твое письмо было зачитано при таком количестве людей, какого ты желал. Ведь ты, уверенный в своем писательском таланте и ждущий за него похвал, хотел, чтобы оно было зачитано в большой аудитории»[183]. Как мы видим,

---

[179] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 40. 13.
[180] Ibid. Ep. 169. 51—52.
[181] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 9. 14—17.
[182] Ibid. Ep. 27. 2.
[183] Ibid. Ep. 9. 2—6.

театр был действительно местом проверки таланта и мастерства участника, негласным экзаменом на интеллектуальную зрелость.

Любое выступление почти всегда завершалось живым обсуждением, отзывами участников и вынесением общей оценки представленному на суд аудитории тексту и его автору. Например, Кидонис сообщал, что письмо его друга, зачитанное в присутствии публики, получило высокую оценку и заслужило похвалы присутствующих: «Так во всяком случае звучало общее мнение тех, кто принял участие в чтении письма»[184]. Похвалы и прославления нужно было принимать с почтением, чтобы не обидеть пренебрежением и высокомерием восхищенную публику: «Твое стремление избежать похвал могло быть воспринято как оскорбление теми, кто хотел тебя прославить»[185].

В диспуте, обычно сопровождавшем публичное выступление ученого, было важно продемонстрировать умение решительно вести дискуссию, аргументированно отстаивать свою позицию, использовать весомые доводы (желательно со ссылкой на авторитет древних авторов), изящно выражать мысль. Мануил II советовал другу, готовившемуся к публичному выступлению: «Не позволяй себе нерешительности, не позволяй малодушию превзойти силу твоих слов, ибо ритор оказывается ущербным, если мужество не украшает его искусство»[186]. Владея всем арсеналом методов, с помощью которых можно было одержать победу в споре, ученый получал высшую награду — всеобщее признание публики, ценившей изящество и убедительность речи, ораторское мастерство. Поэтому к выступлениям перед широкой публикой обычно серьезно готовились. Иногда за помощью в подготовке к очередному диспуту прибегали к более опытным людям, о чем Мануил II говорил так: «Всякий раз ты пользуешься услугами художника, наставника и учителя в подготовке к состязаниям, и всегда обнаруживаешь себя во всем превосходным знатоком, не позволяя театру освистать себя»[187].

---

[184] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 150. 9.
[185] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 52—54.
[186] Ibid. Ep. 34. 18—20.
[187] Ibid. Ep. 28. 17—19.

Накал страстей во время открытых выступлений был высок, и публика позволяла себе открыто выражать эмоции, доброжелательно кивая, неодобрительно восклицая, «прыгая от радости и крича»[188] или громко аплодируя. Мануил II в письме Вальсамону вскользь упомянул о бурной реакции «театра»: «Я не скажу об их аплодисментах, которых удостоилась твоя муза, не упомяну и о том, как Ягарис, выступая вместо тебя и читая письмо, был столь восхищен, что не мог продолжать. Правила написания писем не позволяют мне затягивать мое сверх меры»[189]. Мануил II сообщал Димитрию Хрисолоре об эмоциях, которые испытали слушатели после публичного прочтения его письма: «Твое письмо превосходит чары Орфея; как только оно появилось, тут же притянуло к себе глаза и ум тех, кто был знаком с автором. Эти люди просили, чтобы оно было сразу же вскрыто, и когда это сделали и прочли твое письмо, те, кто компетентен в литературе, прыгали от радости и громко аплодировали. Все их комментарии и многочисленные похвалы я обойду молчанием, так как сейчас не время говорить об этих вещах»[190].

Исидор Киевский, зачитавший на публике письмо Гварино да Верона, сообщал о бурной реакции слушателей, которую те продемонстрировали, не скрывая восторга: «Сколь долго прочитавшие письмо рукоплескали тебе и твоему письму, находившемуся в центре всеобщего внимания, даже я не могу описать. Все наслаждались им: и я, зачитавший его, и все, кто его заслушал»[191]. Если же выступление участника «театра» было неудачно, то слушатели своим поведением прямо указывали на провал, освистывая оратора[192]. При этом реакцию аудитории нельзя было предугадать заранее. Публика не всегда оказывалась единогласна в оценках: «В театре

---

[188] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 27. 9.

[189] Ibid. Ep. 34. 6—10.

[190] Ibid. Ep. 44. 62—66.

[191] Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters / ed. W. Regel // Analecta Byzantino—Russica. Pg., 1891. Ep. 2. 6—9.

[192] ...τις κακῶς ἀγωνισάμενος ἐν θεάτρῳ καὶ διὰ τοῦθ᾽ ὑπο τῶν θεατῶν συριττόμενος...: (Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 326. 17—18).

перед риторами и философами я зачитываю твои речи, и, слушая меня, одни вскакивают со своих мест от восторга, другие сардонически смеются, иные кричат и умоляют Клото до срока оборвать на веретене нить твоей судьбы, чтобы ты скорее сошел в подземный мир»[193]. Такое собрание, на котором публика могла позволить себе открыто выражать свои эмоции, не взирая на условности, каждый раз оказывалось своего рода экспромтом, легкой импровизацией, не скованной жесткими рамками этикета. В этом отношении «сценарий» византийского театра близок к манере проведения литературных салонов западноевропейскими эрудитами и писателями времен Ренессанса.

Само выступление приобретало некую театральность. Зачитывание перед публикой речи, письма или другого рода сочинения преодолевало статику обычного повествования, апеллируя сразу к нескольким уровням восприятия и придавая выступлению внутренний динамизм. Прежде всего выступающий должен был передать эмоциональную тональность сочинения. Автор произносимой речи закладывал в текст нужные интонации и колебания голоса, которые следовало воспроизвести перед аудиторией. Вот поэтому Феодор Газа, зачитывая перед слушателями письмо, «сначала говорил спокойно и ровно, но понемногу все более повышал голос до пронзительного и громкого, что требовалось построением речи»[194]. Произнесение речи, таким образом, напоминало исполнение небольшого музыкального произведения. Музыкальность текста подмечали и ценили современники, и тот же Газа призывал слушателей обратить внимание на «выражения, связки слов, красоту речевых оборотов, построение умозаключений, и вообще гармонию всей речи и изумительную музыку целого, словно [это была] некая музыка!»[195] Ритмичность и эмоциональность изложения способствовали более острому восприятию слушателями речи. Вос-

---

[193] Мазарис // Византийский сатирический диалог / подгот. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской. Л., 1986. С. 106.

[194] Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters... Ep. 5. 14—17.

[195] Ibid. Ep. 5. 18—21.

производимый вслух текст будоражил воображение присутствующих, вызывая к жизни сменяющие друг друга зрительные образы и переводя восприятие в сферу динамичных визуальных ассоциаций. Важная роль в создании зрительных фигур и сцен в тексте отводилась также античным образам и сюжетам, обильно наполнявшим текст.

Воздействие, которое оказывал порой предмет обсуждения на аудиторию, Исидор сравнивает с пением сирен: «Письмо удерживало нас сильнее, чем сирены тех, кто проплывал мимо них. И даже Одиссей, думаю, проходя рядом, был бы заворожен его чарами»[196]. Но, чтобы так владеть вниманием публики, необходимо было знание риторических и ораторских приемов. Поэтому слушатели непременно отмечали удачные словесные обороты, риторические находки, уподобляя автора строк или выступающего античным ораторам Демосфену и Цицерону[197]. Как сама речь, так и отзывы насыщались античными примерами и реминисценциями. Ссылки на великих классиков, обращение к риторическим приемам, унаследованным от античной традиции, создавали иллюзию остановившегося времени, словно перенося участников в сады Эпикура или философские школы Милета.

«Театр», пронизанный духом культуры Древней Эллады, таким образом, был своего рода имитацией, подражанием, игрой в Античность. Кроме того, «театр» воспринимался и как литературная игра. Игровой характер происходившего отчетливо проступал в практике «театра». Дискутировавшие между собой участники уподоблялись состязающимся, словно речь шла о каком-то спортивном соревновании, хотя на деле присутствующие соперничали в словесном мастерстве и интеллектуальной подготовке. «Состязающимися за прекрасное» (οἱ τῶν καλῶν ἀγωνιστὲς) в «театре» образно называет участников диспута Кидонис[198]. «Состязающиеся

[196] Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters... Ep. 2. 10—12.

[197] В качестве примера см.: Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 150. 8, где публика сравнивает автора с Демосфеном.

[198] См.: Ibid. Ep. 169. 52.

друг с другом в собрании и в театре и спорящие о красоте», как их назвал Виссарион[199], стремились продемонстрировать в дискуссии весь арсенал своих доводов. Игровой элемент придавал интеллектуальным кружкам гуманистическую окраску[200]. Подобно собраниям итальянских гуманистов, «театр» воспринимался как «серьезная игра»[201].

Организаторы «театра» сознательно стремились придать происходившему внешнюю привлекательность, демонстрируя приверженность античному принципу гармоничного сочетания внешней формы и внутреннего содержания (καλοκἀγαθία), дабы все увиденное непосредственно переживалось участниками как эстетическое действо. «Мы танцуем с риторами в саду Муз (μετὰ ῥητόρων χορεύσασιν ἐν Μουσῶν κήποις)»[202] — так образно назвал Мануил II свое выступление в «театре». Чтобы адаптировать риторический жанр литературы к сцене[203], создавался соответствующий фон. По свидетельству Димитрия Кидониса, к участию в собрании нередко привлекались певцы и музыканты, сопровождавшие выступления ораторов музыкой и пением[204]. Тем самым вносился элемент разнообразия в форму проведения собрания, что усиливало театральность и игровой характер разворачивавшегося действа. Это еще больше сближало византийский «театр» с итальянскими академиями XV—XVI вв.[205]

Феномен византийского «театра» обращает нас к проблеме диалога в контексте византийской культуры[206]. Уже сама форма про-

---

[199] ἐν ἀγῶνι καὶ θεάτρῳ ἁλλήλοις ἁμιλλώμενα καὶ τοῦ κάλλους ἐρίζοντα (Aus Bessarions Gelehrtenkreis... Ep. 4. 16—17).

[200] Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 23.

[201] Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. С. 91—94.

[202] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 14. 8—9.

[203] См.: Medvedev I. P. The so-called θέατρα... P. 234.

[204] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 262. 82—83.

[205] См.: Кудрявцев О. Ф. От эрудитских собраний к научным сообществам... С. 176—194.

[206] См.: Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура (идея культуры в работах М. М. Бахтина) // Одиссей: человек в истории. М., 1989. С. 21—31.

ведения «театра» предполагала наличие интеллектуального обмена между носителями образованности. Участники литературного собрания вели диалог не только друг с другом, но и с культурой иной эпохи — античной, создавая новую, вневременную культурную реальность. «Театр», таким образом, являясь по сути некой интеллектуальной игрой, был одновременно и формой адаптации культурных традиций прошлого к условиям современности.

Эпистолярные практики

Эпистолярный жанр, унаследовавший от античных времен многие черты, имел в Византии широкое распространение[207]. Составление писем было средством самовыражения человека, способом разделить с другими свои эмоции, переживания и размышления. По точному замечанию Мануила II Палеолога, письмо было «образом души (εἰκόνες τῆς ψυχῆς)»[208].

Составление писем традиционно воспринималось византийцами как особый вид искусства — ἡ τέχνη, где царили свои законы[209]. К установленным правилам византийского эпистолярия можно отнести: краткость (συντομία), ясность (σαφήνεια), изящество (χάρις), подобающий изложению стиль (πρέπον), приверженность античным принципам (ἀττικισμός)[210]. Следование этим нормам отличало также и поздневизантийских

---

[207] О специфике византийской эпистолографии см.: Попова Т. В. Византийская эпистолография // Византийская литература / под ред. С. С. Аверинцева. М., 1974. С. 24; Сметанин В. А. Эпистолография. Свердловск, 1970; Hatlie P. Redeeming Byzantine Epistolography // BMGS. 1996. Vol. 20. P. 213—248; Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zu Ende des oströmischen Reiches (527—1453). München, 1897. S. 452—453; Sykutris J. Epistolographie // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft / hrsg. G. Wissowa and W. Kroll. Suppl.-Bd. 5. S. 219—220. Stuttgart, 1931.

[208] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 45. 147.

[209] Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés et commentés. Uppsala, 1962; Thraede K. Grundzüge grichisch-römischer Brieftopik. München, 1970.

[210] Ziegler A. W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe... S. 138.

эпистолографов, стремившихся не нарушать законы жанра. Несмотря на заданные эпистолярными правилами рамки и необходимость строгого соблюдения литературного канона, письмо тем не менее было «окутано аурой человеческого духа»[211]. Главной же темой византийских эпистолярных сочинений всегда оставалась дружба (ἡ φιλία)[212].

Переписка между византийскими интеллектуалами несла на себе отпечаток «ученой дружбы». В эпистолографии широкое распространение получила форма «дружеского письма»[213], в которой понятие φιλία занимало центральное место[214]. Как точно заметил Дмитрий Кидонис, «письмо есть символ дружбы (σύμβολον τοῦ φιλεῖσθαι)»[215]. С первых же строчек послания корреспондент стремился заверить адресата в нерушимости дружеских отношений, которые их связывали. Письмо уже само по себе служило свидетельством дружеского расположения к адресату[216]. Выражаясь словами Иоанна Хортасмена, «письмо — прямое доказательство дружбы»[217].

Однако степень дружбы и искренность заверений в ней могли различаться: от чисто формального следования правилам «хорошего тона» — до выражения действительно теплых чувств. В письмах это проявлялось в разной степени откровенности, в тональности характеристик, в настойчивости просьб, внимании к жизни адресата. Общий тон послания зависел также во многом от соци-

---

[211] См.: Поляковская М. А. Образ человека в византийском письме // XVIII Междунар. конгр. византинистов : резюме сообщений. М., 1991. С. 910.

[212] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... S. 222; Treu K. Φιλία und ἀγάπη. Zur Terminologie der Freundschaft bei Basilios und Gregor von Nazianz // Studi Clasice. 1961. Vol. 3. S. 428—431.

[213] Sykutris J. Epistolographie... S. 219—220.

[214] Koskenniemi H. Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956. S. 115.

[215] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 383. 10—11.

[216] Эта традиция берет свое начало в поздней Античности, когда утверждается представление, что письмо есть отпечаток дружбы, а φιλία и γράμματα часто употребляются в связи друг с другом. И Ливаний, и Григорий Назианзин подходили к письму как к словам дружбы (λόγος φιλίας): Thraede K. Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik... S. 126—127.

[217] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 43. 9—10.

ального статуса получателя. В эпистолах, адресованных лицам императорского достоинства или занимавшим высокие должности, автор выдерживал дистанцию, смягчая упреки и усиливая панегиристичность высказываний. В письмах к людям равного социального статуса лесть звучала не столь ярко выраженно, а укоры, напротив, более откровенно.

Письма приобретали особое значение в общении интеллектуалов, поскольку с их помощью сокращались расстояния, разделявшие друзей, и восполнялся недостаток личного общения. Выражаясь словами Мануила Калеки, «влекомые друг к другу дружбой встречаются посредством писем»[218]. Мануил II так говорил о значении писем для сохранения дружеских отношений людей: «Когда друзья живут далеко друг от друга, это единственный способ их соединить»[219]. Поэтому почти каждое послание содержало слова благодарности за полученное послание или жалобы на их долгое отсутствие. Первыми словами, которыми Мануил Хрисолора начинал письмо Иоанну Хрисолоре, были: «Рим мог бы показаться мне еще приятнее, если бы я в нем часто получал письма близких и особенно твои»[220], ставя в зависимость собственный комфорт и восприятие Вечного города от посланий, создающих иллюзию присутствия друзей. Излюбленное и простое средство от разлуки, письмо доставляло радость корреспондентам. Исидор Киевский признавал, что полученные письма были лучшим способом выразить дружеское расположение: «Мы, конечно, изумлялись многочисленности твоих писем к нам, потому что они явное доказательство того, что нас любят и вспоминают»[221]. Иоанн Евгеник в послании Пепагомену описывал то воздействие, которое оказывало письмо на получателя: «Письма полностью овладевают нами, не только очаровывая разум и душу, но и волнуя сердце»[222]. Несмотря на риторичность

---

[218] Correspodance de Manuel Calecas... Ep. 24. 6—7.

[219] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 18. 6—7.

[220] PG. 156. Col. 53.

[221] Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev // BZ. 1951. Bd. 44. Ep. 1. 1—2.

[222] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... T. 1. Σ. 158. Ep. 4. 7—9.

подобных высказываний, которая отчасти порождена эпистолярными нормами, все же эти слова продиктованы в первую очередь искренним чувством радости, которое испытывал получатель заветной весточки от друга.

В эпистолярных сочинениях, которые несли на себе отпечаток «ученой дружбы», дозволялась большая свобода в мыслях, проявлении чувств и выражениях, что было явным отступлением от ритуализированного стереотипа поведения, распространявшегося и на эпистолографию. Однако стиль и риторика письма вынуждены были подчиняться нормам жанра и устойчивым традициям. Автору приходилось следовать «этикету» чувств и выражений и, невзирая даже на возможную конфликтность отношений и острую полемичность диалога с адресатом, оставаться в границах «хорошего тона», тонкой литературной и социальной условности. Эпистолярная практика, имевшая в Византии долгую традицию, определяла правила игры, которым следовали в мире византийских интеллектуалов.

Согласно эпистолярному этикету, корреспондент в первых строках своего ответа должен был выразить благодарность за ту радость, которую ему доставило дружеское послание[223]. Получение такового вызывало у адресата чувство удовлетворенности и умиления, ведь письмо служило «утешением в постоянно терзающей боли»[224]. Описание удовольствия, доставленного дружеским посланием, могло быть весьма пространным, становясь порой единственной темой ответного письма[225].

К таким правилам игры можно отнести непременную оценку в ответном послании стилистического совершенства полученной эпистолы. Корреспонденты ценили изящество стиля, образность языка, красоту оборотов и точность сравнений. Текст должен был удовлетворять эстетическим вкусам сведущего в риторическом искусстве читателя. Многие эпистолы поздневизантийского времени

---

[223] См.: Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine... P. 79—111; Черноглазов Д. А. Laus epistulae acceptae: об эволюции византийского эпистолярного комплимента // ВВ. 2010. Т. 69 (94). С. 174—186.

[224] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 318. 4—5.

[225] Черноглазов Д. А. Laus epistulae acceptae… С. 176.

начинались с похвалы риторическим талантам отправителя письма и с благодарности за полученное удовольствие от чтения прекрасного текста: «Я получил множество твоих писем, которые, должно быть, были сочинены вместе с музами, ибо они действительно прекрасны и слогом, и мыслью, и выражением дружеского чувства»[226]. Следуя традициям византийского дружеского эпистолярия, следовало прежде всего выразить свое восхищение талантами составителя, которые запечатлены во всех его посланиях: «...достаточно только упомянуть твои письма и таким образом возбудить похвалу тебе»[227].

Автор всегда подчеркивал свое желание получать письма друга, составленные по правилам риторики. Как заметил Мануил II, обращаясь к Кидонису, «ты никогда не будешь жаждать писем, полностью лишенных эллинского изящества (χάριτος Ἑλληνικῆς)»[228]. Боясь показаться невеждой, автор старался не нарушать литературных норм, чтобы письмо не было воспринято другом как «творение неумелой руки и еще более неумелого языка»[229]. Поэтому хорошим тоном среди эпистолографов считалось отметить изящность риторического обрамления и стиля письма. Регулярный обмен письмами доказывал неизменность чувств и преданность дружбе («мы радуем друг друга привычным образом — письмами»[230]). Получение письма, «этого знака дружбы»[231], вызывало благодарность у адресата. Считалось хорошим тоном ответное послание начать именно словами признательности за полученное письмо.

В кругу образованных друзей ценили не только выражение в письме теплых чувств, но и проявление эрудиции корреспондента. Хортасмен, как и его современники, искал в полученных посланиях доказательство того, что корреспондент по-прежнему посвящает время научным занятиям: «Письма показали, что ты не только

---

[226] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 39.2—3.
[227] Ibid. Ep. 49. 7.
[228] Ibid. Ep. 29. 9.
[229] Ibid. Ep. 41. 37—38.
[230] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 189. 10.
[231] ... τὰς ἐπιστολάς τοῦ φιλεῖν ποιούμενος γνώρισμα... (Ibid. Ep. 85. 8).

испытываешь дружеские чувства, но и занимаешься науками (ἐδείκνυ γὰρ οὐ φιλοῦντα μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ λόγους εὖ μάλα σπουδάζοντα)»[232]. Письмо свидетельствовало об интеллектуальной деятельности автора и сообщало о результатах его научных штудий.

Письмо негласно считалось своеобразной ареной, на которой корреспонденты мерились своим талантом, поскольку позволяло продемонстрировать всю палитру риторических приемов, степень эрудиции и образовательной подготовки. Мануил II Палеолог поддерживал друга Иванка в стремлении вынести на всеобщее обозрение свои достоинства с помощью изысканного письма: «Ты уверенно применил свое мастерство, и твое прекрасное сочинение прославило наше отечество и его граждан. Было бы нехорошо замалчивать столь превосходные качества»[233]. Особого восхищения в письме удостаивались «гармония выражений, ритм сравнений, динамика, острота размышлений, великолепие речи и проблематика, блеск образов, выражение дружеских чувств»[234]. Исидор, восторгаясь посланием друга, отмечал, что оно отразило все качества, присущие автору: «До такой степени благородное, наикрасивейшее, оно [письмо] показало всем твой прекрасный образ мыслей, таким образом оно обнаружило в тебе и умелого ритора, и государственного человека, и почтенного философа, но также и доброго друга»[235].

Естественным стремлением корреспондентов было написать о чем-то приятном, что доставило бы адресату радость, ведь одним из обязательных качеств, присущих истинному другу, было умение беречь чувства близкого человека и способность разделить его радости и беды. Отсутствие же приятных новостей или же, наоборот, свалившиеся неприятности зачастую являлись причиной задержки ответного письма. Мануил II объяснял Мануилу Хрисолоре свое молчание как раз отсутствием добрых вестей: «Я часто хотел

---

[232] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 48. 18.

[233] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 62.

[234] ... φράσεως ἁρμονία, συνθήκης ῥυτμός, τόνου δύναμις, διανοίας ὀξύτης, λόγος σεμνός καὶ ἐσχηματισμένα προβλήματα, λαμπρότης σχημάτων, φίλων μακρὸς ἔπαινος... (Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters... Ep. 2. 16—18).

[235] Ibid. Ep. 2. 12—15.

написать тебе, но руку мне удерживала невозможность написать то, чем ты бы насладился»[236]. В другой раз император извинялся за продолжительное молчание, ссылаясь на отсутствие новостей: «Но я молчал не потому, что разочаровался в своих надеждах[237] <...> а потому что не имел сказать ничего нового»[238].

Письмо создавало иллюзию присутствия[239], тем самым компенсируя в какой-то степени недостаток общения. При этом текст воспринимался как запись голоса корреспондента. Поэтому к тексту византийского письма необходимо подходить как к «речи, запечатленной на бумаге»[240]. Уже само понятие «речь» нацеливает нас на зримое или воображаемое присутствие партнера. И Кидонис говорит именно о таком отношении к тексту послания: «Я надеялся лично увидеть и услышать тебя, когда читал твое письмо»[241]. Мы вновь сталкиваемся с таким явлением, которое свойственно не только византийской культуре, как д и а л о г и ч н о с т ь. Это явление нашло четкое выражение в эпистолярных текстах, поскольку письмо являлось частью диалога двух людей, а высказанные в нем слова были не только рассчитаны на ответ, но и обязательно предполагали его. Идеалом всей поздневизантийской эпистолографии являлся «союз прекрасной беседы»[242].

Но письмо расценивалось адресатом не только как возможность услышать голос своего друга. «Текст — это не только (может быть, не столько) голос; это — слушание чужой встречной речи»[243]. Во время чтения письма создавалась, а точнее, переживалась иллюзия разговора, в котором важно не только то, что сказано, но и то, как это услышано. Мануил II благодарил Кидониса за образность

---

[236] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 37. 2.

[237] Мануил II имеет в виду неоправданные надежды на помощь Запада в борьбе с турками.

[238] Ibid. Ep. 38. 16—17.

[239] Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine... P. 40—41.

[240] Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура... С. 31.

[241] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 164. 3.

[242] Кидонис пишет, что он «не желал бы порвать союз прекрасной беседы» (ἐγὼ οὐκ ἂν βουλοίμην καλῆς ὁμιλίας δεσμὸν λύειν δοκεῖν): Ibid. Ep. 175. 10.

[243] Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура ... С. 32.

содержания письма и сообщал об эффекте, произведенном прочитанным текстом: «И ты, который описал события в письме, сделал нас скорее очевидцами, чем слушателями»[244]. Античное представление о том, что письмо есть материализованный на бумаге диалог, вылилось в частую замену слова «писать» на другое, более соответствующее восприятию византийского эпистолографа слово — «говорить»[245]. Послание Мануила II Палеолога Кидонис принимал как «письмо от твоего голоса»[246].

Тем не менее, сколь бы прекрасны ни были письма, они не могли полностью заменить живого общения, поэтому призывы увидеться лично становились лейтмотивом почти каждого послания. И «надеждой вновь увидеть друг друга и вместе многое сделать»[247] наполнялись строки писем.

Особо тягостной для друзей была длительная разлука, которая создавала барьер общению. Мануил II так говорил об этом: «Если нет ничего более горького, чем разлука для тех, кто сильнее всего хочет быть вместе, если жизнь становится невыносимой для тех, кто знает, как надо любить, то какое же удовольствие могут получить они, разделяя общество друг друга!»[248] Долгая разлука с другом воспринималась как испытание. Все обстоятельства, которые препятствовали долгожданной встрече, казались жестоким наказанием. Даже любимому городу, пребывание адресата в котором затянулось, ставилось в упрек то, что он насильственно удерживал его вдали от друзей[249]. Но если разлука неизбежна, то «утешь друзей, отправляя им письма», — призывал друга Иоанн Хортасмен[250]. «Когда двое слишком удалены друг от друга и не могут порадовать ни слух, ни взгляд другого»[251], то на помощь приходят письма,

[244] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 4.6—7.
[245] Сметанин В. А. Византийское общество XIII—XV веков по данным эпистолографии. Свердловск, 1987. С. 184.
[246] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 192. 19.
[247] Ibid. Ep. 162. 22.
[248] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 3. 28—31.
[249] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 21. 3—5.
[250] Ibid. Ep. 21. 17—19.
[251] Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe ... Ep. 1. 2—3.

сокращающие расстояния и служащие связующей нитью между друзьями. Мануил Калека отмечал в письме Мануилу Хрисолоре, что нередко прибегал к услугам посредников, которые могли сообщить новости о близких людях: «И теперь прибывший к нам лучший учитель стал для меня подобен письму, так как он подробно рассказал мне о твоих делах»[252].

Та зыбкая связь, которую создавали письма, трепетно поддерживалась. Исидор Киевский, скучая по Мануилу Хрисолоре и зная, что и тот испытывал подобные чувства («сколько печали о нас ты вкусил, столь много времени находясь в чужой стране»[253]), старался не оставить друга без вестей в его постоянных переездах («поэтому я пишу письма, куда только возможно было бы»[254]).

По этой причине обилие писем не могло оставить равнодушным получателя, служа подтверждением незыблемости дружеских чувств. Исидор Киевский, пораженный числом получаемых посланий, благодарил за это своего друга: «Мы, конечно, изумлялись многочисленности твоих писем к нам по той причине, что они служили явным доказательством того, что нас любят и помнят»[255]. Мануил II упоминал о «шквале писем (ταῖς νιφάσι τῶν ἐπιστολῶν)»[256], который обрушил на него его друг Поф, несказанно воодушевив получателя, оценившего выражение дружеских чувств в таком количестве посланий[257]. Точно так же корреспондент радовался пространным посланиям. Не случайно друзья постоянно призывали друг друга «покончить с лаконичностью писем и трудиться над их продолжительностью»[258], но чтобы при этом письма были «столь же прекрасны, сколь и продолжительны»[259].

Традиция эпистолографии включала в себя известное правило писать кратко (λακωνίζειν): в рамках небольшого текста

---

252 Correspodance de Manuel Calecas... Ep. 89. 17—18.
253 Ziegler A. W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe ... S. 139. Ep. 5. 61 r.
254 Ibid. S. 140. Ep. 5. 61 v.
255 Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe ... Ep. 1. 1—2.
256 The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 17. 3.
257 Ibid. Ep. 17. 6—7.
258 Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep.78.6—7.
259 The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 50. 5.

предполагалось емкое изложение своих мыслей. Над авторами довлело это правило, вынуждая их подбирать более точные слова и формулировки, следить за размером текста, чтобы не выйти за допустимые пределы. Как и любой другой эпистолограф, Мануил II заботился о соблюдении этого закона жанра. В своих посланиях он неоднократно упоминал, что сдерживал себя, боясь нарушить предписанную лаконичность письма. В одном месте он заметил, что «нужно сократить слово, сохраняя закон писем»[260], а в другом подчеркнул: «можно было бы продлить письмо, но достаточно сказать тебе столько»[261]. Замечания подобного рода говорили о том, что император признавал осведомленность друга в вопросах эпистолярного этикета и старался не нарушить правила составления писем.

Долгое отсутствие писем из-за молчания адресата доставляло беспокойство другу, ибо, замечал Димитрий Кидонис, «молчанием мы раним дружбу»[262], а «редкость обмена письмами ранит наше сердце»[263]. Близким приходилось лишь догадываться о том, «вызвано молчание отъездом, или болезнью, или вынужденными... делами, из-за которых некоторые забывают и самих себя»[264]. Призывы написать и прояснить причины отсутствия писем нередко сменялись более настойчивыми упреками («своим молчанием ты приказываешь и нам онеметь»[265]), которые доходили до угроз разрыва дружеских отношений. Именно поэтому Кидонис, пытаясь воздействовать на Радена, заявлял в письме о готовности прекратить всякую переписку с ним, если тот не прервет своего молчания[266].

Интеллектуалы, трепетно относившиеся к эпистолярному общению, часто жаловались на трудности, которые препятствовали регулярному обмену корреспонденцией. Кидонис сетовал, что ему сложно застать своего друга Калофера, постоянно находящегося

---

[260] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 38. 36.
[261] Ibid. Ep. 55. 29.
[262] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 189.7.
[263] Ibid. Ep. 277.
[264] Ibid. Ep. 85. 12—14.
[265] Ibid. Ep. 175. 9—10.
[266] Ibid. Ep. 273. 4—14.

в разъездах, и он не знает, куда отправлять письма, поскольку друг может быть на Кипре, в Египте, Сирии, Италии или по ту сторону Альп[267]. К тому же письма долго шли до адресата. По замечанию Кидониса, отправленное в начале зимы послание пришло к нему лишь в середине лета[268]. Да и пути доставки корреспонденции были тогда весьма ненадежны. Пираты, «которых больше, чем волн на море»[269], войны и осады, столь часто случавшиеся в то время, если и не полностью пресекали обмен посланиями, то создавали ему значительные препоны[270].

Эпистолярная традиция требовала бережного отношения к письмам, которые тщательно сохранялись, копировались, завещались[271]. Ценился не только труд, вложенный в их написание. Послание служило свидетельством риторического таланта автора, и после его смерти могло показать величие человека, запечатлевшего свой образ мыслей на бумаге. Кидонис после смерти друга не раз перечитывал послания того, «кто оставил нам утешение в письмах»[272].

Византийская эпистолярная традиция сохраняла свою зависимость от определенного этикета, от правил «хорошего тона». Этим обусловлено обилие в письмах стандартных фраз и клише, обязательных оборотов и риторических приемов, являвшихся данью литературным требованиям жанра. Слова благодарности за прекрасное письмо, восхищение стилем и красотой слога, сетования на долгое молчание адресата входили в набор обязательных топосов, без которого не могла обойтись эпистолярная практика.

Однако в Византии любой текст (будь то научный трактат, деловое послание, официальный документ, дружеское письмо),

---

[267] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 190. 21—29; 269. 44—53.

[268] Ibid. Ep. 97. 67—68.

[269] Ibid. Ep.43.20.

[270] Dennis G. T. Reality in the Letters of Demetius Cydones // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 401—410.

[271] Сметанин В. А. Византийское общество... С. 175; Hatlie P. Life and Artistry in the Publication of Demetrios Kydones' Letter Collection // GRBS. 1996. Vol. 37, № 4. P. 75—102.

[272] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 33.

кроме своего непосредственного назначения, обязательно должен был удовлетворять эстетическим запросам общества и соответствовать этическим нормам данной культуры. Письмо также отражало эстетические вкусы людей того времени. Поскольку в интеллектуальной среде особенно ценились такие категории, как красота и гармония, изящество и совершенство, то текст должен был отвечать соответствующим требованиям. Поэтому корреспонденты уделяли особое внимание чистоте стиля, оригинальности сравнений, красоте аллюзий. Умение автора писать красиво свидетельствовало о его образованности, литературных дарованиях, уровне его интеллектуальной культуры в целом[273]. В плане содержания это выражалось в использовании шаблонных формул, традиционных метафор, исторических сюжетов, известных библейских и, еще чаще, мифологических образов. Их включение в текст, столь необходимое с точки зрения эстетических норм, зачастую осложняет для историка текстуальный анализ, поскольку нередко оказывается трудно провести границу между реальным событием, общим местом или литературным приемом[274].

В эстетике эпистолярного общения письмо не было сугубо интимным обращением: его следовало предавать огласке. Писатель, когда составлял послание, предполагал, что у него будет не один читатель. И хотя, как заметил один автор, «Демосфен советует создавать речи не для удовольствия публики, а для лучших из лучших»[275], тем не менее с письмом следовало знакомить широкую аудиторию. Письмо, произведшее сильное впечатление на адресата, охотно передавали для прочтения другому человеку. Но очень часто письмо зачитывали в литературных салонах, когда собравшаяся аудитория могла оценить его как маленький риторический этюд. Соответственно любое эпистолярное послание, как, впрочем, и другие

---

[273] Tinnefeld F. Kriterien und Varianten des Stils im Briefcorpus des Demetrios Kydones // JÖB. 1982. Bd. 32/3. S. 257—264.

[274] См. об этом: Сметанин В. А. Идейное наследие Византии и «деконкретизация» (на примере эпистолографии) // АДСВ. 1984. Вып. 21. С. 5—10; Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine... P. 14—17.

[275] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep.23. 2—3.

риторические сочинения, изначально создавалось для публичного прочтения. Как отметил С. С. Аверинцев, «классическая греческая литература не столько “написана”, сколько “записана”. Она условно зафиксирована в письменном тексте, но требует реализации в устном исполнении»[276]. Поэтому информация, предназначавшаяся только адресату, «кодировалась», образовывая «скрытый» слой текста и оставаясь недоступной для непосвященных слушателей, которые могли оценить лишь риторические таланты автора. Поскольку письмо зачитывалось и публично обсуждалось, то эпистолярное общение друзей вовлекало в свой круг новых участников, становясь достоянием многих. Поэтому сочинение личного характера (каким по определению являлось дружеское послание) приобретало публицистическую окраску[277] . Этому способствовало и содержание самих писем. Зачастую в них излагались собственные философские рассуждения, приводилась оценка политических событий, давались дидактические наставления, рассматривались спорные научные вопросы. Публичное чтение письма тешило и честолюбие автора, который мог рассчитывать на добрые слова и похвалы слушателей.

Письма нередко превращались в филологический или философский трактат. Выходя за узкие рамки эпистолярной формы, они становились средством изложения собственных мыслей автора, результатом проведенного им анализа чужих философских концепций и сравнения взглядов различных философов. Так, свое письмо Димитрию Халкокондилу Андроник Каллист посвятил описанию аристотелевской системы образования, подробно останавливаясь на ее составляющих — диалектике, этике, математике, физике и метафизике[278]. Ученики Геннадия Схолария посредством писем обсуждали с учителем дискуссионные вопросы. Один из них, Иоанн

[276] Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 206.

[277] См.: Броджи-Беркоф Дж. Древнерусская и византийская эпистолография: сравнительный анализ // Русь между Востоком и Западом: культура и общество, X—XVII вв. : зарубежные и советские исследования. М., 1991. Ч. 1. С. 279.

[278] См.: Powell J. Two Letters of Andronicus Callistus to Demetrius Chalcocondyles // BNJ. 1938. Vol. 15. P. 14—15. Ep.1.

с Лесбоса, поставил перед наставником вопросы о душе и духе; в ответных письмах Схоларий размышлял о методе решения этой проблемы[279]. Корреспонденция же Виссариона и Плифона превратилась в философский диспут, где в центре внимания оказались вопросы математики и календарных исчислений[280].

Письмо было в какой-то степени интеллектуальным «портретом» автора. «Послание является свидетельством о тебе и твоей душе», — заметил Мануил II Палеолог[281]. Эмоции, несмотря на их скупость, а порой трафаретность выражения, тем не менее присутствовали в дружеских посланиях. Традиционная риторика не всегда могла скрыть истинный характер чувств, которые, в нарушение эпистолярного этикета, изливались на страницы дружеских писем, приоткрывая нам эмоциональный мир византийца.

Штрихом к пониманию ментальных основ личности интеллектуала могут стать некоторые зарисовки из сферы эмоционально-чувственного мира образованного человека[282]. Средневековое сознание острее переживало резкие контрасты настроений, смену разнополярных эмоций, поэтому средневековый мир был эмоционально ярче окрашен, чем нынешний[283]. Насколько широка палитра чувств интеллектуала и средств их передачи, убеждаешься при чтении строк, описывающих реакцию автора на смерть друга или родственника. В этом и кроется многогранность мировосприятия средневекового человека.

Глубокой скорбью проникнуто описание Иоанном Аргиропулом своих душевных страданий, вызванных смертью его детей. Он обращался к Виссариону: «Среди горького несчастья и печали —

---

[279] Ζηση Θ. Γενναδιος Β' Σχολαριος... Σ.. 359.

[280] На письмо Виссариона, в котором тот задает вопросы Плифону, следует подробный, развернутый ответ в эпистолярной форме (Aus Bessarions Gelehrtenkreis... Ep. 18; 19).

[281] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 49. 3.

[282] См.: Поляковская М. А. Эмоциональный мир византийца // АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 134—141; Hinterberger M. Tränen in der byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen // JÖB. 2006. Bd. 56. S. 27—51.

[283] См.: Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 7.

несколько дней назад я потерял двух детей в расцвете их молодости — мне доставили превосходный труд, который ты направил против клеветников нашего почитаемого Платона. Правда, я был подавлен тяжелой бедой и своей глубокой болью так, что не мог больше владеть собой, ведь никак мне не удавалось сносить боль. Но все-таки я просмотрел твой труд целиком, и это было время, когда мне довелось в силу полного телесного истощения ослабить траур и обрести спокойствие духа»[284]. Несмотря на глубокую скорбь, Иоанн Аргиропул не смог отказать другу и ознакомился с его сочинением. Свои же эмоции по поводу недавней утраты он не скрывал, искренне говоря о пережитых душевных страданиях. И хотя законы жанра предписывали быть сдержанным в выражении чувств, тем не менее дружеские отношения позволяли отойти от канона и поделиться своими переживаниями без опаски быть уличенным в нарушении правил.

Приведем также несколько высказываний, объединенных общей темой — преждевременной смертью одаренных молодых людей. В письме, адресованном Тарханиоту, Димитрий Кидонис в панегиристичном тоне описал достоинства умершего друга Георгия Синадина Астры и передал образно и ярко свою реакцию на трагическое известие о его смерти: «Он оставил всем тоску о себе, а мне — постоянные слезы, — мне, кто знал так много людей, но среди которых ни разу не смог обнаружить и намека на его достоинства. Когда я услышал эту весть, я закрыл лицо и бил себя в грудь, я избегал дневного света и всякой пищи; друзья, которые пытались меня утешить, казались мне врагами; вообще, мне противно любое слово, и кажется, что моя боль смягчается, только когда я избегаю человеческого общения»[285]. В этих строках звучит почти ощутимая физическая боль, глубокая душевная скорбь, состояние, которое можно было бы современным языком психологии определить как депрессию или подавленность. Созвучны этим переживаниям и чувства Иоанна Хортасмена, вызванные смертью его молодого друга

---

[284] Neuhausen K. A., Trapp E. Lateinische Humanistenbriefe... Ep. 1. 3—9.
[285] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 98. 42—47.

Феодора Антиохита: «Почему же не минует меня великая печаль, смущение и страдание души, исполненной дружбы? Ныне мне остается, конечно, оплакивать смерть друга»[286]. Понимая и принимая риторичность многих высказываний, диктуемых нормами и правилами эпистолярного жанра[287], все же за высокопарностью фраз можно обнаружить реальные внутренние переживания и индивидуальность образа мысли, для которых находилось место в ритуализированном пространстве византийского письма.

Византийское письмо, при всей ограниченности присутствующего в нем пласта конкретно-исторической информации, оказывается весьма ценным источником для воссоздания такой тонкой материи, как личностные отношения. Сквозь строки проступают образы автора и адресата, высвечивается манера общения, обнажается эмоциональный настрой переписки. Являясь распространенным способом общения между образованными людьми, письмо хранит дух времени и непосредственность авторского восприятия. Кроме того, этикет, который не только пронизывал послания изнутри, но и подчинял определенным правилам сам обмен письмами, отражает поведенческие стереотипы тех, кто поддерживал эпистолярную связь. Подчиняясь эпистолярному ритуалу, письмо, конечно, оставалось в зависимости от шаблонов и штампов. Но даже в использовании клишированных выражений или топосов, без которых не мог обойтись образованный эпистолограф, кроется глубокий смысл, позволяющий понять не только «законы жанра», но и нормы поведения, принятые в кругу литераторов.

---

[286] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften ... S. 139. 2—6.

[287] В эпистолярной практике существовал особый род писем — так называемые утешительные послания (см.: Littlewood A. R. The Byzantine Letter of Consolation in Macedonian and Comnean Periods // DOP. 1999. Vol. 53. P. 19—41).

Дары в контексте общения

Дар как тотальный феномен[288] присутствует в культурном пространстве любой цивилизации. Подношение дара как форма социальной коммуникации характерно для обществ различных эпох — от архаической до современной. В любое время и в любой части света практика вручения даров сопутствовала человеку на протяжении всей его жизни: от первого подарка новорожденному до наследственного дара завещателя. Обмен дарами всегда оставался существенным элементом социализации и межличностной коммуникации, несмотря на меняющиеся исторические декорации и усложнение (или упрощение) соответствующего этикета. Подарок служил знаком родственных и семейных отношений; являлся подношением вышестоящим (богам, правителям) или актом благодеяния по отношению к нижестоящему; выступал символом пылкой страсти или признанием зависимости; был проявлением дружеского расположения или выражением благодарности и уважения.

Но при всей его вневременной сущности в каждом конкретном случае обмена дарами находили отражение те этико-эстетические стереотипы, поведенческие нормы и ментальные установки, которые были приняты в данном социуме и в данной культуре. В силу этого дар является элементом культурной идентичности, который позволяет маркировать с точки зрения цивилизационного измерения личность дарителя и получателя подарка, поскольку подношение дара, безусловно, имеет свою темпоральную, географическую и социокультурную окраску.

Дар (τὸ δῶρον) и ответный дар (τὸ ἀντίδωρον) многократно присутствуют в византийском культурном пространстве, поэтому тема даров может быть раскрыта в нескольких плоскостях (религиозной, политической, идеологической, социальной и пр.). Особое место занимает тема даров в частной жизни византийцев. Обмен дарами между людьми равного социального статуса демонстрировал

---

[288] См.: Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность : труды по социальной антропологии / пер. с фр. А. Б. Гофмана. М., 1996. С. 85.

взаимную поддержку, укреплял родственные связи, напоминал об обязательствах, утверждал дружеский стиль во взаимоотношениях. Мы обратимся к изучению вопроса о месте даров в эпистолярной практике интеллектуалов — привычной для них сфере общения[289].

Эпистолы пестрели сообщениями об отправленных или полученных приятных сюрпризах, которые напоминали о дружеском расположении адресата и его заботе. Приложить к письму подарки считалось в кругу эпистолографов хорошим тоном[290]. Как отметил Кидонис в письме Георгию Синадину Астре, подарки, сопутствующие письму, являются знаком дружеских отношений корреспондентов: «Другие получают от тебя подарки и письма, и тем самым ты даешь им почувствовать, что ты чтишь их дружбу»[291].

С помощью подарка отправитель стремился укрепить дружбу и напомнить о себе, на что и рассчитывал Кидонис, отсылая в качестве дара яблоки: «Поскольку мы хотим, чтобы ты всегда сохранял нас в памяти, мы напоминаем о себе этой посылкой»[292].

Подарок — это не только демонстрация искренности дружеских чувств, но и проявление признательности за содействие, помощь или свершенное благодеяние. Корреспондентами двигало естественное стремление выразить благодарность. Кидонис, желая воздать должное за оказанную поддержку, отправил фрукты в подарок с ремаркой: «Примите благосклонно из моей большой симпатии маленький подарок, который я должен вам за многие великие одолжения»[293].

---

[289] См.: Kushch T. V. Gifting as an Attribute of the Late Byzantine Epistolary Etiquette // Proceedings of the 22st International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22—27 August, 2011). Vol. 3 : Abstracts of Free Communications. Sofia, 2011. P. 150; Кущ Т. В. Дары как элемент поздневизантийского эпистолярного этикета // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2011. № 4 (96). С. 286—294.

[290] Г. Хунгер указывает, что для ранневизантийского времени мы имеем мало свидетельств о такой практике, что, по его мнению, говорит о более позднем появлении этого обычая (см.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 231).

[291] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 54. 4—5.

[292] Ibid. Ep. 295. 6—7.

[293] Ibid. Ep. 405. 7—8.

Подарок был также средством, с помощью которого автор пытался принести свои извинения за допущенные промахи и нанесенные обиды. Так, на упреки Кидониса в долгом молчании его друг Мануил Рауль Метохит ответил пространным письмом, приложив «к прекрасным словам и подарок»[294]. Реакция получателя была восторженной: «Ты одолел нас двойным способом: письмом и подарком, и мы теперь осуждаем себя за то, что слишком увлеклись, обвиняя тебя в молчании»[295]. Но Кидонис предупредил друга, что если в будущем тот нарушит дружеские договоренности и надолго прервет эпистолярное общение, то напрасно потом «будет дарить подарки»[296], пытаясь восстановить утраченное расположение.

Отправка дара сопровождалась комментарием, придающим этому акту достойное риторическое обрамление. Адресат таким способом удовлетворял и интеллектуальные запросы своего корреспондента, не отступая от норм составления писем. Порой подарок оказывался не слишком значительным в сравнении со словами, его сопровождавшими. Но блестящие словесные реверансы делали поднесенный дар еще более ценным, поскольку интеллектуал придавал в эпистолярном общении значимость прежде всего грациозности слога и стилистическому совершенству письма. Именно такой комментарий мы встречаем в письме Мануила II Палеолога: «Письмо так изящно составлено, что подарок, упомянутый тобой как маленький и дешевый, был воспринят нами как прекрасный и совершенный, который мы оценили по достоинству»[297]. Окутывая подарок шлейфом красивых слов, писатель демонстрировал свое риторическое мастерство и умение изящно представить дар, от чего возрастала ценность не только самого объекта восхваления, но и отношения дарителя к адресату.

---

[294] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 150. 11—12.
[295] Ibid. Ep. 150. 14—16.
[296] Ibid. Ep. 150. 21.
[297] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 2. 8—10.

Временами дар имел символическое значение («подарок со смыслом») или вызывал у получателя определенные коннотации[298]. Так, Исидор Киевский сопроводил свой дар (индийские благовония) деспоту Пелопоннеса тонким комментарием, сравнивая хорошо подобранную смесь пряностей с удачным набором качеств правителя[299]. Возможное аллегорическое истолкование подарка — распространенный прием в эпистолярном этикете[300], который придавал определенную изысканность акту дарения, наполняя его дополнительным смыслом, доступным для понимания только образованному человеку.

Тема подарка в письмах — это еще и повод к литературной игре. Ярким примером может служить эпистола Мануила II Палеолога Димитрию Кидонису, имевшая выраженный игровой характер. Мануил II, неоднократно слышавший сетования учителя по поводу смерти коня, который не отличался покладистостью, отправил тому в качестве подарка молодого скакуна, выражая надежду, что того оценят еще при жизни[301]. Свой дар Мануил сопроводил шутливым комментарием: «Из мертвого коня вышел живой в духе Платонова воскрешения»[302]. Употребление античных параллелей в риторическом комментарии к подарку — весьма распространенное явление византийской эпистолографии в целом.

Особенностью эпистолярного этикета, сопровождавшегося обменом дарами, можно считать ссылку автора на исторические или мифологические примеры, побудившие его к таким деяниям. Так, Исидор Киевский напомнил своему корреспонденту о персидском правителе Артаксерксе, который охотно раздавал пусть и не-

---

[298] Д. А. Черноглазов приводит пример того, как византийский автор XII в. Иоанн Цец, получив в дар три сушеные рыбы, истолковал их как аллегорию на Св. Троицу, что послужило для него знаком благочестия и здоровья отправителя (Черноглазов А. Д. Пять писем Иоанна Цеца: автопортрет византийского интеллектуала // ВВ. 2008. Т. 67 (92). С. 158).

[299] Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe... S. 575. Ep. 2. 24—26.

[300] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur… S. 232.

[301] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 26. 4.

[302] Ibid. Ep. 26. 8—9.

значительные подарки в благодарность за проявленную преданность. Исидор рассказывает историю о том, как царь наградил бедного крестьянина за глоток воды. Этот исторический анекдот использован для сравнения, поскольку Исидор решил проявить щедрость, подобно Артаксерксу, чтобы отблагодарить друга за полученное письмо[303]. Другой пример можно привести из переписки Кидониса. Вместе с письмом эпистолограф однажды отослал первые плоды из своего сада, подчеркивая особую честь, которую он тем самым оказал адресату[304]. В данном случае очевидна аллюзия на древний обычай, когда первые плоды с поля предназначались богам и поэтому ценились как особо почетный дар.

За полученный подарок эпистолограф считал своим долгом высказать благодарность. Геннадий Схоларий в письме императору Константину Палеологу благодарит за подарки, который тот ему отправил[305]. И дело зачастую не ограничивалось словами признательности, которыми автор благодарил за внимание и заботу и выражал свое восхищение подарком. Получение подарка провоцировало ответный дар. Так, Мануил II Палеолог, поблагодарив своего корреспондента за присланные лекарства, в свою очередь преподнес в подарок какие-то теплые вещи (возможно, шкуру): «После того, как ты отправил мне кое-что в помощь при болезни, я, в свою очередь, посылаю тебе то, что может помочь старику в борьбе с зимой»[306]. Получение подарка побуждало адресата к ответным жестам.

В своих письмах интеллектуалы неоднократно высказывали просьбу об отправке им в качестве подарка того или иного предмета. Иоанн Хортасмен не смущался попросить Мануила II подарить ему одежду (ἐσθής), чтобы подобающим образом отпраздновать предстоящие торжества[307]. Просьба о подарке — один из топосов

---

303 Ziegler A.W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe... S. 575. Ep. 2. 1—5.

304 Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 335. 8—9.

305 Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα / Publ. L. Petit. P., 1928. Vol. 4. S. 471.

306 The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 2. 15—17.

307 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 26. 9.

византийской эпистолографии, поскольку византийцы не стеснялись открыто выражать свое желание получить нужную вещь или напомнить об уже обещанном подарке. В письмах можно обнаружить призывы к щедрости: так, например, поступил Иоанн Хортасмен, который, получив сладости, в шутливой форме попросил друга и в будущем отправлять ему подобные подарки[308].

В корреспонденции Кидониса неоднократно встречаются напоминания адресату выслать давно обещанную или уже подаренную на словах вещь. В одном из писем он просил адресата, приближенного Мануила Палеолога, отправить ему шкуру, которую ему обещал подарить император: «Итак, отправь мне лекарство от зимы, которое мне подарил император, поскольку мы не его благодарим за подарок, а тебя упрекаем, так как ты по неосторожности обесценил благосклонно сделанный дар»[309]. В другом письме он напоминал императору Иоанну V о подарках: «Ты давно обещал мне светильники и книги, император, но до сих пор не дал мне их, что не в твоих правилах. До сего дня я знал, что ты свои обещания опережал в исполнении. Но ныне, по-видимому, ты забыл про этот подарок, так как это ничтожно и недостойно императора. А для меня нет ничего ничтожного в том, что я от тебя получаю. Итак, дай мне обещанное, о чем я тебе напоминаю. Но добавь также шестьсот статеров. Ибо это не будет ничтожным ни для тебя, ни для меня; хотя скорее для тебя это тоже ничтожная сумма»[310]. В этом требовании Кидониса просматривается и ирония в отношении корреспондента, и умаление своего собственного положения. Заметим, что интонация письма лишена всякого пиетета, и эпистолограф фамильярничает и не смущается в своих претензиях к императорской особе, настойчиво напоминая об обещаниях. В другом послании Кидонис обратился с призывом к Мануилу II: «Отправь как можно быстрее твоим коллегам неоднократно обещанную шкуру, ибо зима уже требует от нас подготовиться к ней... Заодно сие станет

---

[308] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 25.
[309] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 404. 10—12.
[310] Ibid. Ep. 386. 4—10.

ответным подарком за это письмо, о котором ты, возможно, скажешь, что оно меньшую или по крайнем мере равную ценность шкуре имеет»[311]. Довольно распространенное в письмах проявление настойчивости, с которой интеллектуал требовал себе подарков, свидетельствует о допустимости такого тона в рамках эпистолярного общения.

Для византийца выказать недовольство полученным подарком было вполне допустимым. А. Карпозилос констатировал «отсутствие церемонности», которая проявлялась в выражении своих потребностей в подарке или в критике получаемых подношений[312]. Могли не устроить качество дара, его ценность, величина и количество, несоразмерность сделанному прежде подарку. Иногда смущала и сама необходимость в таком даре, поскольку получатель не испытывал потребности или не высказывал просьбы. Вероятно, выражение неудовлетворенности подношением было нормой в общении друзей, поскольку в письмах часто можно встретить критику даров, которая высказывалась напрямую дарителю, несмотря на его ранг и без опасения тем самым нанести обиду или оскорбление.

Но были и другие реакции на полученный подарок, когда адресат проявлял беспокойство о причиненном отправителю ущербе или о понесенных тем затратах на пересылку дара. Интерес представляет случай, описанный Кидонисом в эпистоле неизвестному адресату, занимавшему высокое положение при дворе. Поблагодарив за подарок (очевидно, деньги), эпистолограф заметил, что его друг подвергался определенному риску, отправляя ему в дар денежную сумму:

> Что касается тебя, то ты оказался смелым другом из-за своего расположения к нам, так как отважился отправить нам подарок, не опасаясь соглядатаев. Я беспокоюсь о тебе и советую остерегаться этих людей, для которых является привычным делом доносить бодрствующим и спящим и тем самым наносить вред благодеянию, чтобы получить с помощью доноса милость императора за свои верноподданнические настроения. Они, увидев

---

[311] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 397. 24—31.

[312] Karpozilos A. Realia in Byzantine Epistolography XIII—XV Centuries // BZ. 1995. Bd. 88, H. 1. P. 68.

подарок, который ты мне отправил из своей личной собственности, признают в нем не выражение дружеских чувств, а лживое коварство человека, который хочет с его помощью услужить другу, и обвинят в том, что он присваивает императорскую казну. И ты учти, что эти Эринии[313] всему верят на слово. Когда тебе станет это ясно, не пытайся радовать нас посылкой, а лучше как-то иначе. Нам, во всяком случае, будет этого достаточно, чтобы знать о твоей симпатии. Я бы не хотел, чтобы ты стал из-за меня жертвой клеветы и чтобы маленький подарок принес тебе таким образом большое горе[314].

Если говорить о морфологии даров, то, благодаря А. Карпозилосу[315], мы имеем представление о тех вещах, которыми одаривали друг друга византийцы. Реестр подарков включает: деньги, животных, продукты, ткани, платья, шляпы, лекарства, предметы домашнего обихода, предметы культа (иконы) и пр. Иоанн Хортасмен благодарил за сладости[316] и присланные продукты (τῶν ἐδωδίμων)[317]. Кидонис неоднократно отправлял своим друзьям по переписке фрукты (яблоки[318], мушмулу[319]). Иоанн Евгеник отослал императорской семье в Трапезунд яблоки и персики[320]. Михаил Апостол получил от своих корреспондентов зайца[321], а Геннадию Схоларию был предоставлен Лукой Нотарой конь[322]. В качестве подарков могли фигурировать и довольно экзотические вещи. В знак вежливости Мануил Сгуропул отправил своему адресату цветы (τῶν ἀνθέων)[323], Кидонис приложил к письму своему бывшему ученику Мануилу II

---

[313] Эринии — в древнегреческой мифологии богини мести.

[314] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 300. 6—17.

[315] Karpozilos A. Realia in Byzantine Epistolography… P. 68—84.

[316] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 25.

[317] Ibid. Ep. 37. 17.

[318] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 186. 14; 295. 4.

[319] Ibid. Ep. 143. 8.

[320] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 1. Σ. 209. Ep. 33. 12.

[321] Lettres inédites de Michel Apostolis / ed. H. Noiret. P., 1899. Ep. 59.

[322] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ… 1924. Т. 2. Σ. 334. Ep. 3. 12.

[323] Сгуропул удивил своего друга присланным подарком: «Однажды ты меня порадовал своим подарком, но радость возросла, поскольку он был послан в неожиданное время. Было так отрадно, что мы наслаждаемся цветами зимой, в то время как весной мы даже не заметили бы их» (Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 118. 4—7).

Палеологу розы (τοῖς ῥόδοις)[324], а Иоанн Евгеник переслал Геннадию Схоларию нарциссы (νάρκισσος)[325].

В кругу интеллектуалов особо дорогим подарком считалась отправка другу книг, рукописей или собственных сочинений. Димитрий Антиох просил в письме друга выслать ему книгу древнего автора, чтобы он «мог вкусить его учености»[326]. Мануил II подарил Кидонису давно желанную и обещанную рукопись Платона[327]. Хортасмен отправил друзьям в дар свою монодию на Феодора Антиохита[328], а Мануил II переслал Кидонису свой труд, посвященный памяти умершего брата, деспота Мореи Феодора I[329].

Но образованные люди не только жаждали получить материальные предметы в качестве дара. Эпистолярное общение сформировало и представление о том, что само письмо есть бесценный подарок, более желанный и дорогой, чем любая иная вещь, которую может преподнести друг. Кидонис заметил, обращаясь к деспоту Мореи Феодору I: «Я никогда не перестану тебя винить за твое молчание. <…> Но если ты ищешь прощения, для этого нет ничего более подходящего, чем письмо. Только так ты сможешь сдержать свое обещание и доставить душе того, кто тебе предан, большую радость, чем могут вызвать вино или остальные твои подарки»[330]. Письмо в системе общения интеллектуалов занимало центральное место. Поэтому в литературный этикет, которому следовал эпистолограф, непременно входила похвала за полученное письмо, ценившееся как особый знак щедрости со стороны корреспондента.

Интеллектуал воспринимал подарок еще и как проявление лучших качеств дарителя, демонстрацию его благородства и душевной щедрости. Кидонис, поблагодарив свою бывшую ученицу Елену

---

324 Démétrius Cydonès. Correspondance...Ep. 233. 7.

325 Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ… 1924. Т. 2. Σ. 302. Ep. 12. 19.

326 Darrouzès J. Lettres de 1453 // REB. 1964. Vol. 22. Ep. 5. P. 91.

327 «У тебя теперь есть то, о чем ты просил, — Платон» (The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 3. 2).

328 Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 1; 4.

329 The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 62.

330 Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 414.18—23.

Палеологину за присланные в качестве дара деньги, выразил особую признательность за ее дружеское расположение и добрую память о нем: «Я принимаю подарок, но не деньги мне важны, хотя это мне полагается, ибо я заслужил их, а твой прекрасный образ мыслей, о котором ты мне напомнила таким образом, и для меня твоя память обо мне ценнее, чем все золото на земле и под землей»[331].

Таким образом, дар обладал объединительной силой, цементируя межличностные связи в кругу образованной элиты. Безусловно, характер подарков, которыми обменивались эпистолографы, определялся особенностью отношений, связывавших образованных людей. Интеллектуальный оттенок этих связей требовал и более рафинированных даров, имевших значение и ценность именно для этой среды. Хотя это общение вовсе не исключало и обмена весьма приземленными вещами.

В чем же заключалась специфика обмена дарами в кругу интеллектуалов? В их эпистолярной практике важен был не столько сам подарок, сколько его р и т о р и ч е с к о е о б р а м л е н и е, ибо дар был прежде всего поводом выразить дружеское расположение и подчеркнуть степень эмоциональной близости, продемонстрировать собственную образованность и эрудицию, блеснуть литературным мастерством и умением владеть словом. Это свидетельствует об утонченности самого эпистолярного общения, а также отражает высокий уровень развития византийской риторики, образной системы и интеллектуальной культуры Византии в целом.

Хотелось бы также отметить, что в письмах авторов первой половины XV в. (Виссариона, Геннадия Схолария, Марка и Иоанна Евгеников и др.) все реже встречаются упоминания о дарах сравнительно с корреспонденцией предыдущего столетия. Если обратиться к корреспонденции конца XIII — первой половины XIV в. (Георгия Кипрского, Никифора Хумна, Михаила Гавры, Максима Плануда или Феодора Иртакина), то мы в изобилии обнаружим сведения о присланных подарках или просьбы о них[332]. В письмах

---

[331] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222. 177—180.
[332] См.: Karpozilos A. Realia in Byzantine Epistolography... P. 68—84.

второй половины XIV в. (Димитрия Кидониса, Мануила II Палеолога, Иоанна Хортасмена) еще довольно много указаний на то, что авторы получали или сами отправляли подарки своим адресатам, хотя и эти сведения уже не столь многочисленны в сравнении с более ранним временем. Корреспонденция же интеллектуалов следующего столетия содержит еще меньше сообщений такого рода. Трудно определить причину подобной тенденции. Можно лишь предположить, что этому послужило или изменение самого эпистолярного этикета, или сокращение практики обмена дарами, или общее изменение ситуации в стране, когда друзьям уже было не до подарков, или же авторы просто умалчивали о том, что представляло собой норму в их эпистолярном общении.

В целом же дар (τὸ δῶρον) являлся непременным атрибутом общения византийских интеллектуалов, сопровождая письмо, излюбленную форму частной риторики. Письма содержат разнообразную информацию о характере даров, преподнесенных адресату, отзывы, благодарности и критические высказывания по поводу полученных подарков, описание ситуаций, в которых происходил обмен дарами. Анализ практики обмена дарами и характера риторических высказываний, его сопровождавших, указывает на особую значимость этого феномена в функционировании сообщества интеллектуалов. Преподнесение дара — распространенное и порой рядовое явление в жизни обычных людей — в контексте интеллектуального общения превращалось в событие, достойное риторического оформления, становясь фактом письменной культуры, уровень которой был необычайно высок в Византии даже в период ее политического упадка.

Формы интеллектуального общения, рассмотренные в этой главе, были многообразны, как, впрочем, многообразна была сама интеллектуальная жизнь *viri literati*. Литературные салоны, научные диспуты и переписка, окрашенная в дружеские тона, являлись естественным способом существования тех, кто был ориентирован на интеллектуальные занятия. Жизнь ученого была немыслима без контактов с коллегами, без обмена идеями. Общение, объединявшее

единомышленников, создавало среду, в которой интеллектуал ощущал себя комфортно и без которой не мог существовать. Внутренний мир ученого сообщества был организован вокруг этих «театров», личных встреч и бесед. Византийские ученые жили по своим правилам и законам, которые определяли особые формы поведения и стиль общения, принятые в этой среде. Многие проявления интеллектуальной жизни имели вековую традицию, уходя корнями в античные времена. Дух Древней Эллады был близок мироощущению образованного византийца. Мир интеллектуалов дышал особым воздухом, настоянным на античном эфире, и черпал вдохновение из классических источников, подпитывавших ученые умы идеями, выразительными средствами, образами. Интерес к классическим образцам, который с новой силой возродился в палеологовский период, определил развитие гуманистических тенденций, проявившихся в интеллектуальной жизни.





Глава 3
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Гуманизм палеологовского Возрождения



бращение к человеку и ценностям земной жизни, реабилитация чувственного начала человеческой природы, духовное освобождение личности, секуляризация знаний и разработка комплекса гуманитарных знаний, ориентированных на воспитание и образование людей, складывание новой социальной группы, реализующей эти идеи, — вот основные черты ренессансного типа мировоззрения[1]. Так обычно характеризуют западноевропейский, и в первую очередь итальянский, гуманизм. Но можно ли говорить о Ренессансе как особом культурном явлении в истории Византии? Этот вопрос всегда вызывал много споров[2]. Одни исследователи под византийским Возрождением подразумевали феномен

---

[1] См. об этом: Брагина Л. М. Становление ренессансной культуры в Италии и ее общеевропейское значение // История Европы. М., 1993. Т. 3. С. 455—457; Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. СПб., 1997. С. 205—216.

[2] Эта проблема до настоящего времени остается дискуссионной. Спор разворачивается вокруг широкого спектра как терминологических, так и конкретно-исторических вопросов: дефиниция терминов «гуманизм» и «Ренессанс», возможность или невозможность использования понятия «Возрождение» применительно к Византии, существование одного или нескольких ренессансных периодов на протяжении византийской истории и т. д. Ключевые моменты этой многолетней полемики приведены И. П. Медведевым (см.: Медведев И. В. Византийский гуманизм... С. 7—14).

континуитета античной культуры, проявлявшегося во всех сферах духовной жизни империи на протяжении ее истории, другие — периодические всплески интереса к Античности и отражение его в творчестве отдельных писателей[3]. Мы не ставим себе целью разрешить эту проблему и ограничимся размышлениями о существовании на поздневизантийской почве некоторых элементов ренессансной культуры в интеллектуально-коммуникативной сфере, поскольку именно этот период отмечен всплеском творческой активности византийских интеллектуалов, окрашенной в гуманистические тона.

Значение для культурного ландшафта Византии античного компонента, без которого само понятие «Возрождение» потеряло бы смысл, можно увидеть на примере гуманистических тенденций, проявившихся в интеллектуальной жизни XIV—XV вв., в период палеологовского Ренессанса. Этот завершающий этап византийской истории был наиболее отдален по времени от классической эпохи, и тем не менее интенсивность «излучения» античной традиции даже на закате империи была очень велика.

Оживление гуманистических тенденций в культурной жизни XIV—XV вв. было своего рода реакцией на утверждение исихазма со свойственными ему мистицизмом и созерцательностью[4]. Одновременно с распространением паламитского учения усиливалась тяга к гуманизму в среде образованный элиты, отдававшей предпочтение светскому античному образованию вопреки проповедникам исихастских воззрений, делавшим акцент на углубленное постижение христианского вероучения[5]. Идейное размежевание, происходившее на фоне богословских споров, сыграло не последнюю роль в распространении гуманистических воззрений, которые противопоставлялись мистике исихастов. И. П. Медведев видел основные перемены поздневизантийского времени «в разрушении веко-

---

[3] См.: Литаврин Г. Г. [Рецензия] // ВВ. 1980. Т. 41. С. 262. Рец. на кн.: Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976.

[4] См.: Beck H.-G. Humanismus und Palamismus // XII[e] Congrès International des Etudes Byzantines. Belgrade ; Ochride, 1961. Rapp. 3. S. 69; Podskalsky G. Theologie und Philosophie in Byzanz. München, 1977. S. 124.

[5] Beck H.-G. Humanismus und Palamismus… S. 67.

вых традиционных схем ортодоксального конфессионализма, в возникновении автономного светского направления в культуре, в процессе поляризации течений»[6]. Именно эти сдвиги, по его мнению, отличали интеллектуальную жизнь последних двух столетий византийской истории от предыдущих эпох.

В чем же особенность поздневизантийского гуманизма по сравнению с европейским, в первую очередь итальянским, распространение которого началось в то же самое время? И. Шевченко подчеркивал колоссальное отличие палеологовского Возрождения от итальянского Ренессанса, видя в культурном подъеме XIV—XV вв., который наблюдался в Византии, не переосмысление Античности, как это было на Западе, а лишь интенсификацию интереса к ней, интереса, который в империи не угасал на протяжении многих столетий[7]. Действительно, Византия, в отличие от Запада, никогда не порывала с классическим наследием в силу прочных генетических связей с античной цивилизацией. Несмотря на постоянное присутствие классического компонента в византийской культуре, некоторые периоды «византийского тысячелетия» отмечены более активным обращением византийцев к древнему наследию, что позволяет историкам говорить о нескольких византийских ренессансах[8]. Но эти периоды нарастания интереса к Античности (особенно в XIV— первой половине XV в.) знаменовались лишь активизацией усилий по освоению предшествующей культурной традиции, а не новым ее открытием и переосмыслением, как это имело место в итальянском Ренессансе[9].

---

[6] Медведев И. П. Ренессансные тенденции поздневизантийской культуры // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 238.

[7] И. Шевченко отмечал, что византийцы «не развили такие чувства к Античности, как сделали это их современники на итальянском Западе» (см.: Ševčenko I. Renaissances before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages. California, 1984. P. 170).

[8] См.: Ibid. P. 170.

[9] И. Шевченко заметил, что «византийцы были слишком хорошо знакомы с Античностью, чтобы реагировать на нее так же сильно, как это делали на Западе», и под палеологовским Ренессансом предлагал понимать в первую очередь «интенсификацию контактов элиты с Античностью» (см.: Ševčenko I. Théodore Métochites, Chora et les courants intellectuels de’époque // Art et société a Byzance sous les Paléologues. Venise, 1971. P. 19).

Итальянская интеллектуальная среда действительно была отдалена во времени и культурном пространстве от той традиции, которую пыталась возродить к жизни. Переосмысление классической культуры гуманистами происходило при известной отстраненности от античных образцов. Итальянская мысль, пережив Средневековье, подошла уже со своими мерками к тому идейному наследию, которое брала на вооружение. Византия же, напротив, находилась под непосредственным влиянием античной культуры и оказалась слишком зависимой от нее. Поэтому относительно византийских реалий можно говорить только об отдельных элементах ренессансного порядка, которые обычно определяют как классицистические тенденции[10].

Какие же ренессансные элементы проявились в поздневизантийское время? Прежде всего надо сказать о повышенном внимании гуманистов к античной традиции, ее культивировании, постоянном к ней обращении, оригинальном переосмыслении ее и преобразовании в процессе литературного творчества или в рамках интеллектуального диалога. Для поздневизантийской культуры в целом проблема античного наследия оказалась ключевой, определившей специфику культурных процессов и явлений того времени[11]. Г. Хунгер, говоря о классицизме и его тенденциях в XIV в., охарактеризовал это явление как «восхищение, защиту и подражание образцам культурного расцвета (классики)», которые реализовывались в области литературы[12].

Неважно, было ли это осознанным или интуитивным выбором, но авторы постоянно апеллировали к классическому прошлому, воспроизводили античные образцы, подражали стилю древних авторов. Эта специфика поздневизантийской культуры проявлялась

---

[10] См.: Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts // XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 83—95.

[11] См.: Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977. С. 5; Удальцова З. В. Вклад византийской культуры в культурное развитие Европы // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 33.

[12] См.: Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur… S. 83.

в заимствовании античных идей и образной системы, в развитии жанров античной литературы.

Восхищение Античностью привело к зарождению «археологического чувства» к материальным остаткам древности[13]. Подобно итальянским гуманистам, проявившим интерес к древним памятникам и руинам, поздневизантийские интеллектуалы обратились к изучению зримых следов прошлого. Они с волнением созерцали развалины древних городов, вызывая в своем воображении образы былого величия и триумфа, описывали памятники древнего искусства, восхищаясь гением их создателей, превозносили мастерство древних зодчих и ваятелей. Мануил Хрисолора, гуляя по Риму, «читал» по его руинам историю города. Итальянец Кириако Анконский, которого считают «родоначальником археологии»[14], объяснял свои антикварные поиски античных артефактов желанием «разбудить мертвых... возродить славу древних, какой она была когда-то в древности, но теперь похоронена и забыта… изъять все это из темной гробницы на свет и вернуть ему прежнюю жизнь»[15]. Этот подход разделяли и его византийские коллеги.

Источником творческого вдохновения для интеллектуалов этого периода стала п р и р о д а, любование которой открывало их взору красоту и гармонию окружающей среды. С гуманистическим энтузиазмом они предавались описанию ландшафта, создавая настоящие пейзажные зарисовки в своих сочинениях.

В своей интеллектуальной деятельности византийские писатели следовали гуманистическому идеалу гармонии духовного и материального — идеалу, возводившему категорию прекрасного в абсолют. Этот принцип, известный с Античности, стал универсальным понятием, определявшим эстетические предпочтения образованных людей той эпохи.

---

[13] См.: Медведев И. П. Ренессансные тенденции поздневизантийской культуры... С. 240.

[14] См.: Корелин М. Ранний итальянский гуманизм и его историография : крит. исслед. М., 1892. С. 148.

[15] Цит. по: Hale J. The Civilization of Europe in the Renaissance. L., 2005. P. 191.

Обозначив особенности палеологовского Возрождения и определив основной вектор развития ренессансных тенденций, рассмотрим далее на отдельных конкретных примерах некоторые аспекты гуманистического восприятия мира поздневизантийскими интеллектуалами. В представленных ниже сюжетах, относящихся к литературному творчеству и отчасти к интеллектуальному общению, ярко проявились характерные черты ренессансного мировоззрения.

Античный след в интеллектуальной жизни

Ученое сообщество Византии вышло из классической образовательной системы. Все, что могла охватить система общего обучения (ἐγκύκλιος παιδεία) — грамматика, стилистический анализ, введение в математическую и астрономическую терминологию, имело исходным пунктом классику и в конечном итоге ориентировалось на нее[16]. Классическое наследие было той отправной точкой, с которой начиналось обучение, тем источником, откуда черпались мудрость и знания, и той планкой, которую стремился достичь каждый образованный византиец.

Подражание Античности в среде византийских интеллектуалов проявлялось как на содержательном (в контексте литературного творчества), так и на формальном уровне, находя свое воплощение в образе жизни, принятом в кругу образованной элиты. По сути, все формы общения, которые получили распространение среди ученых, своими корнями уходили в классическую древность.

Классическая парадигма оживала в различных проявлениях интеллектуального образа жизни. Устойчивые эпистолярные связи между образованными людьми, о которых шла речь выше, были продолжением античной традиции[17]. С античных времен известен и столь распространенный в интеллектуальных кругах тип «дружеского письма», где прославлялась дружба античного образца.

---

[16] См.: Beck H. G. Das byzantinische Jahrtausend. München, 1994. S. 123.

[17] См.: Thraede K. Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik. München, 1970. S.126—127.

Научные диспуты, обмен сочинениями, отношения между учителем и учеником, как уже отмечалось, также несли в себе античный ген. Однако античный след присутствовал не только в сфере интеллектуального общения, но и проявлялся в системе образно-эстетических и этических представлений[18].

В творческой деятельности византийский интеллектуал равнялся на авторитет древних авторов, в которых видел высших судей в вопросах философской мудрости, литературного мастерства и риторического изящества. Иоанн Хортасмен отмечал, что полагается не на оценку современников, которые, по его убеждению, подвержены бесчисленным предрассудкам, а на мнение великих предшественников: «Я не допускаю суда тех, кто такого же возраста, как я сам, кто полон пристрастности; ища беспристрастных судей, я следую древним учителям, с которыми соглашаются многие из людей»[19]. Мануил II Палеолог в письме, адресованном митрополиту Фессалоники Гавриилу, подчеркивал, что для писателя ориентирами должны служить античные образцы, однако достичь блеска и изысканности классической литературы его современникам не суждено:

> Пишущие должны всеми силами стремиться брать пример с тех, кто в искусстве достиг совершенства, и принимать их в качестве образцов, но они также должны четко сознавать, что не достигнут такого же уровня, и не должны стыдиться того, что те мужи превосходят их, а также не следует отчаиваться из-за того, что их собственные труды далеки от трудов Демосфена, Фукидида и им подобных. Ибо достижения мужей прошлого выше понимания нынешних. Конечно, если вы станете сопоставлять труды древних с современными, то будете сравнивать «золото с бронзой». Ибо настолько уступают наши сочинения, что никто из живущих не изрек бы ни слова, если бы необходимо было писать, как эти ученики Гермеса и Муз, или не писать вовсе. Потому что просто невозможно сказать так, как могли говорить эти люди[20].

---

[18] См. об этом: Кущ Т. В. Античный след в интеллектуальной жизни Византии // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. Белгород, 2012. № 1 (120). Вып. 21. С. 65—70.

[19] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 40. 25—28.

[20] The letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977. Ep. 52. 19—29.

Ориентация на авторитет классиков и культ классического греческого языка, далекого от общеупотребительного койне, позволяли интеллектуалам осознавать свою избранность и элитарность. Ученые заведомо предпочитали говорить на аттическом языке, стремились архаизировать речь и избегать употребления разговорных фраз[21]. В этом кругу стыдились разговаривать и писать на живом обиходном языке, поскольку это был удел необразованной черни, на которую высокомерно взирали интеллектуалы. Дихотомия между высокой литературой и реальностью была, по выражению К. Манго, ярко выраженной чертой византийской культуры[22]. Византийская «верхушечная» литература, оторванная от культуры народной среды, опиралась на отчеканенные в древности традиции, следствием чего было широкое применение речевых архаизмов[23]. О стилизации под эллинский язык с тщательностью заботились и Исидор Киевский, и Лаоник Халкокондил, и Критовул[24]. Писателю приходилось следить за языком и стилем своего сочинения, чтобы не быть уличенным в невежестве.

Византийские писатели нередко извинялись за излишне разговорный тон своего сочинения, поскольку это не соответствовало принятому в их кругу правилу говорить в духе великих классиков, не опускаясь до языка толпы[25]. Димитрий Кидонис в письме к молодому другу Тарханиоту заметил, что старался писать, как Платон,

---

[21] См.: Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz // Ösrerreichische Akademie der Wissenschaft. Philosophisch-historische Kl. Sitzungsberichte. Wien, 1972. Bd. 277. Abh.3. S. 24.

[22] См.: Mango C. Byzantine Literature as a Distorting Mirror // Mango C. Byzantium and its Image. L., 1984. P. 17.

[23] См.: Попова Т. В. Классицистическая литература в эпоху Палеологов // Фрейберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. М., 1978. С.220—222.

[24] См., например: Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev // BZ. 1951. Bd. 44. S. 571; Веселаго Е. Б. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила // ВВ. 1957. Т. 12. С. 212; Удальцова З. В. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула // ВВ. 1957. Т. 12. С. 193—194.

[25] См.: Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik... S. 24.

чтобы не бояться быть высмеянным[26]. Мануил II Палеолог в ответном письме другу, жившему на Кипре и приславшему ему риторически безупречное послание, заметил, что тот «стал кудесником, заставив даже Кипр говорить с нами на аттическом»[27]. В другом письме он точно описал результат такой стилистической имитации: «В аудитории находился человек, не знавший автора письма и его цель. Оно поразило его столь сильно, что он был почти готов поверить, что оно не могло быть порождением нашей нынешней литературной скудости, ибо напомнило ему о некоторых из древних, чьи имена сохранились после смерти благодаря их произведениям»[28]. В силу господства подобных приоритетов разрыв между высокой интеллектуальной культурой и культурой народной оказался весьма велик.

Греческие классики были объектом не только повышенного внимания со стороны образованной части общества, но и образцом для подражания. Действительно, античных авторов не только переводили, читали и на них ссылались, но им старались уподобляться. Византийская традиция признавала и даже поощряла любые компиляции, сокращения, комментирование древних авторов и заимствования у них. В рамках литературных штудий сложилась целая теория подражания (ἡ μίμησις) классическим образцам[29]. Традиция подражания риторическим приемам и стилистическим оборотам на долгое время закрепилась в византийской литературе в качестве доминирующей практики[30]. Античность проникала в византийские тексты через реминисценции и парафразы из классиков, с именами мифических и реальных исторических героев. Мифологический пример стал, по выражению Г. Хунгера, общим местом византийской риторической литературы[31].

---

[26] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1; 1960. Vol. 2. Ep. 78.

[27] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 32. 9.

[28] Ibid. Ep. 34.10—14.

[29] См.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 67.

[30] См.: Hunger H. On the Imitation (μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature // DOP. 1969—1970. Vol. 23/24. P. 18.

[31] Ibid. P. 25.

Желание византийских авторов возродить эллинистический дух выражалось, например, в употреблении антикизирующих названий стран и народов. Это не означало, что византийцы плохо знали современные этнонимы, однако литература, ориентированная на классические образцы, должна была быть выше сиюминутной реальности. Как и их предшественники[32], писатели конца XIV—XV в. чаще использовали древние эквиваленты современных им названий. Пространственно-географические наименования приобретали античное звучание. Поэтому Кидонис называл жителей столицы «византийцами» (Βυζαντίοι), а население Фессалоники — македонянами (Μακεδόνες)[33]. Мануил Калека вместо Франции употреблял ее языческое название «Галлия» (Γαλλία)[34]. Исидор Киевский предпочитал говорить не об Англии, а о «Британских островах» (περὶ τὰς Βρεττανικὰς)[35]. Мануил II Палеолог именовал турок «персами»[36]. По сути, в пространственно-временном измерении византийские писатели ощущали (или хотели ощущать) себя живущими в иной, уже не существующей реальности.

Византийские гуманисты не скрывали своего страстного желания оказаться в ином времени, обнаружить себя в окружении великих философов древности, приобщиться к их ученым беседам, пропитаться атмосферой прошлой эпохи. В качестве иллюстрации приведем фрагмент из письма Димитрия Кидониса Мануилу II Палеологу. Узнав о попытке императора получить рукопись Платона, хранившуюся на Афоне, Кидонис преисполнился небывалым воодушевлением, предвкушая скорую возможность познакомиться с древним текстом: «Я полагал увидеть в нем давно ушедшего Платона, узнать, как он жил, двигался и говорил, я как будто держал

---

[32] К примеру, Георгий Пахимер сознательно заменял современные ему географические и этнические названия их древнегреческими наименования и использовал античный календарь (см.: Arnakis G. G. George Pachymeres — a Byzantine Humanist // GOThR. 1966—1967. Vol. 12, № 2. P. 164).

[33] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 177. 35—36.

[34] Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. Ep. 59. 14.

[35] Ziegler A.W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev// OCP. 1952. Bd. 18. S. 139. Ep. 5. 61r.

[36] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 14. 27; 44. 23.

его в своих объятиях, приветствовал его, расспрашивал его об Академии и Стое, занимаются ли молодые люди в Афинах геометрией или другой областью философии; и вообще старался бы не упустить ни одного вопроса, касавшегося жизни там»[37]. В этом иллюзорном приобщении к своим предшественникам также проявлялось стремление к мимесису, посредством которого византийский интеллектуал мог ощутить свою сопричастность к идеализируемой античной культуре.

Ни один из авторов поздней Византии не мог обойтись без использования античных элементов культуры. Не столько многочисленность древних цитат и реминисценций, сколько глубинное проникновение в смысл древних текстов и образов отражало гуманистические тенденции в поздневизантийской интеллектуальной жизни. Особенно ярко влияние Античности на поздневизантийскую литературу проявилось на уровне использования образов и метафор из семиотического ряда классики. Античные топосы традиционно украшали византийские тексты. Некоторые из них оказались особенно распространенными в XIV—XV вв. в силу созвучности темам, беспокоившим интеллектуальный мир. Образы зимы, бурного моря и корабля, так хорошо знакомые античной литературе, вновь ожили на страницах сочинений, придавая эмоциональную глубину повествованию.

Составляющие античного семиотического ряда употреблялись взвешенно, к месту, не только ради любования, но и для большей образности высказанной мысли[38]. И если сравнивали кого-то с Демосфеном или Цицероном, то можно представить себе, насколько этот человек по силе воздействия словом был подобен древним ораторам. Образ Пифагора также нес на себе определенную смысловую нагрузку, и высказывание «ты сделаешь нас из болтунов пифагорами»[39] воспринималась как угроза погрузиться в молчание, напоминая об обете, данном философом. Актуальными в литературном

---

[37] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 276. 5—10.

[38] Попова Т. В. Византийская эпистолография // Византийская литература / под ред. С. С. Аверинцева. М., 1974. С. 230.

[39] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 175. 14.

творчестве поздневизантийских авторов оставались ссылки на известные мифологические сюжеты и античные пословицы.

Наряду с образами, имевшими мифологические или исторические коннотации, византийские литераторы восприняли из античного наследия и более существенные концепты, например идею изменчивой судьбы (τύχη). Античные категории переменчивой судьбы и предопределения, которые постоянно проскальзывали в сочинениях авторов палеологовского времени, составляли суть мировоззренческих установок византийцев.

И. Шевченко заметил, что знания многих византийцев того времени были поверхностны и в их «эрудиции было больше блеска, чем глубины»[40], поэтому частые ссылки на имена великих классиков, по его мнению, не всегда свидетельствовали о непосредственном знакомстве с их сочинениями. Не соглашаясь с этим утверждением, заметим, что многие писатели были хорошо образованными людьми, поэтому с легкостью оперировали цитатами и литературными реминисценциями из произведений своих не только греческих, но и латинских предшественников. Так, например, в сочинении Мануила Хрисолоры «Сравнение древнего и нового Рима» можно найти довольно прозрачные намеки на Иоанна Хрисостома и Пиндара, явные параллели с сочинениями латинского писателя VI в. Павла Силенциария[41], почти дословные цитаты из Синезия[42] и Ливания[43]. Он показывает свое знание античной истории и исторической географии, называя имена римских императоров (Цезарь, Веспасиан, Нерон, Диоклетиан)[44] или вспоминая крупнейшие города древности (Мемфис, Карфаген, Вавилон)[45]. Византийский интеллектуал даже в условиях угасания некогда блистательной империи мог

---

[40] Ševčenko I. Society and Intellectual Life in Late Byzantium. L., 1981. P. 26.

[41] См.: Homeyer H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstantinopel. Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus /// Klio. 1980. Vol. 62/2. S. 527.

[42] Manuelis Chrysolorae Epistolae / PG. 156. Col. 56.

[43] Ibid. Col. 24.

[44] Ibid. Col. 29—32.

[45] Ibid. Col. 25.

гордиться своей образовательной подготовкой, не уступавшей по уровню и глубине той, к которой приобщались его предшественники.

В целом, многие проявления интеллектуальной жизни несли на себе отпечаток традиции, поскольку интеллектуальная среда существовала в рамках системы координат, во многом заданной античной парадигмой, которая служила культурным маяком для этого круга. Византийская культура и в период своего последнего подъема могла позволить себе «фамильярничать» с греческим наследием и ассимилироваться с ним[46].

Сакральные образы в профанной литературе

В Византии почти каждый интеллектуал обращался в той или иной форме к богословским темам. Написание теологических трактатов и составление компиляций, участие в религиозных спорах и обсуждение вопросов веры являлись неотъемлемой частью творческой биографии византийского ученого. Система образования, включавшая основательное изучение христианской литературы, определяла глубокий интерес человека пера к религиозным проблемам.

В сочинениях светского характера также можно обнаружить целый пласт образов, связанных с религиозной тематикой. Это вполне объяснимо, поскольку христианская лексика, религиозные сюжеты, цитаты из известного любому христианину текста, упоминания библейских имен воспринимались человеком, выросшим в рамках определенной религиозной традиции и впитавшим культуру, стержневой основой которой было христианство, как неотъемлемая часть его творческой и повседневной жизни. Однако законы литературного жанра зачастую предъявляли автору свои требования к употреблению образных выражений, диктовали определенные правила стилистического и риторического обрамления, предполагали свои приемы ассоциативных параллелей. С этой точки зрения любопытно вычленить христианский компонент

---

[46] Tatakis B. La philosophie byzantine. P., 1949. P. 229—230.

в сочинениях, ориентированных прежде всего на античную традицию с ее мифологической (языческой по сути!) составляющей, и попытаться определить характер использования элементов христианской культуры в профанной литературе[47]. Выбор для анализа эпистолографии как одного из образцов светской риторической литературы представляется оправданным, поскольку в византийском письме особенно остро ощущается сильное влияние античной традиции как в композиционном построении, так и в плане стилистических и образных заимствований.

С этой целью обратимся к анализу сакральных образов в корреспонденции Димитрия Кидониса, эпистолярный корпус которого содержит богатый материал для соответствующих наблюдений. Этому автору религиозные вопросы были далеко не чужды. Им написан Трактат об исхождении Святого Духа, а также выполнены переводы трудов Фомы Аквинского[48], оказавшие глубокое влияние на византийскую теологию[49]. Кидонис, как уже не раз отмечалось, выступал с антипаламитских позиций[50] и ратовал за унию христианских церквей, что нашло отражение в его инвективах и апологиях. Наряду с этим он оставил заметный след в светской литературе, являясь блестящим эпистолографом[51], виртуозно владевшим

---

[47] См. об этом: Кущ Т. В. Сакральные образы в профанной литературе (по материалам поздневизантийской эпистолографии) // Nomos. Kwartalnik Religioznawczy. Kraków, 2010. № 71/72. С. 147—156.

[48] См., в частности: Karpozilos A. Thomas Aquinas and the Byzantine East // EkklPhar. 1970. Vol. 52. P. 133—143; Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas // Byzantion. 1982. Vol. 52. P. 264—284; Papadopulos S. Thomas in Byzanz. Thomas-Rezeption und Thomas-Kritik in Byzanz zwischen 1354 und 1453 // Theologie und Philosophie. 1974. Bd. 49. S. 274—304; Glycofrydi-Leontisini A. Demetrius Cydones as a Translator of Latin Texts // Porphyrogenita. Essays on the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 175—185.

[49] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959. S. 734.

[50] См.: Russel N. Palamism and the Circle of Demetrius Cydones // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate. 2003. P. 153—174.

[51] См.: Tinnefeld F. Zur Entstehung von Briefsammlungen in der Palaiologenzeit // ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. Miscellanea für Peter Schreiner zum seinem 60. Geburstag. Leipzig, 2000. P. 365—381.

искусством письменного диалога. Кроме того, его эпистолярное наследие является одним из крупнейших собраний поздневизантийского времени.

Эпистолярные сочинения известного ученого следовали риторической традиции, которая опиралась на каноны жанра, восходившие к древнегреческим образцам. В письмах также нашли отпечаток присущие интеллектуальной культуре того времени гуманистические тенденции, которые выражались прежде всего в актуализации классического наследия и в имитации античного литературного стиля[52]. Поэтому анализ христианских образов, включенных в канву письма, созданного в рамках светской риторической традиции, позволит не только определить стилистические особенности авторского почерка, но и судить (на примере эпистолографии) о риторической технике составления светских сочинений.

Христианский компонент в корреспонденции Кидониса представлен преимущественно образами, фразеологией, сюжетными линиями и реминисценциями, взятыми из Священного Писания. Кидонис иногда использовал клишированные фразы, которые являлись прямыми намеками на библейский текст. Сообщив о своем предстоящем путешествии, он прибавил известное *condicio Iacobaea* (Иак. 4 : 15; Деян. 18 : 21; 1 Кор. 4 : 19): «если будет угодно Господу»[53]. В одном из писем он употребил клише «забота о смерти»[54], говоря о том, что пережитые в период эпидемии чумы эмоции привели его друга Тарханиота к увлечению философией[55]. Однако следует отметить, что прямые фразеологические заимствования из библейского текста встречаются крайне редко в его письмах. И если подобные заимствования присутствуют, то они скорее

---

[52] См.: Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur... S. 83—95; Idem. On the Imitation (μίμησις) of Antiquity... P. 15—38.

[53] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 37. 43; 74.19.

[54] Эта мысль Платона получила развитие в патристической литературе. Эпистолограф использует не привычный оборот «забота о смерти» (μελέτη θανάτου), а «память о смерти» (μνήμη θανάτου) (см.: Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart, 1991. Bd. 2, № 171. A. 9).

[55] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 42.

являются привычным оборотом речи, неким штампом, устойчивым выражением из повседневной лексики, нежели сознательно введенной в текст библейской цитатой.

Даже в тех редких случаях, когда автор приводил цитату собственно из Библии, он не стремился передать ее дословно. Так, в одном из писем, где он с сарказмом описывал увлечение своего друга Иоанна Асана охотой, Кидонис использовал в доказательство бессмысленности этого занятия перефразированные слова Соломона: «ибо, как говорил Соломон, ветра — добыча гоняющихся за пернатыми»[56]. В этом месте автор весьма произвольно воспроизвел ветхозаветную цитату: «кто опирается на ложь, тот пасет ветра, и тот же будет преследовать летающую птицу» (Притч. 9 : 12). Более того, он прибег к буквальному прочтению библейской фразы и исказил смысл цитаты, приспособив ее к бытовой ситуации. Еще одним доводом против занятия охотой стала отсылка к трудам Григория Назианзина, который в своей второй речи о теологии (Περὶ θεολογίας) детально останавливался не только на бытии Бога, но и разбирал природу человека (§ 22) и животных (§ 23—25). Кидонис замечает, что его друг мог бы променять охоту на чтение трудов Назианзина и тогда «узнал бы, что есть животное, что есть Бог и что есть человек»[57]. Кидонис хотел этим сказать, что Асан узнал бы о животных из теологии Григория Назианзина гораздо более важные вещи, чем посредством охоты. В приведенном фрагменте письма автор вольно обращается с цитатой из Библии и ссылается на труды одного из Отцов Церкви исключительно для аргументации своего отношения к такому приземленному занятию, как охота. Использование столь «веских» доводов для критики увлечений друга кажется чрезмерным, даже излишним, ведь вряд ли аргументирование своего взгляда на бытовые вещи требует в данном случае непременной опоры на авторитет, бесспорный для любого христианина. Скорее всего здесь в очередной раз проявилось стремление автора следовать высокому стилю и писать на высокой ноте,

[56] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 426. 38—39
[57] Ibid. Ep. 426.42—44.

демонстрируя свою эрудицию в области христианской литературы и мастерство риторической акцентуации.

Аналогичный характер носило использование Кидонисом библейских образов и сюжетов. Для того, чтобы усилить эффектность повествования и придать выразительность своему рассказу, автор при описании какой-либо повседневной ситуации или изложении какой-либо идеи часто включал в текст сравнение с известной библейской историей или сюжетной линией. Так, сообщая о снегопаде, завалившем столицу, Кидонис сравнивал положение, в котором оказался, заточенный в своем доме из-за разыгравшейся непогоды, с ситуацией Ноя, спасавшегося от великого потопа. Кидонис писал:

> Что ранее пережил Ной во время Всемирного потопа, пережили и мы теперь: все двери и окна закрыты, но, несмотря на это, снег (ἡ χιών) проникает внутрь и распространяется повсюду так, что нам приходится спать с ним на кровати, и наши слуги мучаются, удаляя по нашему указанию его с лежанок. Даже когда мы сидим в доме, невозможно поднять глаза кверху, ибо ветер и снежные хлопья раздражают веки, заставляя жмуриться. В этом отношении мы превосходим даже Ноя, так как он мог, по крайней мере, прокормиться запасом чистых птиц, нам же, напротив, предоставлены только запасы рынка. Но нам не могут принести никакой пищи, так как торговцы забились по своим лачугам и предпочитают выживание делу, а потому голод досаждает нам еще больше, чем холод… Тщетно пытаться отыскать улицу. Нам едва не пришлось оплакивать нашего слугу, которого мы отослали к таким же заточенным, как мы. Когда он рискнул покинуть ковчег (τῆς κιβωτοῦ) и двинуться по улице, его почти занесло снегом, он не нашел прохода и решил отказаться от своего путешествия. Так он вернулся и возблагодарил Спасителя[58].

Использованный в качестве сравнения библейский сюжет позволил автору более красноречиво описать ситуацию, в которой он оказался вместе с другими жителями города. Этот рассказ, полный образов и параллелей, должен был убедить получателя в бедственном положении автора строк, превосходящем трудности, выпавшие на долю ветхозаветного Ноя. Таким образом, параллель с библейским рассказом служила лишь средством для более точной передачи

[58] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 426. 4—24.

эмоций, душевного или физического состояния, поскольку прямая отсылка на известную каждому читателю историю усиливала образное восприятие описываемой ситуации и делала повествование более художественным.

В одном из писем Кидонис, рассуждая о пользе философского образа жизни, упомянул сюжет о трех отроках в пещи огненной как пример чудесного избавления[59]. Он рекомендовал своему корреспонденту вооружиться знаниями, чтобы легче сносить выпадающие на его долю страдания: «Ты должен противопоставить философию превратностям судьбы. Этому и само образование способствует. Оно избавляет материю от огня страданий, ибо, делая человека невосприимчивым к огню, позволяет не чувствовать того (τῆς πυρᾶς), как это когда-то случилось с отроками в Вавилоне»[60]. Здесь автор соединил в одном ряду аргументации библейский пример чудесного избавления от мучений и мысль стоиков об освобождении от страданий через апатию, о состоянии свободы от эмоций. Историю трех отроков Кидонис использовал еще раз, когда призывал Мануила II Палеолога в сложной внешнеполитической ситуации положиться «на самого себя и на Божью помощь с уверенностью, что тот, кто помог пленным отрокам в варварской земле, превосходит могущественных и погасит для тебя печь (τὴν τῶν πειρασμῶν κάμινον) испытаний, чтобы вернуть нас снова к прежнему положению»[61]. Образы, имеющие религиозное наполнение, в этих примерах использованы исключительно для усиления высказанной идеи.

Сакральные образы востребованы в эпистолярном сочинении не только как средство убеждения, но и в качестве побудительного примера. Когда брат Димитрия, Прохор Кидонис, начал избегать письменного общения с ним, ссылаясь, очевидно, на пра-

---

[59] Ананий, Азарий и Мисаил были брошены по приказу Навуходоносора в огненную печь за свою веру и отказ поклониться золотому истукану. Благодаря своей безграничной вере и молитве они были спасены ангелом, которого послал Господь (Дан. 3 : 1—30).

[60] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 35. 40—42.

[61] Ibid. Ep. 363. 24—27.

вила монашеского поведения, Кидонис напомнил ему о святых, которые не были противниками писем: «То, что писать брату позволительно и не значит грешить против этого закона, подтверждают письма святых (αἱ ἐπιστολαὶ τῶν ἁγίων), обращенные ко всем, и их длинные письма друзьям»[62]. Под святыми подразумевались Отцы Церкви (известно, например, о переписке Григория Назианзина со своим братом Кесарием). Кидонис апеллировал к авторитету почитаемых святых, чтобы их примером побудить брата к эпистолярному диалогу.

В качестве примера Димитрием Кидонисом использовались и образы библейских царей: «но ты вспомни о Моисее и Давиде и о других, которые кротость противопоставляли врагам своим»[63]. Кидонис переносил метафору, относящуюся к царю Давиду, на императора Мануила II Палеолога, который сражался в Малой Азии на стороне султана (1391), и приводил дословную цитату из Ветхого Завета: «чтобы не угас светильник Израиля»[64] (2 Цар. 21 : 17). Уподобление правителя библейским царям в данном контексте не только подчеркивало сакральность власти, но и носило характер риторического приема.

Пример для подражания, безусловно, являли и христианские святые, чье подвижничество побуждало верующих к благим делам. Кидонис противопоставлял императорское окружение, требовавшее мзды за любое действие, Косьме и Дамиану, бескорыстно занимавшимся своим делом[65]. Он упоминал святого Антипу как спасителя от зубной боли («Антипа и его заступничество перед Богом за тех, кто имеет такие страдания»[66]), когда просил знакомого врача о помощи от этой напасти.

Святые служили нравственным примером, к которому автор обращался, побуждая своего корреспондента к свершению добрых дел. Ссылка, например, на поступки апостола Павла как образец

---

[62] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 58. 13—16.
[63] Ibid. Ep. 13. 60—61.
[64] Ibid. Ep. 431.48.
[65] Ibid. Ep. 158. 45.
[66] Ibid. Ep. 240. 20.

самоотверженных деяний должна была усилить призыв автора: «Так последуй же за Божественным Павлом и направь свой взор не только к личному благу, но и ко благу других, и прими на себя вместо домашних забот хлопоты о пользе общественной»[67]. В этом призыве автор напоминал, что Павел беззаветно посвятил себя заботе о благе и спасении других, как сказано в Писании: «для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9 : 22).

Библия служила не только источником поучительных примеров, но и мощным средством укрепления веры, с помощью которого можно преодолеть все испытания. В письме будущему императору Мануилу II Палеологу Кидонис с помощью ветхозаветных мотивов стремится вдохновить его на решительные действия в период начавшейся осады турками Фессалоники (1382/83): «Поскольку ты приобрел Господа в союзники, ты — лучший среди императоров, не медли! Подчинись такому полководцу и следуй за ним, он убедит, что проведет тебя в столпе огненном (Исх. 13 : 21), проведет тебя среди моря по суше (Исх. 14 : 22), прольет хлеб в пустыне (Исх. 16 : 4), разобьет тысячу вражеских отрядов и совершит через тебя подвиги, которые не уступают тому, что совершил Моисей чудесным образом в Египте»[68]. Кидонис включил последовательный ряд библейских образов, связанных с Исходом евреев из Египта, чтобы убедить венценосного адресата в его богоизбранности и настроить на ожидание скорого проявления Божественного покровительства.

В аргументации против паламитов Кидонис опирался на Отцов Церкви, чьи труды ему были хорошо знакомы. В одном из писем он упоминал о своем сочинении «Речь на Благовещение Богородицы», в котором, ссылаясь на святоотеческую традицию, критиковал учение Паламы. В письме приводилась прямая цитата из Василия Великого: «Добро есть то, что родилось из добра и владеет добром как своей сущностью»[69]. Утверждение, построенное на

---

[67] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 434. 25—26.
[68] Ibid. Ep. 249.32—37.
[69] Ibid. Ep. 384. 42; PG. 32.156 B.

этой цитате, вызвало нападки противников Кидониса, который, однако, остался непреклонен: «Защищенный щитом Василия, я буду отбиваться от нападающих на меня… Я верю, что на моей стороне будет не только Василий, но и все, кто близок ему. Во всяком случае, я смеюсь, если вижу, что берется соревноваться жук с орлом»[70]. В этом письме, развенчивая паламитов, он использовал библейский образ, прибегнув даже к некоторой иронии: «епископы, для которых Палама также много значит, как заповеди Моисея»[71]. Стоит обратить внимание на тот факт, что в финальной строчке письма Кидонис сослался на фабулу басни Эзопа «Орел и жук». Как видим, для этого интеллектуала было характерно сочетание античных реминисценций и отсылок к христианским текстам.

Еще одним примером соединения в одной эпистолярной фразе образов античного и христианского происхождения может служить следующая цитата: «Дика[72]… избавила нас не только от дерзости варваров, но даже навела ужас на того, кто, как Сенахерим[73], угрожал, держал город окруженным и приказывал ломать ворота»[74]. Такое соединение ветхозаветного и древнегреческого образов было допустимым и вполне уместным в пространстве эпистолярного сочинения. На страницах византийского письма античные и христианские образы могли не только мирно соседствовать, но и вступать в диалог друг с другом. Точно так же и сама византийская светская литература в целом находилась в постоянном диалоге с античной и христианской традициями, черпая из них значимые для нее образы.

Итак, в эпистолярных сочинениях Димитрия Кидониса пласт сакральных образов выглядит достаточно внушительным и разноплановым. Автор в изобилии оперировал библейскими сюжетами, вплетал в ткань письма образы библейских героев, использовал

---

[70] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 384. 40—44.

[71] Ibid. Ep. 384. 29.

[72] Дика — античная богиня правосудия и возмездия.

[73] Сенахерим — царь Ассирии, враг Царства Израилева, библейский «неблагочестивый» царь.

[74] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 249. 10—14.

общеупотребительные христианские клише. Эпистолограф насыщал текст как ветхозаветными, так и новозаветными событиями и персонажами. Свободное цитирование Библии, ассоциативность повествования, основанная на христианских параллелях, свидетельствуют о Кидонисе как знатоке христианских текстов. Среди всех сакральных образов, использованных им в письмах, в основном явно доминировали ветхозаветные. Ученый значительно меньше обращался к образам христианской истории и патристики, хотя в письмах встречались упоминания о христианских авторах (Григорий Назианзин, Иоанн Хрисостом, Иоанн Дамаскин), апостолах, святых и мучениках (Антипа, Косьма и Дамиан).

Кидонис почти не использовал христианские образы и реминисценции в буквальных цитатах, отводя им роль стилистической фигуры. Сакральный образ чаще всего приобретал в тексте письма *форму сравнения или аллюзии*. Лишь в единичных случаях автор приводил прямую цитату из Библии или христианского текста, чаще предпочитая с помощью образов или намеков на них отослать сведущего читателя к известной им обоим сюжетной канве. Таким образом, можно говорить, что как в эпистолярии Кидониса, так и в профанной литературе некоторых других жанров сакральным образам тоже отводилась роль метафоры или сравнения, а не прямой цитаты.

Сакральные образы по степени насыщения ими эпистолярного текста заметно уступали античным реминисценциям, изобиловавшим в письмах. Они, так же как античные, выполняли прежде всего *стилистическую функцию*, украшая повествование и расцвечивая текст. Однако сакральный образ не только имел декоративный характер и демонстрировал эрудицию автора, но и нес определенную *смысловую нагрузку*. С их помощью обнажался более глубокий смысл высказанной мысли. В стилистике византийского письма сакральные образы являлись тем обертоном, который усиливал эстетическую составляющую этого образца высокой словесности.

Следует также заметить, что органическое сосуществование в тексте писем Димитрия Кидониса образов и сравнений, почерп-

нутых как из библейских текстов, так и из древнегреческих и римских сочинений, свидетельствует об уравновешенности античного и христианского компонентов в византийской образованности.

Морские образы в византийской эпистолографии

В образной системе византийской литературы морские топосы всегда занимали особое место[75], ведь в жизни византийцев море (ἡ θάλασσα) играло огромную роль[76]. Морская стихия внушала им, жившим в постоянном соприкосновении с ней, страх и трепет и была связана в представлениях людей прежде всего с опасностью плавания по безбрежным просторам Средиземноморья. Море скорее разъединяло, чем связывало византийский мир[77].

Морское путешествие византийцы всегда воспринимали с опаской. Вступая на палубу, человек понимал, чем рискует: корабль во время плавания мог попасть в шторм, угрожавший жизням путешественников; на судах нередко вспыхивали эпидемии, чреватые смертельным исходом для пассажиров. Кроме того, в длительном плавании человек сносил значительные неудобства, связанные с отсутствием привычного комфорта, теснотой, давкой. Кидонис так описывал трудности морского путешествия: «Они [моряки] в течение нескольких дней будут топтать тебя ногами, на ночь тебя бросят во чрево корабля, как осужденного — в тюрьму; там теснота, ругань и стоны, напоминающие стенания обреченных в Аиде; с кормы раздаются грозные команды, сея страх в носовой части судна»[78].

---

[75] Ряд работ посвящен проблеме образа моря в сочинениях некоторых византийских авторов, относящихся к разным периодам (см.: Миллер Т. А. Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста // Античность и современность. М., 1972. С. 360—369; Каждан А. П. «Корабль в бурном море». К вопросу о соотношении образной системы и исторических взглядов двух византийских писателей // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 3—16).

[76] Ahrweiler H. Byzance et la mer. P., 1966.

[77] Каждан А. П. Византийская культура (X—XII вв.). СПб., 1997. С. 28.

[78] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 109. 22—23.

Не случайно человек предпочитал «убогую сушу царству Посейдона»[79]. Но, несмотря на все опасности, связанные с этой стихией, море было неотъемлемой частью бытия жителей Византии, и это находило отражение в литературных образах.

Выразительность образов моря и корабля, близких сознанию византийцев, помогала точнее передать всю палитру эмоций и переживаний, которые испытывал автор. Состояние общества или проявление человеческих настроений часто ассоциировались с морской стихией в различных ее проявлениях. Действительно, эти образы имели глубоко метафористичный смысл и получили широкое распространение в византийской литературе.

Истоки этой составляющей византийской образной системы уходили корнями в античную традицию, что проявлялось в преемственности выразительных средств и приемов двух разновременных культур. Античная литература, которая активно оперировала морской лексикой[80], сформировала определенный стандарт использования соответствующих образов. К топосам моря, шторма, корабля и кормчего прибегали при характеристике как общественной ситуации в целом, так и для передачи состояния и ощущений отдельного человека[81]. Подобный подход был использован и византийской литературой.

Безусловно, морские образы были хорошо знакомы византийским писателям, те практически не вносили изменений в их смысловое наполнение на протяжении длительного времени. Диапазон трактовки морских образов византийской литературой, так же как античной, был поразительно широк и разнообразен — от позитивных оттенков до пессимистичных тонов. Море могло быть умиротворенным, вселять чувство покоя и надежды, но оно же могло представлять собой опасность, грозить бедой и приносить несчастья. К какому смысловому полюсу тяготел тот или иной писатель, об-

---

[79] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 109. 11—15

[80] См.: Kahlmeyer J. Seesturm und Stiffbruch als Bild im antiken Schriftum. Hildesheim, 1934.

[81] Т. А. Миллер демонстрирует разнообразие смысловых оттенков этих образов у античных авторов (см.: Миллер Т. А. Образы моря... С. 360).

ращаясь к морской лексике, отражало прежде всего индивидуальность авторского стиля, но также фиксировало его эмоциональный настрой, восприятие действительности и, в определенной мере, общественное настроение.

А. П. Каждан заметил, что «проблема возникает лишь тогда, когда мы констатируем различие в трактовке этого образа»[82]. Такие образы представляют интерес при сопоставлении способа их употребления и особенностей их смыслового наполнения в сочинениях различных авторов. Но не менее важным является и определение той тональности, в которой звучали морские мотивы, поскольку с их помощью автор передавал атмосферу, царящую в обществе.

Как уже отмечалось, существовали две сферы, при характеристике которых поздневизантийские авторы прибегали к морской лексике: общественная и личностная. Какой же оттенок смыслового поля морских топосов был предпочтительнее для интеллектуалов при обращении к этим сферам?

Византийские реалии последнего столетия империи актуализировали те риторические обороты из морской тематики, которые были ближе духу эпохи. Кризисная ситуация в стране заставляла обращаться к метафорам, окрашенным в пессимистические тона. Из широкого диапазона оттенков морской образности авторы все чаще выбирали именно минорные мотивы.

Топосы корабля и бушующего моря были самыми емкими образами, к которым прибегали литераторы для передачи всей трагичности и безнадежности сложившейся ситуации. Если в другие эпохи византийской истории с кораблем сравнивали не только государство, но и собственную жизнь, то в этот период на первый план вышел образ корабля как воплощение общества в целом. Государство напоминало терпящий бедствие корабль; население уподоблялось морякам, погрязшим в раздорах и ссорах; фигура императора превращалась в образ капитана, который ведет это гигантское судно навстречу волнам, стараясь не разбить

[82] Каждан А. П. «Корабль в бурном море»... С. 3.

его о скалы внутренних проблем и внешних опасностей. Тема бури и бушующей водной стихии оказывалась наиболее удачной для описания плачевного состояния дел в империи и бедственного положения граждан.

Димитрий Кидонис, письма которого содержат множество морских образов, говоря о тяжелом положении столицы после отъезда императора в условиях внутреннего хаоса, проводил параллели с ситуацией во время шторма: «Волны над головой и скалы повсюду, сильные бури и глубокая тьма, а моряки ссорятся между собой»[83]. Накал страстей достиг апогея, не оставляя никакой надежды на спасение. Ситуацию осложняло и отсутствие императора в столице, поскольку лишь ему одному было под силу удержать на плаву государство: «Кормчий корабля очень далеко, и следует опасаться, что корабль пойдет на дно и вместе с ним утонут оставшиеся надежды»[84]. Описывая ситуацию в период вынужденного участия императора в малоазийском походе турок, Кидонис сравнивал поведение жителей Константинополя с действиями моряков, «которых в пугающем мраке сотрясает шторм, а они в то же время сами пытаются разрушить свой корабль»[85].

Другой поздневизантийский автор, Иоанн Аргиропул, употребил распространенную метафору штормящего моря и корабля, терпящего бедствие, для передачи общего настроения уже в условиях крушения империи: «Но мы боимся и подчиняемся страху, находясь в положении тех, кого кормчий хотел бы в бедствии на море оставить на произвол волн»[86]. Таким образом, морская буря сотрясала не только государство, но и все общество.

Спасение от гибели в условиях морского шторма виделось Кидонису только в способном капитане, «который вместо спокойно плывущего выбирает сотрясающийся штормом корабль»[87]. Талант

---

[83] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 203. 21—22.

[84] Ibid. Ep. 203. 23—24.

[85] Ibid. Ep. 430. 57—58.

[86] Цит. по: Dölger F. Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz // JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 10—11.

[87] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 68. 36.

кормчего как раз и проявлялся в способности умело вести судно сквозь бури и невзгоды. Для Кидониса таким кормчим был прежде всего правитель. В одном из своих писем, адресованных императору, он писал, что главная задача василевса состояла в удержании на плаву государства: «Я опасаюсь навредить городу тем, что хотел в шторм и в потоке волн отвлечь капитана личной беседой от заботы о корабле»[88]. «Как корабль нуждается в более сильном кормчем»[89], так и государству необходим достойный правитель. Все надежды на спасение он связывал с мудростью и опытом императора, так как «не морской покой сулит хвалу кормчим, а способность капитана в шторм благополучно вести корабль к цели»[90]. Именно правитель, по утверждению византийского императора Мануила II, «более чем кто-либо обязан сохранить корабль на плаву»[91].

В подобном метафорическом образе (государство-корабль, правитель-кормчий) на поверхность выходят два главных эмоциональных мотива: опасность и надежда. И если для первого образа (государство-корабль) опасность, а также связанная с ней реальная угроза печального исхода низводят надежду до минимума, тем самым предельно сгущая темные краски в восприятии происходящего, то для второго (правитель-кормчий) надежда остается тем лучом света, который освещает сумрачное небо, нависшее над империей.

Но и эта надежда на капитана оказывается весьма призрачной. Кормчему, на которого все уповали, приходилось с трудом преодолевать выпавшие невзгоды, тем более что он был вправе рассчитывать только на Божественное провидение, не полагаясь ни на чью помощь в условиях всеобщего хаоса. В письме императору Мануилу II Кидонис яркими мазками изобразил эфемерность надежды, поскольку сам правитель оказался не в состоянии совладать с ситуацией: «Они [слухи] приносят сведения о шторме, который бушует вокруг тебя, о многих подводных камнях вокруг, о корабле, который со всех сторон бьют волны, о море, которое уже захлестывает тебя,

---

[88] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 329. 15—16.
[89] Ibid. Ep. 93. 17.
[90] Ibid. Ep. 323. 19.
[91] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 174.

о ночи, которая пугает тебя, о глубокой беспомощности пассажиров, и остается опасаться, что вы, преисполненные ужаса, останетесь зависимыми только от Бога, и поэтому ты выискиваешь Его, полностью потеряв веру в человеческую помощь»[92].

Но корабль в поздневизантийской эпистолографии — это не только образ государства (хотя в большинстве случаев данный топос употреблялся именно в этом контексте). Можно встретить сравнение корабля с «городом, сотрясаемым штормом»[93]. По сути, и государство, и город (как микрогосударство — полис) являлись составляющими одного синонимического ряда. В таком смысле город точно так же представлялся поздневизантийскому автору судном в бушующем море. Кидонис передавал бедственное состояние столицы, погрязшей во внутренних распрях, через использование морских метафор: «Город можно сравнить с кораблем, который тонет в шторм, ибо моряки погружены в споры, в то время как можно было бы им спастись, если бы все объединились, договорились и предприняли все необходимое»[94]. Морская буря ассоциируется с внутренними неурядицами, которые, подобно волнам, захлестывали город-корабль.

Для усиления эмоционально-пессимистичного эффекта авторы прибегали и к другим образам минорного оттенка, в частности к топосу зимы. Мануил II использовал метафору «двойная буря — времени года и судьбы»[95], подразумевая под временем года зимний период. Сочетание двух образов позволяло достичь максимального эмоционального эффекта при описании тех трудностей, которые ему удалось преодолеть. Положение человека, «который бросает вызов морской пучине в середине зимы»[96], казалось незавидным и внушало наихудшие опасения. Также и Кидонис видел в зимнем времени года, когда император покинул столицу, раздираемую внутренними страстями, ужасное предзнаменование[97].

---

[92] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 284. 4—12.
[93] Ibid. Ep. 98. 35.
[94] Ibid. Ep. 114. 26—28.
[95] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep.38. 29—30.
[96] Ibid. Ep. 3. 18—19.
[97] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 203. 21.

Но морские образы передавали не только состояние общества. К ним прибегали при характеристике личностных отношений, прежде всего дружеского расположения. И тогда тональность образа диаметрально менялась. Из морской лексики выбирались те метафоры, которые несли позитивный смысл. Главным становился образ гавани, служащей человеку убежищем от всех невзгод и морских опасностей. Дружба, по мнению Иоанна Евгеника, являлась той гаванью, где человек мог обрести спасение и покой[98]. Мануил II называл своего брата «гаванью для друзей (τοῖς φίλοις λιμήν)»[99]. Подобным же образом отзывался о достоинствах друга Кидонис: «ты для своих друзей словно пристань (ἀνθ᾽ ὅρμου) для вставших на зимовку»[100]. «Как моряки, прибывшие в гавань из далеких морей», так и друзья испытывали радость, возвращаясь из дальних путешествий к своим единомышленникам[101]. Стремление к другу помогало преодолеть все трудности морского плавания. Мануил призывал Кидониса отправиться к нему: «докажи то, что ты настоящий друг, тем, что по возможности быстро взойдешь на борт и предашь себя царству Посейдона... и со всей поспешностью отплывешь в нашу сторону»[102].

Но мотив гавани звучал в эпистолярных произведениях преимущественно в сочетании с мотивом дружбы. С корабля-государства, находящегося в бурном море, пристани уже не было видно: ее скрывали грозовые тучи. «Эсхатологический фатализм»[103] становился определяющим при обращении поздневизантийских писателей к морским образам. Не случайно из богатого арсенала риторических приемов они выбирали именно морские образы, поскольку те помогали проникнуться трагичностью происходящего

---

[98] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912. Τ. 1. Σ.198—199. № 24. 1—5.

[99] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 13. 13.

[100] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 216. 6—7.

[101] The Letters of Manuel II Palaeologus...Ep.13. 24.

[102] Ibid. Ep. 3. 41—43.

[103] Dieten J.-L. van. Politische Ideologie und Niedergang im Byzanz der Palaiologen // Zeitschrift für historische Forschung. 1978. Bd. 6, H. 1. S. 24.

в обществе. Частота употребления топосов, связанных с морской тематикой, свидетельствует о новой разработке этих античных образов. И если актуализация темы водной стихии и «корабля в бурном море» была сопряжена с переживаниями автора-ми действительности, то появление пейзажных зарисовок в духе античных образцов было связано в большей степени с гуманистическими тенденциями, наметившимися в поздневизантийской литературе.

Природа в византийском письме

Византийский эпистолярий крайне редко содержал развернутые пейзажные картины, поскольку назначение и жанровая специфика письма не предполагали особого внимания к природе[104]. Письмо служило прежде всего показателем риторического таланта автора и свидетельством его литературной зрелости. Для корреспондента важнее было передать не свое сиюминутное состояние или состояние окружающей действительности (что все-таки находило место в письме), а ощущение себя выше времени и места, удержать дистанцию по отношению к повседневности. Поэтому для эпистолярной традиции была характерна определенная абстрактность повествования, приближавшая письмо к классическому образцу, к трафарету.

Топос *locus amoenus* (приятное место) получил широкое распространение в византийской литературе[105]. Но ландшафтный экфрасис (ἔκφρασις — описание) обычно использовался в тесной связи с самим повествованием, являясь «декоративной вставкой, предназначенной украсить рассказ отступлением»[106]. Природа могла контрастировать с внутренними переживаниями автора или описываемой им ситуацией, но чаще она соответствовала общему

---

[104] См.: Kushch T. V. The natural world in late Byzantine epistolography // Proc. of the 21st Intern. Congr. of Byzantine Studies : Abstracts of Communications. L., 2006. Vol. 3. P. 103.

[105] Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur… S. 184.

[106] Полякова С. В. Из истории византийского романа : (опыт интерпретации «Повести об Исмине и Исминии» Евмафия Макремволита). М., 1979. С. 162.

настроению риторического сочинения. Описание природы позволяло автору более эффектно отразить положение общественных дел или более глубоко передать психологическое состояние человека[107]. Ассоциативность мышления византийцев вызывала к жизни устойчивые образы, несшие определенную смысловую нагрузку. Лексика, связанная с природой или временами года, широко употреблялась византийскими эпистолографами преимущественно в качестве метафоры, риторического оборота или общего места (τόπος κοινός)[108].

Безусловно, образы природы использовали и в прямом значении, однако не акцентируя на этом основного внимания, а чаще применяя в качестве фона, своеобразной декорации для основного повествования[109]. Крайне редко можно встретить в эпистолярном сочинении пространное описание природных явлений, еще реже природа выступает в качестве «главного героя» письма. Поэтому заслуживает особого внимания одно такое исключение, где природа вышла на передний план повествования.

---

[107] На материале Слова о полку Игореве было показано, как в древнерусской литературе описание природы лишь экранирует человеческие поступки, не являясь самостоятельным литературным пейзажем (Демин А. С. К вопросу о пейзаже в «Слово о полку Игореве» // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 143—147).

[108] Исследователи, которые обращали внимание на образы природы в византийской литературе, отмечали прежде всего их метафористичность. Описание природы помогало достичь более сильного риторического эффекта. Так, А. П. Каждан, анализируя связанную с растительным миром лексику в «Истории» Никиты Хониата, подчеркивал, что ее использование в прямом и иносказательном значениях подчинено общей трагической концепции писателя (Каждан А. Растительный мир в «Истории» Никиты Хониата // АДСВ. 1992. Вып. 26. С.103—112). Экфрасис определенного места, в частности Афона, также не всегда был обычным описанием природы, поскольку являлся «частью риторической антитезы» (см.: Красиков С. В. Описание Святой Горы у Никифора Григоры и ratio vivendi византийских интеллектуалов // АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 96; Beyer H.-V. Der «heilige Berg» in byzantinischen Literatur // JÖB. 1981. Bd. 30. S. 200).

[109] А. П. Каждан отмечал, что флора и фауна в византийской литературе в большей степени являлись античными реминисценциями, нежели живыми элементами реальной среды обитания. В качестве исключений он в том числе указывал на несколько писем Мануила II Палеолога (Kazhdan A. Environment // ODB. Vol. 3. P. 703).

Среди корреспонденции Мануила II Палеолога письмо № 45[110], адресованное Константину Иванку[111], выбивается из общего ряда. Прежде всего письмо превосходит своим размером (252 строки) все другие, что не было характерно для писательской манеры автора, который всегда тщательно заботился о соблюдении правила лаконичности послания. Кроме того, эпистола внутренне не едина, поскольку распадается на несколько вполне самостоятельных частей, разнящихся стилистически, функционально и даже эмоционально. Первая часть[112] представляет собой панегирик адресату и, в соответствии с правилами этого жанра, написана в мажорной, торжественной манере. Вторая же часть[113] представляет собой описание весны и пробуждения природы в это время года. По сути, данный фрагмент письма содержит весьма поэтичное и лиричное прославление весны. Сочетание в рамках одного письма двух совершенно разных тем делает его удивительно динамичным и возвышенным, с широкой амплитудой колебания эмоций.

Поводом к написанию этого письма-панегирика стало изящное и полное совершенства послание Иванка, побудившее Мануила II незамедлительно ответить ему. Сам Мануил II признавался, что он ставил себе целью написать обычное письмо, а не восхваление другу или весне: «Люди не должны думать, что мы пишем скорее работу в похвалу своему учителю и описываем весну, а не письмо, ибо не таким было мое намерение... но я увлекся и не смог быстро остановиться»[114]. Действительно, возникает ощущение, что

[110] По предположению Дж. Денниса, письмо относится к периоду 1404—1408 гг. (The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45).

[111] Благодаря этому письму мы располагаем некоторыми весьма отрывочными сведениями о Константине Иванке. Из письма известно, что он был талантливым ритором и писателем в Фессалонике. Мануил II Палеолог считал его своим учителем. Сохранились только монодия на Фессалонику и письмо Симону, проту Афона, которые принадлежали его перу. Вероятно, он занимал должность судьи в своем родном городе (см.: Dennis G. T. Introduction // The Letters of Manuel II Palaeologus... XLVI; PLP. № 7973).

[112] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 2—110.

[113] Ibid. Ep. 45. 161—208.

[114] Ibid. Ep. 45. 209—214.

автор увлекся любованием ликами весны и погрузился в сладостное созерцание природы. Перенесемся вслед за автором в «его» весну.

Исходным моментом, с которого начинаются последующие пейзажные зарисовки, является призыв Мануила II Палеолога к Иванку покинуть окрестности Фессалоники и устремиться к нему навстречу. Задача автора состояла в том, чтобы убедить друга отправиться в дорогу. Мануил словно приглашает адресата мысленно проделать вместе этот путь, чтобы убедить в безопасности и приятности предстоящего путешествия: «Как только ты покинешь город и отправишься по дороге, ведущей сюда, ты увидишь, как это приятно, едешь ли ты верхом или сходишь с коня и освежаешься в прохладном ручье, и когда спишь в тени шелестящей над тобой и шепчущей что-то приятное листвы, когда ее колышет ветер»[115]. Уже начало этой части письма воздействует на все чувства читателя. Мы не только мысленно отправляемся в путь, ведомые от ворот города по дороге вслед за автором, но почти физически переживаем это путешествие. Мы ощущаем вкус прохладной воды и движение коня под седлом, испытываем сладкую негу под защитой пышной кроны деревьев. Наш слух улавливает нежный шелест листвы и шум ручья. Подобные образы рождают даже у стороннего читателя непреодолимое желание пережить это состояние в реальности.

Не только безопасность путешествия («дорога свободна от разбойников»[116]) и спокойствие в городе («ты покинешь город в мире»[117]) располагают к путешествию, но и время года благоприятствует ему. Весна, по мнению автора, «лучшее из времен года, царица (τὴν ὥραν, τῶν ὡρῶν τὴν ἀμείνω, τὴν βασίλισσαν)»[118]. С любовью Мануил пускается в описание всех ее прелестей. Прежде всего она выигрывает в сравнении с другими временами года — жарким летом, холодной зимой и грязной осенью: «Она предоставит тебе реки и полноводные, которые пригодны для судоходства, и спокойные, которые можно пересечь на лошади, не переплывая;

[115] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 162—165.
[116] Ibid. Ep. 45. 174.
[117] Ibid. Ep. 45. 168.
[118] Ibid. Ep. 45. 175—176.

дороги без хлябей и облаков пыли, без холода, без опаляющей жары и скользкой грязи»[119]. Весна умеренна во всем, что, безусловно, создает преимущества для путешествия в этот сезон, так как, «будучи средним (временем года. — *Т. К.*), она свободна от всего, что может вызвать тревогу»[120].

Но весна прекрасна и в других своих проявлениях. Мануил II начинает перечисление достоинств весны с описания красот растительного мира. «И что ты думаешь, скажи мне, о большом разнообразии цветов, фиалок, лилий и роз, и многих других цветов, услаждающих обоняние благоуханием естественным и неповторимым?»[121]. Цветовое впечатление усиливает следующий пассаж: «нежная трава, сверкающая подобно изумрудам»[122].

Мир весной изобилует растительностью, которая не только доставляет удовольствие взору, поражая богатством красок и оттенков, но и изумляет своей щедростью, облегчая путнику тяготы путешествия («плоды, которые рано приносят растения... и съедобные коренья подарят тебе обед»[123]). Трава не только радует глаз, но дает пищу стадам и мягкую постель утомленным телам[124].

Однако природа у Мануила II не только роскошный растительный мир, это еще и богатая фауна. Водный мир представляет «рыба, обитающая в заводях ручьев и иногда выпрыгивающая на поверхность воды, чтобы поймать насекомое»[125]. Автор упоминает и разные виды птиц, пение которых услаждает слух и наполняет мир звуками («ласточки, соловьи, дрозды, сороки и многие другие, щебечущие повсюду»[126]). Заметим, что автор упоминает тех, кто населяет водное, земное и воздушное пространства, что еще раз подчеркивает целостность изображаемого пейзажа.

---

[119] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 177—180.
[120] Ibid. Ep. 45. 180.
[121] Ibid. Ep. 45. 181—183.
[122] Ibid. Ep. 45. 185.
[123] Ibid. Ep. 45. 206—208.
[124] Ibid. Ep. 45. 185—187.
[125] Ibid. Ep. 45. 193—195.
[126] Ibid. Ep. 45. 197—198.

Описание природы у Мануила II наполнено деталями и конкретными примерами. Они не просто отражают эмоции автора, но и вполне реальны и самодостаточны. Это свидетельствует о том, что автор отступает от традиции, и образы, представленные в письме, не являются привычными для риторических сочинений топосами.

Описание растительного и животного мира объединены в пейзажную зарисовку: «Равнина, расстилающаяся вдаль, питает стада животных, скачущих, бегающих, играющих друг с другом...»[127] Пейзаж динамичен благодаря описанию движения воды: «ручьи, родники, вода, бьющая ключом из скал, и прозрачный, шумный поток, кажущийся глубоким под сводом чистого неба»[128]. Автор охватывает взором воображаемое пространство как бы с разных точек: сверху (описывая поля), сбоку (рисуя равнину, уходящую вдаль), снизу (говоря о шелесте кроны над головой). В его описание включены и главные пространственные элементы: земля и небо. Есть и то, что соединяет эти плоскости: зеркало водоема, отражающее небо; лучи и высокие деревья, пронизывающие эти пространства («высокие деревья... отражающие жаркие лучи солнца своей густой листвой»[129]). Это создает цельную картину природы. Используя подобные приемы, автору удается изобразить природу как пейзаж, эмоционально воспринятый и художественно осмысленный.

Но природа в его письме — это не застывший пейзаж, а динамичные картины-образы, которые, дополняя друг друга, составляют эмоционально единое целое. Отметим, что автор использует еще один интересный прием. Каждая зарисовка, которая дополняет общую картину, скрывает в себе не менее двух средств воздействия: визуальное (рождая в нашем сознании зрительный образ) и звуковое (либо апеллирует к обонянию или осязанию). Это создает эффект импрессии и ощущение объемности пейзажа.

Очарование весны так велико, что автор делает ей настоящее признание в любви: «Царица времен года наполнит все твои чувства

---

[127] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 187—188.
[128] Ibid. Ep. 45. 191—192.
[129] Ibid. Ep. 45. 201—202.

целомудренным удовольствием; ее одну надо благословлять за все, что я описал; ее нужно глубоко любить и благодарить за множество ее прелестей. Она даст тебе величайшее наслаждение во время путешествия к нам и с легкостью укажет дорогу для возвращения домой»[130].

Знаменательно, что перу Мануила II принадлежит еще одно описание весны, составленное несколькими годами ранее. Во время путешествия в Западную Европу император остановился в Лувре (1402), где его внимание привлек королевский тканый занавес с изображением весны, который и описал Мануил с большим изяществом[131]. Процитируем фрагмент этого риторического этюда, чтобы показать стилистическое сходство двух образцов светской литературы:

> Весна! На это указывают цветы и нежно разлитый по ним прозрачный воздух. Листья приятно шелестят, и кажется, что трава как бы волнуется под влиянием дуновения ветра, который колышет ее дружественным прикосновением. Приятно смотреть! Реки уже вступают в берега; сильное течение их сдерживается, и то, что прежде исчезало в наводнении, появляется над водою и позволяет рукам ловить ее сокровища. <...> Куропатки радуются, получая обратно свою силу, утерянную от преобладания вредных свойств природы; солнечные лучи им эту силу восстанавливают и чрезмерным жаром не вредят. Поэтому они весело живут на полях и, приводя к пище своих птенцов, первые к ней прикасаются, указывая им этим на еду. Певчие птицы, сидя на деревьях, мало прикасаются к плодам; большая часть их времени уходит на пение. Я думаю, что их пение хочет объявить, что становится лучше, когда засияла царица времен года (выделено нами. — *Т. К.*), что вместо туч — ясное небо, вместо бури — тишина и, наконец, вместо горя — радости. Все оживляется, даже самые ничтожные

---

[130] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 2114—218.

[131] Manuelis Palaeologi Imago veris in aulaeo textili, operis Phtygii // PG. 156. Col. 577—580. Перевод выполнил А. А. Васильев (см.: Васильев А. А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога по Западной Европе // ЖМНП. 1912. Ч. 39. Июнь. С. 278—280). На этот «маленький шедевр» обратил внимание И. П. Медведев, отмечая ренессансные элементы в культуре поздней Византии (Медведев И. П. Ренессансные тенденции поздневизантийской культуры... С. 233—234). См. также перевод на английский язык и комментарий Дж. Дэвиса: Davis J. Manuel II Palaeologus' A Depiction of Spring in a Dyed, Woven Hanging // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 412—413.

творения: комары, пчелы, стрекозы, другие им подобные разнообразные твари. Одни из них — вылетевшие из ульев, другие — только что получившие жизнь благодаря температуре времени года, или, если ты хочешь, благодаря проникновению тепла в соответствующую ему влажность, — те и другие шумят вокруг человека, летают перед путником, и более музыкальные из них поют вместе с поющим где-то человеком. Некоторые из них состязаются друг с другом, другие сражаются, третьи садятся на цветы. Все приятно для взора. <...> Вообще, искусство ткани услаждает взор и доставляет зрителям удовольствие. Причиною этого является весна, которая уничтожает печаль и, если ты хочешь, доставляет веселье[132].

Мануил II не был одинок в признании своей любви к весне и пробуждающейся природе. Природную зарисовку можно встретить и у Димитрия Кидониса. В письме Радену он образно описал столицу весенней порой. Приведем фрагмент этого письма:

Ты должен торопиться, если не ради нас, то ради Великого города [Константинополя], чтобы увидеть его, как он уже отбрасывает зимнюю старость и дряхлость и словно начинает полностью обновляться; в это же время море, окружающее его, обретает спокойствие, иноземные моряки держат к нему курс в радостном расположении духа и наполняют его рынки тем, что произрастает на их родине. Пашни и сады начинают цвести, дабы со временем окутать тенью листвы узкие улочки так, что проходящие по ним станут думать, будто гуляют не по городу, а скорее по горам, о чем, как я сейчас вспоминаю, ты сам часто говорил, когда мы под сенью деревьев проезжали верхом через город[133].

Спорным представляется мнение Дж. Дэвиса, считавшего, что образ весны использован Мануилом II как клише, поскольку «писатель обречен повторять одни и те же образы возрождения и молодости, если выбирает их в качестве объекта своего описания»[134]. По мнению этого исследователя, «если экфрасис весны и обнаруживает зачатки ренессансного самосознания, то они очень туманны»[135]. На наш взгляд, столь пристальное внимание к одной теме (тот же самый оборот «царица времен года»[136]) скорее свидетельствует

---

[132] Цит. по: Васильев А. А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога… С. 278—280.

[133] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 169. 7—15.

[134] Davis J. Manuel II Palaeologus’ A Depiction of Spring… P. 421.

[135] Ibid.

[136] Manuelis Palaeologi Imago veris... Col. 578.

об особом эстетическом вкусе и пристрастиях автора. Индивидуально окрашенное переживание весны и личное ощущение природы передают гуманистический взгляд автора на окружающий мир. Описания природы, созданные Мануилом II, созвучны зарисовкам с натуры, которые можно встретить в позднеантичном эпистолярии. В одном из любовных писем Аристенета (VI в.) приведено описание сада с подробным изложением деталей окружающей среды[137]. Возрождение интереса к теме природы было одним из проявлений гуманистических тенденций, составлявших основу палеологовского Ренессанса.

В описании удовольствия от созерцания красоты и гармонии природы в том духе, в котором оно запечатлелось в византийском эпистолярии, безусловно, слышны отголоски античных мотивов. С другой же стороны, христианскому сознанию также был присущ интерес к окружающему миру, его разнообразию и совершенству. Любование природой для христианина — это любование многообразием созданного Всевышним[138]. Средневековая картина мира представляла Вселенную как единое целое, как «великую цепь бытия»[139], в которой нет пропусков и пробелов, все взаимодополняется и связано воедино. Идея, идущая от Августина, о мире как колоссальном произведении искусства питала средневековое представление о природе как гармоничном и совершенном творении Господа. Византийское сознание в равной степени вобрало в себя и христианское, и классическое видение мироустройства. Однако для интеллектуальной мысли поздневизантийского времени предпочтительней оказалось античное представление о природе как самодостаточном и самоценном явлении, каждая из ипостасей которого достойна восхищения.

Безусловно, включение в ткань письма фрагмента с описанием ландшафта в весеннее время года имело определенную цель.

---

[137] См.: Аристенет. Любовные письма // Византийская любовная проза / пер. с гр., вступ. ст. и примеч. С. В. Поляковой. Л., 1965. С. 9—10.

[138] См.: Coulton G.G. The Medieval Panorama.Cambridge, 1955. P. 78—79.

[139] Lovejoy A. O. The Great Chain of Being : a Study of the History of an Idea. N. Y., 1936. P.70—71.

Этот фрагмент выполнял не столько риторическую, сколько эмоционально-побудительную задачу, ибо передавал прежде всего настроение пишущего и его желание любыми (в данном случае литературными) способами вдохновить друга на путешествие. Но, читая письмо, понимаешь, что автор увлекся (или сделал вид, что увлекся) и, очарованный создаваемыми образами и пейзажами, вышел за пределы, установленные законами жанра. И хотя Мануил признает, что «слишком затянул письмо»[140], это его ни в коей мере не смущает. Пейзаж стал для него «главным действующим лицом». Благодаря такому откровению мы можем вслед за автором насладиться образами весны, увиденной его глазами, оценить глубину эмоционального мира византийца. Кроме того, живое, наполненное деталями описание (точнее, переживание) природы помогает ощутить пульс гуманистической мысли поздневизантийского времени.

Красота города: взгляд гуманиста

Красота (καλός) — одна из ключевых категорий, занимавших на шкале ценностей византийцев особое место, являясь не только эстетическим, но и нравственным понятием. Καλός означала прежде всего внешнюю красоту и привлекательность, а кроме того, и нравственное совершенство, благородство, абсолютную красоту. Поэтому красота являлось одним из основополагающих понятий античного идеала — καλοκἀγαθία.

Византийские авторы сочинений во всех литературных жанрах, а в особенности в риторических произведениях, широко использовали топос красоты, относя ее как к физическому, так и к духовному, нравственному совершенству описываемого объекта. Мы же обратимся к употреблению этого топоса поздневизантийскими авторами применительно к изображению города и городского пространства.

Город (ἡ πόλις) в сознании византийцев — понятие особое. С античных времен это понятие включало в себя не только

[140] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 45. 233.

пространственные характеристики — стены и здания, улицы и площади, крепостные стены и башни, но и гражданскую общину, т. е. самих жителей полиса, их политическую организацию, управление, духовную жизнь. Соответственно применение авторами сочинений топоса красоты в отношении города отражало его восприятие ими как гармоничного сочетания всех его составляющих.

Этот образ был унаследован византийской литературой от Античности, когда сложился весь семантический спектр употребления слова «красота» применительно к городу, когда был определен набор «городских красот», достойных восхищения и прославления. Именно в античной риторике оформились жанры, ориентированные на восхваление города: энкомий (ἐγκώμιον, хвалебная речь), экфрасис (ἔκφρασις, описание), синкрисис (σύγκρισις, сравнение), которые в дальнейшем получили развитие уже на византийской почве[141].

Топос городской красоты в сочинениях ранневизантийского периода иллюстрировал приверженность авторов античной идее полиса. В описаниях городских красот писатели следовали классическим канонам (Прокопий Кесарийский, Павел Силенциарий)[142]. Кризис городской жизни на излете ранневизантийского времени отчетливо отразился в исчезновении описаний города из литературы последующих столетий. Возрождение города и оживление городской экономики в средневизантийский период породили новый интерес к образу, но уже в поздний период византийской истории, когда влияние гуманизма стало особенно заметным, появилось несколько блестящих образцов похвальных речей, адресованных городам (*laudes urbium*)[143].

Как уже отмечалось, поздневизантийское время стало для жителей империи периодом тяжких испытаний. Византия вступила

---

[141] См.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur… Bd.1. S. 76.

[142] Fenster E. Laudes Constantinopolitanae. München, 1968. S. 61. (Miscellanea Byzantina Monacensia; **9**); Hunger H. Laudes Thessalonicenses // Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἑορταστικὸς Τόμος, 50 χρόνια 1939—1989. Θεσσαλονική, 1992. Σ. 99—113.

[143] См.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 1. S. 170—188.

в полосу глубокого кризиса, грозившего государству неминуемой гибелью. Внешняя угроза, внутренние раздоры, религиозные споры и экономический спад одновременно обрушились на империю. Страна тонула в распрях приверженцев различных политических и духовных течений, что усиливало в обществе фанатичный радикализм, утопическую экзальтацию и высокомерную заносчивость[144]. И хотя византийская имперская доктрина уже не отвечала новым реалиям[145], она по-прежнему доминировала, в том числе и в политической риторике. Положение дел в стране наложило отпечаток и на характер речей, посвященных восхвалению города, в которых внимание уделялось не только риторическим изыскам, но и средствам идейной пропаганды, отражавшим то или иное политическое или религиозное кредо[146].

В поздневизантийской литературе энкомиастическое описание города всецело подчинялось законам жанра. Образ города создавался в сочетании различных элементов: природно-географических (месторасположение, реки, холмы, наличие источников воды), топографических (планировка, улицы, площади), архитектурных (здания, колоннады, арки), интеллектуальных (творческая среда, научная работа) и духовных (церкви, святыни, религиозные традиции)[147]. Оценка этих компонентов обязательно давалась по шкале этико-эстетического восприятия.

Изображение города традиционно начиналось с упоминания о том, насколько удачно его месторасположение. Если речь шла о Константинополе, то авторы отмечали, что город лежит на перекрестке Европы и Азии и является всеобщим центром, куда сходятся все пути. Поскольку в жизни византийского города-эмпория море играло особую роль[148], авторы отмечали выгодное расположение гавани и порта, привлекающих к себе торговцев со всего

---

[144] См. об этом: Dölger F. Politische und geistige Strömungen... S. 18.

[145] См.: Beck H.-G. Reichsidee und nationale Politik im spätbyzantinischen Staat // BZ. 1960. Bd. 53, H. 1. S. 86.

[146] См.: Fenster E. Laudes Constantinopolitanae… S. 227.

[147] Ibid. S. 9—11.

[148] См.: Ahrweiler H. Byzance et la mer... P. 389.

света. Дворцы, здания, портики, статуи являлись непременным украшением городского пространства и заслуживали отдельного упоминания. Продолжая восхваление городских красот, византийские риторы особо отмечали христианскую добродетель, посвящение города небесному патрону, в честь которого возводились храмы и устраивались празднества, наличие великолепных церквей и святых мест. Красота интеллектуальной жизни, образованность, ценимая в городе, также заслуживали славословий писателя.

Так, в энкомии родному Трапезунду Виссарион восхищался городом[149], в котором почти все его составляющие оценены как прекрасные: местоположение, климат, река, здания, дворцы, церкви, достижения обитателей, политическая система[150]. Все части городского ландшафта вызывали у него эстетическое наслаждение. Следуя шаблону, автор последовательно перечислял каждый элемент, формировавший городское пространство, чтобы показать красоту города во всех деталях. Город так велик, что, по мнению Виссариона, не хватит слов для передачи общего впечатления, которое он производит. Безусловно, это сочинение составлено не просто под сильным влиянием традиции, но, как показал Г. Фатурос, порой дословно воспроизводит клише и обороты, позаимствованные из энкомия Ливания, посвященного его родному городу Антиохии[151]. И хотя энкомий Виссариона может служить прекрасной иллюстрацией византийской практики подражательности (μίμησις), он демонстрирует эстетическое восприятие городского пространства, которое действительно направлено на идеализацию объекта восхваления.

В подобном же ключе описал свой родной город Димитрий Кидонис в «Монодии на павших в Фессалонике»[152], отведя хвалебной

---

[149] См.: Lampsides U. Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt // BZ. 1935. Bd. 35. 15—17.

[150] Λαμψίδες Ὀ. Ὁ «εἰς Τραπεζοῦντα» Λόγος τοῦ Βησσαρίωνος // Αρχεῖον Πόντου. 1984. Τ. 39. Σ. 20—72.

[151] См.: Fatouros G. Bessarion und Libanios. Ein typischer Fall byzantinischer Mimesis // JÖB. 1999. Bd. 49. S. 198.

[152] Demetrii Cydonii occisorum Thessalonicae monodia // PG. Vol. 109. Col. 639—652.

части три главы этого произведения. Все компоненты городского пространства, достойные определения «красивый», упомянуты в соответствии с риторическим трафаретом. Кидонис так изобразил Фессалонику:

> [Кто мог судить] о местоположении [города], самом красивом и благоприятнейшем?.. Или о повсюду расположенных храмах и священных местах. <…> Или о рынках, встречающих [гостей] со всех [концов] земли и заставляющих собравшихся недоумевать, в каком месте они находятся. <…> Жизнь здесь была такая, словно соединила [в себе] все [лучшее]. Многие восхваляли другие гавани, но эта по достоинству превзошла все другие, будучи примером того, как одно и то же место является и городом, и гаванью; город не кончался на море, но там располагался другой город. И городские стены были более величественными, чем [стены] Вавилона. Гавань же, величайшая из всех, какие мы знаем, обеспечивает надежную защиту и, охватывая город словно руками, кажется, стремится с ним слиться[153].

Восхищаясь внешним обликом и организацией городского пространства, Кидонис особо отмечал добродетель, царившую в Фессалонике: «Город служил всем примером благочестия»[154]. Но город прекрасен также благодаря духовному климату и насыщенной интеллектуальной работе, царившим в его стенах:

> Кто видел где-нибудь более многочисленный и прекрасный хор риторов, философов и всех других, преуспевающих в науках? Именно здесь, в этом городе, составляют они то, что называют общей школой, и каждый из них здесь следует музам. <…> Во все времена город был Геликоном, а побеждающие в области муз процветали здесь во все века, словно Геба, как говорят поэты. Можно сказать, что находящийся здесь словно бы проводит время в Афинах с Демосфеном и Платоном[155].

Но не только Фессалоника вызывала у Кидониса чувство восторга и восхищения. В своих письмах он часто описывал красоту столицы, называя Константинополь самым красивым городом империи[156].

---

[153] Димитрий Кидонис. Монодия на павших в Фессалонике / пер. М. А. Поляковской // Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 271.

[154] Там же. С. 272.

[155] Там же. С. 272—273.

[156] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 169. 16.

Хотя византийские энкомии городу, составленные в последние столетия существования империи, следовали традиционному риторическому канону, тем не менее в них появилось и нечто отличавшее их от сочинений предыдущих эпох. Можно выделить два новых элемента, на которых стали акцентировать свое внимание риторы: красота церквей и красота и мощь фортификационных сооружений[157]. Появление этих новых моментов, вероятно, связано со средневековым характером городского центра, который заметно отличался от античного полиса. Описание религиозных святынь и восхищение совершенством церквей были подчинены идее христианского величия, поскольку Византия считала себя центром христианского мира. Восхищение крепостными стенами, в свою очередь, отражало осознание современниками значимости обороноспособности города в условиях постоянной военной угрозы. Описание на страницах риторических сочинений наряду с другими главными городскими сооружениями надежных крепостных стен как объекта восхищения, возможно, было единственным свидетельством того, что авторы допускали в свои сочинения окружавшие их реалии. И хотя со времен Ливания в структуру описания входило восхваление городской планировки с беглым упоминанием городских укреплений, именно в поздневизантийский период авторы стали уделять оборонительным сооружениям гораздо больше внимания. Риторическая схема, остававшаяся неизменной на протяжении столетий и соответствовавшая классической традиции, все же подверглась в этот период некоторой трансформации, пусть даже и незначительной.

В восхвалении Трапезунда Иоанна Евгеника также особо выделены эти два элемента: безопасность, которую обеспечивали городу надежные фортификационные укрепления, и христианский дух, запечатлевшийся в красоте христианских церквей[158]. В энко-

---

[157] См.: Saradi H. The Kallos of the Byzantine City: the Development of a Rhetorical Topos and Historical Reality // Gesta. 1995. Vol. 34, [№]1. P. 47.

[158] См.: Λαμψίδες ᾿Ο. ᾿Ιωάννου Εὐγενικοῦ ἔκφρασις Τραπεζοῦντος. Χρονολόγησις καὶ ἔκδοσις // Αρχεῖον Πόντου. 1955. Τ. 20. Σ. 26—29.

мии Коринфу того же автора отмечалось, что город благодаря красоте церквей отмечен христианской добродетелью, которая служила ему несомненным украшением. Кроме того, автор указывал, что прекраснейший и превосходящий другие города Трапезунд имел своим небесным патроном святого Павла[159]. Перу Иоанна Евгеника принадлежал еще один энкомий, посвященный неизвестному городу[160] и тоже отразивший изменения, внесенные поздневизантийской эпохой в традиционный топос красоты. Город, который радовал своих жителей «день ото дня своей красой»[161], обладал самым замечательным климатом; крепость в центре города служила украшением и защитой для обитателей, три церкви, находившиеся в крепости, делали ее еще более прекрасной; окружающая природа была очаровательной, виноградники и луга радовали глаз, а деревья были полны неописуемой красоты[162]. Упоминание оборонительных стен внушало читателю чувство защищенности и умиротворения, поскольку функция города — дарить мир и покой своим жителям. Тема христианского благочестия, которая звучала в этих восхвалениях, в свою очередь, накладывала на город печать благородства и добродетели, которые в византийской эстетике были синонимом нравственного совершенства.

Среди энкомиастов поздневизантийского времени, воспевавших красоту города, следует выделить Мануила Хрисолору, автора «Сравнения Древнего и Нового Рима» (Σύγκρισις τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Ῥώμης)[163]. Это произведение было создано в 1411 г. в форме

---

[159] Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ Ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις Κορίνθου // Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 1. Σ. 48.21—24.

[160] Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ Κώμης ἔκφρασις // Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 1. Σ. 49—55.

[161] Ibid. Σ. 49.3.

[162] Ibid. Σ. 54.14.

[163] См.: Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 24—53. Существуют переводы синкрисиса на ряд европейских языков: Grabler F. Zwei Briefe des Manuel Chrysoloras // Europa im XV. Jahrhundert von Byzantinern gesehen / hrsg. E. Ivanka. Graz ; Wien ; Köln, 1954. S. 109—147 (Byzantinische Geschichtsschreiber ; Bd. 2); Roma parte del cielo. «Confronto tra l'Antica e la Nuova Roma» di Manuele Crisolora / introd. E.V. Maltese, trad. e note di G.Cortassa. Torino, 2000. P. 59—98; Медведев И. П. Константинополь в сравнении с Римом: взгляд Мануила Хрисолоры // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С. 317—334.

письма Мануилу II Палеологу[164] и еще при жизни принесло славу его автору[165]. Сочинение включает в себя и описание местности в стиле экфрасиса, и восхваление городов в форме энкомия[166]. Жанровое разнообразие, которое демонстрировал не только Хрисолора, но и другие его современники, также может служить свидетельством активного освоения античного наследия.

Сравнение в высшей степени соответствует классическому канону, но в нем нашли отражение и гуманистические тенденции того времени, проявившиеся в том числе и в описании городских красот[167]. Остановимся более детально на этом ярком примере поздневизантийской риторики, чтобы показать эстетические пристрастия автора и выделить новые акценты в описание городских достопримечательностей.

Французский исследователь Ж. Дагрон назвал Хрисолору «человеком о двух лицах — еще современник и уже наследник цивилизации, которую он воплощает»[168]. Если западным гуманистам, которым Хрисолора преподавал греческие науки, действительно было известно его обличье «наследника цивилизации», то для византийских коллег он был прежде всего современником — равноправным участником кипевшей на родине интеллектуальной жизни и носителем классических традиций. Эта двойственность его натуры отразилась и в данном сочинении.

---

[164] Долгое время адресатом считался Иоанн VIII (Kioussopoulou A. La ville chez Manuel Chrysoloras: Σύγκρισις τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Ῥώμης // BS. 1998. T. 49, № 1. P. 71). В последних работах корреспондентом Мануила Хрисолоры называют Мануила II Палеолога (см.: Медведев И. П. Константинополь в сравнении с Римом... С. 316).

[165] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма // ВВ. 1959. Т. 15. С. 115; Homeyer H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstantinopel. Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus // Klio. 1980. Bd. 62, H. 2. S. 533.

[166] См.: Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur… S. 170—177.

[167] Dagron G. Manuel Chrysoloras: Constantinople ou Rome // BF. 1987. Bd. 12. P. 281; Homeyer H. Zur Synkrisis... S. 526; Kioussopoulou A. La ville chez Manuel Chrysoloras... P. 72.

[168] Dagron G. Manuel Chrysoloras: Constantinopel ou Rome... S. 281.

Мануил Хрисолора использовал традиционный для византийской литературы прием сопоставления[169]. Любой византийский автор, прибегая к жанру сравнения великих городов — Рима и Константинополя, пропагандировал имперскую идею и подчеркивал генетическую связь между двумя столицами. В представлениях византийцев об ойкумене вечный Рим всегда занимал особое место: в нем отражалась концепция могущества империи и величия императорской власти. Наследником древнего Рима после его падения стал Константинополь, именовавшийся Вторым, или Новым, Римом.

Сравнивать два эти города, с точки зрения автора, можно, поскольку «мы сравниваем один город как бы с самим собой»[170]. Хрисолора провел параллель между Римом и Константинополем, пытаясь обосновать необходимость сближения Запада и Востока для спасения Византийской империи. Ставя своей целью привлечь внимание императора к судьбе столицы и государства в целом, Хрисолора создал образы двух знаменитейших городов мира. Оба олицетворяли собой имперскую идею, служа живым воплощением универсалистской теории. Оба, являясь политическими символами своего времени, имели общий источник и сохранили былую славу. Возможность сравнения двух городов, по мнению Мануила, проистекала из их генетического родства. Не только потому, что Константинополь являлся Вторым Римом, но и потому, что первый Рим был отстроен и украшен греками. Общность происхождения, истории, искусства и сознания играли в аргументации Хрисолоры важную роль[171]. Близость двух великих городов определила и схожесть риторического рисунка, с помощью которого изображалась их красота, и последовательность описательных приемов, использованных автором.

---

[169] См.: Fenster E. Laudes Constantinopolitanae. München, 1968. S. 22 (Miscellanea Byzantina Monacensia ; **9**); Rhoby A. Stadtlob und Stadtkritik in der byzantinischen Literatur // Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag / hrsg. von M. Hinterberger und E. Schiffer. Berlin ; N. Y., 2007. S. 294. (Byzantinisches Archiv ; Bd. 20).

[170] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 37 C.

[171] Dagron G. Manuel Chrysoloras… P. 288.

При восхвалении этих городов Хрисолора широко использовал топос красоты, расставляя, однако, разные акценты в характеристике городских достопримечательностей двух политических центров. Первый Рим прекрасен своей античной историей. Образ древнего Рима связан, на взгляд автора, прежде всего с великим и победоносным прошлым. Город в представлении Хрисолоры — это грандиозная декорация, на фоне которой проходили исторические события. Хрисолора вслед за Аристидом, «Речь Риму» которого цитирует, восклицал: «Всё здесь — сила»[172]. Триумфальные арки, возведенные в память о победных походах, барельефы, украшенные сценами баталий и торжественных процессий, памятники известным людям, которые удостоены этой чести за заслуги перед обществом[173], являлись живыми свидетельствами былого могущества империи. Благодаря им, писал Хрисолора, «история станет зримым настоящим»[174]. Оживляя историю, автор воссоздал картину Вечного города.

Рим в представлении Мануила Хрисолоры представлял собой комплекс монументов и архитектурных сооружений, хранивших коллективную память. Этот город изобиловал древними постройками, колоннами и статуями, всем тем, что напоминало о его былом могуществе и процветании. Триумфальные арки, возведенные в память о победных походах, барельефы, украшенные сценами баталий и торжественных процессий, памятники известным людям, которые удостоены этой чести за заслуги перед обществом[175], стали свидетельствами былого могущества империи.

Мануил уделил внимание при описании Рима прежде всего внешней форме. Автор дал стратификацию города, указывая на крепостные стены, гавани, акведуки, дворцы, залы заседаний, рыночные площади, бани, театры, храмы. Образ города и само его устройство выглядело, с точки зрения интеллектуала, идеально, и риторические восклицания автора подчеркивали эту соразмерность

---

[172] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 29 C.
[173] Ibid. Col. 28 B.
[174] Ibid. Col. 28 D.
[175] Ibid. Col. 28 B.

и совершенство: «А венок городских стен! А устройство всего города, и бурлящая река, прелесть округи, бывших предместий с их виллами!»[176].

Образ Рима формировали и великие правители-триумфаторы, стяжавшие славу своими победами: Юлий Цезарь, Тит Ливий, Веспасиан, которым посвящены надписи («победитель в тяжелой битве», «спаситель отечества», «уничтоживший варваров»[177]), неотделимы от истории города. Образ Рима дополняли удивительные творения древних зодчих и скульпторов (Фидия, Лисиппа, Праксителя)[178]. Лицо города — это и ожившие в мраморе мифологические герои (Пелоп, Тантал, Амфион), статуи которых украшали улицы[179]. Образ города запечатлел историю[180], и поэтому Рим, подобно нарративному источнику, мог рассказать о своем прошлом.

Восхищение древним Римом имело антикварный, точнее, даже археологический оттенок. Византиец рассматривал Рим как город-музей, вглядываясь в его памятники и изучая выставленные на всеобщее обозрение экспонаты[181]. Сознание и фантазия автора помогали ему увидеть за грудами камней былое величие, по фрагментам восстановить целое. Как истинный гуманист Хрисолора бродил по городским руинам, ища с грустными мыслями древний Рим в Риме его времени[182]. Хрисолору восхищал тот факт, что многое в Риме напоминало о его греческом происхождении: надписи на греческом, произведения искусств, созданные греками или привезенные из Греции. Как говорил сам автор, только по развалинам и мусору можно догадаться, каким Рим был некогда, и увидеть прежнее совершенство города[183].

Но время не пощадило прошлое: большая часть памятников разрушена. Великий город, как писал автор, постигла печальная

---

[176] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 29 B.
[177] Ibid. Col. 29 A.
[178] Ibid. Col. 29 A.
[179] Ibid. Col. 29 B.
[180] Kioussopoulou A. La ville chez Manuel Chrysoloras… P. 77.
[181] Ibid. P. 73.
[182] Fenster E. Laudes Constantinopolitanae... S. 237.
[183] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 25 C.

судьба: «Рим стал во всем старым и хилым», «Старое должно служить новому в качестве каменоломни»[184]. Хрисолора вслед за стоиками сравнил город со Вселенной, которая сама себя поглощает.

Преимущество средневекового Рима заключалось в его христианском обличии. Современный Хрисолоре Рим, унаследовавший от прошлого славу, облагорожен христианским благочестием и любовью Бога. Он стал «реликварием и сокровищницей святых», «частью небес»[185] благодаря множеству церквей, памятных мест и святых мощей. Главная святыня Рима — останки апостолов Петра и Павла, и «весь мир совершает паломничество к ним»[186]. «Здесь, где почитание ложных богов и заблуждений было таким сильным, как показывают идолы и храмы, здесь, откуда расходились по всему миру декреты против христиан, откуда посылались их гонители»[187], ныне весь мир поклоняется христианским святыням. При описании современного города внешний образ теперь не имеет никакого значения. Став христианским, он превратился в центр притяжения народов, объединив мир истинной верой[188]. Если образ древнего Рима прекрасен материальным обличьем, то современный Хрисолоре город наполнен религиозным духом.

Новый Рим (Константинополь) стал прекрасным продолжением своего предшественника: «древность получила новый образ»[189]. Описание Константинополя автор начал с утверждения его превосходства перед Римом: соперничая с древней столицей, новый Рим был построен более величественным и более красивым, чем древний. Константинополь получил свою красоту от Рима, как если это были свет от огня или лучи от солнца. Согласно Хрисолоре, Константинополь так же похож на Рим, как дочь похожа на мать. «Наш город имел этот образец перед глазами и строился по этому перво-

---

[184] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 25 C.

[185] Ibid. Col. 29 D.

[186] Ibid. Col. 32 A.

[187] Ibid. Col. 32 B.

[188] Хрисолора принял католичество, что объясняет его оценку Рима как центра христианского мира.

[189] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 37 C.

образу»[190]; «красота Рима умножается нашим городом», — констатировал автор[191]. Константинополь подобен первообразу в своих основных характеристиках — он повторяет древний Рим. Византийская столица, точно так же как и Рим, возводилась силами двух народов — греков и латинян.

Хрисолора следовал традиционной риторической схеме энкомия: он последовательно восхвалял местоположение, гавань, крепкие стены, башни, городские ворота, акведуки, дворцы и здания, произведения искусств. Все искусство градостроителей, зодчих и инженеров было использовано, чтобы украсить город. Город был защищен от внешнего мира крепкими стенами и башнями, от солнца и грязи — крытыми галереями, от опасностей — Божественным покровительством.

Преимущество второго Рима, по мнению Хрисолоры, кроется в удачном выборе места, «отвечавшем чувству прекрасного»[192]. Город расположен на двух материках, соединяя Европу и Азию, северные и южные моря. Говоря о местоположении Константинополя, автор подчеркивал: «Он объединяет вселенную и живущие в ней народы наподобие некоей общей скрепы и в то же время отгораживает их друг от друга. Это не только полезно и прекрасно, но и выглядит по-царски»[193]. Крепостные стены, обрамляющие город, обеспечивали жителям безопасность, являясь надежной защитой от грозного врага. Описанию фортификационных сооружений автор посвятил целый пассаж, стремясь показать величие города:

> И я не знаю, уступает ли действительно в чем-то могущественным вавилонянам венец и кольцо городских стен, толщина, размер и высота башен на них, каждая из которых могла бы вызвать восхищение у зрителей. Достойны восхищения величина, объемы и искусное сооружение лестниц, ведущих наверх на стены; городские врата и великолепие башен над ними; наружный крепостной вал перед стеной, который мог бы предоставить

[190] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 37 C.
[191] Ibid. Col. 40 A.
[192] Ibid. Col. 41 B.
[193] Ibid. Col. 40 A.

> какому-нибудь городу достаточную защиту; сооружение рвов, их ширина и глубина, изобилие воды в них. <…> Да и то, что находилось внутри города, было достойно стен[194].

Столь детальное описание крепостных стен было призвано подчеркнуть безопасность, которую обеспечивал город своим жителям.

Обращаясь в своем описании к внутреннему пространству города, Хрисолора использовал распространенный в риторической практике прием подробного перечисления тех вещей, о которых он считал ненужным говорить в силу их очевидности, и указал на городские объекты, которые *a priori* заслуживали восхищения: «Я оставляю без внимания крытые и огороженные галереи, некогда проложенные через весь город с тем, чтобы было можно пройти его весь, не боясь грязи и солнечных лучей. Оставляю без внимания и монолитные колонны, каждая из которых могла бы быть башней или крепостью. Опускаю портики, стелы, пирамиды. Обхожу молчанием расположенные в разных частях города императорские дворцы, их многочисленность, величие, красоту, а также театры, претории, палестры, гимнасии, ипподромы»[195]. Этот прием позволил автору как бы между прочим перечислить все достойные внимания городские достопримечательности. Однако среди всех строений столицы топос красоты использован только для императорских дворцов. Древних объектов искусства в Константинополе меньше, чем в Риме, но автор энкомия был убежден, что они прекраснее и более впечатляющи, чем те, которые можно видеть в Риме.

Не только городское пространство отличалось соразмерностью и величественностью. Отдаленные пригороды в равной степени могли соперничать с городом по красоте: «Что сказать о предместьях, по своим размерам столь протяженным, что потребуется немало дней, чтобы их обойти, а по своей красоте, удобствам и устройству соперничающих с любым видом подобных сооружений в городе?»[196].

---

[194] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 40 BC.
[195] Ibid. Col. 41 D.
[196] Ibid. Col. 44 B.

Но главное, что, согласно Хрисолоре, отличало новую столицу ойкумены, — это христианский дух, запечатленный в образе этого города. Интересно заметить, что в этом тексте, наполненном антикварным духом Ренессанса, описание церквей занимало центральное место. Константинополь мог гордиться изобилием святых мест и христианских храмов, богатыми мозаиками и памятными местами. Все в городе напоминало о торжестве православия и величии христианских правителей. Здесь находилась гробница основателя и покровителя города Константина Великого. Завершал же Хрисолора описание Константинополя похвалой великой церкви. В соответствии с правилами похвальных речей, Святая София была названа самой большой и самой красивой церковью в мире: «Никогда не было создано и, пока существуют люди, не будет создано чего-либо равного ей»[197]. Впечатлял ее размер, богатство и внутренний декор: «Ворота, вход, пол, крыльцо, красота места у дверей, колонны, мозаики, мраморное одеяние стен, стекло и бронза, свинец и железо, золото и сапфиры, стеклянные камешки в мозаиках»[198].

Автор трактата, превращая свои утверждения в форму риторических вопросов, подчеркивал невозможность описать словами всю красоту Святой Софии:

> Возвышенность и величие какой речи сравнится с возвышенностью и величием того храма? Какая красота речи — с его красотой и какое достоинство — с его достоинством? Какая простота — с его простотой? Какое словесное мастерство и разнообразие сравнится с его разнообразием? Какая точность смысла слов — с основательностью и превосходными свойствами его материалов? Какая структура речи — с гармоничностью его структуры? Ведь даже взяв какую-то одну его деталь или частицу (пусть самую малую), мы, пожалуй, не сможем достойно описать ее[199].

Среди многочисленных элементов Святой Софии, достойных восхищения и прославления, автор особенно выделил ее гармонию (ἁρμονία). Но как истинный гуманист Хрисолора передавал

[197] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 48 CD.
[198] Ibid. Col. 49 AB.
[199] Ibid. Col. 49 A.

не только свое эстетическое наслаждение от образа храма, но и восторгался человеческим гением, создавшим это произведение искусств: «Мы должны восхищаться не только огромными размерами и искусной конструкцией, но также мужами, которые без образца составили план такого великого творения, продумали его, верили в его осуществление и воплотили его»[200].

В отличие от современного автору Рима, Константинополь выглядит в этом описании гармоничным. Все прекрасно: городской ландшафт, организация городского пространства, духовный климат. Но если напомнить, что «Сравнение» было написано в 1411 г., когда город, переживший уже не одну турецкую осаду, значительно сократился в своих размерах, когда обветшали многие общественные здания и пришли в упадок целые районы, то становится очевидным, что описание, составленное Хрисолорой, не соответствовало реалиям. Красота города — не более чем риторическая фигура, а все его произведение — великолепный образец риторически совершенного сочинения, написанного в гуманистическом порыве[201].

Описание византийской столицы не должно было оставить у читателя сомнения в том, что город прекрасен и величественен как своим внешним обликом, так и христианским духом. В этом сравнении Рима и Константинополя пальма первенства достается второму. Дочь (Константинополь), по мнению автора, несомненно превзошла в красоте мать[202]. Но Хрисолора обозначал Рим как отечество (ἡ πάτρις), уважал его так же, как и Константинополь, что было невозможно в Византии столетием ранее[203]. В этом отношении Мануил Хрисолора, человек гуманистического склада, был оригинален в своем произведении. Он истинный гуманист, который

---

[200] Manuelis Chrysolorae Epistolae... Col. 49 C.

[201] См.: Kushch T. V. The Beauty of the City in late Byzantine Rhetoric // Byzanz — Das Römerreich im Mittelalter. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Bd. 84, № 1. / hrsg. F. Daim, J. Drauschke. Mainz, 2010. T. 1 : Welt der Ideen, Welt der Dinge. P. 178.

[202] Ibid. Col. 37 D.

[203] См.: Fenster E. Laudes Constantinopolitanae... S. 238.

ищет и находит родство и близость древнего и нового Рима. Кроме того, автор говорит об естественном упадке центров великих империй, о чем обычно молчали византийские писатели. В XV в. взгляд интеллектуала не только воспринимал Константинополь как продолжение Вечного Рима, но и предвидел, исходя из прежнего опыта, печальную судьбу своей столицы. Однако сама имперская идея никогда не умирает, и Вечный город передает свою харизму преемнику.

Подводя итог, отметим, что поздневизантийский период был богат образцами риторических восхвалений городов, составленными в гуманистическом ключе. Авторы использовали многие клише из арсенала эпитетов, выработанных предшествующей риторической практикой составления похвальных речей. Энкомиасты уподобляли восхваляемый город Афинам, называли его «вторым Римом», именовали оком мира[204]. Повторение риторических приемов и клишированных фраз при характеристике города подчеркивало верность автора традиции, освященной временем. Среди риторических оборотов в рамках городского панегирика важная роль отводилась топосу красоты. К р а с о т а — ключевое понятие в конструировании образа города, главное мерило в оценке городских достоинств. С помощью многократного употребления риторических оборотов, включавших понятие καλός, авторы пытались сохранить визуальный образ идеального города[205], прославляемого византийской риторикой на протяжении столетий. Но все же они, демонстрируя незыблемость эстетических принципов, добавляли в этот образ новые краски и полутона. Однако, несмотря на имевшие место новации в создании образа города, литературная традиция и ностальгическая преданность городскому идеалу в последнее византийское столетие были в конфликте с реальностью. Воспевание городских красот в это время действительно было н е б о л е е ч е м р и т о р и ч е с к о й ф и г у р о й р е ч и, общим местом.

---

[204] См.: Rhoby A. Stadtlob und Stadtkritik in der byzantinischen Literatur... S. 288.

[205] См.: Saradi H. The Kallos of the Byzantine City… P. 49.

Смех в культуре интеллектуального общения

Смех не был чужд византийскому обществу, но изучением этого «несколько странного феномена человеческой культуры»[206] долгое время в византинистике незаслуженно пренебрегали. Риторический вопрос, заданный А. П. Кажданом («Смеялись ли византийцы?»), привлек внимание исследователей и к этой сфере человеческих эмоций. Одна из работ Я. Н. Любарского была посвящена иронии Михаила Пселла, автора, который сам себя считал «ироничным человеком»[207]. Обратимся и мы к одному из аспектов проблемы смеха в Византии — культуре интеллектуального смеха[208], в которой также отчетливо звучат гуманистические нотки.

Шутка, как, впрочем, и смех, всегда моментальна, сиюминутна, особенно если прозвучала только устно. Порой лишь письменные свидетельства того, над чем смеялись, иронизировали или шутили византийцы, позволяют понять смысл шутки или оценить степень иронии, прозвучавшей столетия назад. Поэтому обратимся к анализу иронии и шутки, запечатленных в поздневизантийском письме.

Основным источником нам послужит корреспонденция византийского императора Мануила II Палеолога. Речь пойдет о «философе на троне», которому не было чуждо чувство юмора, понятное и близкое образованным людям, входившим в круг его адресатов. Шутка и ирония, звучавшие из уст Мануила II, отражали взгляд на жизнь византийского интеллектуала, в силу чего анализ этого аспекта его корреспонденции позволит сделать определенные выводы об эмоциональном мире интеллектуальной элиты в целом.

---

[206] К сожалению, как заметил А. П. Каждан, в византинистике тема смеха и гротеска пока не получила должного развития (Каждан А. П. Смеялись ли византийцы? (Homo Byzantinus ludens) // Другие Средние века : к 75-летию А. Я. Гуревича. М. ; СПб., 2000. С. 185.

[207] Ljubarskij Ja. The Byzantine Irony — the Case of Michael Psellos // Βυζαντίο κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νικου Οικονομίδη. Αθήνα, 2003. P. 360.

[208] Кущ Т. В. Ирония и шутка в византийском эпистолярии // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 8. Симферополь, 2007. С. 469.

Ранее уже говорилось о специфике эпистолярных сочинений того времени, в которых присутствовали и трафаретность высказываний, и риторическая напыщенность повествования. Тем не менее в византийском письме всегда находилось место иронии и шутке, высказанным либо в откровенной, либо в заретушированной риторическим обрамлением форме.

Любые попытки проникнуть по ту сторону шутки могут быть чреваты неправильным истолкованием или даже непониманием иной культуры смеха. Ощутить иронию или обнаружить и оценить шутку, произнесенную много веков тому назад, довольно сложно для современного исследователя. Порой трудно различить, где автор смеется, а где остается серьезным. Ведь, перефразируя Мануила II, только «кончиками пальцев» мы можем почувствовать изящество византийской шутки[209]. Однако исследователю все же необходимо попытаться понять природу смеха людей того времени, поскольку в противном случае целый пласт изучаемой им иной культуры останется для него непроницаемым, а его представления об этой культуре неизбежно окажутся односторонними.

Шутка всегда нацелена на то, чтобы вызвать смех. Но смех смеху рознь. Он может быть откровенным, безудержным или же, наоборот, сдержанным, сведенным к усмешке. Смех рождается ситуативно (нелепостью поведения), порой вызывается намеренно (остротой, анекдотом, забавной историей). Шутка, идущая рука об руку со смехом, точно так же может быть примитивной или утонченной, грубой или доброжелательной. Конечно, шутка, звучавшая в кругу рафинированного ученого сообщества, отличалась от той, что вызывала смех в толпе на рыночной площади. Но целью шутки, как и иронии, всегда остается желание изобличить, высмеять или же, наоборот, развеселить, позабавить, вызвать позитивные эмоции. Какую функцию из этого арсенала смеха выбирает человек, многое говорит о нем самом, его среде, но также свидетельствует о смеховых традициях и культуре данного общества.

---

[209] Фраза Мануила касалась искусства красноречия: «кончиками пальцев мы познаем изящество красноречия (δακτύλοις γεγευμένοις τῶν λόγων)» (The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 14. 8).

Безусловно, Мануила II Палеолога можно отнести к той категории людей, кто ценил хорошую шутку, мог сам пошутить и любил посмеяться. Шутка, по его мнению, обладает удивительной силой. Смех и юмор позволяют порой быстрее добиться желаемого результата, ведь, «шутя, ты сможешь легче достичь своих целей, чем те, кто пытается это сделать оставаясь серьезным»[210]. Чувство юмора помогает человеку также справиться с невзгодами, вселяет в него оптимизм, демонстрирует его жизнелюбие. Характеризуя своего друга Димитрия Хрисолору, Мануил II в письме к нему замечает: «Хотя ты серьезен в своих письмах, ты полон юмора — да и как иначе — и привычно смеешься в лицо трудностям, что, конечно, выдает твой жизнерадостный нрав»[211].

Юмор, вкрапленный в ткань письма, доставлял удовольствие читателю, действовал как живительное средство, способное доставить положительные эмоции или утолить печаль. Мануил II благодарил своего адресата за остроумное письмо, которое смогло отвлечь императора от насущных проблем: «Твое письмо было исполнено остроумия и содержало удачные шутки. Слушая его, мы легко смогли отвлечься от серьезных забот, которые возлагает на нас нынешнее положение дел, и повеселиться»[212].

Искрометный юмор или оригинальная шутка придавали эпистолярному общению тот уровень эмоциональности, который присущ доверительным отношениям. Мануил II любил, как сам признавался, добавлять в свои письма «немного юмора», особенно если его корреспондент тоже не был обделен этим чувством и любил посмеяться. Он старался развеселить друга, когда письмо «наполнял обычными шутками»[213]. Но юмор автора, запечатленный в корреспонденции, был довольно разнообразен. В арсенале Мануила II была и милая шутка, и безобидная насмешка, и хлесткая ирония.

Как человек, обладавший чувством юмора, Мануил II не был чужд самоиронии. Он не боялся того, что адресат, которому он пере-

[210] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 2. 2—3.
[211] Ibid. Ep. 50. 34—36.
[212] Ibid. Ep. 2. 5—8.
[213] Ibid. Ep. 15. 33.

дал для критики написанный им диалог, сочтет, что автору «просто не хватает ума произвести на свет хорошее сочинение»[214]. Оценивая собственные письма, он называл их «творением неумелой руки и еще более неумелого языка»[215] . Мануил II готов был «доносить на себя» своему учителю Димитрию Кидонису, раскаиваясь, что не передал сочинение на суд того, кто в нем самом «посеял семена любви к литературе, поливал их и проращивал»[216]. Он даже призывал учителя, если его «работа годится лишь на растопку», поступить с ней именно так[217]. Хотя этот призыв предать огню литературное творение, заслужившее низкую оценку, являлся скорее литературным штампом, нежели шутливым оборотом, тем не менее, повторенный неоднократно в определенном контексте, он начинал звучать с определенной долей иронии. Способность посмеяться над собой, готовность иронизировать по поводу собственных недостатков показывают, что автору была свойственна самокритичность. Однако самоирония Мануила II касалась преимущественно его литературных способностей, ведь письмо было способом демонстрации риторической и образовательной подготовки автора, в которой, надо отметить, Мануил II весьма преуспел. Такое литературное «самоуничижение» можно отчасти объяснить стремлением автора получить опровержение со стороны адресата, которое, безусловно, не заставляло себя ждать. Однако важно, что Мануил II допускал возможность иронии по отношению к себе и предполагал, что его самокритика вызовет улыбку у корреспондента.

Мануил II позволял себе иронизировать и по поводу адресата. Объектом насмешки могли быть стиль или риторические приемы, употребленные корреспондентом в переписке. Процитировав неудачный, с его точки зрения, пассаж из письма друга: «Я сижу здесь, излучая спокойствие, и прыгаю с печальным видом», Мануил попросил пояснить, что означали такие прыжки в тот момент, когда

---

[214] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 62. 14.
[215] Ibid. Ep. 41. 37—38.
[216] Ibid. Ep. 11. 27—28.
[217] Ibid. Ep. 11. 26.

автор сидел на месте[218]. Доводя до абсурда свои рассуждения по поводу этого риторического оборота, Мануил в игривой форме задается вопросом: «Но как, сидя на месте, ты совершал прыжки и на какие расстояния, вот что я хотел бы узнать»[219]. Такая дружеская ирония, переходящая в добрую шутку, была присуща эпистолярному общению Мануила.

Однако его ирония не всегда была столь безобидна и добродушна. Зачастую в ироничных замечаниях преобладал язвительный тон, особенно когда речь в письмах заходила о третьих лицах. В ироничной форме, лишенной и тени добродушия, Мануил II изображал свое окружение. Критикуя придворных, лесть которых не знала меры, он заметил *cum grano salis*[220], что «их голоса слаще меда, потому что они постоянно балуют себя им или злоупотребляют фигами Лесбоса»[221]. Изобличая лицемерие и фальшь своей свиты, Мануил передавал их слова с едким комментарием. «Мы обижены, — закричали бы они, — император несправедлив к нам, нам не придают значения, он очень быстро позабыл нас, хотя давал понять, что считает нас добрыми друзьями, когда был с нами дома»[222]. Цитируя в язвительной форме оскорбленные голоса приближенных, он стремился показать истинную цену этой ложной дружбы. «Такое зло часто среди нас ныне и приносит величайший вред»[223], — философски замечал Мануил.

С большей долей сарказма он говорил о недругах империи. В сатиричной форме Мануил изображал жителей Малой Азии, сравнивая их с собаками, которые, «когда испуганы, поворачиваются и убегают, но продолжают лаять в попытке напугать преследователей»[224]. В одном из писем содержатся резкие высказывания о ту-

---

[218] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 9. 22.

[219] Ibid. Ep. 9. 24—25.

[220] Буквально «с крупинкой соли»; остроумно, с иронией.

[221] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 5. 18—20. Образ взят из классического семиотического ряда (см.: Гомер. Илиада. 1, 249).

[222] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 17. 12—14.

[223] Ibid. Ep. 17. 15.

[224] Ibid. Ep. 18. 17—19.

рецком султане Баязиде I, в ставке которого император находился в период малоазийского похода. Как пир во время чумы воспринимает Мануил приглашение на обед, на котором Баязид «снова хочет выпить несколько бокалов перед обедом и заставить нас наполнить себя вином из его обширной коллекции золотых чаш и кубков»[225]. Но, как с грустью добавляет Мануил, «даже если бы я был в хорошем расположении духа, они наполнили бы меня печалью»[226]. Султан, вероятно, считал, что этим приглашением оказал императору высокую честь, что не могло укрыться от ироничного глаза Мануила. Конечно, сарказм в данном случае определен горечью положения, в котором сам он находился. Однако чувство юмора не изменило автору даже в столь критической ситуации.

В общении же с друзьями хлесткая ирония уступала место добродушной шутке. Мануил II считал уместным шутливый тон в общении друзей и близких. Однако автор никогда не позволял себе перейти грань, за которой шутка могла бы быть воспринята адресатом как грубость или оскорбление. Вплетая в повествование забавный рассказ или комичные рассуждения, автор стремился позабавить адресата и вызвать его улыбку. Отвечая учителю на его настойчивые требования писать как можно чаще, невзирая на обстоятельства, Мануил II, написал шутя: «Если бы ты когда-нибудь решил жениться, ты вынудил бы своего будущего тестя искать петлю, так как он пообещал бы тебе больше, чем имел, даже если бы он отдал тебе все, чем владел»[227]. Эта шутка, имеющая выраженный бытовой оттенок, намекала на коллизии в семейных отношениях, которые часто становились предметом насмешки в народной среде. И все же шутка чаще носила более утонченную форму. Сожалея о том, что не смог принять участие в литературном состязании из-за нехватки времени, Мануил сетовал на это, как и на то, «что не может летать»[228].

---

[225] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 16. 99—101.
[226] Ibid. Ep. 16. 102—103.
[227] Ibid. Ep. 36. 9—11.
[228] Ibid. Ep. 39. 9—10.

Шутка у Мануила II порой являлась античной парафразой. Упоминание об античном образе или герое — удобный способ спрятать шутку за одежды классического покроя, следуя законам эпистолярного жанра. Наверное, в этом приеме ярче всего проявляется рафинированность, интеллектуальность эпистолярного смеха, так как оценить такую шутку был способен лишь читатель, посвященный в тонкости стиля. Мануил использовал античные пословицы, имевшие ироничный контекст: «искать волчьи крылья», «найти белого эфиопа»[229]. Говоря о доле императора, Мануил сравнивал себя с Александром Македонским, который, делая добро, слышал о себе, что он болен[230]. В описание своей занятости Мануил вводит для большей иллюстративности образ героя древней притчи старика Антиоха, «так любившего поспать, что он падал спящим с лошади и был готов все отдать за сон»[231]. Этот любитель сна напоминал автору его самого, лишенного во дворце покоя. Максимальный эффект достигался подробным изображением комичных поступков Антиоха: «Когда суматоха у дверей отвлекает его от храпа, он проклинает шумящих, напяливает пастушескую шапку, вставляет пальцы в уши, пристраивает голову в самый дальний угол и только тогда получает какое-то подобие отдыха»[232].

Остановимся подробнее на одной забавной истории, связанной с приключениями уже упоминавшейся выше рукописи Платона. Коллизии происшедшего остроумно описаны в корреспонденции Кидониса и Мануила II[233]. Кидонис, узнав о кодексе, который хранился в монастыре на Афоне, поспросил Мануила помочь заполучить заветный манускрипт. Мануил сумел приобрести рукопись, хотя ему пришлось здорово поторговаться с монахами, которые, видя заинтересованность императора, сознательно завысили цену. Кидонис едко заметил императору: монахи «желают извлечь выго-

---

[229] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 18. 22—23.

[230] Ibid. Ep. 59. 2—3.

[231] Ibid. Ep. 44. 13—14

[232] Ibid. Ep. 44. 15—19.

[233] См.: Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 258; 276; 259; The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 3; 4.

ду из твоего интереса, хотя другим продали бы ее за бесценок»[234]. И все-таки рукопись попала в руки Мануила II, который тут же отправил ее в столицу в дар учителю. Но по пути в Константинополь из Фессалоники, где находился Мануил, на судно, везшее ценный подарок, напали пираты. Рукопись оказалась в воде и немного промокла. Поврежденный кодекс все же достиг получателя, для которого приключение книги стало поводом для литературной импровизации. Он сравнил судьбу рукописи с судьбой ее автора, Платона, который тоже стал жертвой пиратов во время возвращения с Сицилии: «С трудом сын Аристона избежал тюрьмы, оков и тиранов и был спасен для нас. Но он несет на себе явные следы долгого страдания, совершенно промокший, оборванный, внешность в беспорядке»[235]. Кидонис, как и Мануил II, которому была адресована эта литературная шутка, ценил остроумие и сам виртуозно использовал юмор в повествовании, сдабривая рассказ античными параллелями с выраженным комичным подтекстом.

Даже целое письмо автор мог превратить в шутку. Посвятить все послание описанию анекдотичной ситуации было для поздневизантийских эпистолографов распространенной практикой. Ярким примером может служить письмо Мануила II Димитрию Кидонису, где поводом к шутке послужили жалобы последнего на своего коня, который, будучи жив, вызывал раздражение хозяина беспокойным нравом. Однако после смерти животного изменилось и отношение к нему его владельца, горько сожалевшего об утрате. Мануил II замечает: «Когда он был жив, он вызывал у тебя скорбь, но, умерев, вызвал к себе привязанности больше, чем когда был жив»[236]. Мануил с иронией писал, что только после смерти коня Кидонис смог заметить его благородство. Мануил II отправил учителю в качестве подарка молодого скакуна, надеясь, что этого коня оценят еще при жизни. Свой дар Мануил сопроводил шутливым комментарием, что «из мертвого коня вышел живой в духе платоновского воскрешения»[237].

---

[234] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 276. 24—25.

[235] Ibid. Ep. 259. 4—6.

[236] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 26. 4.

[237] Ibid. 26. 8—9.

Как забавно бы это ни звучало, но конь стал поводом к созданию еще одной эпистолярной шутки, адресованной на сей раз Димитрию Хрисолоре[238]. Узнав о покупке другом коня, Мануил поинтересовался, зачем животное понадобилось его корреспонденту, ведь от него нет никакого прока в литературных занятиях: «Если ты продолжаешь заниматься с книгами… то как конь тебе поможет?»[239]. По замечанию Мануила, конь больше подходил воину, нежели философу. А если его друг решил попрощаться с науками и овладеть искусством верховой езды, которым ранее пренебрегал, то Мануил был готов подарить ему второго коня. Юмор, которым проникнуто все письмо, должен был развеселить получателя, что особо подчеркивал сам автор строк. Посвященные «вещам по сути низменным»[240], письма-шутки обрамлялись риторическими оборотами, насыщались иронией, превращаясь в маленькие риторические опусы.

Обмен шутливыми посланиями был своего рода формой интеллектуальной игры. Подобное письмо-шутку адресовал императору Димитрий Хрисолора, описывая «не без обычной игривости»[241] свои страдания от укуса комара: «Укус жалкого маленького насекомого стал темой твоих посланий скорее в шутку, нежели из гнева»[242]. По мнению Мануила, «краткий миг страдания вылился в превосходное произведение»[243]. Аналогичный образец послания, полного искрометного юмора, можно встретить и в корреспонденции другого современника Мануила II — Исидора Киевского. С напускной обидой в одном из писем Исидор жаловался на зайца, который постоянно поедал овощи в монастырском саду, за что предстал перед «судом». В шутливой форме автор описывал обвинения и решение «суда», которому предали животное[244]. С истинно ре-

---

[238] The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 43.
[239] Ibid. Ep. 43. 18—21.
[240] Ibid. Ep. 50. 6.
[241] Ibid. Ep. 50. 5.
[242] Ibid. Ep. 50. 7—8.
[243] Ibid. Ep. 50. 9—10.
[244] Ziegler A.W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe... Ep. 7.

нессансным изяществом поздневизантийский автор превращал описание незначительного повседневного события в маленький литературный шедевр. В духе европейских гуманистов византийские эпистолографы с помощью шутки демонстрировали свою способность увидеть в обыденной жизни привлекательные стороны и мастерски о том рассказать.

Приведенные примеры шутливых пассажей, комичных историй, ироничных высказываний могут показаться нашему современнику немного странными, более того, даже не всегда смешными. В этом, вероятно, обнаруживается иное, по сравнению с нынешним, качество смеха византийцев.

В корреспонденции Мануила II Палеолога не встретишь злой шутки или грубой насмешки. Позитивность авторских эмоций ярче всего проявлялась в шутливых репликах, игривом тоне, дружеской иронии. Ни воспитание, ни законы жанра не позволяли автору «кричать» о своем чувстве юмора, предпочитая демонстрировать его в мягкой форме. В письме среди риторической мишуры часто находилось место либо изящной шутке, либо тонкой иронии. Выражение эмоций ограничивалось нормами той среды, к которой принадлежал Мануил II. Авторский смех звучал приглушенно, не нарушая общей тональности интеллектуального общения. Мануилу II как эпистолографу оказалась бы скорее по нраву сдержанная улыбка чеширского кота, нежели безудержный смех раблеазианских героев.

Несмотря на кажущуюся произвольность выбора тем для анализа, рассмотренные сюжеты тем не менее позволяют проиллюстрировать ключевые аспекты гуманистического мировосприятия интеллектуалов. Эти сюжеты, конечно, не исчерпывают всей проблемы поздневизантийского гуманизма. Однако приведенные примеры и наблюдения показывают основные гуманистические тенденции, проявившиеся в творческой манере поздневизантийских авторов и поведенческом этикете, принятом в интеллектуальном мире.





Глава 4
ПРОБЛЕМЫ ИМПЕРИИ ГЛАЗАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ



Осознавали ли интеллектуалы поздней Византии, что некогда великая держава клонится к закату? Понимали ли, что являются свидетелями агонии и смерти своей родины? И если да, то отразилось ли это понимание в их творчестве и в какой степени? Или же бегство от мрачной действительности в закрытый мир элитарной литературы было для них универсальным средством спасения от безрадостных реалий?

Возможно, погружение в научные занятия и написание сочинений в лучших литературных традициях Античности и создавало у интеллектуалов на какое-то время иллюзию того, что ничего не изменилось в их мире, где все так же ценится слово и по-прежнему уважаются знания. Но все же ученый не мог уйти от суровой действительности, закрывшись в башне из слоновой кости. Проблемы общества были насущны и для литераторов. Оценивая ситуацию в империи, Димитрий Кидонис в 1391 г. в письме деспоту Мореи Феодору I Палеологу перечислял опасности, угрожавшие отечеству:

> Продолжает свирепствовать старое зло, которое причинило общее разорение. Я имею в виду раздоры между императорами из-за призрака власти. Ради нее они вынуждены служить варвару (султану. — *Т. К.*); это единственный путь, дающий возможность выжить. Всякий понимает, что кому из двоих варвар окажет поддержку, тот и возобладает. Поэтому императоры по необходимости превращаются в его рабов на глазах у граждан и следуют его требованиям… Константинополь, лишенный своего гарнизона, беззащитен,

> являя собой легкую добычу для того, кто пожелает ее схватить. И внутри города граждане — и не только рядовые, но и слывущие за самых влиятельных в императорском дворце — восстают, ссорятся друг с другом и дерутся за высшие должности. Каждый стремится хапнуть все сам, и если это ему не удается, грозит переходом к врагу и нападением на свою страну и друзей. Разыгрывается трагедия, бóльшая, чем любая из тех, что были когда-либо рассказаны Гомером и всеми другими поэтами[1].

Кидонис точно определил «болевые точки» своего времени: междоусобицы внутри правящего дома, турецкая опасность, раскол в обществе в условиях внешней агрессии. Но не только эти беды тревожили государство и общество. Драматическим фоном всех внутренних и внешних проблем стали эпидемии, явившиеся мощным фактором углубления кризиса в стране. Взяв за точку отсчета замечание Кидониса, обозначившего главные беды империи в пору ее заката, рассмотрим, как именно перечисленные выше проблемы воспринимались теми византийскими интеллектуалами, кому выпала судьба быть голосом и совестью этого трагического века.

Состояние отечества в оценках современников

В византийской литературе тема родины (ἡ πατρίς) была одной из самых распространенных, поскольку отношение к отечеству было мерилом гражданской позиции человека. Любовь к отчизне традиционно занимала особое место в системе ценностей византийца. В византийских текстах слово πατρίς зачастую означало место рождения[2]. Именно оно отличает одного человека от другого, а общность родины, напротив, сближает и даже роднит чужих людей. Но под πατρίς понимали не только географический пункт, откуда был родом тот или иной человек. Это понятие употреблялось в политическом или культурном смысле, благодаря чему люди, жившие в одном историко-культурном пространстве, формировали единое целое, принадлежность к которому выражалась

---

[1] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi. 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1; 1960. Vol. 2. Ep. 442. 42—56.

[2] См.: Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology in Byzantium before 1453 / transl. with a pref. by P. Magdalino. Geneva, 2011. P. 144.

в понятии гражданства. С этой точки зрения родина — важный признак идентичности, символ самосознания народа. Не случайно понятие родины в византийских текстах несло в себе мощный эмоциональный заряд.

Византийцам была присуща гордость за свое происхождение, за принадлежность к общности ромеев. В энкомиях особое внимание уделялось месту рождения и воспитания главного героя. Так, Мануил II Палеолог, превознося своего брата деспота Феодора, особо отмечал достоинства его родины и родителей[3]. Оценивая слова Мануила о брате, Мануил Хрисолора заметил, обращаясь к императору: «Ты показал, каким он был по отношению к родине и родителям, и ты, сделав это, стал таким же»[4].

На страницах поздневизантийских текстов патриотические мотивы тесно переплетаются с образом отечества, с описанием состояния дел на родине, с раздумьями об ее судьбе. Исполненные чувства долга, интеллектуалы ощущали личную ответственность за настоящее и будущее своей страны.

Тем не менее авторы далеко не всегда прямо заявляли о своей любви к родине. У Мануила II Палеолога, к примеру, эта мысль четко высказана лишь однажды, но, по сути, она пронизывает бóльшую часть его переписки[5]. В письме Димитрию Кидонису Мануил II как-то раз заметил: «ты поступил бы правильно, приняв все во внимание, если бы... отказал каждому, кто приглашал тебя отправиться в чужие земли. Ты должен держаться отечества крепче, чем осьминоги скал»[6], тем более что родину «захлестывает буря»[7].

---

[3] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his brother Theodore / ed. and transl. J. Chrysostomides. Thessalonike, 1985. P. 79. 11—12.

[4] Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β' Παλαιολόγο. Εἰσαγωγὶ καὶ ἔκδοση Χ. Γ. Πατρινέλι καὶ Δ. Ζ. Σοφιανοῦ. Αθήνα, 2001. Σ. 95. 20—21.

[5] См.: Кущ Т. В. Образ отечества в письмах Мануила II Палеолога // ВВ. 2005. Т. 64. С. 136—140.

[6] τῆς δὲ πατρίδος ἔχεσθαι οὐχ ἧττον ἤ τῶν πετρῶν οἱ πολύποδες (The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977. Ep. 12. 17—19).

[7] Ibid. Ep. 12. 26.

Любовь к родине и патриотизм формировались у византийцев на примерах предков. Человек должен был соответствовать своим великим отцам, поскольку, считал Мануил II, «наибольшим позором было бы, если б хвала, воздаваемая собственным предкам, оттенялась ничтожностью сыновей, и было бы гораздо худшим злом для сыновей быть менее выдающимися, чем их отцы»[8].

С образом родины тесно переплеталась тема служения отечеству. Лучшей характеристикой интеллектуалу было признание того, что тот «посвятил свои умения и свою достойную речь, украшенную блеском, нашему отечеству и его гражданам»[9]. В письме-панегирике Иванку Мануил II отмечал как лучшее качество этого человека — его преданность родине и императору: «Ты участвовал в разных других делах, о которых ты знал, что они принесут пользу нашей стране, защищал закон везде, где он подвергался нападкам, подавал совет, когда бы он ни потребовался, и оказывал твердую поддержку тем, кого угнетал рой невыразимо сложных проблем»[10]. Геннадий Схоларий в письме Константину XI Палеологу в 1450 г. заверял, что всегда рад служить своему императору, родителям, родине и церкви[11], выстраивая жизненные приоритеты именно в такой последовательности. Иоанн Хортасмен в письме к Пепагомену, который, находясь за пределами страны, не давал знать о себе своим друзьям, призывал его ответить, при этом в качестве аргументов он оперировал равнозначными для него категориями родины и науки: «В противном случае я буду при ученых обвинять тебя в пренебрежении родиной и наукой, ибо каждый, кто в любой форме принимает участие в них, должен почитать себя их воспитанником»[12]. Хортасмен тем самым указывал на две вещи, которые почитались в ученом кругу и предать которые было высшим преступлением.

---

[8] The Letters of Manuel II PalaeologusEp. 45. 89—91.

[9] Ibid. Ep. 45.60—61.

[10] Ibid. Ep. 45.68—73.

[11] Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα / publ. L. Petit. P., 1928. Vol. 4. S. 471.

[12] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 44. 26.

Долг перед родиной, как и любовь к отчизне, в целом для византийской литературы являлись не просто общим местом, а выражением мировоззренческих ценностей.

Впрочем, отношение к отечеству у византийских авторов было далеко не однозначным. Поздневизантийская литература, пропитанная духом патриотизма, полна и критических замечаний. Но критика, постоянно высказываемая в адрес государства, обусловлена прежде всего чувством ответственности, которое, как известно, является важной составляющей любви к отечеству.

Византийские писатели, которые особенно ценили культурное достояние своей родины, критиковали состояние дел в сфере образования и науки, прежде составлявших предмет гордости византийцев. В письме, обращенном к императору Иоанну V с просьбой о содействии прибывшему в Константинополь испанскому монаху Гарсие, Кидонис восклицал: «Ведь ромеям, для славы которых ты все делаешь, оказалось, честно говоря, совсем нечем гордиться. Когда он [Гарсия.] поспешил к нам, движимый страстью к знаниям, он тем самым почтил тебя и весь народ, как бы показав тем самым, что мы еще существуем и не угасли окончательно, что давнее уважение к науке еще живо среди нас как нечто для нас естественное. Какая похвала была бы для народа более значительной, чем похвала мудрости? И если бы мы были благоразумнее, мы бы его отблагодарили, как если бы он собрал наших союзников и восстановил городам разрушенные стены»[13]. С разрушенными стенами городов Кидонис сравнивал состояние византийской науки, которая имела давние традиции и, к счастью, не растратила окончательно силу своего обаяния и высокую репутацию.

На фоне расцветшей западной образованности положение собственной науки представлялось византийским авторам гораздо менее радужным. В их высказываниях о ней все чаще звучали пессимистические нотки. Тот же Схоларий в монодии на смерть Марка Эфесского восклицал: «Ибо воспитание оплакивается, слава наук и знаний прекратилась, благородное от природы дело ред-

[13] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 221. 25—33.

ко...»[14] Геннадий Схоларий с горечью отмечал, что молодые люди не хотят получать образование, не видя перспектив его применения, да и редкостью стали нужные для обучения книги, прежде доступные в столице, а теперь имеющиеся только на Западе[15]. В упадке, с его точки зрения, оказался и классический язык, совершенно забытый соотечественниками[16].

Беды и несчастья, свалившиеся на Византийскую империю, вызвали в ней и упадок образования, что не могло скрыться от критических взглядов писателей и оставить их равнодушными. Схоларий признавался, что он, «который видел эту бедность и чувствовал боль за то лучшее, что спасало нас от бед, не пытаясь молча сносить страдание, выступил публично и рассказал с пафосом о несчастье, чтобы живущие в доме знаний не были бы обращены в бегство варварами, которые не заботились об искусстве слов»[17]. Его пугали перспективы, ожидавшие ученое общество в условиях вымирания наук. Схоларий в ярких красках обрисовал нависшую угрозу: «Мы подвергаемся опасности быть лишенными не одной только мудрости и знаний, но и не знать собственный язык и все то, что побуждает к занятию литературой»[18]. В связи с этим он призывал развивать искусство слова[19].

В письмах Геннадия Схолария мы встречаем извечные жалобы на новое поколение молодых людей, которое является лишь жалким подобием своих предшественников. В словах патриарха горькое сожаление по поводу молодежи смешано с чувством гордости за предков: «Какие люди у нас ценили преимущества слова! Но если бы они оставили после себя других, подобных себе! Ныне же время похищает их, оставляя ничтожным преемникам только их мудрость...»[20]

---

[14] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912—1924. Т. 2. Σ. 37. 1—2.

[15] Oeuvres complètes de Gennade Scholarios / ed. L. Petit, A. Siderides, M. Jugie. P., 1935. Vol. 4. P. 405. 33—37.

[16] Ibid. P. 405. 37—406. 1.

[17] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 2. Σ. 277. 12—17.

[18] Ibid. Σ. 277. 17—20.

[19] τὴν τῶν λόγων τέχνην (Ibid. Σ. 277. 23).

[20] Ibid. Σ. 277. 8—10.

Он обвинял молодых людей в том, что «они избирают учителями необразованность и связанную с ней порочность»[21]. В этих фразах слышны сетования человека, сознание которого обращено к идеалам прошлого.

Но не только мудрость античных авторов, служившая образцом, была предметом восхищения. Писатели поздней Византии прекрасно знали своих далеких и недавних предшественников, воодушевляясь их гением. Мануил Калека отдавал дань образованности и нравственному величию Никифора Влеммида, с которым его разделяло столетие. Он писал, что «это был человек, славное имя которого находилось на устах у всех, ввиду его добродетельной жизни и учености»[22]. Но в глазах современников подобные блестящие личности прошлого еще в большей степени оттеняли слабость творческого потенциала их потомков.

Высоко ценя значение образования, интеллектуалы этого времени распространяли его власть даже на политическую сферу. Забота о развитии образования и покровительство знаниям должны быть, по их мнению, долгом императора, ибо «не секрет, что те, чьи подданные являются лучшими (по образованности. — *Т. К.*), превосходят тех, кто правит худшими»[23]. Одной из причин постигших страну бед Кидонис считал, в частности, плохих советников императора: «Льстец, мздоимец, расточитель и человек с рабской душой управляют хорошими, разумными, свободолюбивыми людьми, отдают им приказы как рабам, беззастенчиво приводят все в беспорядок и в конце концов погружают в жестокое рабство весь город, подобно судну, тонущему из-за неопытности и неспособности моряков»[24]. Кидонис сожалел, что к решению насущных государственных вопросов часто привлекаются недостойные люди, в то время как к мнению образованных и мудрых советников император не прислушивается: «Если отечество не принимает полезного ему совета, прогоняет (советчика. — *Т. К.*) и угрожает ему за его

---

[21] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 2. Σ. 274. 34.
[22] Petavius. Dogmata theologia. Editio nova. P., 1865. T. 3. S. 268.
[23] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 221. 39—40.
[24] Ibid. Ep. 309. 58—63.

откровенные речи, но при том доверяет тем, кто в политике действует на пользу врагам, а не своим, если оно дает трибуну льстецам и бесчестному сброду, то кто же не повернется спиной к такому отечеству, которое не может найти себе лучших советчиков?»[25] Гемист Плифон видел спасение империи в использовании правителем «наилучших советников и полезных законов, имеющих должную силу»[26], причем в качестве советников рекомендовал держать «определенное число образованных мужей»[27].

Для Мануила Хрисолоры образование — это также то чудодейственное средство, что в состоянии возродить могущество империи и спасти ее от нависшей угрозы уничтожения. Поэтому он рекомендовал императору содействовать созданию школ, поддерживать ученых и восстанавливать изучение античного и христианского наследия[28]. Столь утопичные размышления выдают откровенно гуманистический подход, для которого характерно преувеличение значимости образования.

Димитрия Кидониса удручало не столько состояние византийской науки, сколько отсутствие поддержки со стороны императора ученым, вынужденным искать лучшей доли за пределами дворца. Кидонис однажды получил распоряжение вслух прочитать императору Иоанну V Палеологу письмо Георгия Философа[29], своего старинного друга, который в тот момент находился за пределами империи («у варваров», как заметил Кидонис). Выполнив поручение, Кидонис высказал свое мнение относительно судьбы интеллектуала в Византии: «После прочтения я рассказал ему со всей откровенностью о твоих достоинствах, поскольку они мне известны, и добавил, что стыдно за империю ромеев, если наши ученые

---

[25] Ibid. Ep. 309. 50—55.

[26] Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах / пер. и предисл. Б. Т. Горянова // ВВ. 1953. Т. 6. С. 407.

[27] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 4. Σ. 119. 4—5.

[28] Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β' Παλαιολόγο... Σ. 93. 14—32; см. также: Patrinelis C. G. An Unknown Discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Palaeologus // GRBS. 1972. Vol. 13. P. 501.

[29] См.: Tinnefeld F. Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones // OCP. 1972. Bd. 38, H. 1. S. 141—171.

мужи, которые хотят и могут быть полезными отечеству, покидают его, чтобы искать убежища в других странах с надеждой, что там им будет лучше жить, — стыдно, что, по их мнению, другие больше нас ценят наши достоинства и проявляют больше дружелюбия к нашим землякам, чем мы сами»[30].

Для интеллектуала свобода литературного творчества был немыслима без политической свободы. Еще Кидонис в 1387 г. после захвата Фессалоники турками подчеркивал, что образованные люди должны больше других размышлять над тем, как спастись от завоевателей, ибо нельзя «наслаждаться науками и образованием, не имея свободы»[31].

Образ родины в поздневизантийских письмах окрашен в трагические тона. Турецкая угроза, ставшая главной темой последнего столетия истории Византии, заставляла интеллектуалов задумываться о грядущей судьбе родины. Для многих современников невыносима была сама мысль, что великая империя ромеев может оказаться в руках варваров. Кидониса тяготили раздумья «о судьбе родины, о ликовании врагов и о том, что в будущем городские стены станут нашей тюрьмой, и мы оттуда должны будем увидеть, как враги захватывают добычу»[32]. Сам он был готов разделить судьбу своих сограждан. В ответ на предложение друга Симона Атумана срочно покинуть переживающую беды страну, Димитрий Кидонис гордо заметил: «Я не желал бы себе уйти в сторону и видеть, как граждане находятся в несчастье, но предпочел бы своему собственному спасению быть несчастным вместе с ними»[33].

Геннадий Схоларий в письме императору Иоанну VIII Палеологу описывал свое состояние в условиях опасной обстановки в городе, замечая, что «мы сидим и смотрим на завоевание города и думаем, как было бы хорошо, если бы мы переселились отсюда, иногда смотрим на корабли и думаем, как было бы прекрасно уехать, иногда смотрим на свой собственный город и думаем, как хорошо

---

[30] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 344. 24—30.

[31] Ibid. Ep. 332. 55—56.

[32] Ibid. Ep. 39. 33—36.

[33] Ibid. Ep. 226.80—82.

было бы здесь состариться и умереть»[34]. Некая созерцательность и обреченность присущи тому, как оценивали происходившее многие писатели. Незадолго до падения империи Иоанн Аргиропул в 1448 г. выразил это состояние утраты надежд на спасение и полную безысходность такими словами: «Ныне у греков все идеалы превратились в пыль. Надежда бежала. Стыд и вера в справедливость покинули людей и удалились на Олимп. Сегодня каждый варварский народ покрыт славой и каждый — враг нашим делам»[35]. Византийские ученые прекрасно осознавали трагичность всей ситуации, не отворачиваясь от действительности.

Бедственное положение империи авторы сравнивали с болезнью. Мануил Калека в письме Мануилу Хрисолоре сетовал на несчастья, свалившиеся по воле провидения на столицу: «К сказанному в моих письмах я добавляю то, что ныне нас мучает злая судьба, принесшая стране несчастье, и больное государство до сих пор ожидает перемен, надеясь на избавление от бед»[36]. Причины несчастий и испытаний, выпавших на долю отчизны, многие интеллектуалы видели прежде всего в переменчивости судьбы или в Божьем наказании за человеческие прегрешения. «Судьба лютует хуже диких зверей»[37], «по воле Господа настоящее время неблагоприятно для нас»[38] — так определял Мануил II вмешательство высших сил в дела человеческие. Беды, выпавшие на долю отечества и его граждан, стали, по мнению византийских авторов, следствием людского греха. Поэтому единственный шанс на спасение — уповать на милосердие Господа, в силах которого все изменить: «Все же Бог “исцелит страждущих”. Для нас, кто все еще хранит светлые надежды, лучше говорить так и сохранять веру. Он, который один благостен, — ибо один только Бог благостен — никогда не разгневается

---

[34] Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα… Vol. 4. Σ. 426.

[35] Цит. по: Dölger F. Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz // JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 10—11.

[36] Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. Ep. 24. 12—14.

[37] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 50. 13—14.

[38] Ibid. Ep. 3. 31—32.

на тех, кто сбился с пути»[39]. Подобный христианский эсхатологизм сочетался с мыслью о личной ответственности за судьбу родины: «Я прошу Бога... о том, чтобы либо заслужить прощение для всех, либо взыскать наказание с меня одного»[40]. В этих словах звучит голос императора, ответственного за общее благо и процветание родины.

Высшей силой и последней инстанцией, к которой мог апеллировать страждущий (как человек, так и общество в целом) в надежде на избавление от несчастья, был, несомненно, Господь. Кидонис выразил эту мысль следующей сентенцией: «Но стоит призвать Бога в качестве врача против этой чумы. В нынешнем положении необходимо доверять единственно его искусству, дабы оно если и не вернуло нам старое состояние, то по крайней мере удержало от погибели и не оставило на волю случая, чего все опасаются»[41].

Ответственность за спасение общества писатели возлагали на правителя. Эту мысль высказывает Кидонис в письме к императору Мануилу II Палеологу, замечая: сограждане «звали тебя, как больной врача», поскольку «ты один наряду с Богом можешь принести спасение родине»[42]. Подобно врачу, правитель в глазах своих подданных ответствен за исцеление сограждан и общества, пораженного тяжким недугом. Упования на спасительные действия властителя были особенно актуальны в условиях внешней опасности, внутренних неурядиц и природных бедствий. Высказывая в письме деспоту Мистры Феодору Палеологу надежду на то, что правитель может «исцелить болезни города»[43], Кидонис уподобляет властителя врачу, способному излечить от недуга.

В тяжелых условиях от императора ждали прежде всего решительных действий. Большинство писателей понимали, что от политической воли и решительности правителя зависел исход ситуации в стране. Авторы возлагали надежды на мудрого импера-

---

[39] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31.46.
[40] Ibid. Ep. 6.59—61.
[41] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 372. 26—29.
[42] Ibid. Ep. 410. 14—15.
[43] Ibid. Ep. 200.7.

тора, который сможет удержать на плаву «корабль в бушующем море». Таким правителем, с точки зрения многих интеллектуалов, был Мануил II Палеолог, которого они считали образованным и опытным властителем. Сам же император, осознавая бремя своей ответственности и тяжесть стоявших перед ним задач, был скептически настроен в отношении собственных возможностей выправить ситуацию в стране, оказавшейся в критическом положении. Он знал о состоянии дел в империи не понаслышке, видел все проблемы воочию, а потому не питал иллюзий и радужных надежд.

Власть правителя в охваченном бедами отечестве, по мнению императора Мануила II Палеолога, весьма эфемерна, о чем он писал Кидонису: «И не говори, что для императора легко дать тысячу статеров и давать такую сумму часто, когда ему тяжело удержать власть над страной»[44]. Но именно правитель, по определению Мануила II, «более чем кто-либо обязан сохранять корабль на плаву»[45]. Все усилия василевса были направлены на то, чтобы «поддержать общее благо ромеев, а не думать о собственной выгоде»[46]. С этой целью им и предпринимались все действия, включая переговоры и дальние поездки за рубеж в поисках помощи для спасения страны от нависшей угрозы. В письме Кидонису 1385 г., в период фессалоникийской осады, будущий император выражал готовность предпринять все возможное и невозможное, если только это даст хотя бы слабую надежду на успех: «Я считаю необходимым, согласно пословице, сеять камни и бросать семена на всякий случай даже в песок и ждать урожая как с плодородной земли. Ибо ныне обстоятельства принуждают нас к этому»[47].

Описывая состояние Византии, Мануил II подчеркивал всю сложность ситуации, в которой пребывала империя: «Положение дел в стране... превзошло и затмило все трагедии»; «любимая тобой страна в жалком состоянии», «бедствия, которые обрушились

---

[44] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 12. 8—10.
[45] Ibid. Ep. 45. 174.
[46] Ibid. Ep. 9.37.
[47] Ibid. Ep. 8.8—10.

на нас и которые еще угрожают...»[48]. Столь печальное положение отечества связано, по мнению Мануила II, с трудностями внешнеполитического и экономического плана. Финансовое положение государства весьма плачевно, императорская казна пуста. Сам император жаловался на «недостаток денег, причиняющий вред каждому в отдельности и государственным делам в целом»[49]. Любой, как писал император, может «обнаружить нас нуждающимися в деньгах»[50].

Иногда правителю приходилось опускаться до обмана своих граждан, чтобы сохранить в сердцах людей хотя бы призрачную надежду на «выздоровление». Определяя мотивы, вынуждавшие василевса в определенных ситуациях прибегать ко лжи, Мануил II Палеолог сравнивал его с врачом, который порой хитрит для пользы своих пациентов: «Предположим, что это отец, или правитель, или полководец, или кто-либо еще более высокого ранга, и, предположим, он думает, что должен быть коварным для пользы человека, находящегося под его управлением, подобно тому как доктора используют различные формы обмана, где это необходимо, и таким образом, как правило, способствуют исцелению больных в дополнение ко всем другим средствам, которые им дали, — так вот, подобный муж сделал бы этим, несомненно, богоугодное дело, принеся себе великую славу человека, умеющего убеждать»[51]. Сила убеждения, которой должен был обладать правитель, — одно из необходимых средств в его арсенале, чтобы заслужить доверие больного, облегчая задачу по его спасению.

В такой ситуации и сам император мог уповать только на Бога, во власти которого, надеялся он, исправить материальное положение страны: «Пусть Господь вскорости избавит нас от этого и одарит благоденствием наших предков»[52]. В нищете пребывало и на-

---

[48] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 6. 15—16; 22; 28—29.

[49] Ibid. Ep. 44. 29—30.

[50] Ibid. Ep. 4. 8.

[51] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / introd., text and transl. by A. Angelou. Wien, 1991. P. 66. 119—125.

[52] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 44. 31—32.

селение империи: «...Почти все они [сограждане] словно Иры[53], и легко пересчитать тех, кто не ложится спать голодным»[54]. Еще в 1383 г., в период своего деспотата, Мануил II писал из осажденной Фессалоники Димитрию Кидонису, что почти невозможно управлять обнищавшими жителями: «Никто не сможет править вашими согражданами, если их взгляды останутся неизменными, если только прежде не осыпать их золотом»[55]. Император тем самым признавал, что политическая стабильность в стране напрямую зависит от материального благополучия ее подданных.

Даже в императорском дворце царил хаос, «все наполнено шумом, который невозможно прекратить из-за постоянной нехватки слуг»[56]. Толпы настойчивых просителей заполонили покои, что-то требуя от василевса: «Люди снаружи, внутри и повсюду, угнетенные серьезными делами, тут стояли латинянин, перс, гражданин, иностранец, много монахов, каждый из них требуя своего и шумя, так что было несправедливо искать повод отдохнуть»[57].

К экономическим трудностям прибавлялись политические проблемы. Территория страны неумолимо сокращалась. Земля, которая некогда находилась под властью ромеев, ныне представляла собой печальное зрелище. Обеспокоенность и тревогу у императора вызывало забвение греческих названий городов и местностей, некогда входивших в состав могущественной державы. Во время малоазийского похода в 1391 г. перед взором императора открылась печальная картина упадка и разрушения:

> Маленькая равнина, на которой мы теперь стоим, конечно, носила какое-то имя, когда имела счастье быть населенной и управляемой римлянами. Но теперь, когда я спрашиваю, каким оно было, я бы мог с тем же успехом спрашивать о волчьих крыльях из пословицы, ибо здесь нет абсолютно никого, кто бы мне рассказал об этом. Конечно, ты можешь увидеть здесь много городов, но им недостает того, что составляет истинное великолепие города и без чего они не могут быть по-настоящему названы городами, то

---

[53] Ир — нищий, вступивший в драку с Одиссеем.
[54] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 4.1 5—16.
[55] Ibid. Ep. 4. 10—12.
[56] Ibid. Ep. 44.18—19.
[57] Ibid. Ep. 44. 22—25.

есть человеческих существ. Большинство этих городов сейчас лежат в руинах — жалкое зрелище для тех, чьи предки когда-то владели ими. От городов не сохранилось даже имен, так давно они были разрушены. На самом деле, когда я вопрошал о названиях этих городов, люди отвечали мне: «Мы разрушили эти города, а время стерло их имена». Меня охватила печаль, хотя я нес ее в молчании, так как мог еще контролировать себя. Но можешь представить себе, как я, когда кто-нибудь, не зная о древнем названии города, называл его варварским или каким-то странным на слух именем, громко плакал и едва мог скрыть свою печаль, хотя стремился себя сдерживать[58].

Таким образом, сам император признавал, насколько были далеки универсалистские притязания имперской идеологии от реалий его дней.

Но, с другой стороны, тот же Маниул II, видевший своими глазами разорение некогда принадлежавших византийцам земель, продолжал исповедовать извечную идею о превосходстве ромеев над другими народами. Из его политической риторики никогда не уходили слова, прославляющие исключительное положение Византии в христианском мире. Мануил II в своей «Надгробной речи» на смерть деспота Мореи Феодора I, говоря о Константинополе, подчеркивал, что господство империи над всеми народами покоилось теперь не только на силе оружия, но и в большей степени на добродетелях, а также Божественном покровительстве: «Его родина — царственный город и метрополия, которая самодостаточна и не нуждается в нашем восхвалении. Ибо она — красивейший город среди всех изумительных городов и превосходит их своими несравненными достоинствами, она управляет всеми областями, народами и правителями на земле, побеждая их не столько большим войском и оружием, сколько добродетелью и благоразумием. С тех пор, как Константину вручили в руки скипетр, империя получила человека, который действительно был для всех и предводителем, и распорядителем благодетели. И особенно важно, что его любил Бог за ревностное служение и добродетель так, что с Его Божественной помощью и поддержкой он стал основателем этого города»[59]. Уже

---

[58] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 16. 22—36.
[59] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration… P. 83. 13—19.

по этой цитате видно, что императору приходилось делать поправки в политической доктрине на реалии своего времени: теперь не военным преимуществом, а идейным превосходством только и можно было обосновывать универсалистские притязания[60], не имевшие, однако, под собой никакой почвы.

Во время своего дальнего путешествия в Западную Европу[61] Мануил II испытывал такую же острую тоску по родине и желание поскорее вернуться, как и любой его соотечественник, оказавшийся за пределами отечества. По словам Димитрия Кидониса, покинувших родину повсюду встречают еще большие невзгоды[62]. Безусловно, для многих византийских писателей последней трети XIV— XV в. разрыв с родиной был равнозначен духовной смерти. Возможно, проблема эмиграции для многих поэтому и становилась проблемой нравственного выбора. Несмотря на то, что последний период византийской истории стал временем массовой эмиграции ученых на Запад, тем не менее нельзя обвинять это поколение образованных людей в отсутствии чувства патриотизма, в конформизме или предательстве. Родина, как и прежде, оставалась для них предметом глубокого почитания[63]. Эмиграция для одних стала неизбежной, для других вынужденной, но большинство из них надеялись, что она временная, поэтому прилагали все усилия, чтобы содействовать спасению отчизны. По мнению исследователя И. Томсона, побудительными

---

[60] Radošević N. Waiting for the End — the Byzantine Rhetoric of the first half of the Fifteenth Century // ЗРВИ. 2006. Т. 43. P. 68.

[61] Из Парижа, где Мануил II останавливался в 1400 г. во время своего путешествия по Западной Европе, в письме к М. Хрисолоре, находящемуся в Северной Италии, он писал о своем страстном желании скорейшего возвращения в родные пенаты: «если необыкновенная зависть недоброй судьбы не будет мешать и не появятся неожиданные препятствия, у нас есть большая надежда, что мы скоро вернемся на родину, чего ты желаешь и против чего молятся наши враги» (The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 37. 16—19). Вероятно, Хрисолора, как никто другой, мог понять стремление своего друга вернуться домой, поскольку сам тяготился долгой разлукой с родными краями.

[62] Démétrius Cydonès. Correspondance... 226. 150—151.

[63] См.: Поляковская М. А., Медведев И. П. Развитие политических идей в поздней Византии // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 272.

мотивами для отъезда Мануила Хрисолоры в Италию являлись прежде всего патриотизм и лояльность к императору[64]. Именно желание спасти свою страну было для него главной целью, когда он, переезжая из одного европейского города в другой, пытался заинтересовать их правителей в судьбе Восточно-Римской империи.

Последнее поколение ученых стало выразителем нового, только оформляющегося самосознания византийцев. Интеллектуалы XV в. осмыслили результаты процесса формирования национальной самоидентификации[65]. Подъем греческого патриотизма и возрождение эллинского духа в предшествующий период способствовали этому[66]. На смену универсалистской доктрине и традиционной концепции культурной преемственности приходила, к сожалению, окончательно и сложивашаяся тогда идея самосознания греческой нации. Впервые осознание прямого культурного и национального родства Византии с греками и римлянами зазвучало из уст Мануила Хрисолоры, который подчеркнул не только политическую, духовную, но и этническую преемственность византийцев от греко-римского мира. Он первым обратил внимание на развитие национальной идентификации византийцев в сфере политической теории, тем самым завоевав право быть первым византийским ученым, разрабатывавшим теорию особого национализма[67]. Его новации воодушевили на дальнейшие поиски его духовных преемников. Выражение элементов нового самосознания мы находим у Плифона, который так определил признаки национального единства: «Мы, которыми вы повелеваете

[64] См.: Thomson I. Manuel Chrysoloras and the early Italian Renaissance // GRBS. 1966. Vol. 7. P. 79.

[65] См., например: Ирмшер И. Трансформация идеи государственности в последний период истории Византии // ВВ. 1976. Т. 37. С. 14; Поляковская М. А., Медведев И. П. Развитие политических идей в поздней Византии... С. 272; Beck H.-G. Reichsidee und nationale Politik im spätbyzantinischen Staat // BZ. 1960. Bd. 53, H. 1. S. 87.

[66] См.: Irmscher J. Nikäa als «Zentrum des griechischen Patriotismus» // RESEE. 1970. T. 8, № 1. S. 43—45; Жаворонков П. И. Гуманистические мотивы в культуре Никейской империи // ВВ. 1989. Т. 50. С. 148.

[67] Patrinelis C.G. An Unknown Discourse... P. 501—502.

и управляете, являемся по происхождению эллинами, о чем свидетельствуют язык и образование, которое мы унаследовали»[68]. Но его идеи в сфере политической теории привели к созданию доктрины неоэллинизма и не смогли преодолеть до конца традиционализм, пойдя по пути синтеза уже существовавших прежде философских концепций. Тем не менее в его трудах и в сочинениях его современников все чаще звучали слова «эллин», «эллинская культура», заменяя распространенное прежде понятие «ромеи» и противопоставляя эллинов «римлянам», под которыми теперь подразумевались итальянцы. Это было непосредственное проявление зарождающихся элементов национального греческого самосознания. В перспективе постепенное преодоление универсализма могло бы вылиться в создание новой национальной идеи, в основе которой лежал бы этнический принцип принадлежности к данному социуму, но, к великому сожалению, этот естественный процесс был на время прерван гибелью Византии и возобновился уже в поствизантийское время.

После падения империи византийские ученые сохраняли привязанность к родине (даже покинув ее пределы) и горько оплакивали ее кончину. Виссарион ощущал личную ответственность за происшедшую трагедию и с чувством полной безысходности восклицал: «Но если бы Бог исправил это к наилучшему! Пока был общий и единственный центр эллинизма, я не заботился, чтобы там все хорошо было сохранено»[69]. Многие интеллектуалы вскоре после падения Византии посвятили этим трагическим событиям многочисленные монодии о гибели православной империи[70]. Наиболее известный из них («Плач на падение Константинополя»), написанный Иоанном Евгеником, был переведен на древнерусский

---

[68] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 3. Σ. 247. 14—15.

[69] Речь идет о сохранении рукописей (Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / ed. L. Mohler. Padeborn, 1967. Ep. 30. 10—13).

[70] См.: Ivanka E. Der Fall Konstantinopels und das byzantinische Geschichtsdenken // JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 19—34.

язык и получил широкое распространение на Руси[71]. Не веря в произошедшее, многие из писателей лелеяли надежду на восстановление империи. Поэтому они предпринимали многочисленные попытки подтолкнуть Запад к крестовому походу против турок. Исидор Киевский в письме кардиналу Капраника в июле 1453 г. описывал трагическое падение Константинополя, столицы Востока, основанной Константином Великим и ранее с успехом защищавшейся от вражеских вторжений, но теперь по воле Бога город попал в руки Мехмеда[72]. Напоминая о полных трагизма событиях совсем недавнего прошлого, Исидор призывал флорентийцев объединиться с другими христианскими правителями для борьбы против турков, так как те не ограничатся взятием Константинополя, а будут стремиться к мировому господству[73].

Безусловно, образ родины, представленный в поздневизантийской риторической литературе, являлся индикатором патриотических умонастроений интеллигенции. Многие авторы демонстрировали отход от традиционного понимания патриотизма, базировавшегося на утверждении господства империи и превознесении ее величия[74]. В текстах хоть и присутствовали базовые принципы универсалистской концепции, тем не менее их приходилось корректировать в соответствии с текущим положением империи. Авторы констатировали факт территориальных потерь, бедственное положение империи и ее населения. Это свидетельствует об общих настроениях образованных людей своей эпохи, которых заботило

---

[71] См., например: Дуйчев И. С. О древнерусском переводе «Рыдания» Иоанна Евгеника // ВВ. 1957. Т. 12. С. 199—200; Мещерский Н. А. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод // ВВ. 1953. Т. 7. С. 74—77; Фонкич Б. Л. Иоанн Евгеник и его «Монодия на падение Константинополя» // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 270—292.

[72] Латинский текст письма см.: Hofmann G. Quellen zu Isidor von Kiew als Kardinal und Patriarch // OCP. 1952. Vol. 18. S. 146. Ep. 1. 6—16.

[73] Ibid. S. 146. Ep. 1. 17—22.

[74] См.: Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Никифора Григоры : (к вопросу о «греческом патриотизме» XIV в.) // АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 85—95; Поляковская М. А. Понимание патриотизма Димитрием Кидонисом // АДСВ. 1980. Вып. 17. С. 45—52.

будущее отчизны. Но основной темой в размышлениях о судьбах родины были тревога и ощущение надвигающейся катастрофы. И если в конце XIII — начале XIV в. патриотизм переживал подъем и звучал оптимистично[75], то перед лицом явственно ощутимой турецкой угрозы на рубеже XIV—XV вв. пессимизм и ностальгия пронизывали размышления о родине и ее судьбе. Как предрекал Мануил II, «тяжелое бремя, мысль и главная причина скорби — это осознание того, что нынешние беды в действительности — период мира в сравнении с теми, которые мы ожидаем вскоре»[76]. Интеллектуалы, которые были голосом своей эпохи, понимали, какие испытания выпали на долю их страны. По выражению И. Шевченко, они «держали головы высоко поднятыми, а глаза открытыми»[77].

Внутридинастический конфликт: взгляд изнутри

В последней трети XIV в. задача укрепления императорской власти путем упрочения династических основ престолонаследия оказалась особенно актуальна. Византийская империя находилась в крайне тяжелом положении. Воедино сплелись внешние неурядицы и внутренние конфликты, образовав неразрешимый узел противоречий. Империя испытывала острый дефицит центральной власти, теряла доверие сограждан и таяла на глазах. Проявлением глубочайшего политического кризиса стала изнурительная борьба за трон между представителями правившей династии Палеологов. Политическая чехарда, вызванная соперничеством за обладание престолом, не была чем-то необычным для империи, но в последней трети XIV в. ситуация осложнилась вмешательством в династические споры внешних сил: внутрисемейные распри разжигались извне. На фоне усиления турецкой угрозы внутренние конфликты

---

[75] См.: Irmscher J. Nikäa als «Zentrum des griechischen Patriotismus»... S. 33—47; Idem. Griechischer Patriotismus im 14. Jahrhundert // XIVe Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 26.

[76] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 6. 16—18.

[77] Ševčenko I. The Decline of Byzantium Seen through the Eyes of its Intellectuals // DOP. 1961. Vol. 15. P. 170.

представляли огромную опасность для страны. Кидонис заметил по этому поводу: «Они [императоры] не думали о своих истинных врагах, а шли друг против друга и с яростью, которую должны были по справедливости обратить против неприятеля, уничтожали друг друга и своих подданных»[78].

Ситуация в империи, осложненная внутренними и внешними обстоятельствами, вынуждала правителя искать пути преодоления междоусобного конфликта через обеспечение устойчивой преемственности власти. В этой связи несомненный интерес для исследователя представляет трактат «Нравственный диалог, или О браке» (Διάλογος ἠθικὸς ἢ περὶ γάμου)[79], написанный Мануилом II Палеологом[80]. Посвященное вопросу о необходимости правителю вступать в брак, это сочинение затрагивает и более общую проблему поиска механизмов укрепления императорской власти при отсутствии четкого порядка правопреемственности.

Мануил II Палеолог был не только деятельным политиком, который участвовал в военных походах, вел сложные дипломатические игры, усмирял внутренние смуты и вникал в религиозные споры, но и блестящим интеллектуалом, ярко проявившим себя на литературном поприще[81]. Ему принадлежит ряд сочинений, которые свидетельствуют о знании автором норм византийской риторики и владении искусством составления стилистически совершенных произведений, а также демонстрируют высокий образовательный уровень императора, его эрудицию. Не случайно видный интеллектуал того времени Димитрий Кидонис назвал его «философом на троне»[82].

«Диалог о браке» наряду с другими произведениями, входящими в список трудов Мануила II, может быть отнесен к образцам высокой риторики поздневизантийского времени. Однако этот трак-

---

[78] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222. 56—58.

[79] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 60—116. Далее в тексте используется сокращенное название «Диалог о браке», в ссылках указаны номер страницы и строки.

[80] См. о нем: Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969; PLP. № 21513.

[81] Barker J. W. Manuel II Palaeologus... P. 421.

[82] Démétrius Cydonès. Correspondance... T. 2. Ep. 430. 10.

тат, написанный между 1394 и 1396 гг., стоит особняком в византийской литературе по целому ряду причин. Во-первых, подобных сочинений, посвященных такой щекотливой теме, как брак, среди богатого литературного наследия Византии нам больше неизвестно, что уже делает это сочинение весьма любопытным для исследователя. Во-вторых, уникален и тот факт, что в этом произведении диалог ведут мать и сын: женщина появляется на страницах сочинения как действующее лицо повествования[83], полноправная участница контроверзы. В-третьих, этот труд вышел из-под пера императора, что придает произведению совершенно иное звучание, поскольку общественный статус автора безусловно накладывал отпечаток на характер высказанных мыслей.

«Диалог» как жанровая форма проходит через всю историю византийской литературы, выражая различные авторские интенции. Формат и специфика данного жанра позволяли реализовать разные задачи — от морализаторства до политического памфлета. Он выступал средством дидактики, с помощью которого осуществлялась передача знаний от учителя к ученику и происходило обучение в византийской школе. Примером таких диалогов могут быть «Вопросы грамматики» (Ἐρωτήματα γραμματικά) Мануила Мосхопула и «О грамматике» (Περὶ γραμματικῆς) Максима Плануда, служившие школьными учебниками[84], или же «Вопросы» (Ἐρωτήματα) Мануила Хрисолоры, составленные для преподавания греческого языка итальянским гуманистам[85]. «Диалог» был также (в продолжение традиции древнегреческой сатиры Лукиана) излюбленный формой сатирических сочинений, таких, к примеру, как поздневизантийский «Мазарис»[86]. Жанр диалога авторы выбирали и для

---

[83] На этот факт обратил внимание издатель текста А. Ангелу (см.: Angelou A. The Dialogue // Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 50).

[84] Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zu Ende des oströmischen Reiches (527—1453). München, 1897. S. 543.

[85] Graecogermania. Griechische Studien deutschen Humanisten. Die Editiontätigkeit der Griechen in der Italienischen Renaissance (1463—1523) / ed. D. Harflinger. Hannover, 1989. S. 5.

[86] Мазарис // Византийский сатирический диалог / подгот. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской. Л., 1986. С. 129.

выражения своей политической позиции либо религиозных взглядов, как, например, в сочинении «Флорентий, или О мудрости» Никифора Григоры[87]. В «Диалоге о браке» Мануила II представлен весь тематический диапазон этой литературной формы. Дидактический посыл, развлекательная линия, анализ текущего состояния дел в государстве, столкновение личностей, морально-нравственные искания — в равной степени нашли отражение на страницах данного текста. Многослойность тематических ракурсов придает ему неповторимый характер, делая этот источник достойным внимания как с точки зрения оценки риторического мастерства автора, так и для анализа его взглядов на состояние общества и те проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться после прихода к власти.

Примечательным является выбор собеседника, с которым дискутирует Мануил. Император приглашает к спору свою мать — Елену Палеологину[88], выступающую в сочинении в роли хранительницы императорской власти и единомышленницы багрянородного сына. Известно, что между Еленой и ее двумя младшими сыновьями, Мануилом и Феодором, были очень теплые отношения, в то время как ее муж Иоанн V больше симпатизировал старшему сыну и наследнику Андронику IV. Вероятно, такое отношение к детям со стороны родителей наложило отпечаток и на взаимоотношения между братьями. С детских лет сохранялась привязанность Мануила к младшему брату Феодору[89], в то время как отношения со старшим братом носили конфликтный характер. Разговор с матерью

---

[87] Niceforo Gregora. Fiorenzo o Intorno alla sapienza / trad. P. L. M. Leone. Neapel, 1975.

[88] Елена Палеологина (1333—1397) была дочерью Иоанна VI Кантакузина и женой императора Иоанна V Палеолога (см.: PLP. № 21365). Подробно о Елене Палеологине см.: Кущ Т. В. Елена Кантакузина Палеологина: портрет византийской императрицы // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. Екатеринбург, 2012. № 4 (108). С. 5— 17.

[89] Феодор I, будучи деспотом Мореи, всегда занимал сторону Мануила. После преждевременной смерти младшего брата Мануил составил «Надгробную речь», в которой описал достоинства Феодора. Эта монодия, исполненная горечью утраты, демонстрирует близкие отношения между братьями (см.: Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 77.11).

Мануил ведет в доверительном тоне, не лишенном, однако, царственного уважения. С этой точки зрения «Диалог» — спор близких людей, которые внимательно прислушиваются друг к другу. Как заметил С. Райнерт, «откровенность, интимность этого текста изумительны»[90]. Вся интонация «Диалога» говорит о глубоком уважении Мануила к своей образованной и проницательной матери и его восхищении ею[91].

Странной может показаться сама постановка вопроса, который дебатируется на протяжении всего трактата: нужно ли жениться императору? Ведь для читателя ответ кажется очевидным. Безусловно, правитель должен воспринимать брак не как частный выбор, а как государственное дело. Стабильность и устойчивость власти сопряжены, пусть и опосредованно, с наличием семьи у василевса, поскольку ничто не внушает согражданам такого спокойствия и уверенности в будущем, как гарантия преемственности власти после ухода со сцены правителя, которая позволит избежать смуту, распри и разорения.

В нашем же случае мы имеем дело с точкой зрения человека, занимающего престол и ведущего внутренний диалог, разрываясь между собственными желаниями и общественным долгом. Личное «я» противится браку, в то время как публичное «я» осознает необходимость и неизбежность этого шага из политических и этических соображений. Столкновение частного и публичного, желаемого и должного — суть конфликта, нашедшего отражение в этом диалоге.

В «Диалоге о браке» четко выделяются две линии, тесно переплетающиеся друг с другом: рассуждения автора о необходимости брака для императора и его оценка внутриполитических проблем, вызванных династическим конфликтом.

Обратим внимание, что свое сочинение император посвятил известному политическому деятелю и интеллектуалу Димитрию

---

[90] Reinert S. W. Political Dimensions of Manuel II Palaiologos' 1392 Marriage and Coronation. Some New Evidence // Novum millennium: Studies on Byzantine History and Culture dedicated to P. Speck / ed. by C. Sode and S. A. Takács. Ashgate, 2001. P. 294.

[91] Ibid.

Кидонису[92], который по настоянию Елены Палеологины многие годы был его наставником. Трактат был отправлен Кидонису, находившемуся тогда в Северной Италии. Приведем цитату из письма, которым Мануил сопроводил рукопись: «Это наша работа, написать которую нас настоятельно вынуждали угрожающие нам опасности. Я знаю, что оно порадует тебя более, чем любое из моих прошлых сочинений, донесет до тебя голос людей, говорящих с тобой, ведь ты живешь в чужой стране, людей, кого ты так любил слушать, видеть кого, как ты обычно говорил, было для тебя настоящим наслаждением, и чью компанию ты не променял бы ни на какое богатство. Я буду надеяться, что этот диалог порадует тебя не только этим, но еще и тем, что он может превзойти все, что я написал до сего дня. Итак, если ему суждено добиться успеха, на который я рассчитываю, честь этого принадлежит тебе. Ибо, как говорит твой друг[93]: "Тот, кто посадил семена, отвечает за урожай"»[94].

Посвящение Мануилом трактата своему бывшему наставнику имеет особое значение. Димитрий Кидонис, ярый сторонник безбрачия, считал, что истинный ученый должен быть свободен от семейных уз. Избрав для себя целомудренную жизнь, он пытался привить такое же отношение к браку своим ученикам[95], указывая им, что жизнь истинного философа должна быть свободна от семейных хлопот. В одном из писем к 31-летнему Мануилу он отмечал: «Ты не считаешься мудрецом в отношении женщин и неопытен в этих делах, как и я»[96]. Семейная жизнь отнимает время, уводит от высшего знания в суетные заботы, в силу этого осуж-

---

[92] Dąbrowska M. Ought one to marry? Manuel II Palaiologos' point of view // BMGS. 2007. Vol. 31, № 2. P. 147; Angelou A. The Author // Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress- mother… P. 45; о Димитрии Кидонисе см.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 20—151; Ryder J. The Career and Writings of Demetrius Kydones. A Study of Fourteenth-Century Byzantine Politics, Religion and Society. Leiden ; Boston, 2010.

[93] Мануил цитирует Демосфена.

[94] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 62.

[95] Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos // Byz. 1985. T.55. Fasc.1. S. 230—231.

[96] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 218, 32.

дению, с точки зрения Кидониса, подлежат те, кто озабочен семейными делами и идет на поводу у собственных жен. Кидонис с презрением указывает на то, «сколь сильно мужчины из числа слуг преданы своим женам»[97]. Но заискивание перед женами — не только удел черни. Подобное распространено повсеместно, и окружение императора изобилует теми, кто готов жертвовать своим долгом ради частных интересов и семейных забот: «люди, которые тебя ежедневно окружают, тоже жалуются, что они пренебрегают ради тебя любимыми женами и выставляют напоказ воздержание от философии»[98]. С точки зрения Кидониса, любовь к философии и любовь к женщине — два взаимоисключающие понятия, сосуществование которых в сердце одного человека едва ли возможно.

Стоит заметить, что осуждение брака — устоявшийся штамп в византийской литературе. Так, в «Мазарисе», сатирическом диалоге начала XV в., главный герой горько сожалеет о своей женитьбе: «Ведь в бытность мою холостым я, и ты это знаешь, пользовался подобающей славой и честью, обладал богатством и всеми жизненными благами. Едва я успел жениться (о горе мне!), несчастья стали по пятам преследовать меня, согласно написавшему, что пороки прилипают к добродетелям»[99].

Кидонис собственным примером демонстрировал своим ученикам пренебрежение брачными узами, избрав путь свободного от семейных радостей и тревог философа. Но в том, что касается Мануила, учитель признавал, что наследнику престола необходимо будет сделать иной жизненный выбор, подчиняясь традиции и обязательствам, которые налагает на него императорский статус. Высоко ценя интеллектуальные способности Мануила и его страстное увлечение науками, Кидонис, однако, понимал, что в силу обстоятельств его ученик должен избрать другой жизненный путь.

---

[97] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 218, 29.
[98] Ibid. Ep. 218, 35—36.
[99] Мазарис... С. 96.

Очевидно, и сам Мануил придерживался схожей позиции относительно женитьбы. Он выражал пренебрежительное отношение к браку не только в этой работе. Подобный скепсис обнаруживается и в «Диалоге с мусульманином», который Мануил написал между 1391 и 1392 гг., находясь как турецкий вассал в лагере под Анкарой[100]. Несмотря на свою репутацию холостяка, Мануил вовсе не был женоненавистником, и в его биографии есть страница, связанная с увлечением некой жительницей Венеции во время его пребывания в этом городе (1371) и появлением на свет незаконнорожденной дочери Зампии (Изабеллы)[101]. И все же Мануил долгое время стремился не связывать себя семейными узами, о чем свидетельствует и то, что в брак он вступил лишь в 41 год. Столь поздняя женитьба претендента на престол — довольно редкое явление в императорской семье. А. Ангелу замечает, что «Мануил, должно быть, был убежденным холостяком, кому нужны убедительные аргументы в пользу брака, и затем он женится из чувства крайней необходимости и долга, подобно герою Платоновой Республики»[102]. Можно предположить, что убежденным холостяком Мануил оставался долгое время не без влияния своего учителя, и тот факт, что трактат на тему брака посвящен Кидонису, известному своим неприятием семейных обязательств, подтверждает это.

Но брак Мануила все же состоялся: 10 февраля 1392 г. он женился на Елене Драгаш, дочери сербского господина Константина Драгаша и внучатой племяннице сербского царя Стефана Душана[103]. На следующий день после венчания состоялась коронация

---

[100] См.: Kaiser Manuel II. Palaiologos. Dialog über den Islam und Erziehungsratschlage / hrsg. W. Baum, ubers. R. Senoner. Vienna, 2003. Dialog 7.

[101] О судьбе Зампии имеются некоторые сведения. Она вышла замуж за генуэзца Иларио Дориа, который затем был привлечен Мануилом на дипломатическую службу. См.: Barker J.W. Manuel II Palaeologus... App. 9. P. 475; Dąbrowska M. Ought one to marry? Manuel II Palaiologos' point of view… P. 149; Ganchou Th. Ilario Doria, le gambros génois de Manuel II Palaiologos: beau-frère ou gendre? // REB. 2008. T. 66. P. 71—88.

[102] Angelou A. The Historical Characters // Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress- mother… P. 44.

[103] Reinert S. W. Political Dimensions of Manuel II Palaiologos' 1392 Marriage... P. 291.

нового императора и его молодой супруги[104]. Двоим из родившихся и выживших сыновей от этого брака была уготована судьба стать последними византийскими императорами.

Основная тема, которая лейтмотивом проходит через весь труд, — настоятельная необходимость создания семьи императором. По мнению А. Ангелу, «Диалог о браке» мог быть стилистической переработкой реальной дискуссии или даже ряда их на протяжении нескольких лет[105]. Безусловно, тема женитьбы не могла не всплывать в беседах Мануила с матерью, тем более что с решением матримониального вопроса он явно затягивал. Как сообщает Мануил, его мать всегда ценила узы брака, в то время как он часто придерживался противоположной позиции[106]. Обратим внимание на то, что ставшая предметом обсуждения дилемма «жениться или не жениться» поставлена уже после того, как Мануил II обзавелся семьей и на свет появился его первенец[107].

Мануил в своем сочинении недвусмысленно указывает на то, что именно мать была вдохновительницей его свадьбы. Ее мотивы — естественное для всех матерей желание иметь внуков и видеть продолжение своего рода («видеть детей своих сыновей»[108]). Елена выбрала подходящий момент для женитьбы сына (вступление на престол) и настойчиво убеждала его в пользе брака, прибегая к хитростям и уловкам («ты предприняла несколько хитростей, подталкивая меня к женитьбе»[109]).

Обсуждение столь щекотливого вопроса в начале трактата ведется в нравственно-этических категориях. Император должен

---

[104] См.: Schreiner P. Hochzeit und Krönung Kaiser Manuels II. im Jahre 1392 // BZ. 1967. Bd. 60, H. 1. S. 74; Barker J. W. Manuel II Palaeologus... P. 99—104. Подробное описание коронационных действий оставил русский путешественник Игнатий Смоленский, присутствовавший на церемонии (см.: Majeska G. P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington, 1984. P. 416—436).

[105] См.: Angelou A. The Historical Characters // Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 43.

[106] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 70. 195.

[107] Будущий император Иоанн VIII родился 18 декабря 1392 г.

[108] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 72. 20.

[109] Ibid. P. 70. 212.

служить хорошим примером для тех, кем он призван управлять. С точки зрения государственных интересов, считает Елена, «правитель, не женившись, ставит себя и своих подданных в невыгодные условия»[110]. Императрица-мать признает, что для ученого брак может стать помехой в занятиях философией, но указывает Мануилу, что он прежде всего император: «ты являешься политическим деятелем, но не только — ты являешься правителем и должен быть примером и образцом для своих граждан»[111]. Продолжая рассуждать на эту тему, Елена, замечает, что народ всегда старается подражать своему правителю, и если император отказывается от брака в пользу научных занятий, то он, во-первых, своим примером подспудно навязывает такой же философский взгляд на вещи людям, далеким от ученых занятий, и, во-вторых, его власть может пошатнуться, так как со временем у него «не останется больше подданных»[112]. Она задает сыну риторический вопрос: «Не уменьшится ли время твоего правления, если никто так и не соберется произвести на свет потомство?»[113]. Оправдывая свою позицию, Мануил заверяет, что он не только не будет отговаривать людей от брака, но, напротив, будет убеждать «даже самых ярых холостяков выбрать семейную жизнь», тем более убедить человека воздержаться от создания семьи как раз труднее, чем уговорить его жениться[114].

Принимая в целом точку зрения матери, Мануил задается философским вопросом: зачем ему иметь детей и видеть их страдания, болезни и смерть?[115] Елена, в свою очередь, пытается заставить Мануила думать о приятных сторонах брака и о счастливом будущем детей[116]. Елена напоминает о добродетелях, укреплению которых способствует брак, говорит о том, что женщина, предназначенная быть спутницей жизни для мужчины, может оказать

[110] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 82. 421—422.
[111] Ibid. P. 86. 489—492.
[112] Ibid. P. 88. 497—505.
[113] Ibid. P. 88. 511—512.
[114] Ibid. P. 88. 513—525.
[115] Ibid. P. 96. 658.
[116] Ibid. P. 106. 850—851.

неоценимую помощь своему супругу[117]. Тем не менее Мануил сомневается в правильности сделанного шага: «быть холостяком — это как шторм, но и быть женатым не означает спокойствия»[118].

Переводя спор из сферы рассуждений на тему морально-нравственного облика правителя в плоскость обсуждения текущего положения дел, каждая сторона черпает в сложившейся политической ситуации аргументы в доказательство своей правоты. Мануил уверен, что сейчас не время для брака: «Если дела правителя идут не очень хорошо, если его дни, как кажется, сочтены и всё против него, если его раскачивает анархия, а не ветер (как это часто случается и со мной), такой правитель, матушка, по моему мнению, сделает лучше, если не женится»[119]. Реплика Елены («итак, речь идет не просто о браке, который ты считаешь неподходящим для себя и всех других правителей, а о том, чтобы жениться тогда, когда терпишь неудачи»[120]), резюмирующая все доводы противоположной стороны, служит автору своего рода мостиком для перехода к обсуждению проблемы императорского брака в контексте острой внутриполитической борьбы.

Тема брака скорее стала поводом к рассуждениям на более острые темы, волновавшие Мануила в начале его единоличного правления. Объяснение причин состоявшейся женитьбы императора вылилось в размышления автора о сути переживаемого империей внутридинастического конфликта[121] и о характере императорской власти в период политической дестабилизации.

Путь Мануила II к престолу был труден и тернист: будущий василевс оказался втянут в затяжную борьбу, коснувшуюся всех членов правившей фамилии. Будучи средним сыном Иоанна V, Мануил не мог претендовать на престол, пока был жив его старший

---

[117] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 102. 761; 104. 784.
[118] Ibid. P. 70. 203—204.
[119] Ibid. P. 88. 633—637.
[120] Ibid. P. 96. 650—651.
[121] О междоусобице см.: Кущ Т. В. Внутридинастическая борьба в поздней Византии (по «Диалогу о браке» Мануила II Палеолога) // Урал. ист. вестн. 2011. № 3 (32). С. 35—40.

брат Андроник IV[122], ставший соправителем отца (ὁ σύναρχος) еще в 1355 г. Иоанн V представлял Андроника как наследника престола и в международных соглашениях. Так, согласно проекту унии церквей, предложенному в 1355 г. византийским императором папе Римскому Иннокентию VI, если Иоанн V не выполнит обещания перехода в католическую веру в течение полугода, то его средний сын Мануил будет отправлен в Авиньон заложником, а Андроник, являвшийся соимператором, будет править империей[123].

Однако политические коллизии вывели Мануила на первые позиции в вопросе престолонаследия. После конфликта между отцом-императором и Андроником, вызванного в период путешествия Иоанна V в Италию 1369—1371 гг. нежеланием юного соимператора собирать деньги на покрытие отцовских долгов перед Венецианской республикой[124], Мануил получил титул соправителя 25 сентября 1373 г. в награду за помощь василевсу в оплате долгов кредиторам[125]. До этого Мануил носил титул деспота, самый высокий после императора в поздневизантийской табели о рангах[126], присваивавшийся преимущественно членам императорской семьи. Андроник, лишенный короны, вступил в сговор с Савджи Челеби, наследником турецкого престола, и попытался захватить власть, воспользовавшись участием Иоанна V и Мануила в военной экспедиции турецкого султана Мурада I в Малую Азию. Но эта попытка потерпела крах, Андроник был частично ослеплен, лишен прав на

---

[122] PLP № 21438.

[123] См.: Halecki O. Un empereur de Byzance à Rome. Vingt ans travail pour l'union des églises et pour défense de l'empire d'Orient, 1355—1373. Warszawa, 1930. P. 33; Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565—1453 / bearb. von F. Dölger. München ; Berlin, 1965. Bd. 5: 1341—1453. № 3052.

[124] Иоанн V пытался получить от венецианцев деньги в обмен на передачу им о. Тенедос и даже взял задаток, но Андроник отказался передавать остров и не пожелал собирать средства на покрытие отцовских долгов. Иоанн фактически оказался в Венеции пленником из-за своих долгов (см.: Loenertz R.-J. Jean V Paléologue à Venise (1370—1371) // REB. 1958. Vol. 16. С. 217—230).

[125] Dennis G. T. John VII Palaiologos: «A Holy and just Man» // Βυζαντίο κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νικου Οικονομίδη. Αθήνα, 2003. P. 206.

[126] Поляковская М. А. Поздневизантийская придворная элита в зеркале церемониала // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 228.

наследство и заключен со своей семьей в башне Анема[127]. На ослеплении заговорщиков настаивал султан Мурад I, неумолимый к своему наследнику. Савжди Челеби не перенес наказания и скончался в муках от полученных ран. Но Иоанн V проявил великодушие к собственному сыну. Испанский дипломат и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо, побывавший в Константинополе в 1403 г. по пути ко двору Тимура, повествует о наказании, которое постигло строптивого Андроника IV: «Император пожалел своего сына и не выколол ему глаза, а приказал заточить в темницу, очень глубокую и темную, и там лишил его зрения при помощи раскаленных кружек для пожертвований[128]. И когда сын уже пробыл некоторое время в заточении, отец разрешил, чтобы его жена находилась при нем в темнице»[129]. Вскоре сердце отца смягчилось, и он приказал перевести мятежного сына из Анемы, считая пребывание там слишком тяжелым наказанием, в монастырь Кавлеос (μονή τοῦ Καυλέως), где тот продолжал содержаться под стражей.

Новый виток противостояния начался в августе 1376 г., когда Андронику удалось бежать из заточения[130]. Он нашел поддержку

---

[127] Michaelis Ducae nepotism Historia byzantine / rec. I. Bekker. Bonnae, 1834. P. 44.22—45.1; см.: Dölger F. Zum Aufstand des Andronikos IV. gegen seinen Vater Johannes V. im Mai 1373 // REB. 1961. T. 19. P. 328—332; Loenertz R. La première insurrection d'Andronic IV Paléologue, 1373 // EO. 1939. Vol. 38. P. 342—345; Радић Р. Време Іована V Палеолога (1332—1391). Београд, 1993. С. 305—314, 350—354, 387—403. О башне Анема см.: Кущ Т. В. Узники башни Анема // IV Междунар. Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» : тез. докл. и сообщ. Севастополь, 2012. С. 24—26.

[128] Андроник не потерял способность видеть, и его зрение постепенно восстановилось (см.: Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem / rec. I. Bekker. Bonnae, 1843. 60.21—61.1). По одной из версий, Андронику удалось вернуть зрение после побега в Галату при помощи генуэзцев (см.: Charanis P. The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370—1402 // Byz. 1942—1943. Vol. 16. P. 293), по другой, его жена, навещавшая его в тюрьме и приносившая лекарства, помогла ему избежать потери зрения (см.: Клавихо Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406) / пер. со староисп., предисл. и коммент. И. С. Мироковой. М, 1990. С. 44).

[129] См.: Клавихо Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд… С. 44.

[130] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken. Wien, 1975. Chr. 9/31.

в Галате у генуэзцев, недовольных сотрудничеством Иоанна V с их соперниками — венецианцами. Помощь мятежному сыну императора оказали и турки, осадившие Константинополь. Заняв столицу при поддержке части жителей города, Андроник IV провозгласил себя василевсом ромеев.

Иоанн V с сыновьями, Мануилом и Феодором, оказались в тюрьме Анемы[131]. Историк Дука писал о тех событиях: «Многие дни вели войну отец против сына и сын против отца, вызывая отвращение ромеев и гнев Бога. Принеся ужаснейшие клятвы, рождающие преступление, Андроник вошел в город и провозгласил себя василевсом ромеев. Своего отца и братьев Мануила и Феодора он запер в башне, в которой ранее сам побывал, подобно тому как Зевс бросил в Тартар своего отца Кроноса и братьев Плутона и Посейдона, а сам стал царствовать»[132].

Находясь под стражей, узники не без основания опасались за свои жизни. Димитрий Кидонис, намекая на возможность их убийства под покровом ночи, сообщал в одном из писем той поры, что жители столицы, ложась каждый вечер спать, были готовы услышать с первыми лучами солнца дурные известия[133]. Лаоник Халкокондил сообщает, что Андроник IV не захотел убивать узников, хотя султан постоянно советовал ему это сделать[134].

Темница, по образному выражению Мануила II Палеолога, была «больше похожа на могилу»[135]. Позднее он так вспоминал о своем пребывании в тюрьме: «Пока мы находились в заключении без малого три года, многие недуги овладели нами, доставляя беспокойство, не щадя ни тело, ни душу… У нас не было надежды на освобождение, и обстоятельства вынуждали нас ненавидеть даже саму жизнь, которой другие дорожат, потому что для нас она была полна страдания»[136].

---

[131] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... T. 1. Chr. 7/17, 22/17.
[132] Michaelis Ducae nepotism Historia byzantine... P. 45. 5—14.
[133] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 167. 38—40.
[134] Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem... P. 63. 2—4.
[135] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 107. 20.
[136] Ibid. P. 105. 5—10.

Несмотря на все тяготы жизни в неволе, узникам удавалось находить себе занятия, доставлявшие им радость и позволявшие сохранять присутствие духа. Мануил II в письме к своему другу Алексею Ягупу рассказывает, как его увлекли научные штудии, которым он предался в заточении:

> В тюрьме я находился вместе с отцом-василевсом и братом. Нам необходимо было, как и любому мужу в таких обстоятельствах, найти себе какие-либо занятия для того, чтобы, посвятив им свободное время, по крайней мере несколько развеять облако охватившего нас отчаяния и не капитулировать перед бедами, как реальными, так и ожидаемыми, что, конечно, было бы недостойно человека. Поэтому мне тогда показалось хорошей мыслью заняться непрестанным чтением книг днем и ночью, конечно, после выполнения моей обязанности перед Богом (молитвы. — *Т. К.*). Но почему я говорю днем? Там вечно царила мрачная ночь. Поэтому любой, кто брался за подобное занятие, вынужден был пользоваться светильником. Наша тюрьма гасила для нас даже полуденные лучи так же успешно, как где-то на земле ночь гасит их для тех, кто находится на свободе. Лишенный наставника, я не смог далеко продвинуться в постижении многочисленных и достойных трудов. Но тем не менее благодаря регулярности занятий, страсть к наукам глубоко вошла в мою душу. Она настолько полно мною овладела, что сделала меня не просто любителем этих занятий, но одержимым ими[137].

Тем временем Андронику IV приходилось расплачиваться с теми, кто помог ему взойти на трон. Димитрий Кидонис писал об этом Иоанну Ласкарису Калоферу следующее:

> Турки, это давнее зло, наседают на нас все сильнее, осмелев благодаря союзу с юным императором против его отца. Они получили Галлиполи в качестве награды за это и еще многое другое из нашей собственности; в придачу они загребли так много денег, что трудно даже сосчитать, и еще утверждают, что не получили достаточного вознаграждения за свою помощь. Более того, они повелевают нами, и мы должны им во всем повиноваться, а если мы не подчинимся их указаниям, то рискуем оказаться в заточении. Мы все оказались у них в рабстве. К этому присоединилась борьба генуэзцев с венецианцами. Первым император обещал уступить Тенедос, когда скрывался у них после побега из заключения. Но венецианцы еще раньше завоевали тот остров и теперь владеют им и всеми тамошними укреплениями, припасами, войсками, оружием — всем, что делает крепость неприступной и

---

[137] Barker J. W. Manuel II Palaeologus... App. 23 : Manuel's Letter-Discourse to Alexius Iagoup. P. 530. Lin. 60—70.

позволяет владеть островом… Однако невозможно удержать в спокойствии генуэзцев, пока их противники владеют Тенедосом. Они полагают, что будут изгнаны с Черного моря со всеми своими прибыльными торговыми факториями, а для них это даже хуже, чем если бы их изгнали с родины. Поэтому они подумывают о том, чтобы напасть на остров с помощью трирем, осадных машин и всех других военных приспособлений. Но они также требуют у императора вести сообща с ними войну. Иначе, говорят, будут считать, что он сговорился с венецианцами против них. И император, который не хочет попасть под такое подозрение, согласился помочь им в их борьбе и поставляет им теперь, несмотря на нашу величайшую бедность, оружие, снаряжение, военные машины, корабли и вынужден оплачивать наемников[138].

Вновь ситуацию радикально изменил побег Иоанна V с сыновьями. Обратившись за помощью к султану, он вернул себе престол 1 июля 1379 г., вынудив Андроника искать убежища в Галате. Однако сложная внешнеполитическая ситуация — продолжавшаяся венецианско-генуэзская война и давление со стороны турецкого султана Мурада I — вынудила конфликтующие стороны искать компромисса и примирения. В 1381 г. Андроник получил Силимврию и был признан наследником, вновь оттеснив от наследования престола Мануила, который был вынужден довольствоваться управлением Фессалоникой[139].

Несмотря на достигнутое перемирие, Андроник вскоре опять выступил против отца. Об этом Кидонис так писал Мануилу II, находившемуся в осажденной турками Фессалонике: «Но другие (невзгоды. — *Т. К.*) вновь одолевают нас как лихорадка: это старое и в то же время новое зло — я имею в виду войну, которую природа ведет сама с собою»[140]. И далее он отмечал, что император вынужден «защищать свою жизнь от собственного сына»[141].

Но Андроник был вскоре разбит и умер в Силимврии 28 июня 1385 г. С этих пор Мануил мог рассчитывать на импера-

---

[138] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 167. 13—34.

[139] Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382—1387. Roma, 1960.

[140] Кидонис имеет в виду под природой, «ведущей войну сама с собой», кровное родство противников (Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 308. 17—18).

[141] Ibid. Ep. 308. 25.

торскую корону по праву первенства. Однако смерть Андроника завершила лишь первый круг династического противостояния.

«Диалог» освещает события, относящиеся ко второму периоду междоусобиц, когда при поддержке султана Баязида I о своих правах на трон заявил сын покойного Андроника — Иоанн VII[142]. Мануил II дает ему резко негативную характеристику, изобличая своего племянника в самонадеянности, притворстве, лицемерии, вероломстве и враждебности. Василевс понимал угрозу, исходившую от его действий: «Мой ненавистный племянник — это самый худший жребий для ромеев и наказание для него самого: он делает то, что, как он считает, приведет его к власти, но на самом деле то, что он делает, приведет к рабству»[143].

Вмешательство турок во внутренние дела Византии, считал автор «Диалога», расшатывает и без того хрупкое политическое равновесие в стране. Мануил называет Баязида I своим личным врагом: «Кто на земле не знает, как он живет, насколько он богат, насколько он самонадеян, мой многоликий враг… насколько он охвачен яростью, когда кровожадно дышит и, оскалившись, рычит на меня»[144]. Император, характеризуя вероломство и клятвоотступничество султана («это его привычка — клясться теми вещами, которые он не может выполнить, поэтому если ему нужно отречься от своей клятвы, он может найти этому множество объяснений»[145]), сожалеет, что его племянник находится с ним в сговоре. Как замечает Мануил, султан может «позволить моему племяннику получить столицу в качестве дара»[146].

С турецкой помощью в апреле 1390 г. Иоанн VII вошел в Константинополь, но смог удержать власть только шесть месяцев. В очередной раз правящий дом оказался в водовороте династического

---

[142] См.: Dölger F. Johannes VII., Kaiser der Rhomäer // BZ. 1931. Bd. 31. S. 21—36; Wirth P. Zum Geschichtsbild Kaiser Johannes VII // Byz. 1965. Vol. 35. P. 592—600; Dennis G. T. An Unknown Byzantine Emperor, Andronicus V Palaeologus // JÖB. 1967. Bd. 16. S. 175—187.

[143] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 98. 698—701.

[144] Ibid. P. 98. 688—691.

[145] Ibid. P. 100. 714—716.

[146] Ibid. P. 98. 711.

конфликта. В сентябре 1390 г. Мануил при поддержке госпитальеров с о. Родос изгнал племянника, вынудив его вернуться в Силимврию, находившуюся в вассальной зависимости от султана.

28 июня 1391 г. умер Иоанн V, и Мануил поспешил занять престол, не давая племяннику шанса захватить власть. Коронация Мануила II состоялась в феврале 1392 г., но Иоанн VII не отказался от притязаний на императорскую корону.

В период 1392—1394 гг. Мануил и Иоанн вынуждены были искать компромисса, чтобы противостоять турецкой угрозе. Как вассалы султана они оба принимали участие в малоазийском походе турок в 1391—1392 гг. Для Мануила было тяжким испытанием вынужденное участие в военных кампаниях своих врагов: «Для нас особенно невыносима обязанность сражаться вместе с теми и за тех, чье усиление уменьшит наши собственные силы»[147]. Во время малоазийского похода в 1391 г. перед взором императора открылась печальная картина упадка и разрушения территорий, некогда принадлежавших империи[148].

По требованию Баязида оба прибыли зимой 1393—1394 гг. в г. Серры в ставку султана, где им угрожала смертельная опасность, которой лишь чудом удалось избежать[149]. Это заставило их предпринять попытку договориться. Мануил согласился считать наследником Иоанна VII, который, в свою очередь, признал за сыном Мануила Иоанном (будущим Иоанном VIII) право на престол. Мануил упоминает в «Диалоге» и о соглашении с племянником — соглашении, которым император надеялся разрешить династический спор: «Я с радостью позволил ему считать моего первенца за сына, я поставил общий интерес выше интересов моего сына — и правильно. Что касается его [племянника], то я принял его как сына»[150]. Однако примирение было непрочным, поскольку Иоанн пытался за спиной дяди получить помощь от турок. Вероятно, об

---

[147] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 19. 8—10.

[148] Ibid. Ep. 16. 27—39.

[149] Об этих событиях Мануил II повествует в речи, составленной им на смерть брата Феодора (см.: Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... 137.5—141.9).

[150] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 112. 927—929.

этом и говорит император, указывая, что его племянник постоянно плетет интриги и доверяется главным врагам империи — туркам: «Может, Вы помните время, когда он имел обыкновение говорить о том, что сожалеет о содеянном, — это было притворство, и когда он в своих словах сердечно одобрял мир и обещал, что в будущем он будет как любящий сын. И он делал в тайне все эти вещи, в то время как он хитро доверялся нашим худшим и нечестивым врагам, которые тогда были с нами в мире и согласии. В его планах было разозлить их и вызвать настоящую войну. Он таким образом проявил бы свою враждебность, которую долгое время питал в отношении нас»[151]. Доказательством измены стало попавшее в руки Мануила письмо племянника Баязиду с заверениями в верности и преданности султану[152]. «Разрушением империи — империи, в которой он мечтает править, он по существу уничтожит себя самого или, если сказать по правде, уже сделал это», — резюмирует Мануил[153].

О срыве внутридинастических договоренностей говорит и Елена, предупреждая Мануила о возможной угрозе, исходящей от племянника: «Ты должен быть осторожен, мой дорогой, чтобы, раз такой порядок наследования не был принят, тебя не свергли и он не занял бы твое место до окончания твоего времени»[154]. Иоанн не отказался от своих амбиций, более того, участвовал в турецкой осаде Константинополя[155], начавшейся в 1394 г. и усилившейся зимой 1396—1397 гг. Угроза правлению Мануила II была настолько велика, что венецианский сенат даже дал 4 февраля 1397 г. инструкцию своему командующему эскадрой, как действовать в случае, если по желанию Баязида Иоанн окажется на византийском троне[156].

Елена в «Диалоге» обращает внимание сына на заговоры, которые плетет его соперник: «Он постоянно затевает всяческие

---

151 Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 110. 919—925.

152 Ibid. P. 98. 703—704.

153 Ibid. P. 98. 701—703.

154 Ibid. P. 112. 941—943.

155 Софийская первая летопись // Полное собрание русских летописей. СПб., 1851. Т. 5. С. 246.

156 См.: Thiriet Cf. F. Régestes des Délibérations du sénat de Venise concernant la Romanie. P., 1958. Vol. 1, № 932. P. 218.

интриги против тебя»[157]. Она призывает Мануила вспомнить уроки истории: «Ты, конечно, найдешь, если поищешь, многих, кто был лишен либо трона, либо жизни теми, кого они сами с радостью провозглашали наследниками своей власти»[158]. Иоанн, по выражению Елены, «учится всеми способами присваивать власть»[159] и на каждом углу кричит, что он «больше заботится об империи, чем ты»[160], настраивая сограждан против василевса.

Опасность может исходить и непосредственно из императорского окружения, поскольку часть приближенных способна переметнуться на сторону Иоанна, который не скупится на обещания («он бы не пожалел обещаний, подарков, наград, чтобы убедить их с готовностью прейти на его сторону»[161]), стремясь подкупом добиться расположения и поддержки у знатных и влиятельных особ: «Множество твоих близких сторонников, даже до того, как он примет власть, могут стать его друзьями»[162]. Неуверенность в собственном окружении и ожидание возможного предательства свидетельствуют о шатком положении императорской власти и слабой поддержке василевса его приближенными, с легкостью принимавшими в период междоусобицы сторону победителя.

В условиях постоянно существовавшей опасности заговора со стороны непокорного племянника женитьба императора была тактически необходимой, поскольку ограничила бы политическую угрозу и позволила избежать нового витка гражданской войны, на что и указывает в «Диалоге» императрица. Женившись и произведя на свет наследника, Мануил помешал бы Иоанну унаследовать престол в случае своей скоропостижной смерти. Елена предостерегает сына, что Иоанн может склонить союзников Мануила к измене, используя в качестве аргумента именно страхи, вызванные отсутствием у императора прямых наследников. Елена указывает,

---

[157] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 110. 898—899.
[158] Ibid. P. 114. 973—975.
[159] Ibid. P. 114. 981—982.
[160] Ibid. P. 114. 984—985.
[161] Ibid. P. 114. 967—969.
[162] Ibid. P. 112. 954—955.

что у Иоанна есть преимущество перед императором — юный возраст: «Ты уже возмужал, но человек, который не перестает бороться с тобой (кто еще как не твой племянник?) только лишь пересек рубеж 20 лет или около того. Естественно, ты должен покинуть этот мир раньше, чем он. Должно ли случиться так, что этот человек однажды получит скипетр в руки, если у тебя не будет детей?»[163]. Именно поэтому мать убеждает Мануила в необходимости позаботиться о продолжении рода, дабы укрепить права на престол: «Если бы у тебя были дети, ты имел бы меньше интриг»[164]. Елена предупреждает сына об опасности холостяцкого статуса, который делает его уязвимым в условиях конфронтации с Иоанном VII. Очевидно, Елена не испытывала любви к внуку, который походил на Палеологов и так мало напоминал Кантакузинов[165].

Елена, «женщина проницательного ума и настоящий ветеран династической политики», по выражению С. Райнерта[166], пытается предотвратить потенциальную опасность заговора, нацеленного на свержение законного правителя. Цель матери — убедить Мануила в необходимости вступления в брак. Она говорит о преемственности власти и о его долге перед государством, подчеркивая, что в соперничестве между ним и его племянником появление наследников станет весомым аргументом в пользу Мануила. По мнению матери, женитьба была бы тактически благоразумной, чтобы ограничить политическую угрозу и избежать нового витка гражданской войны. Этот главный довод и вынудил Мануила признать в споре свое поражение.

---

[163] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 110. 911—915.

[164] Ibid. P. 116. 995—996.

[165] Брак между Иоанном V Палеологом и Еленой Кантакузиной трудно назвать счастливым. Их свадьба была политическим проектом, призванным поставить точку в гражданской войне и примирить враждующие стороны. Ожидать безоблачной семейной жизни от этого союза было бы наивно. Кроме того, согласно Дуке, Иоанн посвящал слишком много времени другим женщинам (см.: Ducas. Historia Byzantina / ed. I. Bekker. Bonn, 1834. 44).

[166] См.: Reinert S. W. Political Dimensions of Manuel II Palaiologos' 1392 Marriage... P. 295.

«Диалог» появился именно в тот период, когда обострились не только внутридинастические проблемы, но и осложнилась внешнеполитическая ситуация в результате осады Константинополя Баязидом I и победы турок при Никополе (1396), где ими были разбиты отряды европейских рыцарей.

Угроза новой усобицы усугубляла и без того бедственное положение империи. Мануил прекрасно осознавал бремя ответственности, которое лежало на его плечах. В «Диалоге» устами матери он формулирует главную задачу, стоявшую перед императором: «Так сложилось, что сейчас стабильность является именно тем, чего желает и о чем больше всего заботится правитель»[167]. Он, человек, «призванный Богом править»[168], напоминает себе тех, кто «борется с враждебным им временем, — тех, кто имеет множество врагов за рубежом и столько же интриганов дома»[169]. Свое правление он сравнивает с плаванием в бушующем море, а себя — с рулевыми, стремящимися в шторм удержать на плаву корабль: «Те, кто стоял у штурвала в тот момент, когда время бросало их корабль на скалы и сильные ветра ломали снасти, те, кто выстоял против ледяных волн и пиратов, с опасениями рассматривая то, что лежит над поверхностью моря, не имея никакой возможности скрыться в спасительной бухте поблизости, да вдобавок если все это случилось в безлунную ночь, полную темных, грозовых облаков, предвещавших смертельный ураган»[170]. Мануил четко определяет свой долг: «Обязанность правителя и императора — избежать любой опасности, дабы спасти свой народ, и с легкостью умереть, как только свобода окажется под угрозой и вера подвергнется опасности»[171].

Несмотря на ожесточенное противостояние Мануила II и Иоанна VII, им все же в конце концов удалось договориться. Во время поездки Мануила в Западную Европу (1399—1403) в поисках союзников Иоанн VII правил в столице как василевс. По воз-

[167] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother…P. 88. 504—505.
[168] Ibid. P. 96. 645.
[169] Ibid. P. 96. 647—649.
[170] Ibid. P. 96. 661—666.
[171] Ibid. P. 98. 695—698.

вращении Мануила реальная власть вновь перешла к нему, а Иоанн сохранил императорский титул, статус соправителя и получил во владение Фессалонику[172] и о. Лемнос, не помышляя более об императорском пурпуре.

Почему Мануил написал «Диалог о браке», когда уже был женат и даже имел наследника? По мнению М. Дабровской, Мануил все еще сомневался, правильно ли он поступил, женившись[173]. Действительно, время появления трактата и аргументация, использованная для обоснования необходимости брака для правителя, наводят на мысль, что «Диалог» стал для Мануила II способом оправдания своего решения: как частное лицо он предпочел бы холостяцкую юдоль, но, будучи облеченным властью, вынужден был подчиниться общественному долгу. «Диалог» составлен не для того, чтобы обсуждать *pro et contra* брака как такового, а чтобы объяснить решение василевса о создании семьи с позиций династических интересов и необходимости иметь наследника мужского пола. Выбор, как показывает анализ сочинения, оказался болезненным для императора, вынужденного не следовать собственному призванию, а подчиниться общественной необходимости.

Спустя два десятилетия после написания «Диалог» был переработан Мануилом[174] для своего преемника Иоанна VIII. Целью новой редакции было желание императора убедить сына в необходимости задуматься о будущем династии[175]. Мануил хотел объяснить

---

[172] Mešanović S. John VII Palaiologos in Thessalonica // Βυζαντινὸς Δομός. Περιοδικὸ Μεσαινικῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ. 1995—1997. Vol. 8/9. P. 75—92.

[173] Dąbrowska M. Ought one to marry?... P. 153.

[174] По версии А. Ангелу, диалог был переработан в период с 1417 по 1425 г. (Angelou A. The Date // Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother… P. 22); по мнению М. Дабровской, сочинение подверглось правке еще в 1414—1415 гг. (Dąbrowska M. Ought one to marry?... P. 154).

[175] Иоанн первым браком был женат на дочери великого князя Московского Василия I Анне, которая прибыла из Москвы в 1414 и умерла в 1417 г. Второй, неудачный, брак с Софией Монферратской, лицо которой было изуродовано, также продлился недолго (1421—1426). Третий брак был заключен вскоре после развода в 1427 г. с Марией Трапезундской, которая покорила сердце императора своей красотой. Все эти браки оказались бездетными (см.: PLP. № 21481).

наследнику, почему правителю необходимо иметь преемника, и напоминал ему о существовании его пятерых братьев, имевших не меньше политических амбиций, чем когда-то их кузен.

Почву для подобных конфликтов создавала размытость принципа передачи власти, не исключавшего, с одной стороны, династической преемственности, но, с другой стороны, рождавшего соперничество внутри правящего дома. Французский исследователь Ш. Диль считал отсутствие в Византии строгой системы престолонаследия «тяжким конституционным пороком»[176], а Ж. Дагрон назвал проблему преемства, которая так до конца и осталась неразрешенной, «болезненной раной»[177]. По мнению И. П. Медведева, в Византии все же сложился принцип престолонаследия, установленный синодальным актом 24 марта 1171 г., согласно которому к трону призывались мужчины мужских линий в порядке первородства и последовательного заступления линий[178]. Возможно, в поздней Византии эта система и работала (действительно, власть передавали сыновьям по старшинству), но все же правители стремились еще при жизни объявить соимператором своего наследника, используя древний институт соправительства как инструмент передачи власти. Это может свидетельствовать, по нашему мнению, о том, что четкая система престолонаследия так и не закрепилась в политической практике.

Как показывает анализ внутридинастического конфликта, нашедшего отражение в трактате Мануила II Палеолога, отсутствие четкой системы престолонаследия и вмешательство турок во внутренние дела империи делали власть императора весьма уязвимой. Отсутствие же у правителя семьи и наследников еще больше ослабляло его позиции, создавая почву для притязаний соперников, готовых в политической борьбе использовать любую выгоду.

---

[176] См.: Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947. С. 62.

[177] Dagron G. Empereur et prêtre: étude sur le «césaropapisme» byzantin. P., 1996. P. 40 (рус. пер.: Дагрон Ж. Император и священник: этюд о византийском «цезарепапизме». СПб., 2010. С. 35).

[178] См.: Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. С. 51—55.

Мануил II, который в «Диалоге о браке» попытался дать оценку длительной конфронтации со своим племянником, четко определил также проблемы, стоявшие перед императором. Задача правителя, как ее понимал Мануил II, — являть своим подданным образец для подражания, сохранять мир в империи, гарантировать преемственность власти и обеспечивать стабильность политического курса в неблагоприятных для страны условиях, ибо гражданская война, говоря словами Мануила, подобна гангрене (γαγγραίνης)[179]. Брак и появление наследника — один из факторов, способных обеспечить устойчивость императорской власти в условиях тлеющего конфликта[180], поскольку лишают соперника весомого аргумента в династическом противостоянии.

Чума как фактор дестабилизации византийского общества

«Всякое время оставляет после себя гораздо больше следов своих страданий, чем своего счастья. Бедствие — вот из чего творится история»[181]. Этими словами Й. Хейзинга отметил важную особенность источников, которые чаще хранят память о печальных и трагических событиях, нежели о благополучных периодах человеческого существования. В полной мере это утверждение справедливо и для поздневизантийских источников[182]. Исторические сочинения, риторические трактаты и хроники поздней Византии изобилуют сообщениями о невзгодах, нашествиях, усобицах и скупы на радостные известия. Безусловно, жизнь людей не была соткана из одних только несчастий и горестей, но именно бедствия рождали более острую рефлексию, удостаиваясь особого внимания авторов.

---

[179] Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother…P. 110. 892—993.

[180] Кущ Т. В. Матримониальный путь укрепления императорской власти: рассуждения Мануила II Палеолога о браке // СВ. 2012. Вып. 73 (1/2). С. 90—91.

[181] Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С. 33.

[182] См., в частности: Бибиков М. В. К социально-психологическому анализу писем Григория Кипрского: бедность, бедствия, болезнь // ВВ. 1995. Т. 56 (81). С. 57—62.

Природные катаклизмы (засухи, землетрясения, наводнения), голод и болезни, которые обрушивались на растерзанную империю, будоражили умы людей, приводя в ужас своей разрушительной силой и усугубляя эсхатологические предчувствия. Несчастья и недобрые знамения, внушавшие страх и вызывавшие священный трепет, обостряли у современников ощущение трагичности переживаемого времени. Обратимся к одному из главных бедствий Византии второй половины XIV — XV в. — эпидемии чумы, повторявшиеся вспышки которой добавляли печальные штрихи в общую картину драматического века.

Бедственное положение в стране было определено не только развалом экономики, внутридинастическими неурядицами и агрессией со стороны турок, но и эпидемиями, которые периодически навещали империю в последнее столетие ее истории. Чума, наносившая ущерб не меньший (если не больший!), чем войны, сыграла свою роль в углублении кризиса, охватившего империю[183]. Только учитывая фактор этого бедствия, можно представить себе более рельефно картину поздневизантийской действительности и оценить в полной мере всю сложность существования империи в то время.

Византия в середине XIV в. впервые за многие столетия оказалась в орбите чумного поветрия, коснувшегося, как известно, всех уголков Старого Света. С этого времени эпидемии стали постоянным явлением византийской действительности. На протяжении следующего столетия чума посещала империю почти два десятка раз, около четверти века прошли под знаком этого бедствия[184]. Но прежде чем перейти к рассмотрению того, как данное явление описывалось в трудах интеллектуалов поздней Византии, коснемся сначала общей канвы этих событий, ставших трагедией общеевропейского масштаба.

В XIV в. эпидемия чумы, известная как «черная смерть», охватила всю ойкумену, приобретя характер пандемии. Очаг ее образо-

---

[183] См.: Кущ Т. В. «Черная смерть» в Византии как фактор дестабилизации общества // Изв. Урал. гос. ун.та. 2008. № 59. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып. 16. С. 6—17.

[184] См.: Кущ Т. В. Чума в поздней Византии // ВВ. М., 2008. Т. 67 (92). С. 38—56.

вался в 1320 г. в пустыне Гоби, откуда и началось смертоносное шествие болезни через всю Азию в Европу. Золотую Орду заболевание захлестнуло в 1341—1342 гг., став причиной сокращения населения и полного паралича власти[185]. От татар чума была занесена в Египет и Северное Причерноморье, поразив в том числе генуэзские колонии в Крыму[186].

О дальнейшем маршруте движения морового поветрия, совпадавшем с традиционными торговыми путями, сообщает византийский автор Никифор Григора: «в это время обрушилась на людей тяжелая и чумная болезнь, начиная со скифов[187], и Меотиды, и бухты Танаиса, установилась тогда весной и продержалась весь тот год, переходя и опустошая жилища в приморских землях, города вместе с деревнями, и нашу страну и прилегающие, распространившись до Гадира и Геркулесовых столпов. В следующем году перешла она и на острова Эгеиды. Затем достигла и родосцев, и киприотов, и все другие населенные острова»[188]. На тот факт, что чума пришла в империю из Северного Причерноморья, указывал также Иоанн Кантакузин, заметивший, что чума «началась от скифов Гипербореи»[189]. Кантакузин, описывая путь ее продвижения, отмечал, что «она не только прошла по Понту, Фракии и Македонии, но и по Элладе, Италии, всем островам, Египту, Ливии, Иудее, Сирии и почти по всему кругу ойкумены»[190].

Из Византии генуэзские галеры разнесли эпидемию в 1348 г. по прибрежным городам Италии. Из Италии вслед за торговыми караванами чума перетекла во Францию, Испанию, Германию, Англию

---

[185] См.: Schamiloglu U. Preliminary Remarks on the Role of Disease in the History of the Golden Horde // Central Asian Survey. 1993. № 12. P. 447—457.

[186] См.: Aberth J. The Black Death: the Great Mortality of 1348—1350. N. Y., 2005. P. 13.

[187] Григора называет «скифами» татар (Moravcsik G. Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Berlin, 1958. Bd. 1. S. 281).

[188] Nikephori Gregorae Historia Byzantina / ed. L. Schopen ; E. Bekker. 3 Vols. Bonn, 1829—1855. Vol. 2. 797.17—798.2.

[189] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV / ed. L. Schopen ; E. Bekker. 3 Vols. Bonn, 1828—1832. Vol. 3. 49.16—17.

[190] Ibid. Vol. 3. 49.19—22.

и дальше во все остальные части Европы. Из Германии по Балтийскому морю эпидемия перекинулась на Скандинавию, Польшу и Русь, замкнув тем самым свое кругосветное путешествие. Странствие чумы по Европе наглядно демонстрирует географию и направления средневековой торговли.

Контурно очертив пути распространения по Европе чумного поветрия, обратимся теперь к рассмотрению того эффекта, который произвела эпидемия в византийских землях, оказавшихся в эпицентре трагических событий и первыми из европейских стран принявших удар этого страшного бедствия.

О чуме, которая на протяжении нескольких столетий не касалась Византии[191], источники вновь настойчиво заговорили с середины XIV в., когда она опять появилась в империи, чтобы непрестанно терзать ее на протяжении всего последующего столетия. В поздневизантийских текстах можно встретить упоминания об этой болезни под разными названиями: чумная болезнь (ἡ λοιμώδης νόσος[192], τὸ λοιμῶδες νόσημα[193], ἡ λοιμική νόσος[194]), эпидемия (τὸ θανατικόν[195]), мор (ἡ θνῆσις[196]) или просто болезнь (τὸ νόσημα[197], τὸ πάθος[198]). Но как бы ни именовали авторы это заболевание, их сообщения касались одно и того же бедствия — чумы (ὁ λοιμός)[199].

Для средневекового сознания страх перед болезнями и эпидемиями был одной из повседневных фобий, напоминавшей о брен-

---

[191] С VIII в. чума давала о себе знать лишь спорадически.

[192] Ducas. Historia Turcobyzantina… 30.7; 44. 2.

[193] Nikephori Gregorae Historia… II. 797. 17.

[194] Ducas. Historia Turcobyzantina… 20. 3.

[195] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 7/14; 33/6; 89/1—5.

[196] Chronologische Einzelnotizen // Schreiner P. Die Byzantinischen Kleinchroniken... T. 2. S. 611. № 44.

[197] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 88. 46.

[198] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 8.

[199] См., например: Joannis Cantacuzeni Historiarum libri...III. 49; Démétrius Cydonès. Correspondance... 100. 14; 110. 28; The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 20.19; Ducas. Historia Turcobyzantina… 18. 3; Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 106.2; Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον ἐν ἱστορίας τύπῳ τὰ νεωστὶ αὐτοῦ γεγονότα διηγούμενος θαύματα // Balfour D. Politico-historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. Σ. 56. 33.

ности человеческого существования. Не случайно образы эпидемии и мора в византийских текстах сопровождались ссылками на библейские тексты[200], что усиливало эсхатологический эффект[201]. Пророчества христианских авторов предвещали болезни и массовую смерть в наказание за грехи людские. В эпидемиях, как и в других катаклизмах, видели предзнаменования будущего конца света. Алексей Макремволит в своем «Плаче на разрушение Святой Софии», написанном в 1346 г. незадолго до начала «черной смерти», в риторически-напряженной форме перечислял знамения грядущего конца света, которые виделись ему в бедствиях и природных явлениях, ниспосланных Богом: «Не тучи ли саранчи, затмевавшие солнце, и все насаждения, и траву? Не камни ли града… угрожавшие всем? Не разливы ли рек и ливни, все уносящие и все уничтожающие? Не голод ли и эпидемия, совершенно истребившие дома, уничтожившие и предавшие смерти деревни и города? Не землетрясения ли, взрывы и страшные раскаты, сотрясавшие дома и разрушившие крыши домов, стены городов и земельные наделы?»[202] Среди знамений природного происхождения автор упоминал также голод и эпидемию, предвосхищавшие конец света. Эсхатологические ожидания Макремволита, в концентрированном виде выраженные в этом сочинении[203], подкреплялись знамениями, которыми «предвещал Творец приближение к концу его»[204]. Эпидемии чумы, которыми были отмечены следующие десятилетия, подтверждали опасения многих авторов.

---

[200] «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это начало болезней» (Мф. 24 : 7—8); «будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления и великие знамения с неба» (Лк. 21 : 11).

[201] См.: Kuruses St. J. Αἱ ἀντιλήψεις περὶ τῶν ἐσχάτων τοῦ κόσμου καὶ ἡ κατὰ τὸ ἔτος 1346 πτῶσις τοῦ τρούλλου τῆς ἁγίας Σοφίας // ΕΕΒΣ. 1969—1970. Τ. 37. Σ. 211.

[202] ᾿Αλέξιος Μακρεμβολίτης. Εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν πεσοῦσαν ὑπὸ πολλῶν κατὰ συνέχειαν γενομένων σεισμῶν // ΕΕΒS. 1969—1970. Τ. 37. Σ. 236. 16—25.

[203] См.: Поляковская М. А. Эсхатологические представления Алексея Макремволита // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 87—98.

[204] Αλέξιος Μακρεμβολίτης. Εἰς τὴν ἁγίαν Σοφίαν πεσοῦσαν… Σ. 235. 5—6.

Первая вспышка чумы в Византии приходится на осень 1347 г. В Константинополь болезнь была занесена из Кафы, колонии генуэзцев в Крыму[205]. Кафа, осажденная татарами, уже была охвачена эпидемией, которая оттуда на торговых галерах перебралась в византийские владения. В течение 1347—1348 гг. чума свирепствовала почти во всех греческих землях. Этот противник, с которым пришлось столкнуться грекам, оказался гораздо страшнее гражданских войн и набегов турок.

Две краткие хроники[206] и кипрская погодная запись[207] содержат лаконичные сообщения о появлении чумы в Византии. Хронисты, следуя законам жанра летописного повествования, констатировали факт распространения большой эпидемии (τὸ μέγα θανατικόν), воздерживаясь от комментариев. Но за скупыми строками хроник стояли события, полные драматизма и человеческих страданий. Ужас, охвативший жителей империи, нашел свое отражение в исторических и риторических сочинениях поздневизантийских интеллектуалов (Иоанна Кантакузина, Никифора Григоры и Димитрия Кидониса), оставивших описания эпидемии.

Чума не раз посещала Константинополь за тысячелетнюю историю города, но давно бедствие не было таким масштабным. Эпидемию 1347—1348 гг. по размаху можно сравнить разве что с «Юстиниановой чумой» 542 г., занесенной в Византию из Египта, на пике которой в столице умирало до 5—10 тыс. человек в день[208]. О чуме 1347 г. Кантакузин[209] скорбно констатировал, что «от этой

---

[205] См.: Norwich J. J. Byzantium. The Decline and Fall. L., 1995. P. 309; Васильев А. А. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб., 1998. С. 324.

[206] «В году 6856 началась большая» (Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/6); «известно, что в год 6856 началась большая эпидемия» (Ibid. Chr. 89/1).

[207] «...В это же время была большая эпидемия на Кипре» (Chronologische Einzelnotizen // Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... T. 2. S. 611. № 40).

[208] Прокопий Кесарийский. Война с персами. Кн. 2. 22—23 // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / пер. с гр., вступ. ст., коммент. А. А. Чекаловой. СПб., 2001. С. 119—124.

[209] Описание Кантакузином чумы 1347 г., по мнению исследователей, является подражанием (μίμησις) Фукидиду (см., например: Hunger H. Thukydides bei Johannes

болезни многие умерли в Виза́нтии (в Константинополе. — *Т. К.*) в то время»[210]. Димитрий Кидонис, находившийся тогда в Константинополе и оказавшийся свидетелем трагедии, оставил более эмоциональное описание: «Но я, который пребывает посреди ужаса и должен видеть, как город находится в опасности утратить это имя, ощущаю глубокий душевный страх»[211]. Кидонис наблюдал, как «ежедневно пустеет великий город и множество могил доказывает, что величайший (город. — *Т. К.*) становится маленьким»[212]. Риторические восклицания автора передают его потрясение от картины гигантского мора, захлестнувшего столицу и чреватого, по мнению очевидца, гибелью всего ее населения. И действительно, по свидетельствам анонимных итальянских хронистов, от чумы умерло от 2/3 до 8/9 жителей Константинополя[213]. Хотя их оценки выглядят несколько преувеличенными, тем не менее иллюстрируют небывалый размах бедствия, по крайней мере в восприятии современников.

Сам вид пораженного болезнью человека внушал ужас очевидцам этой трагедии. Поэтому авторы уделяли значительное внимание описанию признаков чумы. Григора перечислял симптомы этого смертельного недуга: «Следами той болезни было высыпание на коже и общим предвестником той смерти были какой-то крупный

Kantakuzenos. Beobachtungen zur Mimesis // JÖB. 1976. Bd. 22. S. 185—188; Miller T. S. The Plague in John VI Cantacuzenos and Thucydides // GRBS. 1976. Vol. 17. P. 385—395). Однако, несмотря на цитаты из Фукидида, в изображении чумы автор проявил в определенной мере самостоятельность, основываясь на собственных наблюдениях (Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos… S. 188). Влияние Фукидида на Кантакузина заметно в заимствовании фраз, выражений и оборотов, т. е. на уровне манеры и стиля повествования, что не снижает степени достоверности информации о чуме 1347 г.

[210] ὑπὸ τῆς τοιαύτης νόσου πλεῖστοί τε ἀπέθανον ἐν Βυζαντίῳ τότε (Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 52. 17—18). Кантакузин имеет в виду столицу, используя древнее название Константинополя.

[211] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 88. 50—52.

[212] Ibid. Ep. 88. 43—44.

[213] Chronicon Estense / ed. L.A. Muratori. Milano, 1729. P. 448. (Scriptores Rerum italicarum ; **15**); Bartholomaeus della Pugliola. Historia miscella Bononiensis / ed. L. A. Muratori. Milano, 1729. P. 409. (Scriptores Rerum italicarum ; **18**).

нарост вокруг основания бедер и предплечья и одновременно кровяная чахотка»[214]. В своем описании автор, вероятно, смешивает две формы чумы (легочную и бубонную). Более подробное описание симптомов болезни приводит Кантакузин[215]:

> Одни были одержимы сильнейшим жаром и поражены болью в голове, одержимы безмолвием и безразличием ко всему происходящему и вследствие чего были погружены в глубокий сон. И если каким-то образом приходящему в себя хотелось издать звук, язык двигался с трудом, и нечленораздельно звучали многие (слова. — *Т. К.*), умерщвленные болью в затылке, и (человек. — *Т. К.*) мгновенно умирал. Других болезнь поражала не в голову, а в легкие, воспаление возникало мгновенно внутри в легких, и, рассказывают, наступала острая боль в легких. (Человек. — *Т. К.*) испускал кровавую слюну и необычное и зловонное дыхание изнутри: горло и язык, пересохшие от жара, были черными или кроваво-красными; мучила жестокая жажда; бессонница угрожала все время, и затруднение было повсюду в верхней и нижней части рук, и около щек и у некоторых в других местах тела возникали большие или мелкие черные волдыри, как у других появлялись по всему телу черные язвы, тонкие и прозрачнейшие. И от всего этого все также умирали[216].

Перечисленные признаки заболевания были характерны для легочной формы чумы, которая сопровождалась появлением на теле больного язв, приобретавших черный цвет, что и дало основание назвать эту эпидемию «черной смертью».

Кантакузин отмечал, что болезнь длилась всего 1—3 дня[217]. О быстротечности заболевания писал и Григора: «многолюдные дома всех жителей опустевали полностью за один или же иногда за два дня»[218]. Заражение происходило даже от мимолетного контакта с больным[219], что определило размах распространения инфекции. Перед такой разрушительной силой, которая в кратчайшие сроки поражала жителей столицы, никто не мог устоять. Авторы в один

---

[214] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 12—15.

[215] Г. Хунгер, который сравнил описание чумы у Фукидида и Кантакузина, отмечал, что в этом пункте Кантакузин проявил в известной мере самостоятельность и далеко отошел от Фукидида (Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos… S. 186).

[216] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 50. 10—51. 8.

[217] Ibid. III. 50. 8—10.

[218] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 4—5.

[219] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 51. 19—20.

голос указывают на полное бессилие людей перед смертельным недугом. Григора писал: «Болезнь одинаково затронула мужчин и женщин, богатых и бедных, старых и молодых и, одним словом, никого не пощадила ни по возрасту, ни по доле»[220]. Действительно, заболевание, не разбирая, поражало людей разного происхождения, возраста, социального положения, уравнивая всех перед опасностью заражения и смерти. Беда не миновала даже императорскую семью: от эпидемии скончался Андроник[221], младший из сыновей императора Иоанна Кантакузина[222]. Императрица тяжело переживала потерю любимого сына: «Императрица-мать, когда узнала о кончине ребенка, была поражена в сердце сильнейшей скорбью и в течение жизни хранила неизгладимую память о ребенке»[223].

Неизбежность летального исхода заболевшего человека авторы подчеркивают констатацией того, что и крепким, и ослабленным людям в случае их заражения одинаково была уготована смерть, невзирая на то, оказывалась им медицинская помощь или нет: «Бедствие было неотвратимым, поскольку никакой образ жизни, никакая мощь тела не могли защитить. В равной степени все были поражены: и с сильными, и со слабыми телами, и вполне окруженные уходом люди умирали так же, как беспомощные»[224]. Обреченность перед смертоносным недугом была очевидна для современников: «Когда кто-то чувствовал себя заболевшим, никакой надежды на спасение не оставалось»[225].

Более того, эпидемия, разрастаясь, распространилась и на домашних животных, живших бок о бок с людьми: «Болезнь таким образом продолжала терзать не одних только людей: если в жилище, где жило много народа, обитали животные: собаки, лошади и разные виды птиц, то и они… оказались поражены»[226], «многие

---

[220] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 1—4.

[221] PLP. № 10954.

[222] См.: Nikephori Gregorae Historia… II. 797. 16—17; Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 49. 15—16.

[223] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 52. 20—22.

[224] Ibid. III. 50. 1—4.

[225] Ibid. III. 51. 23—52.1.

[226] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 7—12.

дома жителей опустели, и животные умирали вместе с хозяевами»[227].

Врачи были бессильны оказать какую-либо помощь сраженным недугом[228]. «И не было никакой помощи ниоткуда», — обреченно констатировал Кантакузин[229]. «Никто, — вторил ему Григора, — ничем не был в состоянии помочь никому, ни живущим по соседству, ни родственникам по рождению и крови»[230].

Город превратился в кладбище, где ежедневно погребали тысячи людей, умерших страшной смертью. Кидонис передает отчаяние, охватившее жителей столицы: «Каждый день наша работа уносить друзей (к могиле. — *Т. К.*), и нас мучает больше всего то, что люди избегают друг друга, опасаясь контакта с болезнью. Ни отец не хоронит своего ребенка, ни тот (ребенок. — *Т. К.*) не оказывает ему (родителю. — *Т. К.*) последние почести. А оставшиеся в живых не верят до конца в болтовню врачей, но, закутываясь[231], пишут себе некролог»[232]. Страх закрадывался в сознание людей, ежедневно сталкивавшихся со смертью. Димитрий Кидонис, как и большинство его современников, имел все основания опасаться за собственную жизнь, ожидая той же участи, что постигла и многих его сограждан: «Мое тело не отличается больше от тени, и я думаю уже переносить до смерти жребий умерших»[233].

Болезнь воспринималась как наказание свыше. Многие свидетели тех печальных событий подозревали, что Богородица, защитница города, покинула жителей столицы[234]. В восприятии византийцев, насылаемые бедствия — это кара за людские прегрешения. Так, Кантакузин объяснял распространение эпидемии христианской идеей, что Бог насылает подобные испытания, дабы образумить людей[235].

---

[227] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 51. 21—22.

[228] Ibid. III. 50. 7.

[229] Ibid. III. 51. 17—18.

[230] Nikephori Gregorae Historia… II. 798. 5—7.

[231] В знак траура (см.: Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981—2003. Bd. 1—4. Brief 21. A.16).

[232] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 88. 44—49.

[233] Ibid. Ep. 88. 52—53.

[234] См.: Norwich J. J. Byzantium. The Decline and Fall... P. 309.

Умирающие и еще остававшиеся в живых в равной степени, стремясь оправдаться перед Богом, воздерживались от позорных поступков и заботились о благочестии[236], поэтому «могущественные раздавали необходимое бедным, пока болезнь не поражала их самих»[237]. Испытание, по мнению автора, дает возможность покаяться и попытаться благородными поступками заслужить спасение души после смерти[238]. Средством облегчения участи людей считалась лишь молитва, обращенная к Богу в надежде на его заступничество: «В этом положении мы нуждаемся в наставлении и молитвах тех, кто приближены к Богу и позаботятся о том, чтобы это нам перенести»[239].

Соответственно и окончание мора воспринималось как милость, дарованная свыше. По случаю избавления от бедствия, которое было связано в сознании людей с заступничеством Господа, Богоматери и небесных покровителей, устраивался крестный ход. Еще во времена Юстиниана в благодарность за прекращение моровой язвы была установлена лития, совершаемая на праздник Сретения Господня, которая с тех пор приобрела большую торжественность[240]. Приведем краткое описание литии по «Книге церемоний» Константина VII Багрянородного. В праздник из храма Св. Софии во Влахернский храм Богородицы совершался крестный ход во главе с патриархом по установленному еще в VI в. порядку. С приближением процессии к храму навстречу с пением ямбов и с зажженными свечами выходил император, окруженный свитой. Лития останавливалась перед императором, который после произнесения молитвы целовал Евангелие и крест, обменивался с патриархом проскинизой (поклоном) и первым заходил в храм. Когда лития достигала храма, начиналась литургия[241]. Литии вошли постепенно

---

[235] См.: Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos… S. 187.

[236] Joannis Cantacuzeni Historiarum libri... III. 52. 10—11.

[237] Ibid. III. 52. 11—13.

[238] Ibid. III. 52. 13—17.

[239] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 88.54—55.

[240] См.: Иоанн (Рахманов), иеромон. Обрядник византийского двора (De cerimoniis aulae Byzantinae) как церковно-археологический источник. М., 1895. С. 109.

[241] См.: Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae / rec. J. J. Reiskii. Bonnae, 1829— 1830. Vol. 1—2. 1. 139. 5—24.

в сценарий многих торжественных праздников, став частью богослужебной практики. Из литий выросли особые чинопоследования, которые состояли из молебных пений, совершавшихся лишь во время крестного хода[242]. Литии зачастую проходили по случаю избавлений от каких-либо бедствий. Хотя мы не располагаем сведениями о крестных ходах, знаменовавших окончание эпидемий в поздневизантийское время, все же можно предположить, что избавление от чумного поветрия, вероятно, отмечали, как и прежде (может быть, только без былого размаха), литией.

События 1347—1348 гг. оставили глубокий след в памяти современников. Обострив у очевидцев драмы чувство беззащитности перед эпидемией и страха за собственную жизнь, чума повергла людей в состояние шока, напомнив об эсхатологических предсказаниях. В дальнейшем любое появление признаков этой болезни вызывало печальные воспоминания о трагедии середины XIV в.

Последующие десятилетия были отмечены новыми всплесками эпидемии, которые были, возможно, и не столь разрушительны, как события 1347—1348 гг., но внесли свою лепту в углубление кризиса. Восстановим хронологию этих трагических событий.

13 лет спустя чума вновь обрушилась на жителей империи. Если в 50-е гг. XIV в. современниками не было отмечено ни одного визита этой болезни, то на 60-е гг. XIV в. пришлось несколько волн чумного поветрия. Очередная эпидемия моровой язвы вспыхнула в 1361—1363 гг.[243], когда чума вновь свирепствовала в империи, включая Константинополь. Начало эпидемии совпало с усилением турецкой агрессии. В 1361 г. турками была завоевана Дидимотика. Кидонис упомянул в своем письме Константину Асану, наряду с описанием чумы, о судьбе защищавших город: «Воины пережили худшее, чем окруженные в Сфактерии»[244]. Взятие Дидимотики открывало путь туркам через северное побережье Эгеиды к Фесса-

[242] См.: Иоанн (Рахманов), иеромон. Обрядник византийского двора… С. 111.

[243] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 7/14; 33/8.

[244] Намек на Пелопоннесскую войну (Démétrius Cydonès. Correspondance... 109.31—32).

лонике, второму по значению городу империи. В этих тяжелых внешнеполитических условиях эпидемия, вновь охватившая византийские земли, только усугубляла бедственное положение империи.

Кипрская запись сообщает об этих событиях следующее: «в 6870 [1362] г., 15 индикта, начался в Константинополе большой мор людей, какого не случалось ранее. В следующем году, или, вернее, в семидесятом первом в начале индикта начался такой мор и болезнь людей в Адрианополе, что живые не могли хоронить умерших, имевших, увы, страшный, приводящий в трепет вид»[245]. Летописец лаконичным замечанием сумел передать весь масштаб бедствия. Как далее отмечает хронист, от эпидемии скончался Мануил Кантакузин Стратегопул[246], племянник Иоанна VI Кантакузина. Чума не обошла и знатные дома, унося жизни людей разного происхождения и социального положения.

Переживший горечь потери родных и знакомых, Кидонис «скорбел о каждом из друзей как о себе самом»[247], тяжело воспринимая их утрату. Во время этой чумы умерли две его сестры: «Вместе со многими погребениями друзей и многими слезами мы также проводили в могилу наших сестер»[248]. Он описывал горе младшей из своих сестер, которая с трудом перенесла смерть своих близких: «Она сидит на могиле, постоянно плачет на том погребении и скорбит, обратив свой взор на него, словно еще раз переживает предсмертные страдания сестер»[249].

Не имея сил ни смириться с участью близких ему людей, ни стоически переносить горе, Кидонис признает: «Ежедневные похороны друзей и родственников совсем не могу переносить, — в таких вещах я меньше всего мужчина»[250]. Ежедневный траур погрузил его в состоянии глубокой депрессии: «Если кто-то посмотрит

---

[245] Chronologische Einzelnotizen // Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... S. 612. № 44.

[246] PLP. № 10982.

[247] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 110.32.

[248] Ibid. Ep. 110.13—14.

[249] Ibid. Ep. 110.25—27.

[250] Ibid. Ep. 110.29—30.

на происходящее, то скажет, что я, живой, не более счастлив, чем те, кто мертв»[251].

Неспособность медиков оказать помощь больным подорвало доверие людей к врачевателям. Пренебрежительно относясь к искусству врачей, Кидонис сомневался в их способности лечить: «Теперь страх перед врачами сильнее любой болезни; они пустословили, и вся их забота — клеветать друг на друга. Они сохраняют болезнь или усугубляют ее своими изощренными диетами»[252]. Уничижительные высказывания Кидониса в адрес врачей были продиктованы прежде всего его собственным недомоганием, которое беспокоило его тогда и справиться с которым не помогали лекарства и предписания. Однако этот личный негативный опыт общения с врачами накладывался у Кидониса на то разочарование, которое возникало у него при виде их бессилия в период всеобщей эпидемии.

Вспышка болезни была столь серьезной, что заставила власти задуматься о переезде императорского двора за пределы столицы: «Народ уносит (эпидемия. — *Т. К.*), и управляющие государством собираются переселиться в другое место»[253]. Заметим, что до того времени и в более критические периоды византийской истории подобная идея не приходила в головы правителей.

Причина новой волны заболевания виделась, как и прежде, в стремлении Бога наказать людей за их грехи. Кидонис прибегает к традиционному приему нанизывания риторических вопросов, чтобы подчеркнуть факт Божьего гнева: «Кто примирит справедливо разгневанного? Кто среди живущих на земле достоянный представитель перед Небесным Господином? Кто может предсказать, когда закончатся мучения?»[254] Стилистический прием, к которому прибегает автор, отражает его эмоционально-обостренное восприятие происходящего и острое ощущение безысходности.

---

[251] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 110.33—34.
[252] Ibid. Ep. 110.43—46.
[253] Ibid. Ep. 109.30—31.
[254] Ibid. Ep. 109.28—30.

Отчаяние охватило жителей столицы: «Священнослужитель обессилел в молитвах, и выживших, кажется, было меньше, чем могил. Но каждый день несчастье продвигается, и нет надежды на прекращение, но есть опасность, что город… станет для всех общей могилой»[255]. Столица, как и за полтора десятилетия до того, оказалась на грани вымирания.

На 1364—1365 гг. пришелся новый всплеск эпидемии чумы, которая коснулась некоторых византийских областей, в частности Фессалоники, и Крита[256]. Малая хроника сухо замечает: «Была снова эпидемия в 6873 году»[257]. Во время этого поветрия в Фессалонике умер великий стратопедарх Георгий Синадин Астра[258], в память о котором его другом Кидонисом были составлены письма-монодии. Кидонис, перенесший за свою жизнь много потерь, так и не научился смиренно воспринимать смерть друзей: «Но мне после его смерти все стало тягостным: свет, пища и науки»[259].

Историческим фоном эпидемий 60-х гг. XIV в. было ухудшение внешнеполитической ситуации. Со вступлением на престол Мурада I в 1362 г. продвижение турок в Анатолии и в Европе значительно ускорилось. После взятия Адрианополя в 1369 г. туда был перенесена столица османов. Эпидемии чумы в этих условиях только истощали силы империи, и без того с трудом сдерживавшей турецкую угрозу.

На 70-е гг. XIV в. приходятся три упоминания в источниках об эпидемиях моровой язвы. В 1370 г. во власти чумы оказалась Фессалоника, о чем известно из сообщения Кидониса. Хроники того

---

[255] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 109. 32—35.

[256] П. Шрайнер считает, что речь в сообщении хрониста идет об эпидемии главным образом на Крите (см.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... T. 2. S. 292). Однако чума затронула и византийские земли. Ф. Тиннефельд прав, полагая, что П. Шрайнер придает слишком большое значение более поздней вставке в запись, которая указывает на восстание, вспыхнувшее в это время на Крите (см.: Tinnefeld F. Georgios Synadenos Astras (biographischer Abriss) // Demetrios Kydones. Briefe… Bd. 1/1. S. 253. A. 24).

[257] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 89/2.

[258] См.: PLP. № 1598; Tinnefeld F. Georgios Synadenos Astras… S. 250—251.

[259] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 100.16—17.

времени умалчивают об этом. Однако, согласно Кидонису, городу «вместе с варварами угрожала еще и чума»[260]. Автор строк указывает на осаду второго по значению города империи «варварами» (сербами?), в условиях которой мор еще больше усиливал страдания жителей. Эпистолограф пишет, что «сожалел о несчастье родного города, когда тот, охваченный со всех сторон мощными волнами (вражеского войска. — *Т. К.*), терял граждан, которые могли бы противостоять этому бедствию»[261]. Действительно, когда город вынужден был сдерживать натиск противника, смерть от чумы наносила непоправимый ущерб, сокращая число защитников Фессалоники.

Новое явление чумы относится к 1373—1374 гг.[262] Вероятно, эпидемия задела тогда в наибольшей степени Эпир. Известно, что в этот год умер в Арте албанский деспот Петр Льоша[263]. О следующей эпидемии чумы (1375—1376) упоминают малая хроника («затем вновь была эпидемия, но в 6884 году»[264]) и письмо Кидониса[265]. Согласно сообщению последнего, болезнь обрушилась на жителей Фессалоники. Кидонис разделяет горе своего адресата Мануила Тарханиота, который пережил все ужасы царившей в городе эпидемии: «Стоящие перед глазами могилы друзей, похороны детей, плач родственников, слезы и крики, которыми полон каждый дом, и чувство, что самому можно не надеяться дожить до старости»[266].

1370-е гг. в истории Византии — сложный период с точки зрения внешнеполитического положения и внутриполитических проблем. После поражения сербских правителей Македонии в битве при Марице в 1371 г. доступ в северобалканские земли был для турок открыт[267]. Иоанн V заключил с Мурадом соглашение, по ко-

---

[260] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 107.5.

[261] Ibid. Ep. 107.10—11.

[262] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/9.

[263] См.: PLP. № 14983; Ђурић И. Световни достојанственици у «Ектесис неа» // ЗРВИ. 1978. Т. 18. С. 196.

[264] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 89/3.

[265] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 35.

[266] Ibid. Ep. 174.43—46.

[267] См.: Werner E., Markov W. Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin, 1978. S. 26.

торому вынужден был признать свою вассальную зависимость от османского владыки, обязывался выплачивать ему регулярную дань и предоставлять войска в его распоряжение. На фоне внешнеполитических неудач начались внутридинастические раздоры. Возможно, бурные политические события, захлестнувшие империю, отвлекли внимание современников от описания бедствий, причиненных чумой.

80-е гг. XIV в. не принесли успокоения империи. Четыре раза за это десятилетие чума появлялась в разных концах империи. В 1380 г. вспышка ее была зафиксирована в Пере. В этот период обострилась борьба между Иоанном V, вернувшим себе власть в Константинополе, и его сыном Андроником, который при поддержке генуэзцев укрепился на другом берегу Золотого Рога, в Галате[268]. Император в альянсе с турками и венецианцами организовал осаду Галаты. Нехватка продовольствия в осажденном городе привела к голоду. Затем в генуэзскую колонию пожаловала и чума. Эти события описаны Димитрием Кидонисом, который сообщает о критическом положении блокированных в Галате: «Они сидели в осажденной крепости, и так как из-за длительной войны были исчерпаны запасы продовольствия, им приходилось питаться его остатками, которые были в незначительном количестве и к тому же испортились. К голоду присоединилась также чума, и оставшихся в живых было недостаточно для погребения мертвых»[269]. Чума в таких условиях оказалась одним из главных факторов, предрешивших исход противостояния. К маю 1381 г. война завершилась примирением враждующих сторон.

Пелопоннесская хроника под 1381—1382 гг. упоминает о новом появлении чумы[270], которая, вероятно, не вышла за пределы Пелопоннеса. Следующий визит чумы в Византию пришелся на 1386 г. На этот раз она, по сообщению Кидониса, коснулась столицы, где находился он сам. Кидонис, намеревавшийся отбыть в Италию

---

[268] См.: Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus... P. 42.
[269] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 222.111—115.
[270] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/12.

с целью найти союзников для империи, вынужден был отложить свое путешествие на неопределенное время[271]. Препятствием для осуществления его замысла стала именно чума[272], царившая в столице осенью 1386 г.[273] Кидонису пришлось «уступить плохой погоде, эпидемии и мнению друзей»[274]. Особенно жестоко чума свирепствовала на галерах, на одной из которых собирался отправиться в плавание Кидонис[275].

Очередная вспышка чумы в византийских землях пришлась на 1388—1389 гг. Запись хрониста немногословно сообщает о факте эпидемии[276]. Согласно документам венецианского сената в это же время чума обрушилась и на Крит[277].

В 1390—1391 гг. чума вновь началась, о чем сообщает Пелопоннесская хроника[278]. На сей раз эпидемия нанесла удар в самое сердце империи, поразив жителей Константинополя. Император Мануил II Палеолог вынужден был покинуть столицу в условиях начавшейся эпидемии, чтобы отправиться в ставку Баязида. Находясь в Анкаре, он писал с прискорбием о чуме, которая «истребляла население нашего города»[279]. Кидонис, оказавшийся в гуще событий, сообщал в послании императору о происходившем: «О, какая огромная и темная туча ныне лежит на городе ромеев! О, какая волна полностью затопила его! О, какая чума поразила его жителей, и хотя она еще позволяет нам дышать, она торопит всех к смерти! Такие несчастья преследовали нас долго и за короткий срок губили обычное тело словно чахотка, и многие бедствия предшествовали этому разрушению. Но теперь страх достиг своего пика, и уже не самым худшим он грозит, а именно ожиданием более ужас-

---

[271] См.: Кущ Т. В. В поисках союзников: три поездки Димитрия Кидониса в Италию // АДСВ. 2004. Вып. 35. С. 198.

[272] См.: Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 345. 65; 337. 38.

[273] Ibid. Ep. 331. 31.

[274] Ibid. Ep. 371. 27—28.

[275] Ibid. Ep. 331. 32; 371. 15—18.

[276] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 89/4.

[277] Ibid. T. 2. S. 337.

[278] Ibid. Chr. 33/15.

[279] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 20. 19—20.

ного, и таким образом он окружает и осаждает со всех сторон»[280]. Страх автора строк связан не только с созерцанием жертв эпидемий, но с осознанием того, что враг находится на подступах к столице. Причиной несчастий, выпавших на долю византийцев, Кидонис в соответствии с традиционными представлениями считает «размеры и количество наших грехов, которыми мы ежедневно оскорбляем Бога, кормчего и царя всех, так как мы уклоняемся от законов благого Провидения, устанавливаем в качестве закона беззаконие и поэтому живем, как подобает блуждающим во мраке»[281].

На конец 90-х гг. XIV в. приходятся еще две вспышки чумы. В апреле 1398 г., как отмечает хроника[282], вновь началась эпидемия. Вскоре, в 1398—1399 гг., нашествие чумного поветрия повторилось[283]. Бедствие охватило преимущественно Пелопоннес. О чуме в Короне и Модоне — венецианских владениях на Пелопоннесе — в это же время свидетельствуют документы венецианского сената[284].

Источники вновь упоминают о чуме в 1409—1410 гг. На этот раз бедствие опять приобрело значительные масштабы. Мор охватил многие районы, своей разрушительной силой напоминая события полувековой давности. Как сообщает имперская хроника, смерть унесла жизни 10 тысяч человек[285]. Согласно Дуке, «был страшный голод и чума во всех областях»[286]. Жертвами чумы стали весьма значительные фигуры: патриарх Матфей I[287], сын императора Михаил[288], дядя императора сенатор Феодор Палеолог Кантакузин[289],

---

[280] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 431. 4—10.

[281] Ibid. Ep. 431.23—27.

[282] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 89/5.

[283] Ibid. Chr. 33/21.

[284] Ibid. T. 2. S. 362.

[285] Ibid. Chr. 9/41.

[286] Ducas. Historia turco-byzantine… 18.3. 2—3.

[287] См.: Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 9/41; Chronologische Einzelnotizen // Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... S. 617. № 63; PLP. № 17387.

[288] См.: Georgios Sphrantzes. Memorii 1401—1477, Chronica 1258—1481 / ed. V. Grecu. Bucureєti, 1966. 3. 1. 21; PLP. № 21520.

[289] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 9/41; PLP. № 10966.

мегадука Мануил[290]. От этой же болезни скончался сын султана Баязида I челеби Юсуф, перешедший в христианство и крещенный под именем Димитрия[291].

В 1416—1417 гг. новый очаг эпидемии возник на черноморском побережье[292]. Георгий Сфрандзи, описывая судьбу семейства своей сестры, муж которой Григорий Палеолог Мамон был комендантом одной из черноморских крепостей, рисует печальную картину того, как смерть уносила целые семьи со всеми слугами и домочадцами: «Первым умер ребенок, через семь дней после ребенка — отец, а спустя семь дней после отца — мать, а также шестеро из их слуг, мужчин и женщин»[293]. Трагедия отдельной семьи, вливаясь в поток жертв чумы, становилась частью общего горя.

С берегов Черного моря бедствие распространилось на империю в 1417—1418 гг.[294] Эпидемия вновь не обошла стороной столицу. По сообщению того же Сфрандзи, «весной и летом эпидемия началась и в Константинополе, в августе умерла от чумы и деспина кира Анна из России и была похоронена в Ливском монастыре»[295]. Об этом бедствии, обрушившемся на столицу, упоминает также Дука: «Чумная болезнь охватила Константинополь и очень много народа от бубона умерло, и императрица Анна умерла, оставив горожан в большой печали»[296]. По свидетельству Дуки, жители города столкнулись с бубонной формой чумы. Оба автора также сообщают о смерти от чумы первой жены Иоанна VIII Анны[297], которая приходилась внучкой великого князя Московского Дмитрия Донского и великого князя Литовского Витовта.

Путь, который проделала эта эпидемия, повторял маршрут моровой язвы середины XIV в. Начавшись в Причерноморье, проше-

---

[290] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/25.
[291] Georgios Sphrantzes. Memorii... 3. 1. 22.
[292] Ibid. 5. 1. 1—2.
[293] Ibid. 5. 1. 6—8.
[294] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/28.
[295] Georgios Sphrantzes. Memorii... 5. 2. 1—3.
[296] Ducas. Historia turco-byzantine… 20. 3. 7—4. 4.
[297] PLP. № 21349.

ствовав через столицу, чума докатилась до периферии империи, включая Пелопоннес.

Хроники датируют новое появление чумы весной 1422 г., которая возникла на фоне другого бедствия — землетрясения: «В 6930 году, на второй день Пасхи, было большое землетрясение, и тотчас же начала наносить вред в Морее эпидемия»[298]. Сообщение локализует эпидемию владениями морейского деспота, где в разных районах возникали отдельные очаги заболевания. Опираясь на другую летописную запись, можно заключить, что несчастье задержалось на Пелопоннесе до 1423 г.[299] У нас нет точных свидетельств о том, что в это же время чума посетила и Фессалонику. Однако у Симеона Фессалоникийского есть косвенные указания на то, что город, осажденный турками, вероятно, испытал на себе и разрушительную силу чумы. Описывая бедственное положение деспота Фессалоники Андроника в 1422—1423 гг., Симеон указывает, что тот «в своих страданиях не имел никого, от кого он можно было бы ожидать помощи. С одной стороны, василевсы, его отец и брат, были поглощены собственными заботами о столице[300], с другой, он вынужден был столкнуться с серьезной опасностью и мятежами, которые постоянно возникали внутри и извне, и также с недостатком необходимого, который давил на него, ибо его резервы иссякли, и никто не решался прийти ему на помощь. Сказать правду, он сам был в некоторой степени причиной этой нехватки продовольствия: без необходимости, а лишь из благородных побуждений он во время вспышки чумы опустошил общественные запасы, в чем не было нужды»[301]. Исходя из этого сообщения, вполне вероятным выглядит предположение о распространении эпидемии на Фессалонику в сложные времена турецкой осады. Нехватка

[298] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/29.

[299] Ibid. Chr. 33/36.

[300] Помощи со стороны императора, в чем упрекает митрополит Симеон, не приходилось ждать, поскольку одновременно с этими событиями византийской столице самой в 1422 г. угрожала непосредственная опасность со стороны турок.

[301] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 56. 27—33.

продовольствия была благоприятным фоном для возникновения болезни.

В своем наставлении, обращенном пастве, Симеон Фессалоникийский говорит об испытаниях, посылаемых Богом, чтобы испытать силу веры людей: «Постоянные набеги, эпидемии чумы и голод с позволения Бога, бедствия, осады и многочисленные другие беды»[302]. Наказания за нарушение людьми Божественных установлений, согласно митрополиту Симеону, обрушиваются в виде бедствий: «Себя осквернили всеми беззакониями, вследствие чего людей постигли наводнения, пожары, утопления, пленения, голод, и эпидемии чумы, и вся злоба и притеснение»[303]. Страстные слова, произносимые митрополитом перед соотечественниками в блокированном городе, отражали, вероятно, происходившие на его глазах разрушения и бедствия.

В 1436 г. Византию захлестнула очередная волна эпидемии[304]. В столице были предприняты меры, чтобы ограничить проникновение чумы. Кораблям, прибывающим из зачумленных областей, согласно свидетельству испанца Тафура, было запрещено заходить в гавань Константинополя и Галаты без предварительного карантина[305]. Тем не менее столица так и не избежала этого бедствия. Георгий Схоларий, находившийся тогда в Константинополе для подготовки унии церквей, сообщает о чуме, которая не щадила людей разных возрастов, унеся в том числе жизни двух его племянников[306].

Последний визит эпидемии чумы в умирающую империю приходится на 1440—1441 гг. Пелопоннесская хроника фиксирует появление тогда «десятой[307] эпидемии»[308]. Поскольку эта запись не

---

[302] Συμβουλία α’ // Balfour D. Politico-historical Works of Symeon… P. 85. 21—22.

[303] Ibid. P. 83. 12—14.

[304] Matschke K-P. Gesellschaft und Krankheit: Bewohner und Besucher Konstantinopels während und nach der Pest von 1436 // BB. 1998. T. 55 (80). C. 50.

[305] Тафур П. Странствия и путешествия / пер., предисл. и коммент. Л. К. Масиеля Санчеса. М., 2006. абз. 169.

[306] Oeuvres complètes de Gennade Scholarios…Vol. 4. P. 416.

[307] По счету летописца.

[308] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken... Chr. 33/37.

подкреплена другими источниками, можно предположить локальный характер вспышки болезни.

Надо отметить, что появление чумы не всегда носило характер эпидемии или пандемии. Так, вероятно, происходило в 1431 г., когда были зафиксированы отдельные случаи гибели людей от этой болезни. Известно, например, о смерти настоятеля столичного монастыря Пантократора Макария Макриса[309], жизнь которого унесла бубонная чума[310]. В 1448 г. в Селимврии от чумы умер деспот Феодор II Палеолог[311]. Но хроники и исторические сочинения хранят молчание о появлении мора в эти годы. Не всегда принимая катастрофические масштабы, чума держала людей в постоянном страхе и, нанося точечные удары, напоминала о себе даже во времена своего временного затишья.

Урон, наносимый чумой, выражался не только в количественных, но и в качественных показателях. В период эпидемии, когда горожане были парализованы страхом перед лицом смерти, прекращали свою работу ремесленники, закрывали свои лавки торговцы, замирала жизнь в гавани, что наносило тяжелый удар по экономике. Убывание населения, которое происходило в периоды мора, дестабилизировало положение в стране. Опасным было и то, что эпидемии чумы сочетались с губительными военными опустошениями, хозяйственной разрухой, с глубоким социальным и политическим кризисом. Бедствие, которое представляла для Византии чума, помноженное на внешнеполитические промахи и экономические провалы, усугубляло положение империи и обостряло чувство эсхатологического страха, поскольку ужасы чумы казались современникам зримым предвестником ожидаемого конца света.

Авторы, оставившие яркие описания чумы, передали все ужасы разыгравшейся в поздневизантийское время трагедии. На страницах своих сочинений они не только оплакивали потерю родных, друзей и соотечественников, но и размышляли о причинах

---

[309] PLP. № 16379.
[310] Georgios Sphrantzes. Memorii... 21. 8. 7—10.
[311] Ibid. 28.5.2—6.1; о Феодоре Палеологе см.: PLP. № 21459.

выпавших на их долю испытаний. Кроме того, они выразили чувства отчаяния и уныния, паники и смятения, которые испытывали люди перед лицом страшной эпидемии. Интеллектуалы как никто другой осознавали, что чума — это лишь одна из многих «болезней», поразивших дряхлеющую империю. Не меньшей бедой для Византии были турки.

Османская экспансия в восприятии интеллектуалов

Внешнеполитическая ситуация Византии со второй половины XIV в. всецело определялась нарастающей османской угрозой, которую византийские императоры отныне вынуждены были неизменно учитывать, предпринимая какие-либо действия внутри страны или на международной арене. Не удивительно, что эта тема нашла широкое отражение и в размышлениях византийских интеллектуалов о прошлом, настоящем и будущем империи.

С захватом в 1352 г. византийской крепости Цимпы в руках турок оказался первый опорный пункт на Балканах, а после взятия в 1354 г. Галлиполи они развернули экспансию в балканские владения Византии[312]. По словам Лаоника Халкокондила, теперь «они держали в своих руках будущее Европы»[313]. Приход османов стал началом конца Византийской империи.

Со вступлением на трон султана Мурада I (1362—1389) продвижение турок в Анатолии и в Европе пошло стремительными

---

[312] См.: Werner E. Die Geburt einer Großmacht die Osmanen (1300—1481). Weimar, 1985. S. 145; Beldiceanu-Steinherr I. La conquête d'Andrinople par les Turcs: la pénétration turque en Thrace et la valeur des chroniques ottomanes // Travaux et mémoires. 1965. Vol. 1. P. 440. О турецкой экспансии на Балканах в середине XIV — середине XV в. см.: Kiel M. The incorporation of the Balkans into the Ottoman Empire, 1353—1453 // The Cambridge History of Turkey. Vol. 1 : Byzantium to Turkey, 1071—1453 / ed. K. Fleet. Cambridge, 2009. P. 145—156.

[313] Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes / rec. E. Darkó. Budapestini, 1922. 34B; Laonikos Chalkokondyles: a translation and Commentary of the «Demonstration of History» (Book I—III) / ed. N. Nikoloudis. Athens, 1996. P. 126.

темпами. Великой победой Мурада было завоевание в 1369 г. Адрианополя, открывшее доступ в болгарские земли и западную Фракию[314]. Потрясенный утратой Адрианополя Иоанн V Палеолог отправился в Италию (1369—1371), надеясь заручиться поддержкой папы Урбана V в борьбе с турками. Однако, несмотря на подписание императором католического символа веры и переход в католицизм, ему не удалось добиться от папы реальной помощи в борьбе против османов. Кидонис писал о трудностях этой поездки и безнадежности всех предпринятых усилий: «Мы постоянно меняем города и не знаем, кто (из воинов. — *Т. К.*) готов ехать в Великий город [Константинополь], тогда как мы бежим от злого рока и только о том и думаем, как можно изменить наше положение»[315].

На фоне бесплодных попыток Византии получить помощь Запада для борьбы с турками ситуация на Балканах продолжала осложняться. Сербские правители Македонии братья Вукашин и Углеша, образовав альянс против Мурада, встретились с турецкой армией 26 сентября 1371 г. на р. Марица[316]. Поражение в этой битве не только стоило жизни сербским владетелям, но имело также далеко идущие последствия[317]. В хронике того времени кратко, но емко замечено, что «с тех пор исмаилиты начали подчинять империю христиан своей власти»[318]. Иоанн V вынужден был заключить с Мурадом соглашение, по которому признал свою вассальную зависимость, обязался выплачивать регулярную дань и предоставлять войска в распоряжение султана.

Турецкие нападения на византийские земли в Македонии и Фракии начались сразу же после битвы на Марице. Первую атаку на

---

[314] Imber C. The Ottoman Empire, 1300—1650: the Structure of Power. Hampshire, 2002. P. 10; Werner E., Markov W. Geschichte der Türken... S. 25.

[315] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 36. 10—13.

[316] См.: Матанов Хр. Югозападните български земи през XIV век. София, 1986. С. 90. Эта битва известна также как битва при Черномене (Там же. С. 94).

[317] См.: Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб., 1998. С. 306—607; Werner E., Markov W. Geschichte der Türken... S.26; Chrysostomides J. The Byzantine Empire from the Eleventh to the fifteenth century // The Cambridge History of Turkey... P. 38.

[318] Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken… Bd. 1. Chr.72 a/5.

Фессалонику османы предприняли уже в 1372 г. Паралелльно шла активная турецкая колонизация Македонии. Тюркское население Малой Азии хлынуло на Балканы, оседая на опустевших территориях вокруг Серр, Скопье, Битолы[319]. Димитрий Кидонис в письме Симону Атуману в 1379/80 г. писал: «Повсюду можно наткнуться на турок, которые уже поработили Фракию и Македонию и теперь нападают на города, расположенные у гаваней Ионического моря. Недавно они захватили в Пелопоннесе такую добычу, что нельзя даже представить себе, что пелопоннесцы смогут вынести еще одно подобное нападение»[320].

Мануил II, вставший во главе Фессалоники осенью 1382 г., предпринял попытку восстановить контроль над македонскими территориями[321], чем вызвал недовольство Мурада I. А поскольку Мануил отказался признавать себя вассалом турок, султан направил войска на Фессалонику. Вскоре после захвата турками Серр в 1383 г. началась долгая осада Фессалоники. В «Увещевании к фессалоникийцам», составленном в тот трагический период, Мануил II Палеолог, обращаясь к жителям города, убеждал их в том, что нет причин для отчаяния. Чтобы внушить уверенность своим подданным, он задается риторическим вопросом: разве не добывали фессалоникийцы прежде без достаточной военной подготовки, но благодаря их небесному покровителю св. Димитрию победы над варварами?[322] Однако сдерживать натиск турок на протяжении долгого времени становилось все сложнее. Мануил упорно сопротивлялся, но в 1387 г., не получив помощи из Константинополя и видя, что жители Фессалоник готовы капитулировать, покинул город, куда вскоре вошли турецкие войска, не встречая никакого сопротивления[323]. По мнению Симеона Фессалоникийского, город был сдан

---

[319] См.: Werner E., Markov W. Geschichte der Türken... S. 26.; Werner E. Die Geburt einer Großmacht... S. 147, 171—172.

[320] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 226. 137—142.

[321] Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus... P. 64.

[322] Ὁ «Συμβουλευτικὸς πρὸς τοὺς Θεσσαλονίκεις» τοῦ Μανουὴλ Παλαιολόγου / ed. B. Lourdas // Μακεδονικά. 1955. Vol. 3. P. 300.20—32.

[323] См.: Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus... P. 151.

из-за «трусливого сговора некоторых утративших надежду и веру в Бога»[324].

Судьба Фессалоники во время и после турецкого нападения отражена в сочинениях архиепископов этого города Исидора Главы (1380—1396) и Гавриила (1397—1416/19). Исидор Глава в гомилиях, написанных во время осады, объяснял причины происходившего греховностью паствы. По его мнению, корень всех бед, выпавших на долю жителей города, кроется в политике светской власти, покусившейся на церковную собственность, произведя секуляризацию имущества церкви[325]. В дальнейшем архиепископ покинул осажденный город, что вызвало осуждение со стороны духовных властей империи. Патриарх и синод лишили Исидора его сана, следующим образом аргументировав такое решение: «когда эти христиане боролись за свои жизни, ты сбежал и предал их»[326]. Причины бегства из города его духовного главы остаются неясными[327]. Вскоре после капитуляции Фессалоники он обратился к пастве, не только пытаясь утешить ее в страданиях и убеждая оставаться твердыми в вере, но и призывая к повиновению новым властям[328]. Он был восстановлен в звании митрополита и вернулся в Фессалонику в 1393 г. Последние годы жизни он провел в этом городе, пытаясь своими проповедями поддержать и утешить фессалоникийцев. Он видел причину успеха неприятеля в грехах самих горожан, но при этом убеждал последних, что они должны быть благодарны Богу, ибо их страдания все же гораздо легче, чем те,

---

[324] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον… P. 42.17—18.

[325] См.: Dennis G. T. The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // DOP. 2003. Vol. 57. P. 257.

[326] Цит. по: Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus... P. 92.

[327] Дж. Денис предполагает, что причинами бегства могли быть боязнь за свою жизнь, поскольку османы жестоко обходились с православными епископами, желание избежать тягот осадного положения, конфликт с деспотом и архонтами или, напротив, секретная миссия по поручению Мануила (см. Dennis G. The Late Byzantine Metropolitans... P. 258).

[328] См.: Dennis G. T. The Second Turkish Capture of Thessalonica 1391, 1394 or 1430? // BZ. 1964. Bd. 57, H. 1. P. 56. Not. 12.

что они действительно заслужили. Гавриил, сменивший Исидора Главу на кафедре в период турецкого владычества над Фессалоникой, стремился добиться более мягкого обращения турок с горожанами[329].

К моменту захвата Фессалоники под контролем османов уже находилась вся северная Македония. Кроме того, турки совершали набеги на Эпир, правитель которого являлся вассалом Мурада, и на Пелопоннес. К тому времени, когда в 1389 г. в битве на Косовом поле погиб Мурад I, Константинополь уже полностью находился в окружении турецких владений. Только одна значительная территория еще оставалась под византийским контролем — Морея, управлявшаяся деспотом Феодором, младшим сыном Иоанна V Палеолога.

Наследнику Мурада Баязиду I (1389—1403) пришлось вновь утверждать свою власть над землями, завоеванными его предшественником. Он в большей степени, чем его отец, использовал в своих интересах раздоры внутри династии Палеологов. В 1390 г. он вступил в сговор с сыном Андроника IV Иоанном VII и помог ему воцариться в Константинополе вместо его деда Иоанна V. Последний только при поддержке Мануила II, своего второго сына и соправителя, сумел вернуть себе трон. Тем не менее обоих соперников — и Мануила, и Иоанна VII Баязид I привлек с их войсками в качестве вассалов к участию в своих походах в Малую Азию 1390—1392 гг. против анатолийских эмиров, попытавшихся выйти из-под османского владычества. Византийцы вынуждены были участвовать во взятии христианского города Филадельфии[330]. Для Мануила II это стало тяжким моральным испытанием. Он прекрасно осознавал последствия своей вынужденной коалиции с турками, но не мог отказаться: «Мы выбираем между одним страхом и другим, между одной опасностью и другой, между одним бременем и другим, между меньшими (бедами. — *Т. К.*) и большими —

---

[329] См.: Dennis G. The Late Byzantine Metropolitans... P. 259.

[330] См.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425) : a Study in Late Byzantine Statesmanship. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969. P. 79.

я сравниваю то, чему мы подвергаемся сейчас в коалиции с персами[331] , с тем, чего можно было бы ожидать от них, если бы мы не сражались в их рядах»[332].

В 1391 г. во время совместного похода против Синопа и Кастамона[333] Мануил II воочию увидел, как турки обращались с завоеванным населением. Упоминая о диком месте, где был разбит военный лагерь, он пишет: «Оно [место] оставлено жителями, укрывшимися в расселинах скал, в лесах и в горах, пытаясь спастись от смерти, от которой, однако, нет спасения, от жесточайшей и бесчеловечной смерти без какой-либо видимости справедливости. Ибо всякий раз открытые (для жалобы. — *Т. К.*) уста были немедленно затворены мечом. Никого не щадили: ни малых детей, ни беззащитных женщин. У тех, кто не может спастись бегством в силу преклонного возраста или болезни, нет надежды избежать смертоносного клинка»[334].

Димитрий Кидонис в письме, написанном в 1391 г. Иоанну Ласкарису Калоферу, точно описывает состояние некогда могущественной империи:

> Я, оставшись здесь, стал свидетелем несчастий, выпавших на долю моего отечества, ибо мне приходится видеть то, как прославленная многими империя ромеев растоптана в прах варварами, которые не раз желали поработить ее; — то, как всё ей прежде принадлежавшее уступлено им, всё некогда завоеванное, благодаря ее превосходству в силах, ныне потеряно. Осталась от нее, подобно голове, отделенной от туловища, только одна столица, которая ныне со своим правителем пышно исполняет рабскую службу[335].

В 90-е гг. XIV в. Баязид направил свои усилия на подчинение Сербии и Болгарии. В его планы входило также завоевание

---

[331] Персами Мануил II Палеолог называет турок.

[332] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 14.25—28.

[333] См.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus... P. 86; Reinert S. Manuel II Palaeologos and His Müderris // The Twilights of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Impire / ed. S. Ćutčić and D. Mouriki. Princenton ; N. Jersey, 1991. P. 40; Zachariadou E. Manuel II Palaeologos on the Strife between Bayezid I and Kadi Burhan al-din Ahmad // Zachariadou E. Romania and the Turks (ca. 1300 — ca.1500). L., 1985. **4**. P. 472.

[334] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep.16. 7—14.

[335] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 436. 18—24.

Константинополя. Подробно об этом периоде повествует Мануил II Палеолог в «Надгробной речи», посвященной памяти брата, деспота Мореи Феодора[336]. Следующий сюжет, описанный в данном сочинении, очень точно передает характер взаимоотношений византийцев и турок, исходившую от султана опасность для христианских правителей и их бессилие противостоять ей. Зимой 1393/94 г. Баязид вызвал всех «правителей христиан»[337] к себе в ставку во фракийском городе Серры, чтобы убить их и беспрепятственно занять подвластные им территории[338]. Дж. Баркер считает, что поводом к тому стало предательство «христианских правителей» их подданными: последние, выказав туркам недовольство собственными государями, дали Баязиду возможность продемонстрировать свою власть и призвать тех на суд[339], дабы, как пишет Мануил II, «захватить правителя и отобрать его города силой, не щадя их жителей»[340]. Как на главного предателя Мануил косвенно указывает на своего племянника Иоанна VII[341].

Пребывание христианских правителей в ставке султана было небезопасно хотя бы потому, что, по словам Мануила II, в прошлом Баязид уже однажды готовил заговор против них[342]. Комментируя цитируемый трактат Мануила, греческая исследовательница Ю. Хрисостомидис предполагает, что он, вероятно, имел в виду историю, позже изложенную Дукой, согласно которой Баязид планировал убить Мануила II еще в конце малоазийской кампании[343]. Чтобы собрать всех «лидеров христиан», султан пошел на хитрость.

---

[336] См.: Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 15.

[337] Ibid. P. 137. 15. Дж. Баркер уточняет имена двух правителей Балкан, «приглашенных» на встречу в Серрах вместе с императором Мануилом II и его братом, деспотом Мореи Феодором: Стефан Лазаревич, чей отец был убит на Косовом поле, и Константин Деянович, или Драгаш, тесть Мануила (см.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus… P. 117).

[338] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 139. 30—141.1.

[339] См.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus... P. 114—117.

[340] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 133. 10—12.

[341] Д. Никол называет Иоанна VII среди прибывших на встречу в Серры (Nicol D. The Last Centuries of Byzantium 1261—1453. Cambridge, 1993. P. 301).

[342] См.: Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 137. 10—12.

[343] См.: Ibid. P.136. Not. 57.

Каждого он заверил, что хочет встретиться с ним лично наедине: «Когда я думал, что он [Феодор] остался дома, он думал то же самое обо мне, однако же, приняв вызов, мы оба покинули наши уважаемые дома, как мне кажется, в один день и в один час»[344]. Только оказавшись вместе, они к своему ужасу осознали, что попали в ловушку: «Все, что они могли делать, это лишь плакать навзрыд: “Мы пропали”»[345].

Мануил уверен, что султан собрал их для того, чтобы расправиться со всеми одним махом. Более того, он сообщает, что убийство должен был совершить один из командующих турецкой армией[346]. Но приказ султана по неизвестным причинам не был исполнен. Возможно, замечает Дж. Баркер, все зависело от настроения султана: он вполне мог через некоторое время передумать[347]. Д. Никол же считает, что султан страдал сумасшествием[348]. Как бы то ни было, всем правителям, прибывшим к двору Баязида, была сохранена жизнь.

В итоге все вассалы султана, за исключением Феодора Палеолога, были отпущены по домам. Деспота же принудили участвовать в походе турок на Фессалию и Фокиду в январе-феврале 1394 г.[349] Во время кампании Баязид требовал от Феодора передачи некоторых пелопоннеских крепостей, включая Аргос и Монемвасию[350], и Феодор был вынужден согласиться: «Монемвасия была... отдана султану в качестве выкупа вместе с соседними деревнями»[351]. В этой ситуации показательно поведение Феодора, у которого был выбор: или продолжать сопротивление, что было бы «сущим безрассудством... когда уже перед ним размахивали обнаженными мечами»[352], или же «подчиниться вражеским требованиям и отдать

---

[344] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 137. 12—14.

[345] Ibid. P. 139.12—13.

[346] Ibid. P.141. 7.

[347] См.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus... P. 117;

[348] См. об этом: Nicol D. The Last Centuries of Byzantium... P. 301.

[349] См.: Chrysostomides J. Introduction // Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 18; Nicol D. The Last Centuries of Byzantium... P. 301.

[350] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 143. 13—15.

[351] Ibid. P. 143. 15—17.

[352] Ibid. P. 145. 11—12.

все, что имел, чтобы спасти себя»[353]. По словам Мануила, его брат «проявил благоразумие»: до самого конца он не выражал открытого неповиновения султану, как «кто-либо мог сделать в полном отчаянии», но и не сдался ему: «он не сказал ничего резкого, ничего грубого или отталкивающего», однако не вел себя «по-рабски и трусливо»[354]. Поведение Феодора показывает, как приходилось лавировать правителю, чтобы сохранить власть и не прогневать султана.

После встречи в Серрах турецко-византийское «сотрудничество», выражавшееся в вассальной зависимости Византии от Османской империи, подошло к концу. В 1394 г. Баязид начал осаду Константинополя, длившуюся восемь лет. Стало очевидным, что столица империи не сможет выстоять без внешней помощи.

Установление сюзеренитета султана над Сербией, уничтожение Болгарского царства и вторжение османов в Валахию создавали опасность для короля Сигизмунда Венгерского. Перед лицом турецкой угрозы Сигизмунд стремился создать антитурецкую лигу, идею которой поддерживал и Мануил II. В 1396 г. Сигизмунд, Мануил II и Венеция договорились снарядить войска для войны с Баязидом. В крестовый поход против турок отправились контингенты из Франции и Бургундии под командованием сына герцога бургундского Иоанна (Жана) Бесстрашного, графа Невера. Приближение крестоносцев вынудило Баязида снять осаду с Константинополя и перебросить силы на Дунай. В сражении при Никополе 25 сентября 1396 г., несмотря на первоначальный успех, тяжеловооруженные французские рыцари были разбиты турками[355]. Мануил Калека писал, что надежда увидеть, как судьба меняется к лучшему, не сбылась[356]. Мануил II назвал поражение союзников «ударом молнии, который хоть и не уничтожил весь мир, но унес жизни благородных мужей»[357]. Император, однако, продолжал надеяться, что Господь остановит врага: «Он не позволит, я уверен,

[353] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration... P. 145. 13—14.
[354] Ibid. P. 147. 12—14.
[355] См.: Atiya A. S. The Crusade in the later Middle Ages. L., 1938. P. 435—462.
[356] См.: Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 37. 17—19.
[357] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31. 27—32.

розге нечестивых беспрерывно сечь наследников справедливости и веры»[358].

После победы Баязид окончательно установил свое господство над болгарскими землями и в 1397 г. возобновил осаду Константинополя. Венецианцы, которые понимали опасность турецкой угрозы, пообещали военную и финансовую поддержку византийцам. Император отправил также посольства к правителям Запада с просьбой о помощи. Французский король Карл VI поручил маршалу Шарлю Бусико с отрядом в 1200 солдат отплыть в Константинополь, где они высадились в 1399 г.[359] На месте Бусико увидел, что для защиты города необходимы гораздо большие силы, и убедил императора отправиться на Запад за помощью[360], примирившись перед этим с мятежным племянником Иоанном VII, которого Мануил оставил править городом на время своего отсутствия. Иоанн занялся обороной Константинополя, в то время как Мануил, по выражению Симеона Фессалоникийского, «выскользнул из столицы и отправился в путь до самых пределов земли»[361].

Город находился в плачевном состоянии, население было охвачено отчаянием, которое усугублялось голодом. Когда ситуация для столицы стала почти безнадежной, спасение пришло с Востока.

Амбиции Баязида в Восточной Анатолии столкнулись с устремлениями Тимура, который одержал над ним победу в битве при Анкаре в 1402 г., взяв самого султана в плен[362]. Тимур установил контроль над азиатскими владениями Баязида, не затронув владений турок на Балканах. Византийский император, Венеция, Генуя и рыцари ордена Св. Иоанна заставили Сулеймана, сына Баязида, подписать соглашение в Галлиполи, по которому Фессалоника

---

[358] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31. 47—48.

[359] См.: Lalande D. Jean II le Meingre, dit Boucicaut (1366—1421). Étude d’une biographie héroïque. Genève, 1988. P. 83.

[360] Ibid. P. 91.

[361] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 45. 35—36.

[362] О битве при Анкаре и ее последствиях см.: Alexandrescu-Dersca M. M. La champagne de Timur en Anatolie (1402). L., 1977. P. 68—79.

возвращалась империи[363]. Империя Баязида была разгромлена и разделена между его наследниками, Константинополь был спасен. Междоусобная война преемников Баязида (1403—1413) исключила активные действия турок против Византии.

Новый этап турецкой агрессии связан с правлением Мурада II (1421—1451)[364], приход которого к власти завершил период усобиц между потомками Баязида. Мурад II расправился с претендентом на престол Мустафой, которого поддерживал император Мануил II, и перешел к активным действиям против Византии. В начале июня 1422 г. он осадил Константинополь. Исидор Киевский в панегирике Мануилу II и Иоанну VIII Палеологам, составленном незадолго до трагический событий 1453 г., описал осаду Константинополя турками летом 1422 г. Автор напомнил, что предыдущие турецкие осады византийской столицы были безуспешными, хотя и изнурительными для великого города. Он с уважением отзывался о военной мощи осаждавших и отмечал успехи предшественников Мурада II, блестящую выучку войск султана, его стратегические способности. Но похвалы противнику призваны были оттенить мужество и стойкость защитников столицы, страдавших от голода и усталости, но сохранивших веру в небесную покровительницу и надежду на воинское искусство императоров, руководивших обороной города[365].

Симеон Фессалоникийский писал о событиях 1422 г.:

> Хотя нам была предоставлена возможность решить наши проблемы и все у нас было в руках для этого, мы все потеряли... из-за своей неблагодарности и головокружения от успехов. Господь пробудился, чтобы возмутиться, и все плоды Его гнева пали на нас. Вы все знаете, что случалось после смерти того нечестивого человека, султана [Мехмеда I]: как Мустафа победил; как наши люди были слишком пассивны, чтобы воспользоваться преимуществами этого; как генуэзцы стали инструментом возвышения безбожного Мурада и каким ужасным злом это закончилось; как осадили столицу вместе с нашим

---

[363] См.: Dennis G.T. The Byzantine-Turkish Treaty of 1403 // OCP. 1967. Fasc. 1. P. 72—88; Matschke K.-P. Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spätbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar, 1981. S. 60.

[364] См.: Werner E., Markov W. Geschichte der Türken... S. 41.

[365] См.: Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Т. 3. Σ. 132—199.

городом [Фессалоникой]; как внушающая страх армия и сборище безбожников были брошены против благочестивого града Константина; как были установлены осадные машины и начались сражения; при том что натиск и ярость нечестивцев против нас были сильнее, чем когда-либо в прошлом[366].

Не взяв столицу с наскока, Мурад прекратил осаду в начале сентября, но продолжал блокировать Фессалонику.

События, связанные с осадой Фессалоники, описаны митрополитом Симеоном в «Слове о чудесах св. Димитрия», обращенном к покровителю города[367]. Это сочинение автор писал, находясь в осажденном городе и переживая вместе с согражданами тяготы и лишения тех дней. Апелляция к небесному покровителю демонстрирует убежденность интеллектуала в том, что св. Димитрий наряду с Господом и Богородицей является последней надеждой на спасение для жителей города: «Мы часто вплотную подходили к гибели из-за вражды между людьми, и лишь он один, разгоняя врагов, следил, чтобы спаслись благочестивые, и препятствовал отчаянным попыткам нечестивых подчинить нас»[368].

Симеон Фессалоникийский подробно повествует о чудесах, явленных святым в защиту византийцев и направленных против турок. Он упоминает о 25 случаях вмешательства в ход событий св. Димитрия. Так, автор «Слова» связывает избавление Фессалоники от турок в 1403 г. с демонстрацией чудесной силы святого[369]; показывает, что именно Богородица при содействии св. Димитрия направила Тимура в 1402 г. против Баязида I, что поспособствовало освобождению Фессалоники[370]; приписывает провал осады города войсками Мусы в 1411 г. также заступничеству мученика[371]; объясняет чудесным вмешательством патрона собственное спасение во время путешествия на Афон в 1422 г.[372] Небесный покровитель

---

[366] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 52. 18—23.

[367] «Слово» составлено в 1427 или в 1428 г. (Ibid. P. 103).

[368] Ibid. P. 56. 24—26.

[369] Ibid. P. 43.23—44.18.

[370] Ibid. P. 46.20—28.

[371] Ibid. P. 49.1—6.

[372] Ibid. P. 54.7—20.

в этих описаниях предстает не как творящий чудеса святой, а как проводник воли Всевышнего, как эманация Божественного Провидения.

Митрополит Симеон сообщает о том, что в городе были сильны предательские настроения[373]. В Фессалонике, почти добровольно подчинившейся туркам в 1387 г., под их властью выросло новое поколение жителей, имевших за плечами опыт сосуществования с ними. Многие горожане в сложившейся ситуации были готовы вновь принять власть османов и даже перейти в ислам, если бы это гарантировало им более легкую жизнь[374] . Они считали это меньшим злом, нежели многолетнее осадное положение в условиях изнуряющего голода. Рьяный поборник сопротивления туркам Симеон был явно на стороне того меньшинства, которое хотело сражаться до конца, не страшась лишений и страданий. Большинство же жителей смотрели иначе на свое будущее и будущее своего города.

Не в состоянии противостоять турецкой опасности и не имея возможности выдержать осаду, городские власти передали в 1423 г. Фессалонику венецианцам. Несмотря на это турецкая осада продолжалась, и продолжались беды, с нею связанные. Симеон рисует страшную картину разорения и упадка некогда цветущей Фессалоники:

> Деспот покинул город, который был сдан. Хотя он [город] избежал участи быть отданным безбожникам, ему все же приходилось нелегко, потому что, хотя новые правители города пытались защищать его и стремились всеми возможными способами добиться мирного соглашения, им это не удалось из-за ярости врагов. И потому Фессалоника увядала, приходила в упадок, пустела и разрушалась. Большинство жителей ее окрестностей бежали и сдались безбожникам, другие стали изгнанниками в других местах проживания — в сельских местностях и городах. Одни оказались в плену, другие были вырезаны, в то время как те, кто остался в городе, либо страдал от голода, либо подвергался другим лишениям[375].

---

[373] Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 56. 3—14.

[374] Ibid. P. 159.

[375] Ibid. P. 59.7—15.

Последнюю точку в судьбе византийского города турки поставили в 1430 г., когда войска Мурада II заняли Фессалонику. Падение Фессалоники стало предвестием скорой гибели империи. Истерзанная Византия уже не была в состоянии оказывать сопротивление туркам, и логичным завершением многолетнего противостояния стало взятие Мехмедом II (1451—1481) Константинополя 29 мая 1453 г., означавшее конец некогда великой империи. Исидор Киевский, сообщая папе в 1453 г. о падении Константинополя, свидетелем чего он стал, заметил, что в будущем Мехмед II постарается разрушить весь христианский мир, ибо стремится к все новым завоеваниям, заставляя каждый день читать себе отрывки из жизнеописания Александра Великого на арабском, греческом и латинском языках[376]. Возможно, это было вымыслом, но гораздо важнее то, что в сознании современников символ античной и христианской империй был перенесен на новое государство, недвусмысленно заявившее о своих имперских амбициях.

Османская угроза, довлевшая над Византией все последнее столетие существования империи, подверглась разностороннему осмыслению в византийской литературе. Современники старались понять причины столь молниеносного взлета своих восточных соседей и их побед, обернувшихся поражением Византии. Византийские авторы того времени много и часто говорили о турках и об опасности, которую те представляли для империи ромеев, сожалели о потерях и унижениях, которые вынуждены были сносить от восточных соседей их соотечественники, размышляли о бедствиях и лишениях, которые уже принесли и которые еще должны принести грекам турецкие завоевания. Турецкая тема — одна из наиболее распространенных в сочинениях поздневизантийских писателей[377].

Контакты слабеющей империи ромеев с османами, переживавшими тогда небывалый подъем, уже с первого соприкосновения

---

[376] См.: La caduta di Constantinupoli / ed. A. Petrusi. Roma ; Milano, 1976. P. 60.

[377] См., в частности: Поляковская М. А. Турецкая интервенция в позднепалеологовской риторике // Власть, политика, право в Античности и Средневековье : сб. ст. / под ред. Е. П. Глушанина. Барнаул, 2003. С. 210.

двух цивилизаций имели преимущественно конфликтный оттенок. Однако отношения между византийцами и турками не сводились только к военному противоборству, а носили гораздо более сложный и не всегда однозначный характер. Наряду с открытым противостоянием можно вспомнить примеры сотрудничества в разных его формах и проявлениях, не исключавшего и мирное сосуществование греков и турок на определенных отрезках времени. Византийцы ведь не только участвовали в военных походах на стороне турок в качестве вассалов, но и сами привлекали их к своим междоусобным конфликтам, обращаясь за поддержкой к султану. Во внутриполитической борьбе практически все соперничавшие за власть группировки охотно прибегали к услугам турок, рассчитывая на их военную помощь[378]. Кроме того, византийские теологи нередко вели религиозную полемику с мусульманскими богословами. Да и на уровне бытового общения грекам приходилось постоянно контактировать с турками в зонах их совместного проживания[379].

При всей неоднозначности восприятия турок греками, проистекавшего из многогранного опыта их взаимного общения, среди основной массы византийских интеллектуалов все же преобладали подозрительность и враждебность по отношению к восточным соседям. Неприязнь к ним закладывалась не только вследствие военно-политических противостояний, но и ввиду религиозных противоречий. Образованные византийцы зачастую оценивали турок в рамках традиционных представлений о других народах как варварах и категорически противопоставляли мусульман христианам. Турки, которых византийские авторы именовали нечестивым народом (ἀσεβεῖς), трактовались как антагонисты по отношению к христианскому населению империи[380]. Антитеза ἀσεβεῖς —

[378] См.: Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc: Histoire d’un espace d’imbrication gréco-turque. Istanbul, 1994. P. 73—81.

[379] О примерах мирного взаимодействия и взаимовлияниях между греками и турками см.: Ibid. P. 7—21.

[380] См.: Ditten H. Βάρβαροι, Ἕλληνες und Ῥωμαῖοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern // Actes du XIIe Congr. Intern. des Études byzantines. Ohride, 10—16 septembre 1961. Belgrade, 1964. Vol. 2. S. 287.

Χριστιανοί была ключевой в характеристике турок. Не случайно этот период стал временем расцвета полемических сочинений антиисламской направленности[381], в которых резко критиковались догматы мусульманской веры.

Христианская антиисламская полемика начала оформляться еще в VIII в., в период арабских завоеваний[382]. В последующие столетия, особенно в XI—XII вв., знания византийцев об исламе расширились, а антиисламская критика приняла более острый характер, поскольку греки постоянно сталкивались с вызовами мусульманского мира[383]. Нарастание же турецкой угрозы в XIV в. еще больше актуализировало необходимость идейного отпора наступлению исламской цивилизации, стремившейся к религиозному доминированию в регионе.

В последней трети XIV — первой половине XV в. общее отношение византийцев к восточным соседям носило уже довольно постоянный характер. Восприятие турок как интеллектуальной и политической элитой, так и «безмолствующим большинством» было весьма отягощено отрицательными коннотациями, которые подпитывалась образами, сохранявшимися в исторической памяти греков. Опыт столкновения предшествующих поколений ромеев с тюркскими народами, а если брать шире, то и с мусульманским миром в целом породил устойчивые клише, из которых и формировался собирательный образ человека с Востока. Именно поэтому турок в последней трети XIV — первой половине XV в., как и в предыдущие столетия, именовали либо с помощью этнонимов, предполагавших широко известные исторические аналогии, либо терминами с ярко выраженной религиозной окраской.

Для именования турок поздневизантийские авторы часто использовали названия народов, являвшихся врагами греков в далеком

---

[381] Об антиисламской полемике см.: Khoury A. T. Polémique byzantine contre l'Islam. Leiden, 1972; Meyendorff J. Byzantine Views of Islam // DOP. 1964. T. 18. P. 113—132; Vryonis S. Byzantine Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages // GRBS. 1971. Vol. 12. P. 263—286.

[382] См.: Meyendorff J. Byzantine Views of Islam... P. 115.

[383] Ibid. P. 123.

прошлом: персы[384], скифы[385], ахемениды[386], сарацины[387]. Употребление интеллектуалами антикизирующих имен в отношении соседей, сознательная архаизация этнических названий — дань литературной традиции, довлевшей в среде писателей.

Использовались для именования турок и термины с религиозным содержанием: мусульмане, агаряне или исмаилиты. Называя турок исмаилитами или агарянами[388], византийцы в уничижительной форме подчеркивали, что Исмаил был сыном Агари, рабыни Авраама. Не вдаваясь в тонкости другой веры и не признавая самобытность нехристиан, интеллектуалы проявляли религиозную нетерпимость, именуя мусульман «неверными», «нечестивыми», «безбожниками», «подлыми». Мануил II говорил, что они «долгое время беспредельно распутничали, богохульствовали, насмехались над святынями и жили в роскоши среди потоков крови и убийств»[389]. Да и синонимичный ряд, используемый для их характеристики, не отличался новизной и оригинальностью: «варвары», «нечестивый народ», «враги ромеев» — такова наиболее типичная фразеология этого времени при упоминании мусульман.

Отличительными чертами, которыми византийские интеллектуалы наделяли восточных соседей, были беспредельная жестокость и вероломство. Турки ассоциировались с разверстой пастью, жаждущей заглотить византийские земли, как о них сказал Мануил II в «Надгробной речи»[390]. Симеон также использовал схожий образ,

---

[384] См.: Correspodance de Manuel Calecas... Ep. 292.174; 302.202; Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften … Ep. 19. 31; Trapp E. Manuel II. Palaiologos. Dialog mit einem «Perser». Wien, 1966. S. 95.28.

[385] Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrations... I. 7. 11—12.

[386] Joannis Cantacuzeni Contra sectam mahometicam apologiae IV // PG. 154. P. 372 A.

[387] Г. Моравчик отмечает, что в византийский источниках сарацинами назывались повсеместно мусульманские племена сельджуков и османов (Moravcsik G. Byzantinoturcica... Bd. 2. S. 268).

[388] См.: Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften … S. 219.93; Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 60.32.

[389] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31. 91—93.

[390] Manuel II Palaeologus. Funeral Oration… P. 153. 21—22.

подчеркивая кровожадность неверных: «наши внешние враги, чьи пасти подобны пастям диких животных»[391].

Зооморфными чертами интеллектуалы наделяли и турецкого султана, приписывая ему такие качества, как вероломство, необузданную жестокость, звериную сущность, коварство и кровожадность. Мануил II называл Баязида I «свирепым чудовищем», Циклопом, которому «хамство заменяло слепоту, а бесстыдство — пещеру», «пастухом» для людей, которые «ничем не лучше зверей»[392], «бичом, уничтожавшим города и народы»[393]. Симеон Фессаломикийский величал того же Баязида нечестивейшим из животных[394], Мехмеда I — диким волком[395], а Мустафу — детенышем льва[396].

Византийские писатели утверждали, что Мухаммед был лжепророком и безнравственным человеком, а Коран — ложной книгой. Мануил II порицал ислам, а Мухаммеда называл Антихристом, самозванцем, лжепророком[397]. Признавать военные успехи турок Божьей карой за грехи христиан было для поздневизантийской литературы общим местом[398]. Начиная со св. Иоанна Дамаскина, который считал приверженцев ислама пособниками Антихриста, византийцы относились к мусульманским вторжениям как к наказанию[399]. Но и надежды на избавление от этого бедствия возлагались на Всевышнего. Мануил II писал: «Бог, я уверен, раздробит зубы тем, чьи рты, источая богохульства, бросают вызов небесам, — тем, по сравнению с речами которых слова фарисеев кажутся

---

391 Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P.57.13—14.

392 Manuel II Palaeologus. Funeral Oration… P. 144.

393 The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep.7. 18.

394 Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον... P. 46. 7.

395 Ibid. P. 49.20—21.

396 Ibid. P. 44.23.

397 The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 31. 95—96.

398 См.: Vrionis S. The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam // BS. 1996. T. 57, № 1. P. 106.

399 См.: Meyendorff J. Byzantine Views of Islam... P.115—120.

скромными»[400]. Он выражал уверенность в триумфе Христа над Мухаммедом, в спасении ромеев и поражении султана[401].

В целом, вся терминология, применявшаяся образованной элитой по отношению к мусульманам, носила стереотипный характер, не отличалась оригинальностью и представляла собой набор устойчивых клише. Для интеллектуалов «турецкая тема», актуализированная осложнением внешнеполитической ситуации, была сопряжена с проблемой религиозного различия и с традиционно негативным отношением византийцев к иноверцам. Резкое противопоставление христиан и нехристиан только усиливало вражду и ненависть к туркам.

Но не все образованные византийцы даже в XIV в. проявляли конфессиональную нетерпимость и ксенофобию по отношению к беспокойным соседям с Востока. В известном «Письме своей церкви»[402] Григорий Палама выразил иной, отличный от вышеописанного взгляд на турок. Пережив перипетии турецкого плена в 1354—1355 гг., Палама получил неоценимый опыт личного общения с теми, кого он именовал «неверными». Этот непростой опыт внес определенные коррективы в его отношение к туркам, и они заслужили даже положительные оценки из уст образованного грека. Для Паламы, в отличие от многих его современников, не существовало единого собирательного образа турка. Турки для него — также индивиды, наделенные в той или иной мере положительными и отрицательными качествами. Палама демонстрирует свою открытость для политического и религиозного диалога с иноверцами[403].

В XV в. некоторые византийские интеллектуалы не только проявляли терпимость, но даже предпринимали попытки снять теологические разногласия между христианством и исламом. Наиболее

---

[400] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31. 55—61.

[401] См.: Reinert S. Manuel II Palaeologos and His Müderris... P. 51.

[402] См.: Philippidis-Braat A. La captivité de chez les Turcs: dossier et commentair // TM. 1979. T. 7. P. 136—166.

[403] См.: Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc... P. 154—173; Шукуров Р. М. Зона контакта. Проблема межцивилизационных отношений в современной византинистике // ВВ. 2000. Т. 59. С. 264.

показательным примером служит позиция Георгия Трапезундского по вопросу межконфессионального диалога с турками[404]. Он подчеркивал общее происхождение христиан и турок. Кроме того, он отказался от употребления уничижительного этнонима «исмаилиты», уточняя, что турки так называются по имени царя Исмаила, сына Авраама[405]. Когда Георгий упоминал о турках, он использовал нейтральные термины, исторически приближенные к его времени («турки») или подчеркивающие их религиозную инаковость («мусульмане»)[406]. По его мнению, род мусульман и род христиан равновелики: «Ты видишь, — писал он Мехмеду II, — всезлатый эмир и истинный султан: весь род людской разделен на три части: на евреев, на христиан и на мусульман, из которых род евреев невелик и слишком рассеян, род христиан многочисленен, велик и имеет большие возможности, мудрость и знание, род же мусульман весьма велик и достоин удивления»[407].

Георгий признавал право турок быть другими, иметь отличные от христиан обычаи и образ жизни. Часто непонимание определено незнанием языка другого: «Незнание умножало разногласия. Ибо христиане и мусульмане не могут собеседовать друг с другом из-за незнания языков»[408]. Он осуждал насилие, военные конфликты, вражду и разногласия: «Ибо христиане мусульман презирают как неразумных и невежественных, и мусульмане ругают христиан как идолопоклонников, и те и другие ругают друг друга как нечестивых. Знаю, что оскорбление не усмиряет, но еще более пробуждает соблазны и вражду, и воспламеняет дух, и весьма разжигает пламя гнева, и возбуждает великую ненависть, и крайне разделяет людей. Самое худшее, что все они, и христиане, и мусульмане, невозможным считают это Божественное единение»[409].

---

[404] См.: Лобовикова К. И. Георгий Трапезундский и Мехмед II Завоеватель // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С.154.

[405] Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры / пер. с древнегр. К. И. Лобовиковой ; общ. и науч. ред. Д. А. Поспелова. Самарканд, 2009. С. 137.

[406] Там же. С. 138.

[407] Там же. С. 20. Гл. 5.

[408] Там же. С. 24. Гл. 14.

[409] Там же. С. 23. Гл. 13.

Опираясь на Ветхий и Новый Заветы и на Коран, он доказывал, что на самом деле между христианами и мусульманами нет противоречий, только по вопросу о Кресте и смерти Христа они сталкиваются друг с другом[410]. Георгий стремился склонить Мехмеда к принятию христианства, пытаясь его убедить в том, что христианство является единственной истинной религией. Он убеждал, что именно султану предначертано «собрать мусульман и христиан в одной вере и в одном исповедании»[411].

Если большинство авторов предшествующего столетия в один голос порицали турецкого султана, уличая его в безбожности и жестокости, то некоторые писатели XV в. попытались создать идеальный образ восточного властителя. Особенно эта тенденция проявилась после падения Византии. Исидор Киевский, Георгий Сфрандзи, Николай Секундин, Георгий Трапезундский отмечали эрудицию Мехмеда II, его глубокие познания и интерес к Античности[412]. При этом образ султана конструировался византийскими авторами с помощью тех клише, которые прежде использовались для формирования образа василевса. Они изображали великого турка величайшим из полководцев, уподобляя Александру Македонскому, Октавиану Августу и Константину I: «Ты станешь более великим и прославленным, чем все знаменитые цари и самодержцы, и Бог повергнет к твоим ногам всякого противника и врага от края земли и до края, и покажутся ничтожными по сравнению с твоим могуществом Александр Македонский, Кесарь Август и сам Константин»[413]. Георгий Трапезундский даже называл Мехмеда наместником Христа и утверждал, что его власть исходит от Бога[414].

---

[410] См.: Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры... С. 87—88. Гл. 178—180.

[411] Там же. С. 21. Гл. 7.

[412] См.: Медведев И. П. Падение Константинополя в греко-итальянской гуманистической публицистике XV в. // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 304.

[413] Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры... С. 90. Гл. 183.

[414] См.: Лобовикова К. И. Георгий Трапезундский и Мехмед II Завоеватель... С. 147—148.

Более сдержанная и трезвая оценка, которая стала утверждаться в умах не только образованных византийцев XV в., но и в среде политической элиты, была вызвана настоятельной потребностью найти пути замирения с опасным противником и сосуществования с ним в занятых областях, а на заключительной фазе турецких завоеваний — необходимостью выживания в новых условиях. Однако эти перемены, как отмечает Р. М. Шукуров, стали результатом вынужденного приспособления к внезапно изменившимся условиям, носившим разрушительный характер для традиционных форм жизни автохтонов[415].

Все же, поскольку мы рассматриваем общую картину отношений между двумя религиозными мирами, мы видим, что, по существу, они оставались непроницаемыми друг для друга: «Старый византийский инстинкт консерватизма, являвшийся и главной силой, и основной слабостью восточного христианства, стал последним убежищем, которое могло гарантировать ему выживание перед лицом ислама»[416].



[415] См.: Шукуров Р. М. Зона контакта... С. 267.

[416] Meyendorff J. Byzantine Views of Islam... P. 132.



Глава 5
ПРОЗАПАДНЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Латинофильство как форма инакомыслия



сознание невозможности собственными силами противостоять мощи молодого турецкого государства, жаждавшего новых завоеваний и территориальных приобретений, вынуждало византийцев искать помощи извне. Угроза с Востока подталкивала часть общества обратить свои взоры на Запад.

Однако в сознании византийцев глубоко укоренилось враждебное отношение к Западу. Историческая память о схизме 1054 г. и IV Крестовом походе 1204 г. во многом определяла неприязненное и подозрительное отношение поздневизантийского общества к латинянам. Греки не могли забыть того унижения, которое они испытали во времена латинского владычества. Латинян упорно продолжали отождествлять с варварами и противопоставлять ромеям как в официальных документах, так и в литературе разных жанров. Господствующая политическая доктрина подпитывала подобные настроения, находя идеологическое обоснование превосходства греков над остальным миром в культивируемой веками идее великодержавности, хотя та уже и не соответствовала поздневизантийским реалиям[1].

---

[1] См.: Beck H.-G. Reichsidee und national Politik in spätbyzantinischen Staat // BZ. 1960. Bd. 53, H. 1. S. 86; Dieten van J.-L. Politische Ideologie und Nidergang im Byzanz der Palaiologen // Zeitschrift für historische Forschung. 1979. Bd. 6, H. 1. S. 6.

Между православным Востоком и католическим Западом пролегала почти непреодолимая пропасть, которая не только исключала церковное общение, но и затрудняла политический и культурный диалог. Спор об истинном понимании веры, затянувшийся на столетия, стал существенным элементом религиозной, интеллектуальной и даже политической жизни обеих противоборствующих сторон. Антилатинская риторика, не прекращавшаяся в Византийской империи и в палеологовское время, имела, в частности, цель поддержать укоренившийся в сознании византийцев «образ врага», который для истинного православного олицетворяли собой латиняне.

Тем не менее на фоне всеобщей нелюбви к европейцам и высокомерного отношения к Западу в Византийской империи 60-х гг. XIV в. сформировалось идейное течение, доказывавшее возможность и необходимость сближения с латинянами. Его представители обладали значительным влиянием в силу своей близости к императорскому двору, особенно в правление Мануила II Палеолога, разделявшего подобные умонастроения.

Латинофильство позднепалеологовского времени было своего рода реакцией на распространение в Византии исихазма[2]. Оно изначально опиралось на теологическое основание. Сторонниками его были преимущественно представители интеллектуальных кругов[3], интерес которых к Западу сложился в результате глубокого изучения трудов западноевропейских авторов.

Одним из первых византийцев, увлекшихся западной схоластикой, был Димитрий Кидонис[4]. Поступив на службу к Иоанну

---

[2] См., например: Meyendorff J. Society and Culture in the Fourteenth Century: Religious Problem // XII[e] Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 55; Russel N. Palamism and the Circle of Demetrius Cydones // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate. 2003. P. 153—174.

[3] См.: Ломизе Е. М. Варлаамизм и византийское латиномыслие. Просопографические наблюдения // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 267.

[4] См. об этом: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1959. S. 733; Mergiali S. L’Enseignement et les lettrés pendant l’époque des Paléologues (1261—1453). Athena, 1996. P. 113.

Кантакузину в 1347 г., он должен был принимать просителей, среди которых было много прибывших в столицу европейцев: послов, ученых, купцов[5]. Поскольку найти хорошего переводчика даже при дворе было трудно, Кидонис решил самостоятельно освоить латинский язык, чтобы общаться с иностранцами без посредников. С помощью доминиканского монаха Кидонис начал изучать латынь[6]. Его наставник избрал для чтения труд Фомы Аквинского «Summa contra gentiles». Это произведение так увлекло Кидониса, что он решил сделать перевод, дабы и его друзья могли ознакомиться с мыслями и идеями одного из столпов западной схоластики[7]. Кидонис стал одним из лучших для своего времени переводчиков латинских теологических текстов, совмещая в работе метод дословного (*ad verbum*) и смыслового (*ad sententiam*) перевода и опираясь на глубокие познания греческой литературы. В итоге Кидонис не только перевел ряд сочинений Аквината[8], но и проникся уважением к богословию и интеллектуальной культуре латинян. Благодаря его переводам византийский мир открывал для себя западную схоластическую мысль, что положило начало новому этапу в развитии диалога между православным Востоком и латинским Западом[9].

Хотя Кидонис был не первым греком, знавшим латынь (можно вспомнить, к примеру, переводческую деятельность Максима Плануда[10]), но именно он в интеллектуальной среде позднепалеоло-

---

[5] См.: Mercati G. Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleka e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della teologia e della letteratura bizantina del secolo XIV. Studi e testi, 56. Città del Vaticano, 1931. P. 363. 39—44.

[6] Ibid. P. 364. 34—44.

[7] См.: Ryder J. The Career and Writings of Demetrius Kydones. A Study of Fourteenth-Century Byzantine Politics, Religion and Society. Leiden ; Boston, 2010. P. 14.

[8] См.: Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas // Byz. 1982. Vol. 52. P. 264—284; Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur ... S. 733—736; Karpozilos A. Thomas Aquinas and the Byzantine East // EkklPhar. 1970. Vol. 52. P. 134—135.

[9] См.: Glycofrydi-Leontisini A. Demetrius Cudones as a Translator of Latin Texts // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 185.

[10] См.: Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig ; Berlin, 1926. S. 65.

говской Византии пробудил интерес к изучению латинского языка и переводу сочинений латинских авторов. Ученики Кидониса Максим Хрисоверг и Мануил Калека под влиянием своего наставника принялись осваивать теологические тонкости томизма сначала по переводам, а затем приступили к изучению латинского языка, ведь их учитель считал, что если кто-то желает «насладиться достижениями (европейцев. — *Т. К.*), он должен знать их язык»[11].

Последователи Кидониса, увлеченные западной схоластикой, изучали латынь не только для того, чтобы читать и переводить интересующие их тексты теологического содержания. В условиях становления контактов с итальянскими коллегами знание византийцами латинского языка открывало для них возможность живого общения с западными учеными. Кидонис поощрял изучение латинского языка среди своих подопечных. В одном из писем Максиму Хрисовергу он радовался его успехам: «Получить твое запоздалое письмо мне было приятно, и то, что оно составлено на латыни, усилило мою радость не потому что я предпочитаю этот язык греческому, а потому, что, как я вижу, ты выучил и аттический, и этот язык. <…> То, что ты за такое короткое время смог сделать, доказывает, что ты скоро заслужишь репутацию Зенона[12]. Ибо любой сможет оценить твои способности, и твои собеседники станут звать тебя двуязычным [ἀμφοτερόγλωσσος], ведь ты владеешь двумя языками. Если учесть еще и твое рвение, то ты заработаешь равное уважение и у эллинов, и у латинян: тебя будут все хвалить, ибо ты сможешь понимать и тех, и других»[13]. Изучение латинского языка открывало для византийских писателей новые интеллектуальные возможности: это было и общение с западными коллегами, и знакомство с достижениями западной мысли, и открытие для себя античных авторов, чьи труды сохранились в латинских переводах или чьи идеи получили развитие в сочинениях средневековых богословов: «Польза, которую приносит мудрость Италии, может оказаться

---

[11] Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1; 1960. Vol. 2. Ep. 35. 46.

[12] Зенон — древнегреческий философ.

[13] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 428. 4—13.

еще более выгодной для всех. Но я думаю, она мало принесет пользы, если применять ее в торговой деятельности или в общественных делах. Ее значение на самом деле проявляется в возможности читать античных авторов, приобщаться (к их мудрости. — *Т. К.*) и беседовать с ними»[14].

Интеллектуалы, овладевшие латинским языком, взялись за переводы не только сочинений западных богословов, но и богослужебной литературы. Мануил Калека перевел сочинения латинских теологов Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского и Боэция, а также литургические тексты[15]. Максим Хрисоверг с помощью Мануила Хрисолоры перевел на греческий язык доминиканский миссал[16].

Увлеченные новым знанием, некоторые молодые интеллектуалы отправились за границу учиться у западных коллег. Максим Хрисоверг побывал в Италии: в Венеции он изучал философию, в Падуе — теологию. Его младший брат Андрей Хрисоверг также штудировал теологию в Падуе. Свободное владение языком и компетентность в богословских вопросах позволили ему быть переводчиком на соборе в Констанце 1414 г. Он также стал автором ряда сочинений на латинском языке[17].

Знакомство с западным богословием определило готовность некоторых интеллектуалов не только признать культурное превосходство Запада и согласиться с уступками по ключевым религиозным вопросам, размежевавшим христианский мир, но и перейти в лоно католической церкви. В среде образованной части общества распространялись не только латинофильские настроения, но появились случаи с м е н ы р е л и г и и. Димитрий Кидонис, который не только открыто декларировал свои пролатинские убеждения, собственным примером продемонстрировал готовность признать главенство римского понтифика, приняв крещение по западному образцу. Вслед за своим учителем Максим и Андрей Хрисоверги,

[14] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 428. 15—20.
[15] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur… S. 741.
[16] Ibid. S. 742.
[17] Ibid. S. 743.

Мануил Калека, Мануил Хрисолора, Димитрий Скаран перешли в католичество[18]. Мануил Калека и братья Хрисоверги стали доминиканскими монахами[19]. Всего нам известны имена 18 византийских интеллектуалов последней трети XIV — первой половины XV в., которые сменили свое вероисповедание[20]. Переход в католичество большинства латинофилов был определен идейными соображениями, хотя, по мнению многих современников, они совершали это «ради почести и даров (τιμῆς καὶ δώρων εἵνεκα)»[21].

Путь каждого, кто сделал столь судьбоносный выбор и отважился на религиозную конверсию, индивидуален. Диссидентство ученых было следствием разных причин, и переход в лоно католической церкви мог стать результатом увлечения западным богословием, погружения в переводческую работу, влияния латинофильствующего учителя или же следствием личного знакомства с Западом и общения с представителями западной культуры. Личный опыт внутреннего духовного борения, поиск и обретение собственного ответа на жизненно важные вопросы вели интеллектуалов к религиозному инакомыслию, к открытому конфликту с общественными устоями, однако переход в католичество не ставил их в оппозицию власти, которая довольно лояльно относилась к смене подданными вероисповедания.

Внешнеполитическая ситуация, осложнившаяся во второй половине XIV в. в связи с активизацией турок в Малой Азии и на Балканах, ставила на повестку дня проблему выживания империи. В этих обстоятельствах латинофильское крыло постепенно приобретало также и политическую направленность, ратуя за союз с западными

---

[18] См. об этом: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur… S. 740—751.

[19] Loenertz R. La société des frères pérégrinants. Étude sur l'Orient Dominicain. Rome, 1937. P. 83—88; Ganchou Th. Dèmètrios Kydônès, les frères Chrysobergès et la Crète (1397—1401). De nouveaux documents // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 435.

[20] См. подробнее в гл. 1.

[21] The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977. Ep. 30.32.

правителями и папством для спасения империи от нарастающей турецкой угрозы. Борьба сторонников и противников принятия унии составляла главное содержание политической жизни империи этого периода[22]. Вопрос об унии, которая рассматривалась как плата за военную помощь Запада в борьбе с турками, вызвал в Византии широкую полемику об отношении к латинянам вообще[23]. Соединение разделенных церквей при подчиненном положении православия не казалось ученым прозападного крыла непомерной ценой за поддержку, которую Запад мог оказать Византийской империи. По убеждению латинофилов, только совместными усилиями единого христианского мира, прежде всего организацией крестового похода, можно было остановить продвижение турок. Ради этой прагматической цели многие считали оправданным не только политическое, но и религиозное сближение с Западом. Латинофилы понимали, что турки являют угрозу не только их родине, но представляют опасность для других христианских государств[24], хотя Запад еще не осознавал в полной мере всю серьезность положения дел на Востоке и не представлял себе последствий турецких побед для европейских стран.

Византийское общество подозрительно относилось к сторонникам Запада в силу традиционно настороженного восприятия чужеземцев, отягощенного к тому же историческим опытом конфликтных отношений. Позиция же правящей элиты в этом вопросе была более сдержанной. Если верхушка общества в последней трети XIV в. еще не приветствовала подобные идеи, то в XV в. у латинофилов оказалось при дворе много сторонников. Сами же императоры не только не препятствовали распространению латинофильских взглядов, но отчасти и провоцировали подобные умонастроения своей прозападной политикой и покровительством латинофильствующим ученым.

---

[22] См. об этом: Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zu Ende des oströmischen Reiches (527—1453). München, 1897. S. 113.

[23] См.: Горянов Б. Т. Религиозно-полемическая литература по вопросу об отношении к латинянам в Византии XIII—XV вв. // ВВ. 1956. Т. 8. С. 141.

[24] См.: Поляковская М. А. Димитрий Кидонис и Запад (60-е гг. XIV в.) // АДСВ. 1979. Вып. 16. С. 48.

В интеллектуальной среде появление этого течения привело к идейному расколу, размежевавшему латинофилов и их противников. Как позже утверждал Георгий Схоларий, деятельность сторонника латинян Кидониса и его последователей посеяла беспорядок и сомнения среди соотечественников[25]. Они полемизировали друг с другом на страницах сочинений, вели прямую научную дискуссию, углублялись в тонкости богословской проблематики, стараясь опровергнуть доводы противоположной стороны. Так, в 1400 г. на Крите состоялась дискуссия, на которой Иосиф Вриенний и Нил Дамила полемизировали с латинофилами Максимом Хрисовергом, Мануилом Калекой и Димитрием Скараном. Свою аргументацию Иосиф Вриенний изложил в диалоге против латинского учения об исхождении Св. Духа[26]. В одном из писем этого периода Вриенний писал Хрисовергу: «Проводя время в одиночестве и пытаясь углубиться в себя, я получил письмо, написанное твоей рукой. Просмотрев его внимательно, хвалю композицию, ибо составлено искусно. Смысл же отвергаю, потому что изобилует всякими заблуждениями. Что за слово выскользнуло из твоих уст? Лучше бы тебе стричь льва, писать на воде, стрелять из лука в небо, петь впустую и погонять неподвижное, чем пытаться оторвать меня от сонма православных»[27]. Интересно отметить, что свое послание Вриенний начал с похвалы стиля полученного письма (эпистолярный этикет!) и только потом перешел к критике его содержания. Несмотря на идейные разногласия и непримиримые религиозные позиции, обе стороны старались не нарушать правила интеллектуального общения.

Латинофильское крыло, несмотря на свою малочисленность, обладало значительным влиянием в политической жизни. Среди тех, кто с дипломатическими миссиями отправлялся ко дворам

---

[25] См.: Oeuvres complètes de Gennade Scholarios / ed. L. Petit, A. Siderides, M. Jugie. P., 1929. P. 447.

[26] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur… S. 749; Сметанин В. А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-православным мыслителем (Иосиф Вриенний) // АДСВ. 1990. Вып. 25. С. 140.

[27] Цит. по: Там же. С. 138—139.

западных правителей, были латинофилы Димитрий Кидонис, Мануил Хрисолора, Мануил Калека, Иоанн Ласкарис Калофер[28]. Особую роль сыграли латинофилы на Ферраро-Флорентийском соборе, поддержав решение об унии церквей[29].

Та часть интеллектуальной элиты первой половины XV в., которая разделяла пролатинские идеи, рассматривала вопрос унии церквей с позиций политического интереса государства. Имея влияние при дворе и обладая значительным весом в структурах власти, латинофилы продвигали мысль о политической необходимости этого союза. Как отметила исследовательница Т. Киусопулу, в этом вопросе «они отделяли государство от церкви»[30].

Если в последней трети XIV в. латинофильское течение сложилось на основе увлечения западным богословием, то в XV столетии латинофильство стало прибежищем тех, кто сделал ставку на унию церквей не только из религиозных соображений, но и по политическим мотивам, видя в сближении с Западом средство спасения империи. Латинофилы, в адрес которых летели обвинения в предательстве, в действительности оставались истинными патриотами, стремившимися найти путь спасения своего отечества. Любовь к родине для них оставалась высшей ценностью.

Запад в оценках латинофилов

В латинофильской среде, представители которой вступили в диалог с Западом, сложилось свое представление о западных соседях и европейском мире в целом, отличавшееся в ряде случаев от традиционных для византийцев и широко распространенных взглядов и оценок.

---

[28] См.: Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West and his Office during the Fourteenth and Fifteenth Centuries: a Profile // BZ. 2001. Bd. 94, H. 2. P. 593—604; Eszer A. K. Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros. Forschungen zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen im XIV. Jh. Wiesbaden, 1969. P. 56.

[29] См.: Занемонец А. В. Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии. СПб., 2008. С. 17.

[30] Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology in Byzantium before 1453 / transl. with a pref. by P. Magdalino. Geneva, 2011. P. 79.

Эпистолярные сочинения византийских авторов пролатинского направления — Димитрия Кидониса, Мануила Калеки, Мануила Хрисолоры, Мануила II Палеолога, содержавшие замечания оценочного характера о Западе и европейцах, отражают достаточно противоречивое восприятие латинян латинофилами.

Этноним «латиняне» (λατῖνοι) для византийских писателей последней трети XIV в. служил, как и в предыдущие столетия, прежде всего собирательным именем для всех европейцев[31]. Безусловно, византийцам были известны и самоназвания европейских народов. В сочинениях, где аттические понятия порой подменялись реальными этнонимами, часто встречались упоминания об итальянцах, испанцах, французах[32]. Тем не менее интеллектуалы продолжали воспринимать Запад как некое единое пространство, противопоставляя его, прежде всего в религиозном отношении, православной империи ромеев.

Водоразделом между Западом и Востоком оставались религиозные разногласия. Димитрий Кидонис перечислял те обвинения, которые католический Запад выдвигал против византийцев: «Ведь римляне обращают наше внимание на наши ложные взгляды в теологических вопросах и на наши нововведения в церковной сфере и в религиозной практике и считают агрессивность варваров [турок] наказанием за это»[33]. Подобные упреки с не меньшим пафосом звучали и с другой стороны. Но именно латинофилы пытались преодолеть эту глухую стену взаимных обвинений в ложности религиозных убеждений, хотя путь, ими избранный,

---

[31] А. П. Каждан отмечал, что с XII в. византийские писатели стали употреблять понятие «латинянин» как собирательное название народов Европы, Запад же они начали с этого времени рассматривать как единое пространство (Kazhdan A. Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelfth Century // The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World / ed. A. Laiou and P. Mottahedeh. Washington, 2001. P. 86).

[32] См.: Koder J. Latinoi — the Image of the other according to Greek sources // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 37—39.

[33] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 39.37—39.

казался большинству соотечественников унизительным вероотступничеством.

Латинофилы предприняли попытку преодолеть эти многовековые противоречия между греками и латинянами. Поскольку в основе подобного противостояния ромеев и латинян лежали прежде всего религиозные расхождения, латинофилы пытались устранить этот барьер, акцентируя внимание на христианском единстве Запада и Востока. В условиях агрессии мусульманских народов им казалась очевидной необходимость сплочения христиан перед лицом общего врага[34]. С этой точки зрения латиняне были безусловно союзниками греков в «священной войне»[35] с неверными[36]. Более того, сторонники латинофильских взглядов заявляли о своей готовности признать преимущества католической веры. Мануил Калека отмечал, что латиняне «в безмолвии, порядке и благоговении совершают таинства, которые нисколько не уступают нашим гимнам и чтениям и в чем-то даже превосходят их»[37]. Подобными высказываниями латинофильствующие авторы наносили удар

---

[34] Еще Никифор Григора, питавший неприязнь к латинянам, считал, что византийцы должны забыть о своей враждебности к Западу для объединения усилий всех христиан в борьбе с турками (см.: Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Никифора Григоры (к вопросу о «греческом патриотизме» XIV в.) // АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 81).

[35] Дж. Деннис полагает, что византийцы не знали концепции «священной войны», которая на Западе имела форму крестовых походов, а для мусульман реализовывалась в идее джихада (Dennis G. T. Defenders of the Christian People: Holy War in Byzantium // The Crusades from the Perspective of Byzantium... P. 32—34).

[36] Главной задачей всей поздневизантийской дипломатии станет вопрос об унии церквей и организации крестового похода против турок для спасения империи (см.: Медведев И. П. К вопросу о принципах византийской дипломатии накануне падения империи // ВВ. 1972. Т. 33. С. 133; Oikonomides N. Byzantine diplomacy, A. D. 1204—1453: Means and Ends // Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies. Cambridge 1990 / ed. J. Shepard and S. Franklin. Hampshire, 1992. P. 88).

[37] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 30.37—39. Это мнение Мануила Калеки Мануил II Палеолог передает с явным осуждением, так как усматривает в этом предательство собственной веры. Стоит заметить, что отношение императора к конвертитам было достаточно неоднозначным, поскольку, порицая переход в католичество своих подданных, он тем не менее поддерживал близкие отношения со многими из них.

по традиционной позиции, исполненной высокомерия в отношении западной догматики и культа.

Особую роль в воссоздании единства христианской ойкумены должен был сыграть римский понтифик. Именно на него уповал Кидонис, полагая, что папа «снова соединит вместе рассеянных детей Бога»[38]. Латинофилы выражали готовность признать примат папы, называя его наместником Христа (ἐπίτροπος τοῦ Σωτῆρος)[39], «общим отцом» (ὁ πάντων πατήρ)[40], человеком, «руководящим всеми» (ὁ δὲ πάντων ἐξηγούμενος)[41]. Однако эти высказывания имели весьма конкретный политический расчет. С папой они связывали надежды на предоставление византийцам помощи от всех христиан мира в борьбе с турецкой опасностью. Папа, с точки зрения латинофилов, должен был стать духовным главой и лидером объединенного христианского мира.

Однако латинофилы отчетливо понимали и то, что папский престол в большей степени увлечен идеей унии западной и восточной церкви с подчиненным положением православных, нежели планом объединения сил всех христиан в противостоянии туркам. В политических планах папства признание восточными иерархами примата римского понтифика должно было стать средством решения внутрицерковных проблем, связанных с Авиньонским пленением пап и последовавшим за ним великим расколом католической церкви, а также средством усиления позиций святого престола в христианском мире на фоне возраставшей независимости светских правителей.

В одном из писем Мануилу II Палеологу Димитрий Кидонис ясно дает понять, что весьма трезво оценивает причины интереса понтифика к Византии: «С посольством в Рим всегда связаны теологические вопросы <...> Ведь (представители. — *Т. К.*) церкви не удовлетворяются ни деньгами, ни брачными связями или другим благим союзничеством, но лишь речи о догме им приятны; они (только тогда. — *Т. К.*) склоняются выслушать предложения, если

[38] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 190. 56.
[39] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 8.17—18.
[40] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 167.49; 190.54.
[41] Ibid. Ep. 23.27.

могут надеяться на заключение соглашения, в обмен на что они готовы даже отдать свои души»[42]. Кидонис прозрачно намекал на тот факт, что только подписание унии рассматривалось папой в качестве предварительного условия оказания любой помощи. В ходе многочисленных переговоров византийцев с папским престолом легаты выдвигали «смену веры» (τὴν τῆς πίστεως καινοτομίαν) как обязательное условие, как встречный подарок за военный союз[43]. Никакие увещевания или рассказы о бедах империи не могли заинтересовать понтифика византийской проблемой сильнее, чем согласие византийцев признать примат папства.

Столь же неоднозначно высказывались латинофилы об европейских правителях, с которыми также связывали надежды на помощь империи. Во время путешествия на Запад 1399—1403 гг. в поисках союзников византийский император Мануил II Палеолог познакомился с некоторыми европейскими правителями[44]. Он высоко оценил благородство, дружелюбие и усердие в вопросах веры французского короля Карла VI Валуа[45], хотя, возможно, подобные высказывания в письмах императора носили характер всего лишь жеста вежливости по отношению к слабому и душевно нездоровому монарху. Английского короля Генриха IV Ланкастера Мануил II наградил многими эпитетами, которые в традиции византийской официальной лексики скорее приличествовали василевсу ромеев, нежели «варварскому» монарху: «Правитель Великой Британии, второй, можно сказать, ойкумены, окруженный многими благами и изобилующий различными добродетелями. <...> Он самый блестящий как по внешнему виду, так и по своим убеждениям, удивляет всех силой, делает всех друзьями, протягивает всем руку, предоставляет помощь тем, кто нуждается в ней»[46]. Столь лестные

---

[42] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 302.69—76.

[43] Ibid. Ep. 327.29—30.

[44] См.: Васильев А. А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога по Западной Европе // ЖМНП. 1912. Ч. 39. Май. С. 41—78; Июнь. С. 260—304.

[45] См.: The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 37.

[46] Ibid. Ep. 38. 20—29.

характеристики, данные европейским монархам, были связаны с ожиданием от них помощи против турков, но когда иллюзии относительно ее получения рассеялись[47], кардинально изменились и высказывания византийцев в адрес «латинских» королей. Политический расчет не оправдался, зато традиционные представления о латинянах получили новое подтверждение.

Именование «латиняне» в собирательном значении, безотносительно к конкретной персоне, порой приобретало в оценках латинофилов пренебрежительный оттенок. Пользуясь устоявшейся терминологией, даже они позволяли себе назвать латинян варварами[48]. Это относится даже к Кидонису, у которого отождествление жителей Италии с варварами встречается, правда крайне редко, поскольку он восхищался западной культурой и высоко оценивал интеллектуальные достижения европейцев[49]. Тем не менее и он отдал дань традиционным представлениям. В письме 1371 г. к Мануилу II в пору пребывания того в Италии Кидонис удовлетворенно замечает, что его ученик своим «благородным образом мысли взял верх над варварами»[50]. Возможно, причина столь высокомерного отношения к итальянцам была связана с недовольством венецианцами, которые удерживали у себя за долги делегацию Иоанна V Палеолога. Итальянские территории Кидонис неоднократно называл

---

[47] Мануил II в письме к Мануилу Хрисолоре пишет о своем глубоком разочаровании, когда стало очевидно, что западные правители не спешат выполнять заключенные договоренности (см.: The Letters of Manuel II Palaeologus… Ep. 55).

[48] По наблюдению Г. Диттена, на протяжении столетий жители Запада назывались византийскими писателями как βάρβαροι. Но в XV в. поздневизантийские историографы (Дука, Сфрандзи, Критовул, Халкокондил) называют их латинянами, итальянцами, французами и др. Для них европейцы больше не были «варварами» (Ditten H. Βάρβαροι, Ἕλληνες und Ῥομαῖοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern // Actes du XII[e] Congr. Intern. d' études Byzantines. Beograd, 1964. T. 2. S. 283—287). Византийские эпистолографы второй половины XIV — начала XV в. хоть и в исключительных случаях, но все же называли европейцев варварами. В последующем из арсенала риторических оборотов термин «варвары» в отношении латинян будет исключен: под «варварами» станут понимать исключительно турок.

[49] Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart,1982. T. 1, Hbd. 2. Brief 76. A. 7.

[50] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 21.18—19.

«землями варваров» в письмах Энеотису[51], Георгию Философу[52] и Елене Палеологине[53]. Кидонис был убежден, что именно империя ромеев остается гораздо более надежным гарантом закона, чем все варварские правители[54].

Напротив, характеризуя культурный уровень европейцев, в первую очередь итальянцев, латинофилы расставляли акценты несколько иначе. Для византийских интеллектуалов, ориентированных на научные контакты с латинянами, происходило «новое открытие Запада»[55].

Образованные византийцы отмечали тягу латинян к освоению античного наследия. Кидонис писал в одном из своих писем, что «у варваров накопились многие плоды мудрости»[56], которые были созданы древними авторами и которые переживали свое второе рождение благодаря интересу гуманистов к Античности. Византийцы восхищались стремлением европейцев освоить греческий язык, открыть для себя забытые сочинения, приобщиться к новому знанию. Жители Италии восхищенно взирали на труды древних философов и стремились учиться у великих учителей Стои и Перипата[57]. Рекомендуя знакомому образованному аббату некоего миланца по имени Павел, прибывшего в 1386 г. в Константинополь для изучения греческого языка (подробнее о нем речь пойдет далее в этой главе), Кидонис отмечал его рвение к наукам и интерес к трудам классических авторов:

> Я отправляю к тебе этого молодого человека, чтобы он, как и многие другие, получил твое содействие; окажи одолжение ему в том, что он просит. <...> Он окажет тебе благодеяние, но и заодно проявит высшее уважение к общности эллинов (τὸν κοινὸν τῶν Ἑλλήνων), поскольку станет передавать дальше их язык, который есть желающие изучать. Считая язык эллинов выдающимся и прекрасным, он не верил, что мог бы довольство-

---

[51] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 36. 20.
[52] Ibid. Ep. 32.30—31.
[53] Ibid. Ep. 222. 94.
[54] Demetrios Kydones. Briefe… Brief 57. 27—35. A. 14.
[55] Meyendorff J. Society and Culture in the Fourteenth Century… P. 61.
[56] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 328. 10—11.
[57] Ibid. Ep. 435. 12—13.

> ваться только своим родным языком, если бы не изучил наш, хотя он, благодаря своему знанию риторики и своим способностям, считался среди латинской молодежи достаточно великим, чтобы произносить прекрасные речи[58].

Интеллектуалы с воодушевлением отзывались о том, каким почетом и уважением пользовались образованные люди в Италии: «Если красота нуждается в зрителях, то Рим имеет “театр” для тех, кто упражняется (в красоте. — *Т. К.*), там понимают в этом толк, приветствуют соревнующихся за красоту золотом и аплодисментами»[59].

Культурный подъем на Западе, отмечавшийся греческими учеными, контрастировал с состоянием дел на ниве образования в Византии[60]. Стремление европейцев к знаниям, их увлеченный поиск древних текстов, интерес к сокровищам античной культуры ярко контрастировали со спадом интереса к науке в Византии. Кидонис, характеризуя упомянутого выше миланца, замечал: «Он ищет истину (ζητεῖ σοφίαν); но ныне ею владеет народ, для которого нет ничего дешевле ее»[61]. Византийские писатели, еще сохранявшие чувство гордости за свою культуру и прошлое ее величие, вынуждены были согласиться с тем, что из византийских источников «потоки мудрости утекают к варварам»[62]. Итальянские гуманисты, по признанию Кидониса, «выказывают великий интерес к прогулкам по лабиринтам Аристотеля и Платона, к которым наши люди не проявляют интереса»[63]. В условиях повышенной тяги гуманистов к научным занятиям латинофилам казалась весьма печальной ситуация в их собственном отечестве. С горечью им приходилось констатировать, что византийцы утратили уважение к интеллектуальному труду: «Если для македонцев (жителей Фессалоники. — *Т. К.*)

---

[58] Démétrius Cydonès. Correspondance… 360. 6—14.

[59] Ibid. 169. 50—52.

[60] См.: Tinnefeld F. Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jahrhundert // BF. 1979. Vol. 6. S. 273—275; Kushch T. V. Die byzantinische Wissenschaft im 15. Jahrhundert in Abschätzungen der Zeitgenossen // XX[e] Congr. Intern. des études byzantines. P., 2001. Vol. 3. P. 87.

[61] Démétrius Cydonès. Correspondance… 360. 30—31.

[62] Ibid. Ep. 435. 15.

[63] Mercati G. Notizie di Procoro e Demetio Cidone... P. 365. 83—84.

и византийцев (жителей Константинополя. — *Т. К.*) нет ничего бесславнее философствующего человека, то Рим не страдает такой болезнью, и люди литературы будут там в чести»[64]. Пристальный взгляд на латинскую культуру убеждал латинофилов, что по уровню интеллектуального развития Запад постепенно начал опережать Византию, и разрыв этот только рос в условиях упадка образования и науки в их собственном отечестве. А знакомство с литературными успехами своих итальянских коллег заставляло писателей-латинофилов открыто признавать очевидное превосходство Запада[65].

Именно в оценках культурного развития латинян стереотипы восприятия византийцами европейцев подверглись наибольшей ломке, хотя до конца изжить высокомерное отношение к «варварам» с Запада не удалось даже латинофилам. Византийские писатели, признавая достижения западной науки, тем не менее твердо были убеждены, что Запад должен учиться мудрости и знаниям у византийцев, которые являлись хранителями древней культуры. Одно из посланий Тарханиоту, написанное по дороге в Италию, Кидонис завершал весьма примечательным пассажем, извиняясь за простоту стиля своего письма: «Поскольку я ныне плыву к варварам[66], то могу писать по-варварски»[67]. Его высказывание, пусть и не лишенное иронии, отражает устоявшееся представление об уровне развития риторики на Западе с точки зрения искушенного в этой области византийца.

Термин «латиняне» применялся не только по отношению к людям Запада в целом, но и для именования конкретных выходцев из Европы. Персонифицированный образ латинянина складывался у византийских интеллектуалов в результате их личных контактов во время визитов на Запад или общения с прибывающими в Византию европейцами. И этот образ выгодно отличался от представлений

---

[64] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 177. 35—37.

[65] Ševčenko I. The Decline of Byzantium Seen through the Eyes of its Intellectuals // DOP. 1961. Vol. 15. P. 176—177.

[66] Под дорогой «к варварам» подразумевается поездка автора в Венецию.

[67] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 435. 47—48.

об европейцах в целом. На смену умозрительным характеристикам, порой весьма стереотипным для византийского сообщества, на первый план выходили оценки личных качеств того или иного индивида.

Димитрий Кидонис неоднократно в письмах рекомендовал своим друзьям иностранных знакомых, которые оказывались в Византии с разными (политическими, дипломатическими или научными) целями. В этих рекомендациях акцент делался на благородстве души, образованности, стремлении к знаниям. С удовлетворением отмечая уважительное отношение этих людей к византийской науке, Кидонис писал: «К нам устремляются влюбленные в мудрость»[68]. Вызывало восхищение у латинофилов стремление иностранцев овладеть «языком эллинов» (τὴν Ἑλλήνων φωνὴν)[69] и «утолить свою жажду из источников мудрости»[70]. Поддержку прибывающим в поисках знаний европейцам Кидонис рассматривал также как средство культурной пропаганды, предполагая, что, вернувшись на родину, они станут популяризаторами византийской образованности. Безусловно, европейцы, с которыми предпочитали общаться византийские интеллектуалы, были отмечены высоким достоинством, обладали знаниями и интеллектом.

Пролатинские настроения некоторых интеллектуалов подвергались резкой критике и осуждению со стороны соотечественников. Такие нападки звучали в адрес Мануила Хрисолоры, хотя Кидонис и отмечал, что «Хрисолору, очевидно, ни один не осудил бы за дружбу с латинянами, если бы он держал при себе свое мнение»[71]. Даже «пускаться в разговоры» с латинянами в глазах многих казалось опасным и предосудительным[72]. В среде тех, кто упорствовал в своих предубеждениях относительно Запада[73], открыто

---

[68] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 435. 20.

[69] Ibid. Ep. 221. 20—21.

[70] Ibid. Ep. 435.14.

[71] Ibid. Ep. 358.20—21.

[72] Ibid. Ep. 36. 17.

[73] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. Ep. 29. 12—14.

демонстрировать свои латинофильские взгляды было чревато обвинением в предательстве и пренебрежении родиной.

Итак, анализ высказываний латинофилов о людях Запада позволяет говорить о неоднозначном отношении к латинянам даже среди тех, кто демонстрировал свое расположение к западным соседям. Несмотря на признание достоинств западной культуры и богословия, стремление к более тесному культурному сближению, готовность к уступкам в вопросах веры, представители прозападного течения в своих оценках подчас руководствовались традиционным подходом ко всем невизантийцам, называя в рамках традиционного дискурса латинян «варварами», подчеркивая свое снисходительное отношение к ним, проявляя политический снобизм.

Таким образом, даже те, кто заявлял о своей толерантности к латинянам, находились под влиянием идеологических и психологических стереотипов в отношении Запада. Это определяло двойственность оценок византийских авторов прозападного крыла, когда признание равенства и возможности партнерства с латинянами сочеталось порой с нескрываемым высокомерием и пренебрежением.

В поисках союзников на Западе (история Кидониса)

«Дипломатическая и научная карьера Кидониса может считаться одним из наиболее заслуживающих внимания примеров многочисленных контактов между Византией и Западной Европой в XIV в.», — полагает американская исследовательница Ф. Кианка[74]. И действительно, рассматриваемый нами далее эпизод биографии этого интеллектуала может служить наглядной иллюстрацией того, какую роль играло латинофильство в истории Византии, и продемонстрирует все сложности становления византийско-итальянских отношений в области культуры, политики и религии.

Политик, дипломат и ученый Димитрий Кидонис, яркий представитель латинофильского крыла в византийской политической

[74] Kianka F. Demetrios Kydones and Italy // DOP. 1995. Vol. 49. P. 101.

элите, на протяжении многих лет отстаивал идею сближения с Западом. Интерес к западному миру пробудился у него благодаря научным занятиям и в дальнейшем поддерживался активными теологическими штудиями. В условиях нараставшей турецкой угрозы Кидонис постепенно пришел и к политическому латинофильству. Именно помощь европейских стран и папского престола, на его взгляд, могла стать спасением для империи. Поездки Кидониса в Италию преследовали прежде всего цель заинтересовать папство в судьбе Византии, однако в дальние края его вело также и стремление к расширению круга интеллектуального общения.

Еще в 1369 г., будучи месадзоном Иоанна V Палеолога, Кидонис впервые оказался в Италии, сопровождая императора в поездке, целью которой было убедить папу Урбана V оказать Византии помощь в борьбе с турками[75]. На эту поездку Кидонис возлагал и другие надежды: он рассчитывал ближе познакомиться с культурной жизнью Италии и завязать там диалог с образованными людьми[76]. Но, увы, признает Кидонис, «мы не нашли свободного времени углубиться в книги Рима, хотя великий город предлагает мудрость, добродетель и богатое изобилие всех великих вещей, если кто-то желает ими воспользоваться»[77]. На официальных приемах Кидонис выполнял роль переводчика и советника, ни на шаг не отходя от императора. В одном из писем того времени, адресованных брату, Кидонис замечает, что «постоянное участие в делах императора, ежедневное обхаживание тех, кто может помочь нам, и поиск путей успешного завершения нашей миссии»[78] занимали львиную долю времени в период его пребывания в Риме. Миссия, однако, признает он, не имела успеха, ибо «здесь мы не добились от них ничего из того, что хотели»[79]. Причины, которые помешали найти в лице папской курии союзника против турок, лежали в сфере религиозных разногласий между западными и восточными

[75] См. об этом: Поляковская М. А. Димитрий Кидонис и Запад... С. 50.
[76] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 103.
[77] Ibid. 39. 12—14.
[78] Ibid. 39. 7—9.
[79] Ibid. 39. 35—36.

христианами[80]. Несмотря на подписание символа веры и переход в католичество самого Иоанна V Палеолога, византийцам не удалось добиться от папы какой-либо реальной поддержки в антитурецкой борьбе[81]. Кидонис обрисовал в письмах все трудности этой поездки и безуспешность усилий императора привлечь на свою сторону итальянских правителей: «Мы постоянно меняем города и не знаем, кто готов ехать в Великий город [Константинополь], в то время как мы спасаемся от злого рока и только о том и думаем, как нам исправить наше положение»[82].

Пребывание в Риме разочаровало Кидониса еще и потому, что ему не удалось насладиться там научной работой и общением с достойными людьми. Он сравнивал себя с теми, «кто торопится из дома к источнику и сидит у него, но затем забывает утолить свою жажду, а только считает пьющих, затем возвращается, неся с собой неудовлетворенное желание»[83]. И все-таки жажда знаний, едва ли не в большей степени служившая для него стимулом совершить дальнее путешествие, чем выполнение должностных обязанностей, была отчасти удовлетворена, так как именно здесь он завел новые знакомства и приобрел репутацию выдающегося человека. Кидонис, которого приглашали остаться в Италии не только коллеги-ученые, но и представители папской курии[84], вероятно, сумел продемонстрировать им свои глубокие познания в науках и богословских вопросах. Знание латыни облегчало общение с теми, кто мог оценить эрудицию и ум образованного византийца. Несмотря на безрезультатность миссии в целом, пребывание Кидониса в Италии положило начало его личным связям с папским престолом и итальянскими гуманистами.

Возвращаясь из Рима на родину, делегация вынуждена была почти на год задержаться в Венеции (до марта 1371 г.). В письме другу Константину Асану Кидонис писал:

---

[80] Démétrius Cydonès. Correspondance… 39. 36—39.

[81] См.: Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones // Demetrios Kydones. Briefe... T. 1, Hbd. 1. S. 25.

[82] Démétrius Cydonès. Correspondance… 36. 10—13.

[83] Ibid. 39. 20—23.

[84] Ibid. 39. 28—33.

Мы прибыли в Венецию, куда уже давно хотели приехать в расчете на то, что нам здесь всё покажется сокровищами Креза[85] и сбудутся наши большие надежды. Но, кроме триумфального въезда под аплодисменты и признания императора наиблагороднейшим, мы получили здесь лишь угли, как обычно говорят. Ибо от нас вновь потребовали гарантий, а денежные ссуды предлагали одолжить под высокие проценты; вчера многое что обещали, а утром вновь отложили и ухудшили нашу беду этими пустыми обещаниями. Ведь оболы купцу ценнее, чем собственные глаза. Как же долго придется здесь просить милостыню, как долго нужно будет упрашивать их, чтобы отдали что-нибудь из своих любимых сокровищ?[86].

Император, оказавшийся из-за долгов под «домашним арестом» в республике Святого Марка, вынужден был обратиться за помощью к сыну, деспоту Мануилу[87], который собрал и привез требуемую сумму — «контрибуцию, взысканную с нищих», по замечанию Кидониса[88]. Столь долгое пребывание в Венеции, вызванное финансовыми проблемами[89], позволило Кидонису завести новые знакомства, которые он будет затем поддерживать на протяжении многих лет. Венеция произвела на Кидониса столь сильное впечатление[90], что одно из посланий другу Иоанну Ласкарису Калоферу он превратил в риторическое описание (экфрасис) города. Он восхищался его внешними красотами, выгодами расположения морской республики, говорил о кипевшей в ней жизни, богатстве и процветании городской экономики, отмечал «удивительное, несравненное положение города, красоту зданий, церквей, верфь, усердную заботу о ремесле и богатстве рынка, корабли, которые то отправляются в море, то пришвартовываются, то встают под крышу, —

---

[85] Слова о богатстве лидийского царя Креза (VI в. до н. э.) стали образным выражением.

[86] Démétrius Cydonès. Correspondance…Ep. 71.

[87] Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425) : a Study in Late Byzantine Statesmanship. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969. P. 11—14.

[88] ἀργυρολογήσεις τοὺς προσαιτοῦντας (Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 71. 26—27).

[89] Ibid. Ep. 21.14—15.

[90] См.: Dennis G. T. Demetrios Kydones and Venice // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 495—502.

и вообще прелесть города в целом, свободного от всего низменного, как прекрасно нарисованная картина»[91]. Кидонис сообщал об особенностях политического устройства Венеции, где республиканские формы правления обеспечивали равное участие горожан в управлении: «Мудрость Сената, сила закона, наказание преступников, вознаграждение прекрасного, равная доля (участия. — *Т. К.*) граждан во всем благе, равномерное распределение убытков и пользы на всех, причем никто не бездельничает, коварно наживаясь за счет других»[92]. Кидонис, говоря об устройстве Венеции, употреблял античное сравнение государства с «телом» (τὸ σῶμα), где все части находятся в гармонии и взаимосвязи[93]. Следует заметить, что подобное изображение города носит ярко выраженный гуманистический характер, поскольку акцент делается на описании его внешних достоинств и преимуществах общественного устройства. В этом фрагменте присутствует и элемент сравнения (синкрисиса), ведь мысли о родине не оставляли византийца на протяжении всего его долгого путешествия. Радужные впечатления от Венеции контрастировали с воспоминаниями о тяжелом положении Константинополя, над которым сгущались тучи внешней угрозы и внутренних неурядиц.

Покидая Венецию, Кидонис уже строил новые планы на возвращение в Италию, связанные с его интересом к событиям, которые там происходили. Особое беспокойство вызывали сведения о Великом расколе католической церкви 1378 г. после Авиньонского пленения пап. Свои права на главенство в христианской церкви заявили избранный конклавом римский понтифик Урбан VI (1378—1389) и авиньонский антипапа Климент VII (1378—1394)[94]. Эти «странные события, которые тревожат всех христиан»[95] вызвали беспокойство и в восточной части христианского мира, ибо

---

[91] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 24. 14—19.

[92] Ibid. Ep. 24. 19—23.

[93] Ibid. Ep. 24. 23—24.

[94] См.: Гергей Е. История папства. М. 1996. С. 176—181; Лозинский С. Г. История папства. М. 1986. С. 180—181.

[95] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 190. 6—7.

ставили под сомнение все попытки Византийской империи получить союзника в лице папской курии, которая погрязла теперь во внутренних неурядицах. Проблемы католической церкви, по мнению Кидониса, «разрушили наши слабые надежды на помощь»[96].

Однако, несмотря на схизму, Урбан VI сохранял живой интерес к продолжению диалога с Византией об унии церквей[97]. Для него решение униатской проблемы стало бы козырной картой в споре о легитимности собственной власти. При таком подходе вопрос о предоставлении реальной военной и финансовой поддержки Византии в борьбе против турок отодвигался на второй план. С точки же зрения Кидониса, обеспокоенного турецкой угрозой Византии, проблемы раскола католической церкви казались мелкими и незначительными по сравнению с опасностью, которую представляли для христианского мира османы. Кидонис считал, что Урбану VI стоит оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поскольку враги Византии создают угрозу для всех христиан, папа должен «преодолеть мелочные внутренние раздоры [схизму] и направить руку церкви против врагов Бога и ее собственных»[98] . Кидонис увязывал преодоление раскола с организацией крестового похода против турок. Помощь Византии, по его мнению, позволила бы папе решить в то же время проблему схизмы, ибо он доказал бы легитимность своей власти над христианским миром, защитив его от опасности: «Если господин и всеобщий отец направит бессмысленные траты на что-то полезное, он окажет обеим сторонам услугу: одних он освободит от ненасытности врагов, других от ужасного плена и вновь сведет вместе рассеянных детей Божьих»[99]. Проблема преодоления схизмы, по мнению обеих сторон, была тесно связана с решением византийского вопроса. Но каждая сторона имела свое видение и понимание ситуации. Для папства внутренние проблемы церкви казались первостепенными, заслоняя более дальнюю политическую

---

[96] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 190. 8—9.

[97] См.: Barker J. W. Manuel II Palaeologus… P. 55.

[98] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 167. 50—52.

[99] Ibid. Ep. 190. 54—56.

перспективу, что и стало главным препятствием для развития диалога папской курии с Византией.

План новой поездки Кидониса в Италию обсуждался им с друзьями еще в 1384 г. В письме своему ученику Радену он сообщал о подготовке своей миссии. Кидонис ожидал приезда испанского монаха-доминиканца Гарсия, который должен был подготовить его визит в Италию[100]. Необходимость путешествия диктовалась ситуацией в Фессалонике, осажденной турками. Однако в тот раз поездка не состоялась.

Разговоры о возможном путешествии в Италию возобновились в 1386 г. Продолжавшаяся осада Фессалоники побуждала к поиску союзников в антитурецкой борьбе. В письмах Кидониса за 1386—1387 гг. вопрос о будущей поездке поднимался с завидным постоянством. Этот визит был инициирован исключительно самим Кидонисом, не получившим в своем начинании поддержки императора и не встретившим заинтересованности противоположной стороны. Кидонис признавал: «Я не имел ни официального государственного приглашения, ни земельной собственности, ни торговых контактов с венецианцами, на которые я мог бы рассчитывать по прибытии»[101]. Вероятно, Кидонис надеялся на содействие своих друзей и знакомых, прежде всего Иоанна Ласкариса Калофера, который пользовался влиянием при папском престоле[102], рассчитывал на его посредничество и пытался согласовать их планы[103]. Однако и на сей раз намеченному путешествию не суждено было осуществиться. Обращаясь к Калоферу, Кидонис приносил извинения за оставшееся на словах обещание прибыть в Венецию. Причины срыва поездки, согласно Кидонису, — это «неспокойное положение внутри и извне государства, военное вторжение варваров, повлекшее за собой недоверие, постыдные деяния, зависть друг к другу [византийцев], а также вытекающие из всего этого нужда и бедность жи-

---

[100] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 310. 13—20. 71—73.
[101] Ibid. Ep. 371. 34—36.
[102] Ibid. Ep. 190. 35.
[103] Ibid. Ep. 371. 40—57.

телей». Он вынужденно «подчинился таким великим несчастьям, хотя мог бы избавиться от них»[104]. В столице господствовала чума. Отъезд Кидониса на Запад в таких условиях многим казался безумием[105]. Этой поездке препятствовал и сам император, который пытался через своих представителей разубедить Кидониса в необходимости путешествия. Кидонис ехидно заметил на сей счет: «Ты знаешь также хорошо ловкие интриги храброго императора, которыми он пользуется, если желает помешать тому, с чем не согласен. Так он тогда подсылал ко мне многих — то с обещаниями, чтобы меня уговорить, то с серьезными угрозами, если я не пожелаю уступить»[106]. Императору удалось «умерить мое стремление и пока подождать, уступив плохой погоде, эпидемии и мнению друзей»[107]. Впрочем, Кидонис не оставил надежду осуществить свой план.

Второе его путешествие в Италию состоялось в 1390 г. В трех письмах 1391 г. Кидонис уже после возвращения в Константинополь рассказывал не только о своем пребывании в Венеции, но и о положении дел в Италии и Византии в то время. Его поездка носила частный характер, так как в тот момент он уже не имел никаких должностей и полномочий вести переговоры на официальном уровне. Еще в 1386 г. он покинул должность месадзона, которую занимал много лет[108], хотя и не отошел полностью от дел. Целью поездки, по словам Кидониса, было посещение Рима, «чтобы оказать высокочтимому апостолу подобающее уважение и сдержать обет»[109]. Вероятно, Кидонис планировал встретиться с папой Бонифацием IX (1389—1404), которого знал со времени предыдущего путешествия в Италию, и обсудить с ним вопрос о помощи католического Запада Византии. О поездке были извещены папа, итальянские коллеги и византийская сторона, что скорее всего говорит

---

[104] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 371. 8—12.
[105] Ibid. Ep. 371. 21.
[106] Ibid. Ep. 371. 23—26.
[107] Ibid. Ep. 371. 27—28.
[108] PLP. № 13876.
[109] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 443. 12—13.

о полуофициальном характере миссии. Правда, его отъезд на Запад не поддержал молодой соимператор Мануил II, уговаривавший своего учителя остаться[110].

Кидонис понимал, какую цену за помощь Византии запросит папский престол. В одном из писем Мануилу II Палеологу Кидонис ясно дал понять, что вполне реалистично оценивает причины интереса понтифика к византийской проблеме[111]. Кидонис прозрачно намекал на то, что лишь уния может рассматриваться папой как непременное предварительное условие любой помощи.

Можно предположить, что в силу близости к императору Иоанну V Палеологу и особенно к его соправителю Мануилу II Димитрия Кидониса все же восприняли на Западе как представителя империи. Теплый прием, оказанный ему, свидетельствовал о том, что его приезда в Венецию ждали. Оказанные почести восхитили Кидониса, который даже расценил их как незаслуженные. Он не только был принят влиятельными лицами, но и удостоен почетного титула гражданина Венеции. 20 января 1391 г. дож Антонио Веньер торжественно вручил Кидонису документ, по которому сей «благородный и чрезвычайно мудрый муж» (*nobilis et eximiae sapientae vir*) получал в республике право вечного гражданства[112].

В планы Кидониса не входила долгая остановка в Венеции, поскольку он намеревался как можно скорее отправиться дальше в Рим. Однако он был вынужден отказаться от своего первоначального замысла ввиду политической ситуации на Апеннинах, которая делала дальнейшее путешествие небезопасным. «Положение в Италии, — заметил он, — было не намного лучше нашего»[113]. Его друзья убеждали не рисковать, ибо «путешествие в Рим заняло бы много дней, а страна полна грабителями, тиранами и воюющими друг с другом отрядами»[114], «во всех городах господствуют

---

[110] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 12. 17—19.

[111] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 302. 69—76.

[112] См.: Loenertz R.-J. Démétrius Cydonès, citoyen de Venise // EO. 1938. Vol. 37. P. 125; Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones... S. 43.

[113] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 436. 63.

[114] Ibid. Ep. 443. 17—19.

тираны; повсюду война и грабежи»[115]. Ситуация в Италии действительно была сложной. Продолжался великий раскол в католической церкви. Права первосвященника по-прежнему оспаривал антипапа Климент VII. Италия была наводнена сторонниками противоборствующих сторон. Кроме того, внутренняя напряженность в регионе подогревалось соперничеством городов-государств. Миланские правители Висконти стремились расширить свои земли за счет флорентийских владений. Южная Италия и Сицилия стали ареной противоборства венгерской и французской ветвей Анжуйского дома. Политические неурядицы осложнялись бесчинствами многочисленных грабителей и разбойников, что делало опасным любое путешествие. Друзья описывали Кидонису ужасающие картины разбоев, когда одни путники «были лишены своей собственности до рубашки, других мучили и отрезали им некоторые члены тела, чтобы они выкупили оставшееся за сокровища Креза; некоторые не выносили таких пыток и умирали»[116]. Видимо, Кидонис, знавший о церковных проблемах, не был до своего приезда осведомлен о внутренних бедах Италии. Он сокрушался в письме деспоту Феодору I Палеологу: «Для меня оказалась неожиданностью повседневная опасность, угрожавшая путешествующим по Италии из-за грабителей и тиранов, которых теперь в стране больше, чем жителей городов, и которые ополчились друг против друга и против внешних врагов»[117]. Возможно, он все еще пребывал под впечатлением своего первого визита в Италию, а потому разочарование от новой поездки только усиливалось.

С мая 1390 г. по март 1391 г. в Венеции находился с особыми поручениями папский легат кардинал Козимо Мильорати, будущий папа Иннокентий VII (1404—1406). Кидонис охарактеризовал его как человека «высокообразованного в античной традиции и сведущего в теологии»[118]. Кардинал, с которым у византийца установились дружеские отношения, также убеждал его отказаться от столь

[115] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 436. 67—68.
[116] Ibid. Ep. 443. 21—24.
[117] Ibid. Ep. 442. 20—22.
[118] Ibid. Ep. 443. 29.

опасного предприятия, как поездка в Рим, поскольку лично испытал все тяготы путешествия. Он заверил Кидониса, что когда успокоится буря, бушующая в Италии, тот сумеет без риска достичь Рима и выполнить свои обязательства. Кидонис цитирует слова легата: «Тогда ты без трудностей прибудешь к апостолу почтить того, кому ты торжественно обещал; ты с радостью увидишь общего отца, который тоже будет рад, и получишь то, что заслуживает муж, отмеченный столь большой добродетелью и мудростью»[119]. Кидонис, который хоть и подчеркивал, что безразличен к славе и почестям, тем не менее был тронут высокой оценкой своих достоинств, прозвучавшей из уст легата. Именно доводы и советы Козимо Мильорати заставили его окончательно отказаться от идеи встретиться с папой, что было главной целью его предполагаемой поездки.

Время вынужденного выжидания оказалось тяжелым бременем для византийца. Его восприятие города, которым он некогда восхищался, изменилось. Венеция, где Кидонис в бездействии провел почти год, казалась ему теперь чужой. Он пренебрежительно называл ее «городом торговцев»[120], а потому местом неприятным. Его угнетало праздное времяпрепровождение, ибо «эта бездеятельность немногим отличается от смерти», особенно учитывая тот факт, что он «ежедневно переживал неудобства жизни в чужом доме» и «прозябал, лишенный друзей и привычных для себя вещей»[121]. Его жизнь скрашивали коллеги помогавшие ему, вероятно, в научных штудиях. Вместе с Кидонисом в Венецию прибыл его ученик Мануил Хрисолора, для которого эта поездка стала прологом итальянского периода его жизни[122]. Их приезд привлек внимание видных итальянских гуманистов, видевших в византийцах носителей греческой культуры. Якопо д'Анжели да Скарперия и Роберто Росси

[119] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 443. 40—43.

[120] Ibid. Ep. 443. 54.

[121] Ibid. Ep. 443. 54—58.

[122] См.: Thorn-Wickert L. Manuel Chrysoloras (ca. 1350—1415). Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen vor dem Hintergrund der hellenischen Studien in der itallienischen Renaissance. Frankfurt a/M ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; N. Y. ; Oxford ; Wien, 2006. S. 36.

прибыли из Флоренции, чтобы брать уроки у Хрисолоры[123]. Кидонис, направлясь в Венецию, надеялся встретить там Иоанна Ласкариса Калофера[124]. Однако, несмотря на предварительные договоренности, Калофер покинул республику до его прибытия, что стало еще одним поводом для разочарования Кидониса[125].

Кидонис, видя всю тщетность своих усилий и зная о проблемах отечества, весной 1391 г. отправился в обратный путь. И хотя его поездка оказалась неудачной, он покидал итальянские берега с твердым желанием вернуться сюда еще раз, чтобы все-таки добиться своей цели. Он строил планы «пересечь Альпы и отправиться к людям, которые живут с той стороны от Гадира»[126].

Последнюю свою поездку в Италию Кидонис, «невзирая на болезнь и преклонный возраст»[127], совершил уже незадолго до смерти, осенью 1396 г. Покидая столицу, он не предполагал, что оставляет ее навсегда. Идея этого путешествия также не нашла поддержки у императора Мануила II Палеолога[128]. Дело было не только в заботе об учителе, но и в нежелании венценосного ученика остаться без помощи и совета опытного в государственных делах единомышленника. Мануил II писал, что «наши хлопоты об общем благе были бы гораздо успешней, если бы ты был здесь, чтобы помочь, — я говорю это не только из любезности — с твоими способностями к языку, твоим пониманием и всем остальным»[129]. Император сожалел, что его учитель «предпочел чужую страну родине»[130].

Исследователь Р. Ленертц связывал отъезд Кидониса с усилившимися гонениями на антипаламитов во время второго патриаршества

---

[123] См.: Haynes A. Manuel Chrysoloras — a Byzantine Scholars // History today. 1977. Vol. 27. P. 298.

[124] Об Иоанне Ласкарисе Калофере см.: Eszer A. Das abenteuerliche Leben...

[125] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 436. 50—52.

[126] Ibid. Ep. 436. 80—81.

[127] The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 31.5.

[128] Ibid. Ep. 31.21—22.

[129] Ibid. Ep. 31.9—11.

[130] Ibid. Ep. 62.17.

Антония IV (1391—1397)[131]. По мнению Мануила Калеки, за рубежом Кидониса ждали почет и уважение, тогда как на родине его жизнь находилась под угрозой[132]. Возможно, изменение идеологического климата в столице как-то и сказалось на решении Кидониса покинуть родину, но вряд ли можно считать основной причиной его отъезда страх перед преследованиями, тем более, что он всегда имел весьма влиятельного покровителя в лице императора и не раз открыто заявлял о своих антипаламитских взглядах. Вероятно, причина, заставившая Кидониса отправиться к итальянским берегам, крылась во внешнеполитической ситуации. Кидонис покинул столицу вскоре после трагедии при Никополе (25 сентября 1396 г.). Возможно, именно поражение крестоносцев Сигизмунда Венгерского подтолкнуло Кидониса ускорить свои сборы за море в надежде найти помощь на Западе. И хотя на сей раз путешествие определенно носило частный характер, тем не менее Кидонис мог питать иллюзию, что, используя свои связи и влияние, он поспособствует спасению отечества. Осенью 1396 г. он отплыл к итальянским берегам. После посещения Венеции Кидонис побывал также в Милане, откуда поехал на Крит, чтобы уйти в мир иной под успокоительный шепот греческого языка, а не грубый ритм латыни.

Последняя поездка, как и две предыдущие, не имела успеха. Усилия одного человека, даже такого, как Димитрий Кидонис, были изначально обречены на неудачу. Причины бесплодности византийско-итальянских дипломатических контактов крылись во внешних обстоятельствах, внутренних проблемах и разногласиях, существовавших между обеими сторонами, которые оказались непреодолимыми. Но упорство, с которым Кидонис пытался найти для отечества союзника на Западе, заслуживает восхищения. Кроме того, его дипломатическая деятельность имела и другое важное значение: она способствовала налаживанию культурных связей с Италией. Не случайно Дж. Баркер считал его, наряду с Мануилом Хрисолорой и Георгием Гемистом Плифоном, «выдающимся

[131] См.: Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950. P. 66.
[132] Ibid. P. 189—190. Ep. 17.

послом и одновременно ключевой фигурой в передаче византийского гуманизма латинским ученым ренессансной Италии»[133].

Наметившиеся в XIV в. тенденции, которые мы рассмотрели на примере «итальянской одиссеи» Кидониса, в XV в. получили свое продолжение: обсуждение униатской темы достигло кульминации на Ферраро-Флорентийском соборе, а культурный диалог с Западом способствовал развитию интеллектуальной эмиграции.

Из латинян в греки: византийская одиссея Павла из Милана

Укрепление контактов с Западом в XIV в. было обусловлено не только желанием образованных византийцев вкусить плоды латинской культуры. Стремление ближе познакомиться с греческим Востоком обнаруживается и в среде европейцев, в первую очередь тех, кто приобщился к гуманистическому течению.

Рассмотрим на конкретном примере одну из вариаций развития культурного диалога греков и латинян. Этот случай отражает и характер интеллектуальных запросов европейцев, обращавших взоры к Византии, и отношение самих византийцев к тем, кто восхищался греческой мудростью. С другой стороны, предпринимаемая ниже реконструкция жизни одного образованного итальянца конца XIV в. дает уникальную возможность узнать о тех обстоятельствах, которые не позволили реализоваться благородным намерениям юного интеллектуала, стремившегося к усвоению греческой мудрости, но так и не пополнившего ряды гуманистов.

О молодом миланце по имени Павел нам известно только из трех посланий Димитрия Кидониса[134]: одно непосредственно адресовано юноше[135], два других носят характер рекомендательных

---

[133] Barker J. W. Emperor, Embassies, and Scholars. Diplomacy and the Transmission of Byzantine Humanism to Renaissance Italy // Church and Society in Late Byzantium / ed. D. G. Angelov. Michigan, 2009. P. 159.

[134] В «Просопографическом лексиконе палеологовского времени» приводятся краткие сведения, почерпнутые из корреспонденции Димитрия Кидониса (PLP. № 22087).

[135] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 435.

писем, в которых влиятельный византиец представляет Павла своим друзьям[136]. Обрывочные сведения, почерпнутые из этого источника, тем не менее позволяют наметить — хотя бы пунктиром — линию жизненного пути человека безусловно неординарного, но одновременно и типичного для своей эпохи. Перипетии его биографии, запечатленные в нескольких строках риторически сдобренных посланий, отразили особенности эпохи с характерными для нее новыми веяниями, эпохи, пытавшейся стремительно объединить латинский и греческий миры.

Павел родился в Милане в конце 60-х — начале 70-х гг. XIV в. Его миланское происхождение Кидонис неоднократно отмечает в своей корреспонденции. Установить приблизительно время его рождения можно на основании нескольких упоминаний автора писем о юном возрасте Павла. Так, в первом из посланий, отправленном аббату одного из столичных монастырей осенью 1386 г., Кидонис представляет Павла как совсем еще молодого человека (νεα–νίσκος)[137], ищущего себе учителей среди греков. Молодым человеком (ὁ νέος)[138] он назван и в письме Кидониса своему старинному другу Тарханиоту в апреле 1390 г., а следовательно, юноше не могло быть к моменту первого упоминания о нем более 20 лет.

Как следует из писем, Павел прибыл в Константинополь в 1386 г. для изучения греческого языка. Об уровне его подготовки и круге чтения можно судить по замечанию Кидониса: «Он уважает Демосфена больше Цицерона лишь с [чужих] слов и предпочитает Гомера Вергилию, Гесиода Лукиану. Он знает и Платона, и его ученика [Аристотеля], и то, что от этих истоков берет свое начало философия подобно тому, как [морское] течение начинается из районов внешнего моря (Атлантического океана. — *Т. К.*)»[139]. Очевидно, познания юноши, с точки зрения образованного византийца, были фрагментарны: миланец что-то читал из древних авторов,

---

[136] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 360; 439.
[137] Ibid. Ep. 360. 6.
[138] Ibid. Ep. 435.7.
[139] Ibid. Ep. 360. 15—19.

о каких-то трудах знал лишь понаслышке. Молодой человек имел общее представление о философских системах Платона или Аристотеля; возможно, даже читал извлечения из их трудов. Знал юноша о Марке Туллии Цицероне и «последнем римлянине» Боэции, а также о том, что оба были учениками Демосфена и Платона[140]. О Гомере, труды которого благодаря осуществленным в XIV в. переводам только начинали входить в культурный оборот на Западе[141], он скорее всего мог лишь слышать и вряд ли его читал. Замечание же Кидониса по поводу того, что Павел предпочитал древнегреческого поэта Гомера, почти забытого на средневековом Западе, римлянину Вергилию, которого, напротив, хорошо знал латинский мир, можно трактовать по-разному. С одной стороны, здесь, возможно, отразились приоритеты самих византийцев, для которых обучение начиналось с чтения и заучивания наизусть гомеровских строк[142]. С другой — Кидонису могли импонировать предпочтения молодого миланца, признававшего превосходство греческой классики над латинской. Не исключено также, что Кидонис этой фразой намекал на школьный прием, весьма распространенный в Античности. Когда древние римляне начинали изучать греческий язык, они использовали метод сравнения (σύγκρισις), предполагавший сопоставление разных авторов или сочинений разных литературных жанров[143]. Так, например, Цицерона традиционно сравнивали с Демосфеном, а Вергилия противопоставляли Гомеру. Видимо, византийский ученый, сведущий в древних дидактических практиках, подчеркивал таким образом желание юноши получить классическое образование. Первенство же Гесиода над Лукианом, признаваемое Павлом, может говорить и о его интеллектуальных

---

[140] Démétrius Cydonès. Correspondance… Ep. 435. 17.

[141] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма // ВВ. 1959. Т. 15. С. 103.

[142] См.: Browning R. Homer in Byzantium // Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. **17**. P. 15.

[143] См.: Marrou H. I. A History of Education in Antiquity. N. Y., 1956. P. 255; Ciccolella F. Donati Graeci: learning Greek in the Renaissance. Leiden ; Boston, 2008. P. 78—79 .

устремлениях, имевших скорее философско-эпическую, нежели сатирическую ориентацию, и о жанровых предпочтениях. В целом, подбор пар для сопоставления не выглядит случайным: миланец явно предпочитает более древних авторов, стоявших у истоков греческой литературы и философии. Именно это желание юноши обратиться к истокам заслужило похвалу византийского интеллектуала. Несмотря на использование Кидонисом для характеристики знаний своего протеже трафаретных риторических оборотов и клишированных сравнений, она имела, на наш взгляд, более глубокий культурный смысл, понятный любому образованному византийцу.

Молодой человек в годы обучения на родине не только прикоснулся к античной древности, но и приобщился к святоотеческой традиции. При этом Святые Отцы и учителя церкви, согласно Кидонису, ему были гораздо лучше известны, нежели древнегреческие авторы[144]. Он знал сочинения вселенских учителей — Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, а также другую святоотеческую литературу, о чем не преминул упомянуть его покровитель[145]. Павел черпал свои знания в этой области не только из уст комментаторов, но и из текстов самих Отцов Церкви: «Когда он открыл, что их ценят в сочинениях латинян, он не довольствовался тем, что там о них сказано, но стремился услышать, как они сами пишут, и узнать на собственном опыте их добродетель и мощь»[146]. Это не удивительно: чтение трудов средневековых богословов и комментариев к ним было обязательной частью образования на Западе. Знание теологических трудов явно свидетельствует, на наш взгляд, что юноша учился в одной из существовавших тогда в Милане школ: вряд ли такие знания можно было получить в рамках домашнего обучения. Не исключено, что какое-то время Павел посещал университет Павии, который был учрежден незадолго до этого, в 1361 г., императорской буллой Карла IV и опекался Джаном Галеаццо Висконти, захватившим власть в миланских

---

[144] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 360. 20.
[145] Ibid. Ep. 360. 20—21.
[146] Ibid. Ep. 360. 24—26.

владениях в 1385 г.[147] Однако это всего лишь предположение. Как бы то ни было, Павел получил довольно приличное образование по итальянским меркам, но весьма скромное с точки зрения византийской традиции.

Судя по письмам Кидониса, миланцу не были чужды гуманистические идеи, в то время набиравшие силу в Италии. *Studia humanitatis* только начинали входить в моду, и наш герой не просто приобщился к ним, но и сам стал последовательным проводником новых веяний. Растущие интеллектуальные запросы гуманистического сообщества актуализировали необходимость изучения греческого языка и установления контактов с византийскими учеными, в которых гуманисты видели носителей древней мудрости. Это осознал еще Петрарка, бравший уроки греческого языка у калабрийца Варлаама, однако он не продвинулся в изучении языка дальше первооснов. Спрос на греческий язык и греческую науку, зародившийся среди итальянских гуманистов в первой половине XIV в., к концу столетия только усилился. Желание изучать труды античных авторов, стремление заполучить древние рукописи и постигнуть их смысл заставили образованных итальянцев обратить свои взоры к Византии. К числу именно таких гуманистов и принадлежал Павел. Им двигали те же мотивы, что и многими его соотечественниками, жаждавшими испить из источников греческой мудрости. Более того, Павел отважился предпринять весьма решительный шаг: он покинул родные берега и отправился на чужбину в поисках греческих учителей. Как заметил Кидонис, тяга к наукам «побудила его пренебречь родителями, сверстниками, славой, надеждами и радостями, к которым привязаны души юношей, и предпочесть чужаков, тяготы их отечества и того, чем они там наслаждаются»[148].

Итак, Павел стал первым известным нам итальянцем, прибывшим в Византию за образованием. Основной поток итальянских

---

[147] См.: Denifle H. Die Universitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin, 1885. Bd. 1. S. 579.

[148] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 360. 27—30.

гуманистов в центр греческой культуры и образованности, которым все еще оставался Константинополь, хлынет с 90-х гг. XIV в. и особенно усилится в первой половине XV в. В числе первых гуманистов, побывавших в византийской столице с целью изучения языка и поиска древних рукописей, был Якопо д'Анджело да Скарперия[149]. Его поездка в Византию состоялась в 1395 г., но до нее Якопо уже имел опыт занятий с греческими учителями: в 1390—1391 гг. он брал уроки у Димитрия Кидониса и Мануила Хрисолоры во время их пребывания в Венеции[150]. В Константинополе побывал и Гварино да Верона, известный гуманист и педагог, которого долгое время считали первым итальянцем, изучавшим греческий язык в Византии[151]. Он провел несколько лет (1403—1408) в доме своего учителя Мануила Хрисолоры, погрузившись с головой в стихию греческого языка[152]. Вслед за ним совершил несколько поездок в Византию (1413, 1421—1423) за древними рукописями Джованни Ауриспа. Франческо Филельфо, эрудит, влюбленный в греческий язык, провел период с 1420 по 1427 г. в Константинополе в доме Иоанна Хрисолоры, на дочери которого он и женился[153]. Но все эти поездки не были спонтанным мероприятием: упомянутые гуманисты уже вкусили плодов греческой науки у себя на

---

[149] Р. Вайс назвал Якопо д'Анджело первым итальянским гуманистом, который отправился в Константинополь, чтобы изучать греческий язык (Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia (c. 1360—1410/11) // Weiss R. Medieval and Humanist Greek: Collected Essays. Padova, 1977. P. 258—260). Это утверждение можно считать ошибочным, так как наш Павел из Милана не без оснований претендует здесь на пальму первенства.

[150] См.: Haynes A. Manuel Chrysoloras — a Byzantine Scholar... P. 298; Кущ Т. В. В поисках союзников: три поездки Димитрия Кидониса в Италию // АДСВ. 2004. Вып. 35. С. 202.

[151] См.: Cammelli G. I dotti bizantini e le origini dell'umanesimo. Vol. 1 : Manuele Crisolora. Firenze, 1941. P. 131—139.

[152] Некоторые исследователи считают именно Гварино первым гуманистом, предпринявшим поездку в Константинополь с целью изучения там языка (см., например: Baxandall M. Guarino, Pisanello and Chrysoloras // J. of the Warburg and Courtauld Institutes. L., 1965. Vol. 28. P. 190; Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 114).

[153] См.: Ganchou Th. Les ultimae voluntates de Manuel et Iôannès Chrysolôras et le séjour de Francesco Filelfo à Constantinople // Byzantinistica. Spoleto, 2005. Vol. 7. P. 195—196.

родине, выучили язык и обзавелись контактами с греческими учеными и педагогами. С этой точки зрения они имели больше преимуществ, нежели Павел, у которого не было ни знания греческого языка, ни обширных связей в византийских образованных кругах к моменту отплытия в Константинополь.

Хотя какие-то знакомства у него все-таки должны были существовать, раз он попал в поле зрения Димитрия Кидониса, имевшего репутацию латинофила[154]. Кидонис блестяще владел латинским языком, отшлифовав его знание до совершенства за многие годы переводческой практики[155] , и поддерживал постоянные контакты с видными фигурами политического и интеллектуального олимпа Италии. С уверенностью можно утверждать, что Павел из Милана имел при себе рекомендательное письмо, без которого он вряд ли пробился бы к столь значительной персоне, как Димитрий Кидонис, и получил в его лице влиятельного покровителя. Кто был его рекомендателем — остается только гадать.

Мотив приезда Павла в византийскую столицу очевиден: желание выучить греческий язык и познать науки. «Он ищет мудрость», — так определил Кидонис намерения юноши[156], рискнувшего отправиться в дальнее путешествие за образованием, ибо «ему, переполненному знаниями, нечего больше брать у своих сограждан»[157], и ради любви к философии он «пренебрег родиной, семьей и домом, который его кормил»[158]. Кидонис называет Павла одним из «влюбленных в мудрость»[159].

---

[154] См.: Кущ Т. В. Латинофильство в среде византийских интеллектуалов в конце XIV—XV в. // Восток — Запад: межконфессиональный диалог : сб. науч. тр. Севастополь, 2003. С. 84—86.

[155] Кидонис неоднократно выступал в качестве переводчика при переговорах императора с прибывавшими в столицу латинянами и вел деловую переписку с иностранными послами (см.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998. С. 39), а также занимался переводами трудов Фомы Аквинского (см.: Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas... P. 264—284).

[156] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 360. 30.

[157] Ibid. Ep. 435. 11.

[158] Ibid. Ep. 435. 115—116.

[159] οἱ σοφίας ἐραστα» (Ibid. Ep. 435. 20).

Юный миланец планировал возвратиться на родину после окончания обучения. Кидонис неоднократно упоминает о том, что Павел, вернувшись в Италию, распространит среди соотечественников «славу империи и Города [Константинополя]»[160]. Обращаясь к аббату с просьбой о содействии молодому итальянцу, Кидонис не только отмечает пыл юноши и его страстное желание поскорее припасть к источнику знаний, но и говорит об интересе латинян в целом к греческой интеллектуальной культуре и языку эллинов. В словах византийца звучит и гордость за собственную культуру, и восхищение итальянцами, желающими к ней приобщиться: «Он окажет уважение не только тебе, но проявит его и к общности эллинов, передаст дальше [знание] их языка, который они [итальянцы] страстно желают [учить]. Ибо столь великим и удивительным признает он греческий язык, что не считал бы для себя возможным довольствоваться своим родным языком, не присоединив к нему и наш, несмотря на то, что он считался среди сынов латинян выдающимся благодаря знанию риторики и своим способностям»[161]. Гордость за собственную культуру побуждает Кидониса критиковать недостаточно внимательное отношение к ней его соотечественников[162]. Греческий эрудит часто сожалел об упадке интереса к наукам в империи и низком интеллектуальном уровне своих современников, отчего особенно впечатляющим казался ему подъем культурной жизни, отмечаемый на Западе[163]. Он подчеркивал, обращаясь к Тарханиоту: «Ты знаешь, как растет ныне почитание Стои и Перипата у итальянцев»[164]. Контраст между повышающимся спросом на образование на Западе и спадом интереса к наукам в Византии, с точки зрения византийца, был слишком уж очевидным.

Прибыв в Константинополь, юный миланец нуждался в жилье и хороших учителях. Кидонис, решивший помочь ему в этом деле, обратился к аббату с просьбой взять молодого человека под свою

---

[160] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 360. 54—55.

[161] Ibid. Ep. 360. 8—14.

[162] Ibid. Ep. 360. 30—31.

[163] Tinnefeld F. Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft... S. 278.

[164] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 435. 12—13.

опеку, предоставить ему отдельную келью в монастыре и помочь в освоении наук. Жизнь в стенах монастыря казалась Кидонису весьма подходящей для юноши, поскольку уберегла бы Павла от соблазнов большого города, способных сбить неокрепшую душу с избранного пути: «Он просит у тебя дать ему какое-нибудь монашеское жилище внутри монастыря, в коем пребывая, он избежит пороков, которые приносит юный возраст, и общения с молодыми людьми, где он будет в тишине наиболее тщательным образом упражняться в науках и где, постоянно общаясь с монахами, станет постигать у них основы наук»[165]. Предполагалось, что Павел будет оплачивать расходы, связанные с проживанием в монастыре[166]. Получил ли молодой миланец приют в обители, и если да, то как долго там оставался, неизвестно.

Следующее упоминание о Павле мы обнаруживаем в письме, отправленном Кидонисом Тарханиоту[167] три года спустя — в 1390 г. Византиец вновь проявляет участие в судьбе миланца, который «из-за бедности оказался в затруднительном положении в своей погоне за науками»[168]. Юноша, пишет Кидонис, оказался не по годам мудр и, проявив зрелость, не свойственную молодым людям, сумел стоически принять испытания, выпавшие на его долю. Автор послания замечает: «Он выделяется своим характером среди сверстников, как никто другой из них, и совершенно не уступает в этом умудренным возрастом людям; он проявляет благоразумие и кротость даже по отношению к обидчикам»[169]. Кидонис вновь обращает внимание на интеллектуальные пристрастия юноши, отмечая, что тот собрал плоды знаний своих соотечественников и в поисках греческой мудрости отважился на поездку в Константинополь, где, по образному выражению пишущего, «полагал встретить Платона и Демосфена»[170].

---

[165] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 360. 39—43.
[166] Ibid. Ep. 360.48.
[167] О Тарханиоте см.: Demetrios Kydones. Briefe... T. 1, Hbd. 1. S. 218—219.
[168] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 435.4—5.
[169] Ibid. Ep. 435. 8—11.
[170] Ibid. Ep. 435. 16—17.

Однако Павла поджидали неудачи на тернистом пути освоения наук. Энтузиазм, с которым он прибыл в Константинополь за знаниями, испарился в столкновении с суровой действительностью и повседневными хлопотами. Кидонис красочно описывает положение, в котором оказался его протеже: «Он не только не достиг того, чего ожидал, но и потратил все деньги на учителей, к которым обратился в своей неудачной охоте за наукой. Теперь он не может, будучи без средств, ни далее оставаться у нас, ни из-за бедности вернуться ни с чем к своим близким. Он со стыдом просит подаяния, что хуже, чем смерть в петле, и не сдерживает стенаний, способных побудить к милостыне из сострадания. И он блуждает в великом Городе [Константинополе], словно в пустыне»[171]. Как видим, за годы, проведенные в Константинополе, Павел изрядно поиздержался. Деньги, которые он привез с собой, закончились, и у него не осталось средств ни на то, чтобы платить за уроки и крышу над головой, ни на то, чтобы вернуться на родину. С учителями юноше тоже не всегда везло. Очевидно, среди его наставников оказывались и те, кто не отличался ни эрудицией, ни педагогическим талантом. Хорошего учителя действительно было тогда не так просто встретить в столице, на что сетовали современники[172]. Неудивительно, что Павла постигло горькое разочарование. Романтический настрой, с которым он прибыл в столицу империи, быстро развеялся. Сочувствие к тяготам и лишениям молодого дарования побудили Димитрия Кидониса обратиться к другу с просьбой приютить юношу: «Избавь его ради Бога от нужды и докажи, что он не напрасно надеялся получить помощь от нас. Если возможно, прими его в свой дом и предоставь ему содержание, как тем, кто живет с тобой под одной крышей»[173]. Тарханиот, очевидно, симпатизировал латинянам, кроме того, будучи сам увлечен интеллектуальными занятиями, ценил общение с достойным собеседником, почему Кидонис и решил поручить Павла заботам своего давнего друга.

---

[171] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 435. 23—28.

[172] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... S. 47.

[173] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 435. 31—33.

В последующем жизнь Павла претерпела крутой поворот: ученые занятия оказались отложены в сторону, на первое место вышла предпринимательская деятельность. Мы обнаруживаем его в Крыму, в Каффе, куда Кидонис написал ему около 1394 г.[174] Вероятно, Павел уже несколько лет находился в этой генуэзской колонии, занимаясь торговыми операциями. Что заставило его столь радикально изменить траекторию своей жизни: необходимость зарабатывать на существование, семейные обязательства или осознание того, что наука не приносит достатка, — неизвестно. Можно лишь догадываться, каким образом он очутился на окраине христианской ойкумены. Находясь в Константинополе, юноша неизбежно должен был сталкиваться с итальянцами, прибывавшими по делам в византийскую столицу или постоянно жившими в генуэзской Галате. Именно в Галате он мог обрасти полезными связями и деловыми контактами, которые в итоге и завели его на северные берега Черного моря. Так или иначе, Павел покинул столицу и перебрался в Каффу, где наряду с генуэзцами обитали также выходцы из других итальянских городов, в том числе и миланцы[175].

Тон письма, адресованного Павлу, свидетельствует о дружеских отношениях, все еще связывавших стареющего византийского интеллектуала и молодого итальянца. Кидонис называет его своим другом и говорит о том, что разделенных друзей могут утешить лишь письма[176] — штамп, характерный для эпистолярного общения образованных византийцев[177]. Судя по всему, они все эти годы поддерживали между собой постоянный контакт и не теряли друг друга из виду. Павел сохранил благодарность к человеку, который неоднократно приходил к нему на выручку, оказывая содействие

---

[174] Р. Ленертц датирует письмо временем между 1392 и осенью 1396 г. — периодом, когда Кидонис находился в Константинополе (Ibid. Ep. 439). Ф. Тиннефельд уточняет время написания письма и называет дату не позднее 1394 г. (Demetrios Kydones. Briefe... Brief 448. Datum).

[175] См.: Balard M. La Romanie Génoise (XIII — début du XV[e] siècle). Roma ; Genova, 1978. T. 1. P. 266.

[176] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 439. 10—11.

[177] Кущ Т. В. Эпистолярная практика в Поздней Византии // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 39. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып.10. С. 6.

и поддержку в трудные моменты жизни. Его благодарность выражалась в дарах, которые он периодически отправлял своему покровителю. Кидонис заметил: «Я никогда не стал бы говорить, что ты забыл меня, да и подарки, которые ты посылал, говорят об обратном»[178].

Из упоминания Кидонисом перемен, произошедших в жизни миланца, мы можем понять, что тот сменил род занятий и преуспел в каком-то коммерческом предприятии: «Кажется, ты разбогател и руководишь многими и большими делами»[179]. О материальном благополучии Павла говорят и щедрые подношения старым приятелям: «Подарки свидетельствуют о богатстве. Став богатым, легче делать приятное друзьям»[180].

На чем мог сколотить состояние Павел из Милана? Вероятно, он занялся торговыми операциями, которые могли в короткий срок принести довольно быстрый доход. Итальянцы, утвердившиеся в колониях в Крыму, специализировались в основном на посреднической торговле, обеспечившей процветание генуэзских факторий в XIV в.[181] Скорее, Павел преуспел как раз в этой сфере: проник в купеческую среду Каффы, состоявшую преимущественно из генуэзцев, сумел открыть собственное дело и достиг успеха на поприще торговых операций, о чем красноречиво говорят щедрые подношения своему прежнему покровителю.

Кидонис, ценя благосклонность и дружеское расположение своего итальянского знакомого, сожалеет, однако, о том, что, с головой погрузившись в предпринимательскую деятельность, Павел совсем не имеет времени на занятия науками. Этим же Кидонис объясняет и отсутствие писем, которые он предпочел бы получать вместе с подарками[182]. И хотя Кидонис желает, чтобы Павел и впредь «был богат и полезен многим»[183], все же большую радость ему доставили бы не щедрые дары, а риторически совершенные послания.

---

[178] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 439. 6—7.

[179] Ibid. Ep. 439.19—20.

[180] Ibid. Ep. 439.20—22.

[181] О торговле в Каффе см.: Еманов А. Г. Север и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII—XV вв. Тюмень, 1995. С. 16—97.

[182] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 439. 6—7.

[183] Ibid. Ep. 439. 27.

Так, за несколько лет из человека, проводящего все время за книгами, Павел превратился в успешного предпринимателя. Он, правда, не порвал свои прежние интеллектуальные связи и сохранил благодарность к греческим учителям и покровителям.

К сожалению, о дальнейшей судьбе Павла из Милана нам ничего неизвестно. Успел ли он покинуть Каффу до того, как ее в 1395 г. взяли войска Тамерлана, или же пострадал при взятии ими этого города? Вернулся ли он на родину или провел жизнь в скитаниях по дальним странам? Окончательно ли он отвернулся от интеллектуальных занятий или все же время от времени находил в них отдохновение? Ясно одно: выбор, сделанный Павлом в пользу предпринимательской деятельности, увел его в сторону от того пути, которым он пришел когда-то к источникам греческой мудрости. Испив из них, он так и не утолил ту жажду, что позвала его в Византию. Тем не менее нить его судьбы, хоть и уклонилась затем от первоначального направления, легла одним из первых стежков, связавших интеллектуальные миры Византии и Италии.

Эмиграция византийских ученых в Италию

Последние полвека существования Византии прошли под знаком ее культурного сближения с Западом[184], что, в частности, проявилось в начавшейся тогда эмиграции византийских ученых в страны Западной Европы. Приезд греческих интеллектуалов, воспринимаемых латинянами как живое воплощение неведомой им эллинской мудрости, способствовал распространению настоящей «античной лихорадки» среди просвещенных европейцев, поскольку изучение греческого языка и литературы стали с тех пор для них неотъемлемой частью гуманистических штудий[185].

---

[184] См.: Hartmann G. M. Die Bedeutung des Griechentums für die Entwicklung des italienischen Humanismus // Probleme der neugriechischen Literatur. Berlin, 1960. Bd. 2. S. 3—36.

[185] См.: Geanakoplos D. J. Constantinople and the West : Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches. Wisconsin, 1989. P. 67.

Этот исход византийских ученых имел важные последствия, как для самой Византии, так и для западноевропейской цивилизации. Деятельность образованных греков за пределами их родины оказала заметное влияние на развитие европейского гуманизма вообще и итальянского в частности[186]. С другой стороны, контакты с Западом меняли и мир самих византийских интеллектуалов.

Проблема соотношения итальянского и византийского гуманизма, их взаимодействия и взаимовлияния является одной из наиболее дискуссионных для специалистов по истории культуры поздней Византии. Многие исследователи обращали внимание на близость идейных основ, общность проблематики, схожесть эстетических принципов и проявлений византийского и итальянского гуманизма. Б. Татакис подчеркивал, что «византийский гуманизм в период своего апогея представляет собой потрясающий аналог итальянскому гуманизму»[187]. Признавая типологическую близость этих двух культурных феноменов, большинство ученых подчеркивают также стимулирующее воздействие византийского гуманизма на развитие гуманистической штудий в Италии[188].

Впрочем, хотя византийские интеллектуалы и сыграли бесспорно важную роль в «трансплантации» античной культуры на Запад и своею деятельностью активизировали там развитие гуманистической мысли, особенно в Италии[189], отсюда еще отнюдь не следует, что итальянский Реннесанс стал прямым производным от византийского гуманизма. По мнению И. П. Медведева, «концепция о византийском гуманизме как родоначальнике, исходном пункте итальян-

---

[186] См.: Hartmann G. M. Die Bedeutung des Griechentums... S. 3.

[187] Tatakis B. La philosophie byzantine. P., 1949. P. 229.

[188] См., например: Медведев И. П. Греческая культура конца XV— первой половин XVII в. как составная часть европейской культуры // История Европы. М., 1993. Т. 3. С. 586—591; Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 100—124; Geanakoplos D. J. Constantinople and the West…; Masai Fr. Le probleme des influences byzantines sur le platonisme Italien de la Renaissance // Bulletin de l'Association Guillaume Bude. 1954. Janv. P. 82; Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance // Proc. of the American Philosophical Society. Philadelphia, 1956. Vol. 100, № 1. P. 3—76.

[189] Медведев И. П. Греческая культура... С. 586—591.

ского гуманизма несостоятельна»[190], ибо отрицает национальные корни европейского Возрождения. Скорее всего можно говорить о высокой степени взаимного влияния культур Византии и Италии. Благодаря ему, отмечает И. П. Медведев, в XIV—XV вв. сформировалась особая «интеллектуальная общность, которая была характерна для мировоззрения известной части гуманистически мыслящих деятелей византийской культуры и итальянских гуманистов...»[191]

Соглашаясь с этим высказыванием, все же необходимо заметить, что византийская гуманистическая мысль имела более глубокие корни и обладала уже сложившейся традицией к моменту становления ее итальянского аналога, а потому в значительно большей степени и гораздо более интенсивно воздействовала на итальянский гуманизм, чем он на нее. Именно византийцы сделали первые шаги навстречу новой культуре зарождающегося итальянского гуманизма, близкой им по духу и устремлениям, и быстро нашли отклик и понимание с другой стороны.

Контакты византийских и итальянских гуманистов приобрели регулярный характер с конца XIV в.[192] в результате их обоюдного желания упрочить интеллектуальные связи в условиях меняющегося политического и культурного климата. Византийские ученые пошли на сближение с итальянскими коллегами, желая «участвовать в интеллектуальных дискуссиях своей эпохи»[193]. Многие интеллектуалы в Византии восхищались достижениями современной им западной мысли[194] Да и латинофильское течение ратовало за культурное сближение и религиозный диалог с Западом[195]. Именно латинофилы проявили заинтересованность в установлении научных связей с итальянскими коллегами. К тому же кризисная ситуация

---

[190] Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. СПб., 1997. С. 207. Ср.: Masai Fr. Le probleme des influences byzantines... P. 82.

[191] Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 207—208.

[192] Медведев И. П. Греческая культура... С. 586.

[193] Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas... P. 268.

[194] См.: Ševčenko I. Renaissances before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages. California, 1984. P. 169.

[195] См.: Кущ Т. В. Латинофильство в среде византийских интеллектуалов... С. 84—86.

в империи сама по себе провоцировала отток интеллектуалов за пределы страны.

Для итальянской же стороны побудительными мотивами контактов с византийцами было стремление возродить античную мудрость и открыть для себя неизвестные труды античных классиков, сохранявшиеся на протяжении столетий в Византии. В глазах итальянцев византийские ученые были прямыми наследниками эллинской мудрости[196] и носителями той культуры, которая тогда стала пользоваться высоким спросом на Западе[197]. В условиях, когда схоластика была не в состоянии удовлетворить возросшие интеллектуальные запросы гуманистической интеллигенции[198], итальянцы стремились к диалогу с византийскими учеными, видя в них хранителей античного наследия.

Диалог и взаимодействие двух научных миров оказались возможны лишь после того, как изменились взаимные оценки будущих интеллектуальных партнеров. Это коснулось в первую очередь византийской стороны, которая долгое время находилась в плену устоявшегося стереотипа, противопоставлявшего друг другу ромеев и латинян[199]. Византийскими писателями на протяжении столетий деление на «ромеев» и «варваров» проецировалось из области политической в сферу духовную, что находило выражение в идее превосходства византийской образованности над «варварством» Запада и определяло категоричность неприятия западной науки. Но ксенофобия, столь характерная для византийской ментальности, с XIV в. постепенно уступала место все более растущему интересу к ценностям и достижениям соседних культур[200]. И хотя

---

[196] См.: Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance... P. 50—52.

[197] Harris J. Greek Emigres in the West 1400—1520. Camberley, 1995. P. 119.

[198] Geanakoplos D.J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330—1600). N. Haven ; London, 1976. P. 39.

[199] См.: Beck H.-G. Reichsidee und national Politik... S. 86; Dieten J.-L. van. Politische Ideologie und Nidergang... S.6.

[200] Как отметил М. Я. Сюзюмов, «в XIV в. передовые люди византийского общества уже понимали, что отстают от Запада... и в разработке богословских доктрин, которые на Западе аргументировались более основательно; западные богословы более смело подходили к широким проблемам» (Сюзюмов М. Я. Некоторые проблемы исторического развития Византии и Запада // ВВ. 1973. Т. 35. С. 17).

неприязнь к латинянам, свойственная византийскому обществу в целом[201], сохранялась вплоть до падения империи, отношение образованной элиты к другой культуре претерпело заметные перемены[202]. Если в XIII — начале XIV в. мысль о том, что латиняне смогут в ближайшем будущем лучше распорядиться античным наследием, чем ромеи, только начинала закрадываться в умы таких людей, как Феодор II Ласкарис и Никифор Влеммид, то уже к концу XIV в. подобное мнение стало общим местом для образованных византийцев[203]. Изменение интеллектуального климата в Византии и перемены в оценке уровня развития западной мысли, с одной стороны, и растущий на Западе интерес к античной древности, с другой, создавали благоприятную почву для сближения двух культур.

Решительный шаг в направлении переоценки западной науки сделал во второй половине XIV в. Димитрий Кидонис, один из первых, кто активно и последовательно ратовал за приобщение к ценностям западной науки и культуры[204]. Он не только признавал успехи католической схоластики, но и не боялся открыто выражать свое восхищение ее высоким уровнем развития. Кидонис сам себя считал почитателем «науки римлян и иноземной мудрости»[205]. Его имя стоит первым в списке византийских писателей, которые, отбросив высокомерие и ложное чувство превосходства, стали рассматривать западных ученых как равноправных участников диалога двух культур и сами были интегрированы в систему византийско-европейских гуманистических контактов.

Кидонис оказывал всемерную поддержку прибывавшим в Константинополь иностранцам, если те проявляли интерес к его родной культуре. Представляя императору Иоанну V доминиканского

---

[201] См.: Хвостова К. В. Византийская цивилизация // ВИ. 1995. № 5. С. 34.

[202] См.: Кущ Т. В. Латиняне в восприятии латинофилов // АДСВ. 2006. Вып. 37. С. 318—328.

[203] См.: Tinnefeld F. Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft... S. 253.

[204] См.: Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов... С. 106—117; Kianka F. Demetrios Kydones and Italy… P. 106—109.

[205] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 174. 27— 28.

монаха Гарсия, Кидонис назвал того человеком, склонным к ученым занятиям и интересующимся византийской наукой, что, с его точки зрения, заслуживало особого уважения: «Он — друг образования; для него было недостаточно прославиться риторикой только в Италии, где он превосходил в искусстве речи многих из тех, кто занимается ею профессионально. Если бы он не владел стилем Платона и Демосфена и не учился у нас говорить по-аттически, он бы не почитал так языческое образование. Но больше всего нас радует, что он, очевидно, предпочитает нашу культуру собственной»[206]. Димитрий Кидонис воспитал в духе уважения к западноевропейским научным достижениям целую плеяду ученых — тех, кто тесно будет связан с итальянскими интеллектуалами и оставит заметный след в истории европейского гуманизма. Кидонис во многих отношениях являл собой фигуру ученого-космополита, признававшего достижения других научных направлений и подготовившего идеологическую почву для того «поворота на Запад» в интеллектуальной жизни Византии, который произошел в XV в. Он оказал огромное влияние на ряд своих молодых современников, которые восприняли его интерес к латинской теологии и культуре и пошли еще дальше, чем он, по пути сближения с Западом[207].

Если Кидонис подготовил почву и «общественное мнение» для установления прочных контактов византийских ученых с их западными коллегами, то первым человеком, чья жизнь стала настоящим олицетворением союза двух культур, стал его ученик Мануил Хрисолора. Именно с него начинается история византийской интеллектуальной эмиграции в Италию и греческих штудий на Западе[208].

В историографии за Мануилом Хрисолорой прочно закрепилась слава первого учителя греческого языка, дававшего уроки

---

[206] Démétrius Cydonès. Correspondance... Ep. 266. 11—16.

[207] См.: Kianka F. Demetrios Cydones (ca. 1324 — ca. 1397) : Intellectual and Diplomatic Relations between Byzantium and the West in the Fourteenth Century. N. Y., 1981. P. 226.

[208] См.: Kristeller P. O. Humanismus und Renaissance. Die antiken und mittelalterlichen Quellen. München, 1973. Bd. 1. S. 152.

итальянским гуманистам, и зачинателя *studia graecorum* в Европе[209]. Обращаясь к этой незаурядной личности, историки отмечают ту ключевую роль, которую сыграла деятельность Мануила Хрисолоры не только на ниве распространения греческого языка в Италии, но и в развитии гуманитарных исследований в целом[210].

Мануил Хрисолора родился в 1350 г. в Константинополе в знатной семье[211]. Рано проявив интерес к философии и риторике, он получил хорошее классическое образование, о чем свидетельствуют дошедшие до нас сочинения Хрисолоры[212]. Интерес к западной науке и схоластике, привитый ему Димитрием Кидонисом, перерос рамки простого увлечения латинской философией и богословием и позднее привел Хрисолору в лоно католической церкви[213]. Ученый был приближен ко двору императора Мануила II Палеолога, с кем его связывали дружеские отношения. По поручению императора он посещал с дипломатическими миссиями европейских правителей, ведя с ними переговоры о совместной борьбе против

---

[209] Все работы справочного характера называют Мануила Хрисолору первым учителем греческого языка на Западе (см.: ODB. Vol. 1. P. 454; Dictionary of the Middle Ages. N. Y., 1986.Vol. 7. P. 1; Lexikon des Mittelalters. München ; Zürich, 1977. Bd. 2. S. 2052; Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 751; и др.).

[210] См., например: Попова И. Византия — Италия. Аспекти на културните взаимодействия през XIV—XV век. В. Търново, 2004. С. 108; Соловьев С. В. Мануил Хризолор и гуманистический идеал образованности (конец XIV — первая половина XV века) // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 34—42; Haynes A. Manuel Chrysoloras— a Byzantine Scholars... P. 297—305; Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance... P. 57; Thomson I. Manuel Chrysoloras and the Early Italian Renaissance // GRBS. 1966. Vol. 7. P. 63—82; Thorn-Wickert L. Manuel Chrysoloras (ca. 1350 — 1415). Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen… S. 206—209; Wilson N. G. From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance. Baltimore, 1992. P. 8—12.

[211] PLP. № 31165.

[212] К сожалению, сохранилось лишь несколько его работ, выполненных, однако, с риторическим изяществом и мастерством: «Сравнение Древнего и Нового Рима» (Медведев И. П. Константинополь в сравнении с Римом: взгляд Мануила Хрисолоры // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С.317—334) и «Речь», адресованная императору Мануилу II Палеологу (Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β᾿ Παλαιολόγο // Εἰσαγωγὶ καὶ ἔκδοση Χ. Γ. Πατρινέλι καὶ Δ. Ζ. Σοφιανοῦ. Αθήνα, 2001).

[213] См.: Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur... S. 751.

турецкой агрессии[214]. В 1397—1403 гг. он преподавал греческий язык во Флоренции, Павии и Милане. В 1415 г. Хрисолора умер в Констанце, куда прибыл по поручению императора для участия во Вселенском соборе, на котором обсуждался вопрос об оказании европейскими государствами помощи Византии в борьбе против турок.

Важное место в биографии Хрисолоры занимает итальянский период. Впервые ученый оказался в Италии в 1390—1391 гг., когда сопровождал Димитрия Кидониса в Венецию[215]. Там он помогал в изучении греческого языка Роберто Росси и Якопо д'Анжело да Скарперия, видевших в нем носителя греческой культуры[216]. Эти занятия произвели сильное впечатление на молодых флорентийцев, которые по возвращении в родной город распространили славу о талантах выдающегося византийца. Так в кругу итальянских гуманистов возникла идея пригласить Хрисолору во Флоренцию для преподавания.

Инициатива позвать грека для преподавания в университете принадлежала писателю, гуманисту и политическому деятелю Коллюччо Салютати, занимавшему более 30 лет пост канцлера Флоренции. В свою очередь, на Салютати, очевидно, повлиял Якопо д'Анжело да Скарперия, который во время посещения Константинополя в 1395—1396 гг. вновь брал уроки у Хрисолоры и в дальнейшем восторженно отзывался о достоинствах византийского ученого[217]. В приглашении, отправленном Хрисолоре, можно найти объяснение причин заинтересованности итальянцев в его уроках: «Чтобы наша молодежь могла пить из двух источников, смешивая латинский и греческий для более плодотворной науки»[218]. Заполу-

[214] См.: Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West… P. 588—604.

[215] См.: Кущ Т. В. В поисках союзников: три поездки Димитрия Кидониса... С. 202.

[216] См.: Haynes A. Manuel Chrysoloras — a Byzantine Scholars… P. 298.

[217] См.: Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia... S. 259; Thorn-Wickert L. Manuel Chrysoloras (ca. 1350 — 1415). Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen... S. 38—39.

[218] Текст приглашения Мануила Хрисолоры см.: Материалы о приглашении Мануила Хризолора во Флоренцию для преподавания греческого языка / пер., предисл. и примеч. С. В. Соловьева // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 137.

чить Хрисолору желали и другие города. В частности, университет Павии направил ему аналогическое предложение занять кафедру, что, кстати, заставило власти Флоренции увеличить размер предложенного византийскому ученому гонорара[219]. Декретом Флорентийской синьории от 11 декабря 1396 г. были определены условия, на которых Хрисолора приглашался преподавать греческий язык всем, кто изъявит желание посещать его занятия: срок контракта составлял 5 лет с жалованьем в 150 золотых флоринов в год[220]. С февраля 1397 г. Хрисолора начал заниматься греческой грамматикой и литературой с итальянскими гуманистами во Флорентийском университете, основанном в 1348 г. В одном из своих писем Салютати заметил: Флоренция воистину заполучила Эммануила, что в переводе означает «С нами Бог»[221].

До появления Хрисолоры классический греческий язык, без которого было невозможно проникнуть в вожделенный гуманистами мир античных авторов, оставался недоступен для образованных итальянцев. В этой связи показателен случай с Франческо Петраркой, который, с трудом достав рукопись Гомера, смог только прижать ее к груди как величайшую ценность и порадоваться, глядя на нее, но не имел возможности прочитать текст из-за незнания языка[222]. Западноевропейские писцы, встречая в тексте цитаты на греческом, просто заменяли их стандартной формулой: *Graeca sunt, ergo non legenda* («Они греческие, посему недоступны пониманию»)[223]. И хотя за полстолетия до появления во Флоренции Хрисолоры Леонтий Пилат читал публичные лекции по греческому языку в Италии[224], все же систематическое преподавание гуманистам

---

[219] Первоначальное предложение Флорентийской республики предполагало заключение контракта с Хрисолорой на десять лет с ежегодной зарплатой в 100 золотых флоринов (см.: Попова И. Византия — Италия. Аспекти на културните взаимодействия... С. 114).

[220] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 105.

[221] См.: Гарэн Е. Проблемы итальянского гуманизма. М., 1986. С. 153.

[222] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 103.

[223] См.: Дойель Л. Завещанное временем. Поиски памятников письменности. М., 1980. С. 55.

[224] См.: Wilson N. G. From Byzantium to Italy... P. 2.

классического языка началось именно с прибытия византийца. Деятельность Хрисолоры способствовала распространению моды среди итальянских гуманистов на изучение греческого языка и литературы, резко увеличив спрос на греческих учителей во многих итальянских городах. Мануил Хрисолора заметил, что итальянцы начали проявлять большое рвение в овладении греческим языком и литературой, в то время как византийцы пренебрежительно относятся к собственному культурному наследию[225].

Обосновавшись в городе, Хрисолора должен был самостоятельно решить, чему учить флорентийцев. Он начал свою деятельность с занятий по переводу Плутарха, весьма популярного среди итальянских гуманистов. Авторитет наставника рос от лекции к лекции, слава о великом греке распространилась за пределы Тосканы, а наплыв желавших приобщиться к миру греческого языка был столь велик, что местные власти, стремясь удержать Хрисолору, через месяц после начала занятий увеличили ему жалованье: «Желая позаботиться как о пользе, так и о чести Флорентийского университета… полагая, что Мануил Хрисолора из Константинополя благодаря преподаванию греческой грамматики и литературы становится во многих отношениях величайшим украшением Республики, обращая внимание на заслуги его добродетели, строгость нравов, величие учености… названный муж имеет и должен иметь, начиная с этого дня, 250 флоринов в год»[226]. Тот резонанс, который имела преподавательская деятельность Хрисолоры во Флоренции, объясняется тем, что византийский интеллектуал передавал итальянцам не только основы греческой грамоты, но и греческую методику обучения и систему образования, унаследованную византийцами от Античности[227].

Многие методы преподавания, использованные Хрисолорой, были необычны для традиционного средневекового образования.

---

[225] См.: Patrinelis C. G. An Unknown Discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Palaeologus // GRBS. 1972. Vol. 13. P. 501.

[226] Материалы о приглашении Мануила Хризолора... С. 140.

[227] См.: Geanakoplos D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures... P. 6.

Даже начальное обучение языку сопровождалось погружением студентов в текст, дабы они могли проникнуть в мир авторского стиля, уловить смысловые оттенки и насладиться красотой слога. Этот преподавательский ход находил живой отклик у гуманистов, разочарованных традиционным приемом перевода древних авторов по принципу «слово в слово» без осознания самого духа произведения. Один из главных методов наилучшего освоения текста, согласно Хрисолоре, — это повторение каждой изложенной в нем мысли до тех пор, пока она прочно не войдет в сознание и лексикон ученика. Хрисолора стремился, чтобы чтение было конструктивным, аналитическим, обширным[228]. В стиле византийской образовательной практики после прочтения оригинального текста на греческом языке следовал детальный анализ отрывка[229]. Хрисолора пользовался характерным для византийской школы приемом описания (экфрасиса), направленного на совершенствование литературного стиля[230]. Эта модель преподавания, отличавшаяся от привычных университетских методик, импонировала гуманистам с их тягой ко всему новому. Леонардо Бруни, один из учеников Хрисолоры, впоследствии восторженно вспоминал: «С тех пор, как великий Хрисолора принес в Италию изучение греческого языка, где его уже и не знали в течение семисот лет, мы, молодые люди, образованные им, обратили все наши помыслы на то, чтобы восполнить пробелы латинской литературы греческими произведениями. Это была прекрасная юношеская пора подобных трудов, когда сердце наполнялось радостным чувством от нового и редкого знания»[231]. По сути, Хрисолора заложил основные принципы преподавания греческого языка на Западе, использовавшиеся затем при обучении многих студентов эпохи Ренессанса[232].

---

[228] См.: Haynes A. Manuel Chrysoloras — a Byzantine Scholars... P. 300.

[229] См.: Geanakoplos D. J. Constantinople and the West... P. 10.

[230] См.: Соловьев С. В. Мануил Хризолор и гуманистический идеал образованности … С. 39—40.

[231] Цит. по: Фойгт Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма. М., 1884. Т. 2. С. 145.

[232] См.: Thomson I. Manuel Chrysoloras and the early Italian Renaissance... P. 75—76;

Греческий учитель написал для своих учеников книгу по греческой грамматике «Вопросы греческого языка» (Ἐρωτήματα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης), составленную в форме вопросов и ответов. Сама форма диалога учителя и ученика напоминала об античных принципах. Существует мнение, что именно Коллюччо Салютати, задавая вопросы, навел Хрисолору на мысль о создании этой книги[233]. Эта книга, высоко оцененная еще при жизни ученого, выдержала не одно издание. Впервые учебник Хрисолоры был опубликован в Виченце (1475—1476), его дополненный текст с латинским переводом появился в Венеции (1483), затем его переиздали в Виченце (1490), Флоренции (1498—1500), Париже (1507), Ферраре (1509) и Венеции (1512, 1517)[234]. Именно по этой грамматике училось не одно поколение гуманистов, и даже в XVI в. учебник оставался достаточно популярен.

Основной задачей Хрисолоры было преподавание греческого языка и литературы, но значение его уроков не сводилось лишь к простой передаче знаний. Византийская традиция воспитания и образования, предполагавшая дружеские отношения между учителем и учеником, была перенесена им на итальянскую почву. Круг учеников Хрисолоры, с которыми его связывала «ученая дружба» византийского образца, красноречиво говорит о педагогическом таланте ученого: Леонардо Бруни, Гварино да Верона, Якопо Скарпериа, Никколо Никколи, Роберто Росси, Палла Строцци, Амбросио Траверсари, Пьеро Пауло Верджерио, Поджо Браччолини, Леонардо Джустиниани[235]. Воспитанники Хрисолоры становились ему близкими друзьями. Его преданный ученик Гварино да Верона, предоставивший византийцу кров и заботу после его приезда во Флоренцию, считал учителя примером и подражал ему в собственной

---

[233] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 109.

[234] См.: Graecogermania. Griechische Studien deutschen Humanisten. Die Editiontätigkeit der Griechen in der Italienischen Renaissance (1463—1523) / hrsg. D. Harflinger. Hannover, 1989. S. 5—10.

[235] См.: Ревякина Н. В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV—XV вв. Иваново, 1993. С. 30; Klette Th. Beiträge Geschichte und Literatur der Italienischen Gelehrtenrenaissance. N. Y., 1970. S. 49.

преподавательской практике[236]. Методики, применяемые Хрисолорой в обучении греческому языку и литературе, воспроизводились его итальянскими учениками.

Кроме изучения языка, в «кружке Хрисолоры» велась активная переводческая работа по разработанному им принципу *transferre ad sententiam* (перевод по смыслу)[237], который лежит в основе современных переводческих методик. Образованный грек стремился привить своим подопечным навыки не дословного перевода текста, а точной передачи смысла с учетом стилистики и ритмики переводимого текста. Паский, секретарь Ченчо ди Паоло де Рустичи, один из многочисленных учеников Хрисолоры, вспоминал о методе, которым руководствовался учитель в переводах:

> Говорил Мануил, человек, несомненно, богоподобный, что перевод на латинский язык слово в слово значит крайне мало, ибо утверждал, что таковой не только неблагозвучен, но иногда даже полностью искажает греческую мысль. Вместо этого он требовал переводить труд по смыслу при том условии, чтобы те, кто выполняет подобную работу, взяли себе за правило никоим образом не изменять специфически греческого значения, ведь если кто-то, желая изъясняться перед своей аудиторией яснее и понятнее, изменит какое-либо специфически греческое значение, он выполнит обязанность не переводчика, а комментатора[238].

Благодаря усилиям греческого учителя появлялись первые переводы классиков, выполненные его учениками, собирались и восстанавливались древние манускрипты, которые прежде не были известны на Западе.

На протяжении веков труды античных авторов, являвшиеся важной частью культурного багажа образованных византийцев, были недостижимы для западноевропейцев[239]. На Западе практически не знали сочинений многих из тех античных авторов, которые в изобилии имелись в Византии. Как отмечает немецкий ученый П. О. Кристеллер, в указателях средневековых библиотек греческие рукописи

---

[236] См.: Baxandall M. Guarino, Pisanello and Chrysoloras... P. 190.
[237] См.: Cammelli G. I dotti bizantini e le origini dell‘Umanesimo... P. 77—78.
[238] Цит. по: Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia... P. 371—372.
[239] См.: Harris J. Greek Emigres in the West... P. 119.

называются крайне редко[240]. Изучение же греческого языка и появление переводов открывали для гуманистов путь к освоению античного наследия. «Если бы не было греческого языка, римляне не имели бы никаких знаний», — так риторически преувеличенно оценивал значение греческих штудий итальянский гуманист Антонио Урчео Кодро[241]. Действительно, знание греческого языка открывало гуманистам античную культурную традицию, которая с этих пор будет питать западноевропейскую мысль Нового времени.

Уроки Хрисолоры были весьма популярны в итальянских городах: после Флоренции он преподавал в Павии и Милане по приглашению их властей. Многие гуманисты с гордостью называли себя его учениками. О притягательной силе личности Хрисолоры и значении его уроков свидетельствует Поджо Браччолини в речи, произнесенной на похоронах Леонардо Бруни:

> Неожиданно прибыл из Константинополя Мануил Хрисолора, в то время бесспорно первый среди греков в мудрости и красноречии… первым возродил у нас изучение греческого языка, уже давно забытое и исчезнувшее в Италии. И поскольку многие стекались в его школу и почитались превосходящими других, то Леонардо, побужденный его славой, увидев, что это изучение обещает большую похвалу, последовал за Мануилом, оставил занятия гражданским правом и в скором времени достиг того, что большими дарованиями и неустанным усердием далеко превзошел всех других учеников[242].

Хрисолора вводил итальянских гуманистов в мир греческого языка и литературы, стимулировал переводческую деятельность, открывал им богатства античного наследия. Это ставили ему в заслугу еще его современники и ближайшие потомки. Так, Константин Ласкарис начинал свою грамматику с краткого экскурса в историю распространения филологических занятий на Западе и первым делом упоминал имя Хрисолоры: «Мануил Хрисолора, муж

---

[240] См.: Kristeller P. O. Humanismus und Renaissance... S. 148.

[241] Антонио Урчео Кодро. Вступительная речь к курсу лекций по греческому языку / пер. и примеч. Н. В. Ревякиной // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 147.

[242] Поджо Браччолини. Речь на похоронах Леонардо Бруни // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Саратов, 1984. Ч. 1. С. 184—185.

усердный, покинувший родину, отправился в Италию и, прибыв, первым начал преподавать наши (науки. — *Т. К.*) итальянцам...»[243] Византийские друзья, разделявшие его интерес к Италии, считали, что Хрисолора собою «украсил род римлян и был оценен ими весьма высоко и самым блестящим образом»[244] Леонардо Бруни, характеризуя преподавательскую деятельность Мануила Хрисолоры в Италии, высокопарно замечал, что «это было первый раз за семьсот лет, чтобы греческий язык стали изучать на Западе»[245]. Верный ученик и последователь Хрисолоры Гварино да Верона, составивший вместе с другими учениками сборник писем и воспоминаний «Хрисолорина» и даже назвавший своего четвертого сына именем любимого учителя — Мануилом, заметил в одном из писем: «Труд этого человека вместе с его гуманностью привел к тому, что нашим людям был возвращен блеск греческой литературы, из-за незнания которой их окутывала прежде густая тьма»[246], подчеркивая тем самым вклад своего византийского учителя в итальянскую ренессансную культуру. Для Гварино Хрисолора являлся «первым из греческих ученых»[247], «гордостью нашего времени и светочем наук»[248], который «ниспослан на землю с небес»[249]. Итальянский гуманист отдавал Хрисолоре пальму первенства как величайшему человеку и самому образованному философу (*summo viro et eruditissimo philosopho*)[250]. В риторически строгой форме Гварино суммировал все заслуги Мануила Хрисолоры: «Кто же раньше мог называться хорошо образованным и действительно эрудированным? Кто читал Цицерона, Вергилия или какого-либо другого поэта или оратора?

---

[243] Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. P., T. 161. Col. 933.

[244] Ziegler A. W. Die restlichen vier unverцffentlichten Briefe Isidors von Kijev // OCP. 1952. Bd. 18. S. 139. Ep. 5.

[245] Цит. по: Geanakoplos D. J. Constantinople and the West... P. 40.

[246] Из писем Гварино да Верона / пер., предисл. и примеч. М. И. Шеременды // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 171.

[247] Princeps graecorum litterarum: Epistolario di Guarino Veronese / ed. R. Sabbadini. Venezia, 1915. Vol. 1. Ep. 7.P. 21.

[248] Ibid. Ep. 231. P. 366.

[249] Ibid. 1916. Vol. 2. Ep. 862. P. 583.

[250] Ibid. Vol. 1. Ep. 54. P. 112.

Кто бы знал о деяниях римских принцепсов, описанных Плутархом, если бы не пришло благодеяние Мануила? Кто в конце концов был бы сведущ в особенностях латинского языка? Воистину, после того как он сам посвятил наших людей в свое учение, мы увидели, сколь много существовало весьма красноречивых и сведущих в ораторском искусстве мужей. Хотя ныне мы имеем немало учившихся у него и теперь весьма знающих людей, подобных бьющим повсюду ключам красноречия, мы должны по справедливости признать, что и само красноречие, и наши гуманистические штудии, которые ранее пришли в упадок, ожили стараниями Мануила»[251].

Будучи носителем древней классической мудрости, Мануил Хрисолора обогатил ею европейскую мысль, открыв итальянским гуманистам неисчерпаемую сокровищницу античного наследия. Один из его учеников сравнил своего учителя с солнцем, озарившим Италию, погруженную в глубокий мрак[252]. Мануил Хрисолора, значительную часть своей жизни проведший в Италии, гармонично вписался в новую гуманистическую культуру, которая оказалась созвучна его устремлениям. Он, как и многие византийцы, оказавшиеся вслед за ним за пределами родины, был сам захвачен идеями гуманизма.

Блестящий результат деятельности Хрисолоры в итальянских городах стимулировал более активное приглашение на Запад византийских ученых и писателей для преподавания греческого языка, а вместе с ним и греческой литературы. С него начинается история византийской интеллектуальной эмиграции в Италию[253].

Значительную роль в развитии итальянского гуманизма сыграла деятельность Георгия Гемиста Плифона[254]. Его недолгое пребывание во Флоренции способствовало оживлению интереса к византийской науке среди местных ученых[255]. Философская неоэллини-

---

[251] Epistolario di Guarino Veronese... Vol. 2. Ep. 863. P. 588.

[252] См.: Фойгт Г. Возрождение классической древности… Т. 1. С. 217.

[253] См.: Kristeller P. O. Humanismus und Renaissance... S. 152.

[254] См.: Irmscher J. Γεώργιος Γ. Πλήθων. Δάσκαλος τῶν Ἑλήνων καὶ δάσκαλος τῆς δύσης // Βυζαντιναι Μελέται. 1991. Τ. 3. Σ. 66—75.

[255] См.: Oehler K. Aristotle in Byzantium // GRBS. 1964. Vol. 5, № 2. P. 142—149.

стическая концепция Плифона оказала значительное влияние на развитие гуманистической мысли. Кроме того, он способствовал распространению античных методов образования через научные кружки в традициях «платоновской академии». Как отмечает В. Блюм, «без Плифона, без его глубокого проникновения в платоновский мир мыслей и без его богатой риторики не могла бы так быстро возникнуть Academia Platonica во Флоренции»[256]. Он стал во Флоренции центром притяжения для людей, жаждавших заниматься греческой философией и риторикой. Восхищение итальянцев Плифоном выразил известный гуманист Франческо Филельфо: «Ты делал и делаешь нас почитателями твоей добродетели и мудрости»[257].

Обращаясь к истории византийско-итальянских интеллектуальных связей, особое внимание следует уделить кардиналу Виссариону[258], занимавшему высокие посты в церковной иерархии папской курии и являвшему собой центр притяжения для итальянских и византийских ученых. После Мануила Хрисолоры Виссарион — вторая по значимости фигура из тех, кто внес колоссальный вклад в развитие греческих штудий на Западе. Он был, по словам Дж. Монфазани, защитником и адвокатом греческих интересов в Италии на протяжении почти тридцати лет[259]. Итальянский гуманист Лоренцо Валла, принадлежавший к числу соратников кардинала, назвал его «самым греческим из латинян, самым латинским из греков» (*latinorum graecissimus, graecorum latinissimus*)[260], а Франческо Филельфо величал его «святилищем безупречного благородства и мудрости

---

[256] Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355—1452) / übers. und erl. von W. Blum. Stuttgart, 1988. S. 13.

[257] Lettres grecques de Francois Filelfe / ed. E. Legrand. P., 1892. P. 48. Ep. 23.

[258] См.: Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского // ВВ. 1976. Т. 37. С. 74—97; Loenertz R.-J. Pour la biographie du cardinal Bessarion // OCP. 1944. Vol. 10. P. 121—130; Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Padeborn, 1967. Bd. 1—2; ODB. Vol. 1. P. 285; PLP. № 2707.

[259] См.: Monfasani J. Greek Renaissance Migrations // Monfasani J. Greeks and Latins in Renaissance Italy. Studies on Humanism and Philosophy in the 15th Century. Aldershot, 2004. P. 13.

[260] Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance... P. 73.

(τῳ τελείας ἀρετῆς καὶ σοφίας τεμένει)»[261]. В Риме 40-х гг. XV в. Виссарион основал и возглавил гуманистический кружок, куда входили Поджо Браччолини, Флавио Бьондо, Франческо Филельфо, Платина, Лоренцо Валла. «Академия» Виссариона была артистическим салоном, где собирались для свободного общения греки и латиняне, теологи и гуманисты. Члены виссарионовской «Академии» занимались копированием рукописей и переводами античных авторов на латинский язык. Виссарион, сам крупный коллекционер греческих манускриптов, собственноручно сделал несколько копий древних рукописей. Ему принадлежали также переводы на латинский язык «Memorabilia» Ксенофонта, «Метафизики» Аристотеля, «Метафизики» Теофраста, речей Демосфена[262]. В 1468 г. Виссарион передал в дар Венеции свою самую большую в Европе частную библиотеку, состоявшую из 768 книг, 482 из которых были на греческом языке. Библиотека Виссариона составила основу будущей Библиотеки Св. Марка (Biblioteca Marciana)[263]. После падения империи в 1453 г. Виссарион стал одним из покровителей византийских эмигрантов: в его доме находили приют переписчики манускриптов, художники, ученые, рассчитывавшие на его поддержку. Он оказывал им не только финансовую помощь, но и содействовал в получении должностей в местных университетах. Среди тех, кто останавливался в доме кардинала и получил его протекцию, были известные византийские интеллектуалы, прославившиеся впоследствии гуманистической деятельностью в итальянских городах: Михаил Апостол, Андроник Каллист, Феодор Газа, Константин Ласкарис[264]. В знак признательности за содействие в начальный период эмиграции Михаил Апостол составил надгробную речь в память о Виссарионе[265]. Поскольку благодаря содействию кардинала многие греки смогли устроиться на новом месте, в его

---

[261] Lettres grecques de Francois Filelfe.... P. 124. Ep. 72.
[262] См.: Harris J. Greek Emigres in the West... P. 125.
[263] См.: Labowsky L. Bessarion‘s Library and the Biblioteca Marciana. Rome, 1979.
[264] См.: Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe... S. 326.
[265] Ibid. S. 511.

эпитафии говорилось: «Твоими трудами Греция переселилась в Рим»[266].

Биография Виссариона уникальна и вместе с тем показательна, поскольку наглядно демонстрирует пример максимальной реализации возможностей, открывавшихся перед византийскими интеллектуалами в Италии. Впрочем, для большинства греческих эмигрантов такой карьерный взлет едва ли был возможен, и они вынуждены были зарабатывать себе на жизнь в основном преподаванием или копированием рукописей. Появление образованных греков, которые массово начали прибывать в Италию с начала XV в., способствовало интенсификации греческих штудий[267]. Им предоставлялись кафедры в местных университетах, их нанимали частными учителями, им делали заказы на перевод древних манускриптов. Димитрий Халкокондил, посещавший занятия в Риме у Феодора Газы, много лет преподавал в итальянских университетах (в Падуе, Флоренции и Милане)[268]. Его учениками были Бальтассаро Кастильоне, Иоганн Рейхлин, Гийом Бюде, Джорджо Триссино, будущий папа Лев X[269]. Иоанн Агрипопул в числе своих учеников числил Иоганна Рейхлина, Анджело Полициано, Палла Строцци и его племянника Донато Аччайуоли[270]. Другой византиец, оказавшийся в Италии, — Георгий Трапезундский — открыл в Венеции в 1427 г. частную школу, в которой преподавал греческий язык и латынь. Его учеником был Пьетро Барбо, ставший позднее папой Павлом II[271].

Волна эмиграции, вызванная трагическими событиями 1453 г., прибила к западным берегам многих византийцев, которые, видя спрос на изучение языков и античной литературы, занялись преподаванием и переводами на латынь. Скорее всего их можно отнести

---

[266] Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 122.

[267] См.: Geanakoplos D. J. Greek Scholars in Venice. Cambridge ; Massachusetts, 1960.

[268] См.: Geanakoplos D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures... P. 231.

[269] См.: Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 244.

[270] PLP. № 1267.

[271] См.: Geanakoplos D. J. Constantinople and the West… P. 43.

к интеллектуалам, поскольку они могли реализовать себя только в подобном качестве. Таким образом, жизненно важные интересы многих византийцев оказались связаны именно с сохранением и передачей эллинистического культурного наследия. Те из византийских эмигрантов, главным заработком которых прежде была преподавательская работа, продолжили свою деятельность в Италии. Так, в Мессине работал Афанасий Галисиот[272]; в Италии и Франции преподавал ученик Димитрия Халкокондила Иоанн Ридакин Ласкарис[273]; в Париже — Георгий Гермоним, учивший Гийома Бюде и Иоганна Рейхлина[274]; с Базелем связана преподавательская судьба Андроника Контовлака[275]; в Италии учил греческому Мастрангел[276]; наставником Марка Антония Антимаха был Иоанн Мосх[277]; а некий Георгий занимался преподаванием греческого в Италии[278]. В потоке образованных людей, хлынувших на Запад в XV в., был и Иоанн Хрисолора, о котором Франческо Филельфо писал, что тот принес с собой из Константинополя литературу и науку[279]. После падения империи прибежищем для многих византийских аристократов, монахов и ученых стал Кипр. Там о них, как сообщает в своей «Хронике» Леонтий Махера, проявляла заботу королева Елена Палеолог, дочь пелопоннесского деспота и супруга Жана II Лузиньяна[280].

Наиболее известным учителем греческого в Болонье (1458—1459 и 1462—1466) и во Флоренции (1473—1474) был Андроник Каллист[281]. После падения Константинополя он перебрался в Италию, где занялся преподавательской деятельностью и обучал итальянцев Анджело Полициано и Бартоломео Фонцио. В одном из писем, отправленных им из Болоньи Димитрию Халкокондилу

[272] PLP. № 3526.
[273] Ibid. № 14536.
[274] Ibid. № 6125.
[275] Ibid. № 13053.
[276] Ibid. № 17244.
[277] Ibid. № 19386.
[278] Ibid. № 4120.
[279] См.: Fuchs F. Die höheren Schulen... S. 69.
[280] См.: Тивчев П. Леонтий Махера как историк Кипра // ВВ. 1973. Т. 35. С. 170.
[281] PLP. № 10484.

в Падую, Андроник сообщал: «Ты увидел бы, как я с учениками читаю по-гречески гимны Пиндара, письма Фалариса, а также грамматику Феодора, читаю по-латыни теперь «Политику» и «Экономику» Аристотеля»[282]. Виссарион, с которым Михаил Апостол познакомил в Италии Андроника Каллиста и для которого он копировал рукописи, оказал ему протекцию для получения места преподавателя греческого во Флоренции. Андронику принадлежала также заслуга перевода на латинский язык «Аргонавтики» и аристотелевского трактата «О возникновении и уничтожении (Περὶ γε-νεσέως καὶ φθόρας)».

Константин Ласкарис принадлежал к числу учеников Иоанна Аргиропула и получил образование в лучших византийских традициях. После трагедии 1453 г. и последовавших за ней скитаний (пленение, путешествия на Родос и в Серры) он оказался в Милане, где в 1458—1465 гг. приобрел известность своими уроками греческого. Позднее Константин Ласкарис побывал в Неаполе и Мессине, где также преподавал. Под его руководством штудировал греческий Джорджио Валла. Как и многие его «собратья по перу» в Италии, Ласкарис переводил греческих авторов на латинский язык.

Сам Аргиропул в 1456 г. был избран на должность профессора Флорентийского университета, которую занимал на протяжении 15 лет[283]. Кристофоро Ландино в речи на похоронах Донато Аччайуоли, рассказывая о его научных занятиях, отметил и достоинства греческого наставника, у которого учился Аччайуоли: «Немалой удачей для него был приезд в наш город покинувшего в то время Грецию Иоанна Аргиропула, преуспевшего во многих науках и первого среди философов нашего времени. Из этого обильного и неиссякаемого источника черпал он [Аччайуоли] всякого рода философские познания…»[284] Франческо Филельфо, восхищавшийся

---

[282] См.: Powell J. Two Letters of Andronicus Callistus to Demetrius Chalcocondyles // BNJ. 1938. Vol. 15. P. 19—20.

[283] См.: Брагина Л. М. Аргиропуло (из истории философии итальянского Возрождения) // СВ. 1968. Т. 31. С. 238.

[284] Кристофоро Ландино. Речь на похоронах Донато Аччайуоли // Соч. итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.) М., 1985. С. 205—206.

эрудицией и образованностью Иоанна Аргиропула и называвший его «первым среди мудрецов Греции»[285], в одном из своих писем извинялся перед своим греческим коллегой за несовершенство своих эпистолярных практик: «Но ты, знающий секреты гармонии, не удивляйся шероховатости моего стиля, ибо я, латинянин, не знаю основательно греческого языка»[286]. Аргиропул получил признание не только в гуманистической среде, но и в высших кругах Флоренции, о чем свидетельствует тот факт, что его удостоили титула почетного гражданина этого города. Кроме того, Аргиропул получил право владеть недвижимостью во Флоренции и ее округе со значительными налоговыми льготами[287].

Другой византиец, Феодор Газа, получил приглашение в восстановленный Лионелло д'Эсте университет Феррары, а затем его переманил Козимо Медичи во Флоренцию, где ему дали кафедру греческой грамматики, логики и диалектики[288]. Димитрий Халкокондил был профессором греческого языка в Падуе и Флоренции[289]. Его итальянский друг Франческо Филельфо назвал Халкокондила «блистающим на первом месте среди греческих ученых и ораторов»[290]. Георгий Трапезундский, читавший лекции во Флорентийском университете, получил высокую оценку от своих слушателей: «В это время во Флоренции не было человека более полезного для образования, чем он»[291]. Многим византийским интеллектуалам удалось сохранять высокую репутацию и социальный престиж за пределами своей родины благодаря спросу на греческие штудии в итальянских городах и ажиотажу вокруг греческого наследия в среде гуманистов.

---

[285] Lettres grecques de Francois Filelfe… P. 50. Ep. 24.

[286] Ibid. P. 90. Ep. 48.

[287] См.: Пшизова С. Н. Флорентийский университет и развитие гуманизма в XIV—XV вв. // СВ. 1993. Т. 56. С. 163.

[288] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefen // BZ. 1943. Bd. 42. S. 55—57.

[289] См.: Geanakoplos D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures... P. 234—239.

[290] Lettres grecques de Francois Filelfe… Ep. 110. P. 190.

[291] Цит. по: Пшизова С. Н. Флорентийский университет... С. 163.

Для преподавания языка необходима была и специальная литература. Начиная с Хрисолоры византийские ученые составляли греческие грамматики, предназначенные для итальянских учеников. Авторами таковых были Мануил Калека[292], Феодор Газа («Oratio de Litteris Graecis»)[293], Димитрий Халкокондил[294]. Константин Ласкарис тоже подготовил для своих итальянских учеников грамматику греческого языка и к тому же сделал ряд грамматических извлечений[295]. Риторические книги («Rhetoricorum libri V») Георгия Трапезундского представляли из себя пособие к урокам риторики[296]. Позже и сами итальянцы стали составлять греко-латинские лексиконы (Марсилио Фичино).

Преподавание греческого языка итальянским гуманистам требовало от византийских ученых знания латыни, на которой велось обучение. С начала XV в., когда упрочились связи византийцев с итальянскими учеными и когда знание греческого языка стало довольно распространенным явлением в гуманистической среде, сами итальянцы стали преподавать латынь ромеям. Феодор Газа и Георгий Трапезундский в Италии штудировали латинский язык под руководством Витторино да Фельтре, который имел собственную школу в Мантуе[297]. Овладение латынью открывало грекам путь к кафедрам итальянских университетов, куда их охотно приглашали.

Центрами византийской эмиграции стали преимущественно те города в Италии, где набирал силу гуманизм или существовали университеты, являвшиеся очагами гуманистической мысли. Именно здесь могли быть востребованы знания и опыт интеллектуалов из Византии. Главным центром притяжения интеллектуальных сил была Флоренция, где в университете в разные периоды преподавали Мануил Хрисолора, Андроник Каллист, Иоанн Ласкарис,

---

[292] Bernardinello S. La Grammatica di Manuele Caleca // Actes du XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 51—56.

[293] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften... S. 57.

[294] Wilson N. G. From Byzanntium to Italy... P. 95.

[295] PLP. № 14540.

[296] См.: Graecogermania. Griechische Studien deutschen Humanisten... S. 10—11.

[297] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften... S. 54.

Григорий Трапезундский, Иоанн Аргиропул, Димитрий Халкокондил[298]. В течение XV в. преподавание классического греческого языка и литературы прочно утвердилось в большинстве итальянских университетов[299].

Деятельность интеллектуалов из Византии на поприще преподавания высоко ценилась итальянцами. Многие гуманисты специально отправлялись в те города, где давали уроки византийцы. Так, Франческо Кастильоне, ученик Витторино да Фельтре, учитель греческого во Флорентийском университете, специально отправился в Феррару, дабы посетить занятия Феодора Газы[300].

Метод обучения, применявшийся в *studia humanitatis* под руководством византийцев, восходил к традиционной, уходящей в Античность системе образования. Иммигранты-ученые принесли с собой в Италию не только греческие тексты, но и традиции трактовки философских и филологический трудов как метода преподавания. Сохранялась и античная структура преподаваемых наук, которая была известна на Западе, но среди дисциплин тривиума и квадривиума наибольшее внимание уделялось р и т о р и к е и д и а л е к т и к е. Большим спросом пользовались также з а н я т и я п о ф и л о с о ф и и.

Надо отметить и то, что итальянские интеллектуалы оказывали активное содействие в поисках заработка или вакансий в местных университетах своим византийским коллегам, прибывшим в Италию и испытывавшим материальные затруднения. Франческо Филельфо, ратовавший за привлечение византийских ученых в Италию для преподавания, рекомендовал Димитрия Кастрина своему другу, профессору права в Сиене Франческо Аккольти д'Ареццо, стремясь помочь византийцу получить постоянную должность[301]. В другой раз он рекомендовал своего ученика Иоанну Аргиропулу:

---

[298] См.: Пшизова С. Н. Флорентийский университет... С. 163—164.

[299] См.: Kristeller P. O. The Renaissance and Byzantine Learning // Kristeller P. O. Renaissance Concepts of Man and other Essays. N. Y. ; Evanston ; S.-Francisco ; London, 1972. P. 70.

[300] PLP. № 30126.

[301] Ibid. № 29803.

«Податель сего письма, Георгий Александрин, мой ученик. Это смелый молодой человек, который не чужд Музам. Плененный твоей искренностью и твоими знаниями, он отправился во Флоренцию. Я тебе его рекомендую как одного из моих старых учеников, который будет отныне твоим»[302]. Да и сами византийские ученые сохраняли между собой контакты и на итальянской земле, поддерживая друг друга материально и морально и используя для этого личные связи. Дочь Луки Нотары Анна, владевшая в Италии немалыми средствами, накопленными ее отцом, использовала их для поддержки византийцев, бежавших в Италию, и приобретения рукописей, оплаты переписчиков и приобретения необходимых письменных материалов[303].

Для XV в. характерно также значительное расширение личных контактов византийских и итальянских ученых. Итальянцы воспринимались ромеями уже как полноправные участники интеллектуального диалога, на них распространялись и нормы поведения, принятые в византийской интеллектуальной среде. Типичным явлением стали эпистолярные связи. Среди корреспондентов Михаила Апостола был итальянский гуманист Анжело Вадио да Римини, издавший на латинском птолемеевскую «Космографию»[304]. Геннадий Схоларий и Мануил Хрисолора переписывались с Амбросио Траверсари[305]. Дружеские отношения связывали кардинала Виссариона и Лилио Тифернате, латинского поэта второй половины XV в., ученика Хрисолоры, профессора в Перуджи, знатока творчества Данте и переводчика с греческого[306]. Обширные связи с византийскими интеллектуалами поддерживал Франческо Филельфо. Список его корреспондентов выглядел весьма внушительно: Георгий Трапезундский, Геннадий Схоларий, Георгий Гемист Плифон, Иоанн Аргиропул, кардинал Виссарион, Димитрий Халкокондил, а также Феодор Газа, посвятивший Филельфо свой труд «De origine

[302] Lettres grecques de Francois Filelfe… P. 103—104. Ep. 57.

[303] См.: Matschke K.-P. The Notaras Family and its Italian Connections // DOP. 1995. Vol. 49. P. 73.

[304] PLP. № 2032.

[305] Ibid. № 29205.

[306] Ibid. № 29416.

Turcanum». Любопытно, что Филельфо вел переписку на греческом не только с византийцами, но и с соотечественниками. Итальянцы при каждом удобном случае стремились показать свое знание греческого языка. Письмо Лианоро Лианори к Аретино в публикации И. П. Медведева[307] представляет собой смесь греческих и латинских фраз, тем самым демонстрируя определенный уровень владения автором обоими языками. При этом итальянцы принимали те «правила игры», которые соответствовали византийским требованиям к эпистолярному жанру.

Подобно византийцам, итальянские гуманисты считали письмо, носившее открытый характер, средством выражения не только дружеских чувств, но и риторических способностей. Франческо Филельфо в письме Георгию Трапезундскому упоминал о публичном прочтении его сочинения: «Речь, которую ты мне отправил, я прочитал внимательно и заботливо и дал прочесть здешним ученым. Прочитали его и управляющие здешним государством, и ораторствующие и похвалили написанное тобой. Ибо ты, мне кажется, отправил его прежде всего для того, чтобы много других людей увидело написанное»[308]. Утвердилось среди гуманистов и такое явление, характерное для византийской интеллектуальной среды, как «ученая дружба», главным содержанием которой были общность научных интересов и духовное родство[309].

Рост интереса к античным древностям побуждал итальянских гуманистов обращаться к ранее неизвестным и недоступным источникам, хранившимся в греческих землях. На Западе практически не знали большинство сочинений античных авторов, которые имелись в Византии. Их массовый приток начинается с эмиграцией византийцев в Италию[310]. Даже в середине XV в., когда перемещение древ-

---

[307] Греческий текст письма см.: Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 243—244.

[308] Lettres grecques de Francois Filelfe... P. 5. Ep. 3.

[309] См.: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. С. 106.

[310] См.: Nelson R. S. The Italian Appreciation and Appropriation of Illuminated Byzantine Manuscripts, ca. 1200—1450 // DOP. 1995. Vol. 49. P. 218—235.

них рукописей на Запад приобрело уже значительный размах, итальянцы и византийские эмигранты тем не менее выражали недовольство ограниченным масштабом этого процесса и искали возможности его активизировать. Виссарион жаловался своему другу на нехватку рукописей в Италии: «Мне еще недостает многих сочинений наших и языческих учителей»[311]. В своем письме Лианоро Лианори сетовал на недостаток книг и просил прислать по возможности новые: «Так как я не имею никаких своих книг — ни греческих, ни латинских... хотел бы просить, чтобы для меня послали какие-нибудь греческие»[312]. Некоторые итальянцы специально отправлялись на Восток с целью приобретения или копирования новых рукописей.

С Хрисолоры началась не только эмиграция на Запад византийских ученых, но и движение итальянских гуманистов в обратном направлении. Единичные случаи посещения Византии с научными целями сменились регулярными поездками. Целью этих вояжей первоначально было постижение греческого языка, обучение у византийских учителей, знакомство с греческой культурой, открытие для себя и своих соотечественников мудрости древних авторов, почерпнутой из их трудов. В 1395 г. Якопо д‘Анжело Скарпериа, который прежде брал уроки у Димитрия Кидониса и Мануила Хрисолоры во время их пребывания в Венеции, отправился в Константинополь, чтобы продолжить свое образование у греческих ученых и разыскать новые рукописи, еще неведомые на Западе[313]. Побывали в Византии Гварино да Верона, Кириако д‘Анкона, Никколо Никколи, Франческо Филельфо, Леонардо Бруни Аретино, Амбросио Траверсари, которые стремились совершенствовать свое образование под руководством византийских учителей и желали ближе познакомиться с греческой культурой[314]. Франческо Филельфо провел в Византии

---

[311] Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / ed. L. Mohler. Padeborn, 1967. Ep. 30. 10—11.

[312] Медведев И. П. Византийский гуманизм... С. 244.

[313] См.: Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia... P. 258—259.

[314] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 108; Гарэн Э. Проблемы итальянского гуманизма... С. 47; Fuchs F. Die höheren Schulen... S. 68.

семь лет (1420—1427), женился на гречанке, дочери своего византийского учителя Иоанна Хрисолоры, отрастил себе длинную бороду и приобрел все манеры греческого философа. Он также позаботился о том, чтобы его сын «мог приобщиться к греческой культуре»[315], и отправил его учиться в Константинополь.

В дальнейшем (особенно накануне и после падения империи) путешествия итальянцев в Византию стали носить в большей степени антикварный характер, превращаясь в экспедиции по розыску древних манускриптов. Гварино много путешествовал по Византийской империи, посетив Грецию и Эгеиду, с целью приобретения книг[316]. Джованни Ауриспа в 1423 г. вернулся из путешествия на Восток, имея в багаже 232 тома греческих рукописей[317]. Кроме большого числа трудов классических авторов, Ауриспа приобрел 40 христианских рукописей, среди которых были проповеди Христа, Псалтыри и Евангелия X—XI вв.[318] Ауриспе пришлось потратить массу сил и проявить немало упорства в розыске источников: «Ради книг я прибегал ко всяким уловкам, я отдавал все деньги и часто даже платье. Действительно, я помню, что отдавал этим грекам платье, дабы получить от них рукопись, — поступок, за который я не чувствую ни стыда, ни досады»[319]. По возвращении всех охотников за древностями ожидали слава и почет, а лекции гуманистов, побывавших в Византии и вкусивших греческой мудрости, посещали не только сотни местных слушателей, но и приезжие из Франции, Испании, Священной Римской империи. Гварино да Верона утверждал, что «без греческого языка нельзя знать латинского языка»[320]. Ему вторил Филельфо: «Те, кто не пропитан греческими доктринами, блуждают во тьме, как слепые»[321].

---

[315] Lettres grecques de Francois Filelfe… P. 37. Ep. 15.

[316] См.: Baxandall M. Guarino, Pisanello and Chrysoloras... P. 190.

[317] См.: Дживелегов А. К. Начало итальянского Возрождения. М., 1908. С. 149.

[318] См.: Nelson R. S. The Italian Appreciation and Appropriation... P. 220.

[319] Цит. по: Монье Ф. Опыт литературной истории Италии. Кватроченто. СПб., 1904. С. 254.

[320] Цит. по: Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. М., 1961. Т. 2. С. 158.

[321] Цит. по: Там же.

Кириако Анконский исследовал античное наследие в византийских землях, включая Константинополь, Пелопоннес, Кикладские острова, Лесбос и южный берег Геллеспонта[322]. Благодаря дружбе с влиятельным анконским консулом, Филиппо Альфиери сумел посетить несколько библиотек в Константинополе, где видел «множество позолоченных и ярких греческих манускриптов как религиозного, так и светского содержания в разных монастырях»[323]. Целью его поездки в 1444 г. на остров Имброс, где Кириако познакомился с византийским историком Критовулом[324], была покупка древних рукописей. Во время посещения Афона он приобрел несколько манускриптов и переписал фрагменты некоторых текстов. В книгохранилище монастыря Пантократора Кириако пришлось «повозиться», копируя словарный лист и примечания тома Дионисия Ареопагита, поскольку рукопись была весьма ветхой[325]. Путешественнику удалось увидеть и скопировать некоторые части рукописи Геродота, которая, вероятно, была единственной сохранившейся на момент поездки итальянца[326].

Франческо Филельфо в письме к Георгию Трапезундскому, вернувшемуся из путешествия в уже турецкий Константинополь, интересовался: «Не привез ли ты с собой каких-либо драгоценных вещей? Я имею в виду книги»[327]. Их примеру последовали многие итальянцы — любители древностей и авантюристы, поспешившие в Византию, чтобы отыскать новые труды античных и византийских авторов, спрос на которые был необычайно высок в ренессансной Италии.

Огромные усилия прилагали греки-эмигранты и итальянцы для сохранения античного наследия после падения Византии. Так,

---

[322] См.: Vita viri clarissimi et famosissimi Kyriaci Anconitani by Francesco Scalamonti / ed. and transl. C. Mitchell and E. Bodnar. Philadelfia, 1996. P. 111.

[323] Ibid. P. 112.

[324] См.: Grecu V. Kritobulos aus Imbros // BS. 1957. Vol. 18. S. 1.

[325] Cyriac of Ancona. Later travels / ed. and transl. E. W. Bodnar. L., 2003. P. 123.

[326] См.: Levi P. The journeys of Cyriac of Ancona // Classical review. 1980. Vol. 30, № 1. P. 129.

[327] Lettres grecques de Francois Filelfe… P. 127. Ep. 74.

Виссарион просил Михаила Апостола позаботиться о спасении древних рукописей: «Я прошу тебя ради меня и моего плана, который, вероятно, заинтересует и тебя, проявить максимальную осторожность, чтобы все найти и купить. Если ты отправишься на поиски в Адрианополь, Афины, Фессалонику, Энос и в другие места и города, окружающие нашу столицу, которая их себе подчинила, а кроме того, в Галлиполи, найди все... Поскольку епископ Афин будет что-то покупать, ты покупай не то же самое, а другое. Ибо нам достаточно даже по одному экземпляру»[328]. Эта забота Виссариона о поиске рукописей носила бескорыстный характер, о чем он сам пишет: «Я имею большой интерес все это приобрести не ради себя, так как я для собственных потребностей достаточно имею, а чтобы посодействовать остальным грекам и людям следующих поколений»[329]. Он израсходовал около 30 тыс. флоринов на копирование и приобретение книг[330].

Возраставший общественный спрос на античное духовное наследие, и в частности на греческие сочинения, позволял найти применение силам многих византийцев, а также и тех итальянцев, кто обладал необходимыми для этого знаниями греческого языка[331]. К примеру, переписка греческих рукописей могла дать устойчивый заработок копиисту в тогдашней Италии[332]. Делая копии с древних манускриптов, они тем самым содействовали значительному расширению духовной основы европейского Возрождения[333]. До изобретения книгопечатания это был единственный способ сохранения и распространения текстов. Рукописи воспроизводились греческими и итальянскими копиистами в поздневизантийской палеогра-

[328] Aus Bessarions Gelehrtenkreis... Ep. 30. 22—30.

[329] Ibid. Ep. 30. 14—16.

[330] См.: Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance... P. 73.

[331] См.: Monfasani J. The Byzantine Rhetorical Tradition and the Renaissance // Monfasani J. Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other Emigres. L., 1995. P. 174—187.

[332] См.: Hunger H. Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz ; Wien ; Köln, 1965. S. 386.

[333] См.: Hunger H. Phänomen Byzanz — aus europäischer Sicht. München, 1984. S. 26.

фической традиции. Византийский минускул (строчная буква), использовавшийся византийскими учеными XV в., был заимствован у них итальянскими гуманистами[334].

Итальянские интеллектуалы нередко обращались к византийцам за помощью в копировании рукописей. По поручению Кристофоро Галатоне, Джованни Ауриспа и Франческо Филельфо копировальные работы в Константинополе выполнял дьякон Георгий Хрисококк[335]. Он переписал для Филельфо множество сочинений, среди которых были «География» Страбона и фрагменты из Ксенофонта[336]. Димитрий Скаран по просьбе своих итальянских друзей Гварино да Верона, Джованни Ауриспа, Умберто Дечембрио, Франческо Барбаро и Амбросио Траверсари также копировал рукописи[337]. Иоанн Аргиропул и Иоанн Поф служили переписчиками у Палла Строцци [338]. Матфей Камариот, учитель философии и риторики в Константинополе, подарил Джорджио Валла переписанную им рукопись[339].

Фактически все византийские интеллектуалы, оказавшиеся в Италии, занимались активной переводческой деятельностью. При этом переводы делались по принципу смыслового понимания, а не буквального соответствия. Тем самым контекстуальная интерпретация текста стала основным методом перевода. Виссарион воздавал похвалы блестящим переводам, выполненным Феодором Газой, и подчеркивал их значение для итальянцев: «Хорошо переведя “О растениях” Феофраста и “Проблемы” Аристотеля, ты совершил огромный труд и одарил великим даром латинян: первого произведения у них вообще не было, а второе было у нас самих с такими ошибками, что с трудом можно было понять сказанное, ты же и перевел и все исправил, — и образ мыслей, и выражения, — и поправил так,

---

[334] Geanakoplos D. J. The Renaissance and Byzantine Learning... P. 79.

[335] PLP. № 31141.

[336] Vogel M., Gardthausen V. Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. Hildesheim, 1966. S. 86.

[337] PLP. № 26035.

[338] См.: Ibid. № 26963; Vogel M., Gardthausen V. Die griechischen Schreiber des Mittelalters... S. 167.

[339] PLP. № 10776.

как это должно было быть у самого Аристотеля. И потому великой платой тебе будет похвала образованных людей настоящего и грядущего поколений»[340]. Активно осуществлявшиеся переводы с греческого языка делали древних авторов доступными широкой читающей публике.

Безусловно, наука и литература нуждались в материальной поддержке. Византийские эмигранты столкнулись с необходимостью поиска влиятельных покровителей, которые бы обеспечивали их заказами, поддерживали своими благодеяниями, содействовали им в карьерном продвижении. На Западе роль меценатов брали на себя местные правители, состоятельные граждане и церковь[341]. Так, Феодор Газа был приглашен правителем Феррары Лионелло д'Эсте на должность преподавателя в созданную тем высшую школу, откуда позднее его переманил во Флоренцию Козимо Медичи, предложив кафедру грамматики, логики и диалектики в Studio[342]. Папа Николай V заслужил особое уважение византийцев своей активной поддержкой итальянских гуманистов и их византийских коллег[343]. По протекции Николая V Феодор Газа получил место переводчика.

В знак признательности за оказанную поддержку и помощь некоторые интеллектуалы посвящали покровителям свои собственные сочинения или переводы. Когда в Риме после избрания в 1455 г. нового папы Каликста III для ученых начались трудные времена, центр интеллектуальной жизни переместился ко двору короля Неаполя Альфонса. Здесь царила духовная атмосфера, благотворная для научных занятий, что было во многом заслугой монарха. Он приютил Георгия Трапезундского и назначил ему небольшую пенсию[344]. Поэтому Виссарион, пробывший здесь некоторое время, посвятил коронованному меценату свой перевод «Метафизики»

---

[340] PG. 161. Col. 685.

[341] См.: Сюзюмов М. Я. Возрождение, гуманизм и феодализм // АДСВ. 1979. Вып. 16. С. 12.

[342] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften ... S. 55.

[343] См.: Harris J. Greek Emigres in the West... P. 124.

[344] См.: Бронштейн В. А. Георгий Трапезундский // ВИ. 1995. № 9. С. 173.

Аристотеля[345], а Феодор Газа — перевод гомилии Иоанна Хрисостома[346].

Если первоначально переводы выполняли преимущественно византийцы, то постепенно этим стали заниматься и сами итальянские ученые, прибегавшие иногда к помощи и советам греков. Так, к примеру, консультантом Марсилио Фичино, профессора во Флоренции, знатока философии Платона и неоплатоников, при переводе платоновских диалогов был Димитрий Халкокондил[347], а в переводческой работе Амбросио Траверсари помогал Димитрий Скаран. Якопо Скарпериа, занимаясь переложением на латынь трудов Плутарха и Птолемея, неоднократно обращался за помощью к Мануилу Хрисолоре[348]. Император Мануил II Палеолог попросил Гварино да Верона перевести написанный им трактат на латинский или итальянский язык, чтобы сделать его доступным для итальянцев и снискать себе славу в среде западных гуманистов[349].

Важно отметить, что византийская научная традиция повлияла не только на характер и структуру знания, но и на способы ее передачи. Широкое распространение получил византийский принцип обучения посредством наставничества. Безусловно, это не было новшеством, и Запад знал уже примеры тесных наставнических отношений, но это были скорее единичные случаи, чем устоявшееся правило. Вероятно, между возведением гуманистами в норму особо близких отношений «учитель — ученик» и появлением византийских ученых в Италии можно установить непосредственную связь. Подобно византйский практике, в Италии получили распространение школы одного ученого. С конца XIV в. у истоков итальянской «генеалогии образованности» стояли византийцы, но постепенно, с развитием собственной школы, в XV в. появились также итальянские родоначальники научных сообществ. У Гварино да Верона брал уроки придворный историограф в Римини Тобио

---

[345] См.: Aus Bessarions Gelehrtenkreis... Ep. 17.
[346] Ibid. P. 269—273.
[347] См.: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты... С. 37.
[348] См.: Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia... P. 270.
[349] См.: The Letters of Manuel II Palaeologus... Ep. 60. 16.

дель Борго, а также Франческо Барбаро и Витторино да Фельтре[350]. Траверсари был учителем Козимо и Лоренцо Медичи; многие гуманисты учились у Марсилио Фичино. Витторино да Фельтре имел свою школу в Мантуе[351], которую три года посещал Феодор Газа, стремясь выучить латинский язык так хорошо, чтобы самому получить возможность преподавать[352].

В Италии по примеру византийских кружков («театров») открывались научные сообщества, чаще всего именуемые «академиями». С середины XV в. действовала *Chorus Achademiae Florentinae*, основанная в 1454 г. Козимо де Медичи во Флоренции. Особую славу эта Академия приобрела после того, как в ее работе активное участие принял Иоанн Аргиропул[353]. Инициатива ее создания, как и некоторых академий в других городах, исходила от Плифона, которого венецианцы называли «первым из общества платоников» [354]. В ней шел плодотворный обмен мнениями между учениками Плифона Иоанном Аргиропулом, Виссарионом, Михаилом Апостолом и их итальянскими коллегами Леонардо Бруни и Франческо Филельфо[355]. Марсилио Фичино позднее возглавил эту платоновскую Академию во Флоренции, участниками которой при нем были Анджело Полициано, Пико делла Мирандола, Франческо Кастильоне[356]. В научном кружке, образовавшемся в Риме вокруг кардинала Виссариона Никейского и постепенно переросшем в Академию Виссариона, собирались риторы, ученые, философы. Ее регулярно

---

[350] См.: Ревякина Н. В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV—XV вв. Иваново, 1993. С. 200.

[351] См.: Ревякина Н. В. Дело жизни Витторино да Фельтре, гуманиста и педагога // Итальянский гуманист и педагог Витторино да Фельтре в свидетельствах учеников и современников. М., 2007. С. 18—32.

[352] См.: Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten... S. 54.

[353] См.: Кудрявцев О. Ф. От эрудитских собраний к научным сообществам: итальянские академии XV—XVII вв. // СВ. 1985. Т. 48. С. 178.

[354] См.: Konstantinou E. Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance der 15. Jhr. // Byzantina. 1985. T. 13/2. S. 1017.

[355] См.: Hunger H. Reich der neuen Mitte... S. 386.

[356] См.: Byzantine Influence on Italian Renaissance // Dictionary of the Middle Ages... P. 1; PLP. № 30126.

посещали Георгий Тревизан, Джованни Андреа да Мессина и др.[357] В этой академии гуманисты активно занимались переводами философских трудов и сочинений Отцов Церкви, отказавшись в своей работе от схоластического догматизма и руководствуясь гуманистическим принципом контекстуального понимания переводимого текста. Со временем инициатива организации подобных интеллектуальных собраний, объединявших ценителей словесности и знаний, все чаще стала принадлежать итальянцам. Так, частную академию основали Палла Строцци[358] и Козимо Медичи[359].

На начальном этапе, при слабом знакомстве итальянцев с греческим языком, академии были центрами изучения языка и литературы, а затем стали центрами притяжения носителей гуманистических идей. Принцип учреждения итальянских академий был таким же, как в Византии. Они собирались по инициативе какого-либо ученого или политического деятеля. Но, в отличие от византийских «театров» и научных кружков, итальянские сообщества оказались более жизнеспособными: многие из них пережили своих основателей. Функционировали академии так же, как византийские «театры». Целью собраний, да и вообще *studia humanitatis*, был, как это называли византийцы, «поиск истины» в гуманистически смысле — расширение знаний как таковых, без использования схоластики. В академиях участники проводили время за чтением и комментированием текстов, диспутами на заданную тему, критическим обсуждением собственных сочинений и переводов. Обстановка носила очень демократичный характер благодаря тому, что отсутствовали какие-либо формальные нормы и правила, а, напротив, приветствовалась дискуссия, предполагавшая свободный обмен мнениями и знаниями. В этих неформализованных объединениях

---

[357] См.: PLP. № 29291, 11540; Удальцова З. В. Философские труды Виссариона Никейского...С. 82; Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance... P. 73.

[358] PLP. № 26969.

[359] См.: Кудрявцев О. Ф. Меценатство как политика и призвание: Козимо Медичи и флорентийская Платоновская академия // Культура Возрождения и власть. М., 1999. С. 38—40.

молодому поколению гуманистов прививались навыки самостоятельной творческой работы. Примечательно, что период расцвета научных собраний (первая половина XV в.)[360] пришелся на время широкой эмиграции из Византии ученых и активизации их интеллектуальных контактов с итальянскими гуманистами. Отчасти это, вероятно, можно объяснить переносом византийских форм интеллектуальной жизни на итальянскую почву. Но скорее всего это было проявлением гуманистического стиля жизни в целом, задававшего определенный стереотип поведения и соответствовавшего тем идейным основам, на которых строилось Возрождение, тем более что корни итальянского и византийского гуманизма питались общими — античными — традициями.

В свою очередь, и византийская ученая среда испытала на себе воздействие западной культуры. Знакомство с западноевропейской наукой, ускоренное переводческой деятельностью Максима Плануда и Димитрия Кидониса, привело к увлечению не только литературой, но в большей степени латинским богословием. Появление подобной альтернативы официальной религии вызвало интерес значительной части интеллектуалов к католическим догматам — интерес, переросший затем в убеждение и веру. Знаменательно, что смена вероисповедания, немыслимая прежде, не влекла за собой резкого осуждения или наказания ни со стороны правящих кругов, ни со стороны ученой среды. Подобная смена религии не была свойственна итальянским гуманистам.

Результаты интеллектуальных связей Византии и Италии многогранны и плодотворны. В среде итальянских гуманистов этого периода мы не встретим (за редким исключением) человека, который бы не учился у византийских ученых или не состоял в контакте с ними. Широкое распространение греческих штудий под руководством византийцев привело в итоге к тому, что многие гуманисты теперь могли похвастаться классическим образованием. Зна-

---

[360] Наибольшее число различных кружков и академий было как раз во Флоренции (см.: Кудрявцев О. Ф. От эрудитских собраний к научным сообществам... С. 177). И именно Флоренция была излюбленным местом посещения византийских эмигрантов.

ние греческого языка стало своеобразным атрибутом итальянской учености, тем качеством, благодаря которому человеку открывался доступ к *studia humanitatis*. Кроме того, многие черты византийской интеллектуальной среды обрели новую жизнь на итальянской почве. Византийская традиция переросла в традицию Ренессанса[361].

Важный результат постоянных контактов византийских интеллектуалов с Италией состоял в том, что их отношение к западной культуре претерпевало радикальные изменения. Происходила ломка старых стереотипов. В оценке состояния западной науки и системы преподавания византийские писатели исходили теперь уже из личного опыта. На смену скепсису пришло уважительное отношение к западным коллегам. Так, Генннадий Схоларий с глубоким почтением отзывался об итальянских учителях (οἱ τῶν Λατίνων διδάσκαλοι), которые были знакомы не только с творчеством греческих комментаторов Аристотеля, но и знали комментарии Авиценны, Аверроиса и других арабских и персидских философов[362]. Византийцы постепенно убеждались, что на Западе наука развивается семимильными шагами, в то время как у них на родине появляется все больше проблем, препятствующих этому. Уже Мануил Хрисолора заметил, что итальянцы начали проявлять много рвения в овладении греческим языком и литературой, в то время как византийцы пренебрежительно относятся к собственному культурному наследию[363]. Геннадий Схоларий сокрушался, что в Византии образование приходит в упадок, тогда как в Италии оно процветает, хотя прежде византийцы считали итальянцев варварами[364]. Но он связывал эту ситуацию с внешнеполитической обстановкой, которая вынудила ученых приостановить преподавательскую

---

[361] См.: Monfasani J. The Byzantine Rhetorical Tradition and Renaissance // Monfasani J. Byzantine Scholars in Renaissance Italy… P. 183.

[362] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912. T. 1. Επ. 16, 12—17.

[363] См.: Patrinelis C. G. An Unknown Discourse... P. 501.

[364] См.: Ζηση Θ. Γενναδιος Β' Σχολαριος: βιος — συγγραμματα — διδασκαλια. Θεσσαλονικη, 1980. Σ. 359.

деятельность в Константинополе, перенеся ее во Флоренцию. Ему вторил Иоанн Хортасмен, который в ответ на известие своего друга Димитрия Пепагомена о захвате османами Афин, где, по его мнению, только до сих пор и сохранялись античные традиции и почитались греческие авторы, горько воскликнул: «Мудрость вслед за судьбой… давно покинула Грецию и переселилась в Италию и пребывает, как мы слышали, в ее городах»[365]. Он призывал друга как можно скорей оставить опасное место и перебраться в Константинополь, хотя столица в отношении интенсивности научной жизни кажется ему лишь «вторыми Афинами»[366]. Это эмоционально-насыщенное письмо Хортасмена передает духовное состояние византийца, ставшего свидетелем гибели империи и упадка ее культуры[367]. Он скорбно констатировал, что многие современники вынуждены искать приюта за пределами отечества, так как на родине обстановка не располагает к научным занятиям. Все это приводит к тому, что, по словам Геннадия Схолария, если «прежде мы были для латинян учителями, то теперь поменялись ролями»[368].

Одним из побудительных мотивов эмиграции в XIV в. была п о б е д а в Византии п а л а м и з м а, которая заставила носителей гуманистических воззрений искать удачи и понимания в Италии[369]. Причиной же эмиграции на рубеже XIV—XV вв. была общая обстановка в империи, не располагавшая к научным штудиям, тогда как на Западе возрастал интерес к знаниям. Византийские ученые, оказавшись вдали от родины, включились в духовную жизнь Италии. Некоторые из них выполняли лишь техническую функцию передачи знаний, не сыграв существенной роли в гуманистическом движении, но многие способствовали возвращению эллинского духа на Запад и придали мощный импульс развитию гуманистической мысли.

---

[365] Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften... Ep. 44. 12—14.

[366] Ibid. Ep. 44. 24.

[367] См.: Hunger H. Byzantinischen Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels. Amsterdam, 1967. S. 290.

[368] Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ... Επ. 275. 15.

[369] См.: Beck H.-G. Humanismus und Palamismus // XII^{e} Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Belgrade ; Ochride, 1961. Rapp. 3. S. 71—72.

Обращаясь к теме интеллектуальных связей между византийскими и итальянскими учеными, мы сталкиваемся с проблемой влияния византийского гуманизма на становление и развитие гуманистической мысли в Италии. Г. М. Хартман ставит распространение греческой культуры на Западе в прямую зависимость от появления в конце XIV — начале XV в. византийских ученых в Италии[370]. Действительно, прологом итальянского гуманизма было сохранение и интеллектуальный экспорт Византией античного наследия. Те знания, что принесли с собой византийские интеллектуалы на Запад, имели важное значение для формирования гуманистических идей. Однако, констатируя воздействие византийской гуманистической традиции на развитие итальянского гуманизма, нужно быть осторожным, чтобы не впасть в одну из крайностей — превознесения значимости этого влияния или, напротив, его отрицания.

С момента появления Хрисолоры в Италии и до конца XV в. гуманисты значительно продвинулись в освоении классического наследия. Начав с изучения греческого языка, через переводы и собирание древних манускриптов они подошли к усвоению античной традиции, открыв европейскому миру культуру, которая бережно сохранялась в Византии.

Византийские интеллектуалы, один за другим покидавшие родину на протяжении всей первой половины XV в., не теряли надежды вернуться. Но, к сожалению, их отъезд на Запад оказался в действительности настоящим «исходом» (ἔξοδος)[371], не предполагавшим возвращения. Византийские эмигранты, покидая родину, уносили с собой не только знания и греческие рукописи, но и нечто гораздо более важное — греческий дух, благодаря которому даже после падения империи ее культура продолжала жить[372].

---

[370] См.: Хартман Г. М. Значение греческой культуры... С. 100.

[371] Основное значение слова ἔξοδος — «выход», т. е. движение без обратного направления (см.: Артог Ф. Возвращение Одиссея // Одиссей: человек в истории. 1997. М., 1998. С. 76).

[372] См.: Enepekides P. Der Briefwechsel des Maximos Margunios, Bischof von Kythera (1549—1602). Ein Beitrag zur Kirchen und Gelehrtengeschichte der Griechen im 16. Jahrhudert und denen Beziehungen zum Abendland // JÖB. 1951. Bd. 1. S. 14.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Обращение к истории интеллектуалов, живших на закате Византийской империи, позволяет нам насладиться последними и потому, быть может, особенно прекрасными всполохами угасающего сияния этой великой цивилизации. Контраст между подъемом в культурной жизни и упадком в других сферах общественного бытия особенно резко обозначился в вечерних сумерках, постепенно сгущающихся над Византией. Парадоксальность эпохи отразилась и в судьбах интеллектуалов, продолжавших, с одной стороны, жить в замкнутом мире элитарной культуры, сохраняя и воспроизводя лучшие традиции своих предшественников, с другой — вынужденных вместе с соотечественниками приспосабливаться к трудностям и лишениям кризисного времени, с тревогой наблюдая, как их отчизна приближается к краю пропасти.

Уникальность византийской цивилизации проявилась и в том, что до самого конца империи эрудиция оставалась там в чести, интеллектуальный труд почитался как достойнейшее занятие, а образованность открывала двери в самые заповедные места императорского дворца. Даже находясь на пороге неминуемой гибели, Византия позволяла себе роскошь богатой духовной жизни. В то время, когда, казалось, уже было не до риторов и их рафинированной культуры, в империи все так же кипели научные споры, сочинялись ученые трактаты, собирались литературные кружки, а фи-

лософы обращались с большой трибуны к благоговейно внимавшей им аудитории. Столь духовно насыщенное существование интеллектуальной среды на фоне крушения византийского мира — опыт сам по себе весьма полезный и поучительный для любых времен.

Византия обладала также уникальным опытом взаимодействия интеллектуалов и власти. Как и в предыдущие периоды византийской истории, образование играло роль социального лифта, дававшего возможность подняться на самые верхние этажи государственного здания. Попав благодаря владению риторикой и солидной образовательной подготовке в систему власти или закрепившись при дворе, интеллектуалы становились пропагандистами официального курса, проводниками идейно-политических решений, оставляя при этом за собой моральное право на критику в адрес императора[1]. С другой стороны, образованные люди, рассуждая о злободневных проблемах общества, находящегося в кризисном состоянии, обозначали насущные задачи, стоявшие перед властью, предлагали ей свои политические рецепты и советы. И хотя власть далеко не всегда реагировала на их критику и прислушивалась к их голосу, опыт подобного взаимодействия между властью, обществом и его образованной элитой был отнюдь не бесполезен.

Мир византийских интеллектуалов чутко реагировал на вызовы своего времени. Распыление интеллектуальных сил стало знамением эпохи. Нарастающее ослабление центральной власти способствовало центробежным тенденциям в культурной жизни, следствием которых было перемещение интеллектуальных сил на периферию, способствовавшее расцвету провинциальных городов и расширению географии интеллектуальных центров. Но наиболее ярко выраженной реакцией интеллектуальной среды на кризис и упадок империи стал отъезд многих ученых на Запад. Впрочем, отток носителей византийской образованности из столицы и даже их эмиграция не нарушали единства корпорации в целом.

---

[1] *Die Kaiserkritik*, по выражению Ф. Тиннефельда (см.: Tinnefeld F. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates. München, 1971).

Внутренними скрепами, удерживавшими целостность мира интеллектуалов, выступали такие формы общения, как литературные кружки, наставничество, переписка, научные диспуты, обмен дарами, в том числе и собственными сочинениями. Подобное общение обеспечивало индивиду включенность в социальную микросреду, удовлетворяло его потребность в установлении и поддержании межличностных контактов, подтверждало его сопричастность культурной жизни, участие в которой было для него важным фактором социальной самоидентификации. Мир ученых создавал своего рода интеллектуальное поле, высокое напряжение в котором поддерживалось разными формами интеллектуальных коммуникаций, плотная сеть которых и образовывала единую среду.

Отличительной особенностью византийской интеллектуальности стал такой феномен, как «ученая дружба», пронизывавший ткань человеческих взаимоотношений в среде образованной элиты. Осознание важной роли этого явления в контексте межличностного общения ученых помогает понять характер и дух интеллектуальной жизни той эпохи. Кроме того, «ученая дружба» была действенным инструментом социализации ученого, обеспечивая ему полезные связи не только в мире интеллектуалов, но и во всех других сферах, где присутствовали представители этой корпорации.

В культурном отношении византийцы продолжали эллинскую традицию образования и литературного творчества, позволявшую им гордиться великими предшественниками, чьими трудами приумножалась греческая мудрость. В литературном творчестве и интеллектуальном общении поздневизантийского времени особенно заметно проявились гуманистические тенденции. Это выражалось в активном обращении к античной образной системе, актуализации классического наследия, подражании древним образцам и использовании антикизирующей эстетики интеллектуального образа жизни, что в определенной степени способствовало развитию культурного диалога между греческим Востоком и латинским Западом.

Мир интеллектуалов, казалось, был защищен от внешних воздействий идеей собственной избранности, замкнутостью их среды и утонченным образом жизни, создававшими иллюзию стабильно-

сти и незыблемости традиции, столь почитаемой ценителями мудрости. Но высокие стены «башни из слоновой кости» не укрывали этих людей от тягот и бед. Они не могли не видеть безрадостных перемен и в культурной сфере: былая слава осталась в прошлом, а утраченное греками лидерство в этой области постепенно переходило к тем, кто в прежние времена с восхищением взирал на греческую культуру. Забвение наук в Византии выглядело особенно удручающим на фоне культурного расцвета в латинском мире. Не находя поддержки со стороны императорской власти и применения творческим способностям на родине, люди науки оказались востребованы за ее пределами.

От взора интеллектуалов не могли ускользнуть ни бедственное положение населения империи, ни тяжелая внешнеполитическая ситуация, ни политические и идейные раздоры внутри страны. Эти симптомы болезни общества и государства красноречиво свидетельствовали об упадке былого могущества. Выражаясь словами русского византиниста И. И. Соколова, Византия в последнее столетие жила «воспоминаниями прошлого, сияла отраженным светом прежнего блеска, горела огнем былого своего вдохновения»[2]. Интеллектуальная элита с болью признавала противоречие между провозглашавшейся веками политической идеей и фактическим состоянием дел в стране. С точки зрения политико-идеологической доктрины Византия считалась наследницей Римской империи, а ее уделом было господствовать над всеми народами с Божьего соизволения. Сознанию образованного византийца было крайне трудно примирить реальность турецкого присутствия на греческих землях с убеждением в собственной принадлежности к мировой империи, пребывание в унизительном положении вассала могущественного завоевателя — с традиционным презрением к варварам. Ситуация осложнялась внутренним состоянием дел, также не внушавшим интеллектуалам оптимизма. Внутренние неурядицы, вражда и политическое соперничество ослабляли императорскую власть,

---

[2] Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии. СПб., 2003. С. 13.

лишая ее возможности твердой рукой вести государственный корабль через бушующее море.

Интеллектуалы рассуждали о бедах и испытаниях, выпавших на долю их отечества, оценивали степень угроз, исходивших от врагов, выражали сомнение в собственном культурном превосходстве и даже в превосходстве православной религии. Но когда они пытались определить причины бедствий империи, то не могли найти более убедительного объяснения, чем греховность соотечественников[3].

В последнее столетие истории Византии для большинства мыслящих современников стало слишком очевидно, что фундаментальные принципы византийской идентичности поколеблены, с одной стороны, растущим могуществом молодого Османского государства, с другой — осознанием интеллектуального и экономического превосходства Запада. Спасением от мрачной реальности в какой-то степени и было бегство в закрытый мир элитарной культуры[4].

Интеллектуалы стали очевидцами постепенного угасания Византии. Осознавали ли они, что некогда великая империя клонится к закату? Понимали ли, что являются свидетелями агонии и смерти отечества? Да, они видели — не могли не видеть! — печальные перемены и отмечали признаки упадка, стараясь, однако, не допускать и мысли, что империя когда-то может погибнуть. Как заметил П. Лемерль, византийцы осознавали смертельную опасность, грозившую их стране, но не представляли себе возможности краха империи[5]. Интеллектуалы вплоть до последних дней Византии не хотели верить в то, что их родина погибает. Они, снося вместе со своими согражданами превратности рока, все же надеялись, что Провидение отведет от них гнев Божий, а богиня судьбы Тихи бу-

---

[3] См.: Шевченко И. Восприятие Византии // ΜΟΣΧΟΒΙΑ : Проблемы византийской и новогреческой филологии. М., 2001. С. 493 С. 482—483.

[4] Radošević N. Waiting for the End — the Byzantine Rhetoric of the first half of the Fifteenth Century // ЗРВИ. 2006. Т. 43. P. 67.

[5] См.: Lemerle P. La notion de décadence à propos de l'Empire byzantin // Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam : Actes du symp. intern. d'histoire de la civilisation musulmane, Bordeaux 25—29 juin 1956. P., 1957. C. 271.

дет в конце концов к ним благосклонна. В своих сочинениях писатели, говоря о действительности, отмечали приметы времени: упадок, забвение, обеднение. Преисполненные пессимизма в оценках состояния дел, они все же были убеждены, что это временное явление, что на смену трудным временам придут процветание и новый подъем. Однако тот культурный подъем, плоды которого последние из византийских интеллектуалов еще успеют вкусить при жизни и в который они внесут свою лепту, будет иметь место уже за рубежами их отечества.

Существование такого социокультурного феномена, как сообщество интеллектуалов поздней Византии, позволило сберечь достижения византийской культуры и распространить их за пределы империи. Благодаря интеллектуалам Византия сохранила свое культурное бытие даже после политической гибели. Покидая свою страну, они уносили с собой на чужбину если не саму родину, то по крайней мере плоды ее культуры, оставаясь хранителями «Византии после Византии». Их усилиями свет потухшей звезды продолжал озарять европейский небосклон и после заката империи.





СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Источники (87)

Антонио Урчео Кодро. Вступительная речь к курсу лекций по греческому языку / пер. и примеч. Н. В. Ревякиной // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 144—158.

Византийская любовная проза / пер. с гр., ст. и примеч. С. В. Поляковой. Л., 1965.

Георгий Гемист Плифон. Речи о реформах / пер. и предисл. Б. Т. Горянова // ВВ. 1953. Т. 6. С. 386—412.

Георгий Сфрандзи. Хроника / предисл., пер. и примеч. Е. Д. Джагацпанян // Кавказ и Византия. Ереван, 1987. Вып. 5. С. 156—251.

Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры / пер. с древнегр. К. И. Лобовиковой ; общ. и науч. ред. Д. А. Поспелова. Самарканд, 2009.

Димитрий Кидонис. Монодия на павших в Фессалонике / пер. М. А. Поляковской // Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов. СПб., 1998.

Из писем Гварино да Верона / пер., предисл. и примеч. М. И. Шеременды // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 170—177.

Клавихо Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406) / Руи Гонсалес де Клавихо ; пер. со староисп., предисл. и коммент. И. С. Мироковой. М, 1990.

Кристофоро Ландино. Речь на похоронах Донато Аччайуоли // Соч. итал. гуманистов эпохи Возрожения (XV в.) М., 1985. С. 205—206.

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Ксенофонт. М., 1993.

Мазарис // Византийский сатирический диалог / подгот. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской. Л., 1986.

Материалы о приглашении Мануила Хризолора во Флоренцию для преподавания греческого языка / пер., предисл. и примеч. С. В. Соловьева // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 136—142.

Медведев И. П. Константинополь в сравнении с Римом: взгляд Мануила Хрисолоры / И. П. Медведев // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С. 317—334.

Памятники византийской литературы IX—XIV вв. М., 1969.

Поджо Браччолини. Речь на похоронах Леонардо Бруни // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Саратов, 1984. Ч. 1.

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / пер. с гр., вступ. ст., коммент. А. А. Чекаловой. СПб., 2001.

Тафур П. Странствия и путешествия / П. Тафур ; пер., предисл. и коммент. Л. К. Масиеля Санчеса. М., 2006.

Acta Urbani V (1362—1370) // Pontificia commissio ad redigendum Codicem iuris Canonici orientalis / ed. A. L. Tautu. Vaticano. 1964. Fontes. Ser. 3. Vol. 11.

Ἀλέξιος Μακρεμβολίτης. Εἲς τὴν ἁγίαν Σοφίαν πεσοῦσαν ὑπὸ πολλῶν κατὰ συνέχειαν γενομένων σεισμῶν // EEBS. 1969—1970. Τ. 37. Σ. 235—240.

Alexandre C. Plethon, Traite des Lois, ou Recueil des Fragments / C. Alexandre. P., 1858.

Aus Bessarions Gelehrtenkreis. Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolis, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolo Perotti, Niccolo Capranica / ed. L. Mohler. Padeborn, 1967.

Bartholomaeus della Pugliola. Historia miscella Bononiensis / ed. L. A. Muratori. Milano, 1729. (Scriptores Rerum italicarum ; **18**).

Boissonade J. Fr. Anecdota graeca / J. Fr. Boissonade. P., 1831—1833. Vol. 3—5.

Byzantinische Geschichtsschreiber. Europa im XV. Jahrhundert von Byzantinern gesehen / hrsg. E. von Ivanka. Graz ; Wien ; Köln, 1954. Bd. 2.

Chronicon Estense / ed. L. A. Muratori. Milano, 1729. (Scriptores Rerum italicarum ; **15**).

Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae / rec. J. J. Reiskii. Bonnae, 1829—1830. Vol. 1—2.

Correspodance de Manuel Calecas / publ. R. Loenertz. Vaticano, 1950.

Cyriac of Ancona. Later travels / ed. and transl. E. W. Bodnar. L., 2003.

Darrouzès J. Lettres de 1453 / J. Darrouzès // REB. 1964. Vol. 22. P. 72—127.

Demetrii Cydonii occisorum Thessalonicae monodia // PG. Vol. 109. Col. 639—652.

Demetrii Cydonii orationes duae // Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1. P. 1—23.

Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981—2003. Bd. 1—4.

Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Studi e testi, 186, 208. Città del Vaticano, 1956. Vol. 1; 1960. Vol. 2.

Ducas. Historia Turco-Byzantina (1341—1462) / ed. V. Grecu. Bucarest, 1958.

Ducas. Historia turco-byzantina / ed. I. Bekker. Bonn, 1834.

Enepikides P. Der Briefwechsel des Mystikers Nikolaos Kabasilas / P. Enepikides // BZ. 1953. Bd. 1. H. 1. S. 18—46.

Epistolario di Guarino Veronese / ed. R. Sabbadini. 3 Vol. Venezia,1915, 1916, 1919.

«Es wäre gut für jener Menschen, wenn er nicht geboren wäre». Eine Disputation am Hof Kaiser Manuels II. über ein Jesuswort vom Verräter Judas / Einl., krit. Erst. und Übers. F. Tinnefeld // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 115—158.

Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου Ἅπαντα τὰ εὑρισκόμενα / publ. L. Petit. P., 1928. Vol. 4.

Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355—1452) / übers. und erl. W. Blum. Stuttgart, 1988.

Georgios Sphrantzes. Memorii, 1401—1477 / ed. V. Grecu. Bucarest, 1966.

Grabler F. Zwei Briefe des Manuel Chrysoloras // Europa im XV. Jahrhundert von Byzantinern gesehen / Grabler F. ; hrsg. E. Ivanka. Graz ; Wien ; Köln, 1954. S. 109—147. (Byzantinische Geschichtsschreiber ; **2**).

Hofmann G. Quelle zu Isidor von Kiew als Kardinal und Patriarch / G. Hofmann // OCP. 1952. Vol. 18. S. 142—151.

Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV / ed. L. Schopen — E. Bekker. Vol. 1—3. Bonn, 1828—1832.

Joannis Cantacuzeni Contra sectam mahometicam apologiae IV // PG. 154. P. 372—584.

Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969.

Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ Ἐγκωμιαστικὴ ἔκφρασις Κορίνθου // Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912—1923. Т. 1. Σ. 47—48.

Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ Κώμης ἔκφρασις // Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ. Αθηνα, 1912—1923. Т. 1. Σ. 49—55.

Isidore of Monemvasia (and Kiev). Letters / ed. W. Regel // Analecta Byzantino—Russica. Pg., 1891. P. 59—71.

Kaiser Manuel II. Palaiologos. Dialog über den Islam und Erziehungsratschlage / hrsg. W. Baum, übers. R. Senoner. Vienna, 2003.

La caduta di Constantinupoli / ed. A. Petrusi. Roma; Milano, 1976.

Λαμψίδες Ὀ. Ἰωάννου Εὐγενικοῦ ἔκφρασις Τραπεζοῦντος. Χρονολόγησις καὶ ἔκδοσις / Ὀ. Λαμψίδες // Αρχεῖον Πόντου. 1955. Т. 20. Σ. 26—29.

Λαμψίδες Ὀ. Ὁ “εἰς Τραπεζοῦντα” Λόγος τοῦ Βησσαρίωνος / Ὀ. Λαμψίδες // Αρχεῖον Πόντου. 1984. Т. 39. Σ. 20—72.

Λαμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακὰ / Σπ. Λαμπρος. Αθηνα, 1912—1930. Т. 1—4.

Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes / rec. E. Darkó. I—II. Budapestini, 1922—1924.

Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem / rec. I. Bekker. Bonnae, 1843.

Laonikos Chalkokondyles: a translation and Commentary of the «Demonstration of History» (Book 1—3) / ed. N. Nikoloudis. Athens, 1996.

Lettres grecques de Francois Filelfe / ed. E. Legrand. P., 1892.

Lettres inédites de Michel Apostolis / ed. H. Noiret. P., 1899.

Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον ἐν ἱστορίας τύπῳ τὰ νεωστὶ αὐτοῦ γεγονότα διηγούμενος θαύματα // Balfour D. Politico-historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. P. 39—69.

Majeska G. P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries / G. P. Majeska. Washington, 1984.

Manuelis Chrysolorae Epistolae // PG. Vol. 156. Col. 24—53.

Manuelis Palaeologi Imago veris in aulaeo textili, operis Phtygii // PG. 156. Col. 577—580.

Μανουὴλ Χρυσολορᾶ. Λόγος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ Β’ Παλαιολόγο // Εἰσαγωγὶ καὶ ἔκδοση Χ. Γ. Πατρινέλι καὶ Δ. Ζ. Σοφιανοῦ. Αθήνα, 2001.

Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his brother Theodore / ed. and transl. J. Chrysostomides. Thessalonike, 1985.

Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / introd., text and transl. A. Angelou. Wien, 1991.

Manuel Palaiologos. Dialoge mit einem Muslim / komment. griech.-deutsche Textausgabe K. Förstel. Würzburg, 1993—1995. Bd. 1—3.

Michaelis Ducae nepotism Historia byzantine / rec. I. Bekker. Bonnae, 1834.

Neuhausen K. A. Lateinische Humanistenbriefe zu Bessarions Schrift «In calumniatorem Platonis» / K. A. Neuhausen, E. Trapp // JÖB. 1979. Bd. 28. S. 141—165.

Niceforo Gregora. Fiorenzo o Intorno alla sapienza / ed. P. L. M. Leone. Neapel, 1975.

Nikephori Gregorae Historia Byzantina / ed. L. Schopen ; E. Bekker. Vols. 1—3. Bonn, 1829—1855.

Oeuvres complètes de Gennade Scholarios / ed. L. Petit, A. Siderides, M. Jugie. P., 1929. Vol. 2; 1935. Vol. 4.

Ὁ «Συμβουλευτικὸς πρὸς τοὺς Θεσσαλονίκεις» τοὺ Μανουὴλ Παλαιολόγου / ed. B. Lourdas // Μακεδονικά. 1955. Vol. 3.

Patrologiae cursus completus. Series graeca / ed. J.-P. Migne. 161 vol. P., 1857–1866.

Petavius. Dogmata theologia. Editio nova. P., 1865. T. 3.

Powell J. Two Letters of Andronicus Callistus to Demetrius Chalcocondyles / J. Powell // BNJ. 1938. Vol. 15. P. 14—20.

Pseudo-Kodines. Traite des offices / introd., texte et trad. J. Verpeaux. P., 1966.

Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565—1453 / bearb. F. Dölger. München ; Berlin, 1965. Bd. 5.

Roma parte del cielo. «Confronto tra l'Antica e la Nuova Roma» di Manuele Crisolora / introd. E.V.Maltese ; trad. e not. di G. Cortassa. Torino, 2000. P. 59—98.

Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken (Chronica Byzantina Brevoria) / P. Schreiner. Wien, 1975. 3 vol.

Συμβουλία α΄ // Balfour D. Politico-historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. P. 83—87.

The Letters of Manuel II Palaeologus / ed. G. T. Dennis. Washington, 1977.

Thiriet Cf. F. Régestes des Délibérations du sénat de Venise concernant la Romanie / Cf. F. Thiriet. P., 1958. Vol. 1.

Trapp E. Manuel II. Palaiologos. Dialog mit einem «Perser» / E. Trapp. Wien, 1966.

Vita viri clarissimi et famosissimi Kyriaci Anconitani by Francesco Scalamonti / ed. and transl. C. Mitchell, E. Bodnar. Philadelfia, 1996.

Ziegler A. W. Die restlichen vier unveröffentlichten Briefe Isidors von Kijev / A. W. Ziegler // OCP. 1952. Bd. 18. S. 135—144.

Ziegler A. W. Vier bisher nicht veröffentlichte griechische Briefe Isidors von Kijev / A. W. Ziegler // BZ. 1951. Bd. 44. S. 570—577.

Исследования (427)

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. М., 1997.

Артог Ф. Возвращение Одиссея / Ф. Артог // Одиссей: человек в истории. 1997. М., 1998. С. 71—93.

Бандиленко М. М. Византийские интеллектуалы второй половины XIV— первой половины XV вв. / М. М. Бандиленко // ВИ. 1999. № 11—12. С. 134—140.

Барвинок В. И. Никифор Влеммид и его сочинения / В. И. Барвинок. Киев, 1911.

Баткин Л . М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления / Л . М. Баткин. М., 1978.

Безобразов П. В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл / П. В. Безобразов. М., 1890.

Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура (идея культуры в работах М. М. Бахтина) / В. С. Библер // Одиссей: человек в истории. М., 1989. С. 21—59.

Бибиков М. В. Историческая литература Византии / М. В. Бибиков. СПб., 1998.

Бибиков М. В. К социально-психологическому анализу писем Григория Кипрского: бедность, бедствия, болезнь / М. В. Бибиков // ВВ. 1995. Т. 56 (81). С. 57—62.

Брагина Л. М. Становление ренессансной культуры в Италии и ее общеевропейское значение / Л. М. Брагина // История Европы. М., 1993. Т. 3. С. 455—467.

Брагина Л. М. Аргиропуло (из истории философии итальянского Возрождения) / Л. М. Брагина // СВ. 1968. Т. 31. С. 237—255.

Браунинг Р. Византийская Фессалоника: уникальный город? // ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ : к 70-летию акад. Г. Г. Литаврина / Р. Браунинг. М., 1999. С. 23—38.

Броджи-Беркоф Дж. Древнерусская и византийская эпистолография: сравнительный анализ / Дж. Броджи-Беркоф // Русь между Востоком и Западом: культура и общество, X—XVII вв. : зарубеж. и сов. исслед. М., 1991. Ч. 1. С. 278—284.

Бронштейн В. А. Георгий Трапезундский / В. А. Бронштейн // ВИ. 1995. № 9. С. 173—174.

Бычков В. В. Византийская эстетика / В. В. Бычков. М., 1977.

Васильев А. А. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя / А. А. Васильев. СПб., 1998.

Васильев А. А. Падение Византии / А. А. Васильев. Л., 1925.

Васильев А. А. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога по Западной Европе / А. А. Васильев // ЖМНП. 1912. Ч. 39. Май. С. 41—78; Июнь. С. 260—304.

Веселаго Е. Б. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила (опыт литературной характеристики) / Е. Б. Веселаго // ВВ. 1957. Т. 12. С. 203—217.

Веселаго Е. Б. Еще раз о Лаонике Халкокондиле и его историческом труде / Е. Б. Веселаго // ВВ. 1958. Т. 14. С. 190—199.

Гаген С. Я. Императорский суд и судьи палеологовской Византии (1261—1453) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С. Я. Гаген. Казань, 2007.

Гарэн Э. Проблемы итальянского гуманизма / Э. Гарэн. М., 1986.

Гергей Е. История папства / Е. Гергей. М. 1996.

Горянов Б. Т. Религиозно-полемическая литература по вопросу об отношении к латинянам в Византии XIII—XV вв. / Б. Т. Горянов // ВВ. 1956. Т. 8. С.132—142.

Греку В. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокондила / В. Греку // ВВ. 1958. Т. 13. С. 198—210.

Гукова С. Н. Школа и образование в поздней Византии / С. Н. Гукова // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 395—411.

Гуковский М. А. Итальянское Возрождение / М. А. Гуковский. М., 1961.

Дагрон Ж. Император и священник: этюд о византийском «цезарепапизме» / Ж. Дагрон. СПб., 2010.

Демин А. С. К вопросу о пейзаже в «Слово о полку Игореве» / А. С. Демин // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 143—147.

Дестунис Г. С. Опыт биографии Георгия Франдзия / Г. С. Дестунис // ЖМНП. 1893. Ч. 287. Отд. 2. С. 427—466.

Дживелегов А. К. Начало итальянского Возрождения / А. К. Дживелегов. М., 1908.

Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / Ш. Диль. М., 1947.

Дойель Л. Завещанное временем. Поиски памятников письменности / Л. Дойель. М., 1980.

Дуйчев И. С. О древнерусском переводе «Рыдания» Иоанна Евгеника / И. С. Дуйчев // ВВ. 1957. Т. 12. С. 198—202.

Еманов А. Г. Север и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII—XV вв. / А. Г. Еманов. Тюмень, 1995.

Жаворонков П. И. Гуманистические мотивы в культуре Никейской империи / П. И. Жаворонков // ВВ. 1989. Т. 50. С. 147—153.

Жаворонков П. И. Состав и эволюция высшей знати Никейской империи: элита / П. И. Жаворонков // ВО. 1991. С. 83—90.

Жаворонков П. И. Состав, социальная структура и мобильность знати в Никейской империи : (предварительные итоги) / П. И. Жаворонков // XVIII Междунар. конгр. византинистов : резюме сообщений. М., 1991. С. 1273—1274.

Живојиновиħ М. Болница краља Милутина у Цариграду / М. Живојиновиħ // ЗРВИ. 1975. Vol. 16. С. 105—115.

Закржевская О. Г. Концепция патриотизма Никифора Григоры (к вопросу о «греческом патриотизме XIV в.) / О. Г. Закржевская // АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 85—95.

Занемонец А. В. Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии / А. В. Занемонец. СПб., 2008.

Иоанн (Рахманов). Обрядник византийского двора (De cerimoniis aulae Byzantinae), как церковно-археологический источник / иеромон. Иоанн (Рахманов). М., 1895.

Ирмшер И. Трансформация идеи государственности в последний период истории Византии / И. Ирмшер // ВВ. 1976. Т. 37. С. 13—16.

История Византии. М., 1967. Т. 3.

Каждан А. П. Византийская культура (X—XII вв.) / А. П. Каждан. СПб., 1997.

Каждан А. П. Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский / А. П. Каждан // ВВ. 1967. Т. 27. С.87—106; 1968. Т. 28. С. 60—84.

Каждан А. П. Изучение истории византийской знати / А. П. Каждан // ВВ. 1973. Т. 34. С. 293—296. Рец. на кн.: *Weiss G.* Joannes

Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969.

Каждан А. П. «Корабль в бурном море». К вопросу о соотношении образной системы и исторических взглядов двух византийских писателей / А. П. Каждан // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С 3—16.

Каждан А. П. Очерки истории Византии и южных славян / А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин. СПб., 1998.

Каждан А. П. Об аристократизации византийского общества VIII—XII вв. / А. П. Каждан // ЗРВИ. 1968. Т. 11. С. 47—53.

Каждан А. Растительный мир в «Истории» Никиты Хониата / А. Каждан // АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 103—112.

Каждан А. П. Смеялись ли византийцы? (Homo Byzantinus ludens) / А. П. Каждан // Другие средние века : к 75-летию А. Я. Гуревича. М. ; СПб., 2000. С. 185—197.

Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса XI—XII вв. в Византии / А. П. Каждан. М., 1971.

Карпов С. П. История Трапезундской империи / С. П. Карпов. СПб., 2007.

Карпов С. П. Торговля зерном в Южном Причерноморье в XIII—XV вв. / С. П. Карпов // ВВ. 1989.Т. 50 (75). С. 26—35.

Карпов С. П. Трапезундский ученый Георгий Амирутци / С. П. Карпов // ВИ. 1991. № 6. С. 195—199.

Корелин М. Ранний итальянский гуманизм и его историография : крит. исслед. / М. Корелин. М., 1892.

Красавина С. К. Мировоззрение и социально-политические взгляды византийского историка Дуки / С. К. Красавина // ВВ. 1973. Т. 34. С. 97—111.

Красиков С. В. Описание Святой Горы у Никифора Григоры и ratio vivendi византийских интеллектуалов / С. В. Красиков // АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 96—121.

Кривушин И. В. Византийское образование при Палеологах / И. В. Кривушин // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 20—33.

Кудрявцев О. Ф. Меценатство как политика и призвание: Козимо Медичи и флорентийская Платоновская академия / О. Ф. Кудрявцев // Культура Возрождения и власть. М., 1999. С. 37—48.

Кудрявцев О. Ф. От эрудитских собраний к научным сообществам: итальянские академии XV—XVII вв. / О. Ф. Кудрявцев // СВ. 1985. Т. 48. С. 176—194.

Кущ Т. В. Античный след в интеллектуальной жизни Византии / Т. В. Кущ // Науч. вед. Белгород. гос. ун-та. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2012. № 1 (120), вып. 21. С. 65—70.

Кущ Т. В. Византийский θέατρον конца XIV—XV вв.: некоторые наблюдения / Т. В. Кущ // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 323—329.

Кущ Т. В. Внутридинастическая борьба в поздней Византии (по «Диалогу о браке» Мануила II Палеолога) / Т. В. Кущ // Урал. ист. вестн. 2011. № 3 (32). С. 35—40.

Кущ Т. В. В поисках союзников: три поездки Димитрия Кидониса в Италию / Т. В. Кущ // АДСВ. 2004. Вып. 35. С. 193—204.

Кущ Т. В. Дары как элемент поздневизантийского эпистолярного этикета / Т. В. Кущ // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2011. № 4 (96). С. 286—294.

Кущ Т. В. Елена Кантакузина Палеологина: портрет византийской императрицы / Т. В. Кущ // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 5— 17.

Кущ Т. В. Ирония и шутка в византийском эпистолярии / Т. В. Кущ // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2007. Вып. 13. С. 468—474.

Кущ Т. В. Латиняне в восприятии латинофилов / Т. В. Кущ // АДСВ. 2006. Вып. 37. С. 318—328.

Кущ Т. В. Латинофильство в среде византийских интеллектуалов в конце XIV — XV в. / Т. В. Кущ // Восток — Запад: межконфессиональный диалог : сб. науч. тр. Севастополь, 2003. С. 84—86.

Кущ Т. В. Матримониальный путь укрепления императорской власти: рассуждения Мануила II Палеолога о браке / Т. В. Кущ // СВ. 2012. Вып. 73 (1/2). С. 73—91.

Кущ Т. В. Образ врача в литературе позднепалеологовской Византии / Т. В. Кущ // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 246—257.

Кущ Т. В. Образ отечества в письмах Мануила II Палеолога / Т. В. Кущ // ВВ. 2005. Т. 64. С. 136—140.

Кущ Т. В. Роль интеллектуалов в придворном мире Поздней Византии / Т. В. Кущ // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2, Гуманитар. науки. 2009. № 4(66). С.238—245.

Кущ Т. В. Сакральные образы в профанной литературе (по материалам поздневизантийской эпистолографии) / Т. В. Кущ // Nomos. Kwartalnik Religioznawczy. Kraków, 2010. № 71/72. С. 147—156.

Кущ Т. В. Торговцы в оценках интеллектуала / Т. В. Кущ // Вспом. ист. дисциплины. СПб., 2007. Т. 30. С. 247—253.

Кущ Т. В. Узники башни Анема / Т. В. Кущ // IV Междунар. Византийский семинар ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: «империя» и «полис» : тез. докл. и сообщ. Севастополь, 2012. С. 24—26.

Кущ Т. В. «Черная смерть» в Византии как фактор дестабилизации общества / Т. В. Кущ // Изв. Урал. гос. ун-та. 2008. № 59. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып. 16. С. 6—17.

Кущ Т. В. Чума в поздней Византии / Т. В. Кущ // ВВ. 2008. Т. 67 (92). С. 38—56.

Кущ Т. В. Эпистолярная практика в поздней Византии / Т. В. Кущ // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 39. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып.10. С. 5—15.

Литаврин Г. Г. Дипломатия поздней Византии / Г. Г. Литаврин, И. П. Медведев // Культура Византии. М., 1991. Т. 3. С. 341—360.

Литаврин Г. Г. [Рецензия] / Г. Г. Литаврин // ВВ. 1980. Т. 41. С. 262—267. Рец. на: *Медведев И. П.* Византийский гуманизм XIV— XV вв. Л., 1976.

Лобовикова К. И. Георгий Трапезундский и Мехмед II Завоеватель / К. И. Лобовикова // ВВ. 2005. Т. 64 (89). С. 141—155.

Лозинский С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. М., 1986.

Ломизе Е. М. Варлаамизм и византийское латиномыслие. Просопографические наблюдения / Е. М. Ломизе // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 262—269.

Любарский Я. Н. Михаил Пселл: личность и творчество / Я. Н. Любарский. М., 1978.

Любарский Я. Н. Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кирулариев) / Я. Н. Любарский // ВВ. Т. 35. С. 89—102.

Малахов С. Н. Дружба и духовное родство в византийском обществе по письмам патриарха Николая Мистика / С. Н. Малахов // Докл. межвуз. науч.-теорет. конф. Петропавловск-Камчатский, 1992. С. 57—60.

Матанов Хр. Югозападните български земи през XIV век / Хр. Матанов. София, 1986.

Медведев И. П. Речь Виссариона Никейского на Мантуанском соборе о падении Константинополя / И. П. Медведев, А. К. Гаврилов // ВВ. 2004. Т. 63. С. 292—306.

Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. / И. П. Медведев. СПб., 1997.

Медведев И. П. Греческая культура конца XV — первой половины XVII в. как составная часть европейской культуры / И. П. Медведев // История Европы. М., 1993. Т. 3. С. 586—591.

Медведев И. П. Из истории Мистры / И. П. Медведев // ВВ. 1967. Т. 27. С.131—141.

Медведев И. П. К вопросу о принципах византийской дипломатии накануне падения империи / И. П. Медведев // ВВ. 1972. Т. 33. С. 129—139.

Медведев И. П. Литературные «салоны» в поздней Византии / И. П. Медведев // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 53—59.

Медведев И. П. Мистра : Очерки истории и культуры поздневизантийского города / И. П. Медведев. Л., 1973.

Медведев И. П. Падение Константинополя в греко-итальянской гуманистической публицистике XV в. / И. П. Медведев // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 293—332.

Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи / И. П. Медведев. СПб., 2001.

Медведев И. П. Ренессансные тенденции поздневизантийской культуры / И. П. Медведев // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 224—241.

Мещерский Н. А. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод / Н. А. Мещерский // ВВ. 1953. Т. 7. С. 72—86.

Миллер Т. А. Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста / Т. А. Миллер // Античность и современность. М., 1972. С. 360—369.

Монье Ф. Опыт литературной истории Италии. Кватроченто / Ф. Монье. СПб., 1904.

Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах / М. Мосс // Мосс М. Общества. Обмен. Личность : тр. по социальной антропологии. М., 1996.

Острогорский Г. История Византийского государства / Г. Острогорский. М., 2011.

Полякова С. В. Византийский сатирический диалог / С. В. Полякова // Византийский сатирический диалог / подгот. С. В. Поляковой, И. В. Феленковской. М., 1986. С. 129—165.

Полякова С. В. Из истории византийского романа (опыт интерпретации «Повести об Исмине и Исминии» Евмафия Макремволита) / С. В. Полякова. М., 1979.

Поляковская М. А. Византия: феномен некорпорированности общества / М. А. Поляковская // Екатеринбургский гуманитарий. 1999. № 1. С. 17—23.

Поляковская М. А. Димитрий Кидонис и Запад (60—е гг. XIV в.) / М. А. Поляковская // АДСВ. 1979. Вып. 16. С. 46—57.

Поляковская М. А. К характеристике византийской образованности: учителя и ученики / М. А. Поляковская // АДСВ. 1987. Вып. 23. С. 111—120.

Поляковская М. А. К характеристике средневекового ученого (значение научной дискуссии в понимании Димитрия Кидониса) / М. А. Поляковская // АДСВ. 1983. Вып. 20. С. 40—51.

Поляковская М. А. Развитие политических идей в поздней Византии / М. А. Поляковская, И. П. Медведев // Культура Византии, XIII — первая половина XV в. М., 1991. С. 255—279.

Поляковская М. А. Образ человека в византийском письме / М. А. Поляковская // XVIII Междунар. конгр. византинистов : резюме сообщений. М., 1991. С. 909—910.

Поляковская М. А. Поздневизантийская придворная элита в зеркале церемониала / М. А. Поляковская // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 226—236.

Поляковская М. А. Понимание патриотизма Димитрием Кидонисом / М. А. Поляковская // АДСВ. 1980. Вып.17. С. 45—60.

Поляковская М. А. Портреты византийских интеллектуалов / М. А. Поляковская. СПб., 1998.

Поляковская М. А. Турецкая интервенция в позднепалеологовской риторике / М. А. Поляковская // Власть, политика, право в Античности и Средневековье : сб. ст. / под ред. Е. П. Глушанина. Барнаул, 2003. С. 210—216.

Поляковская М. А. Эмоциональный мир византийца / М. А. Поляковская // АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 134—141.

Поляковская М. А. Эсхатологические представления Алексея Макремволита / М. А. Поляковская // АДСВ. 1975. Вып. 11. С. 87—98.

Попова И. Византия — Италия. Аспекти на културните взаимодействия през XIV—XV век / И. Попова. В. Търново, 2004.

Попова Т. В. Византийская эпистолография / Т. В. Попова // Византийская литература / под ред. С. С. Аверинцева. М., 1974. С. 181—230.

Попова Т. В. Классицистическая литература в эпоху Палеологов / Т. В. Попова // Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. / Л. А. Фрейберг, Т. В. Попова. М., 1978. С. 219—255.

Прохоров Г. М. Сочинения Давида Дисипата в древнерусской литературе / Г. М. Прохоров // ТОДРЛ. 1979. Т. 33. С. 32—54.

Пшизова С. Н. Флорентийский университет и развитие гуманизма в XIV—XV вв. / С. Н. Пшизова // СВ. 1993. Т. 56. С. 153—173.

Радић Р. Време Іована V Палеолога (1332—1391) / Р. Радић. Београд, 1993.

Ревякина Н. В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV—XV вв. / Н. В. Ревякина. Иваново, 1993.

Ревякина Н. В. Дело жизни Витторино да Фельтре, гуманиста и педагога / Н. В. Ревякина // Итальянский гуманист и педагог Витторино да Фельтре в свидетельствах учеников и современников. М., 2007.

Сметанин В. А. Византийское общество XIII—XV веков по данным эпистолографии / В. А. Сметанин. Свердловск, 1987.

Сметанин В. А. Восприятие общественных проблем ортодоксально-православным мыслителем (Иосиф Вриенний) / В. А. Сметанин // АДСВ. 1990. Вып. 25. С. 136—150.

Сметанин В. А. Идейное наследие Византии и «деконкретизация» (на примере эпистолографии) / В. А. Сметанин // АДСВ. 1984. Вып. 21. С. 95—108.

Сметанин В. А. Эпистолография / В. А. Сметанин. Свердловск, 1970.

Соколов И. И. Вселенские судьи в Византии / И. И. Соколов. Казань, 1915.

Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание Патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии / И. И. Соколов. СПб., 2003.

Соловьев С. В. Мануил Хризолор и гуманистический идеал образованности (конец XIV — первая половина XV века) / С. В. Соловьев // Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. Иваново, 1995. С. 34—42.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. М., 1992.

Сюзюмов М. Я. Возрождение, гуманизм и феодализм // АДСВ. 1979. Вып. 16. С. 5—22.

Сюзюмов М. Я. Некоторые проблемы исторического развития Византии и Запада / М. Я. Сюзюмов // ВВ. 1973. Т. 35. С. 3—18.

Тивчев П. Леонтий Махера как историк Кипра / П. Тивчев // ВВ. 1973. Т. 35. С. 165—180.

Удальцова З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии / З. В. Удальцова // ВВ. 1950. Т. 3. С. 106—132.

Удальцова З. В. Вклад византийской культуры в культурное развитие Европы / З. В. Удальцова // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 31—39.

Удальцова З. В. Жизнь и деятельность Виссариона Никейского / З. В. Удальцова // ВВ. 1976. Т. 37. С. 74—97.

Удальцова З. В. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула / З. В. Удальцова // ВВ. 1957. Т. 12. С. 172—197.

Удальцова З. В. Философские труды Виссариона Никейского и его гуманистическая деятельность в Италии / З. В. Удальцова // ВВ. 1973. Т. 35. С. 75—88.

Успенский Ф. И. Очерки из истории Трапезундской империи / Ф. И. Успенский. СПб., 2003.

Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей / С. Л. Утченко // ВДИ. 1972. № 4. С. 19—33.

Чекалова А. А. Сенат и сенаторская аристократия Константинополя IV — первая половина VII века / А. А. Чекалова. М., 2010.

Чекалова А. А. Сенаторская знать / А. А. Чекалова. М., 2000.

Чекалова А. А. Интеллектуалы и власть в Византии / А. А. Чекалова, М. А. Поляковская // ВО. 1996. С. 5—24.

Черноглазов Д. А. Laus epistulae acceptae: об эволюции византийского эпистолярного комплимента / Д. А. Черноглазов // ВВ. 2010. Т. 69 (94). С. 174—186.

Черноглазов А. Д. Пять писем Иоанна Цеца: автопортрет византийского интеллектуала / Д. А. Черноглазов // ВВ. 2008. Т. 67 (92). С. 152—164.

Шевченко И. Восприятие Византии / И. Шевченко // ΜΟΣΧΟΒΙΑ: Проблемы византийской и новогреческой филологии. М., 2001. С. 481—494.

Шишкин А. Ф. Из истории этических учений / А. Ф. Шишкин. М., 1959.

Шукуров Р. М. Зона контакта. Проблема межцивилизационных отношений в современной византинистике / Р. М. Шукуров // ВВ. 2000.Т. 59. С.258—267.

Фойгт Г. Возрождение классической древности или первый век гуманизма / Г. Фойгт. М., 1884. Т. 2.

Фонкич Б. Л. Иоанн Евгеник и его «Монодия на падение Константинополя» / Б. Л. Фонкич // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 1999. С. 270—292.

Хартман Г. М. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма / Г. М. Хартман // ВВ. 1959. Т. 15. С. 100—124.

Хвостова К. В. Византийская цивилизация / К. В. Хвостова // ВИ. 1995. № 5. С. 32—48.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Й. Хейзинга. М., 1988.

Aberth J. The Black Death: the Great Mortality of 1348—1350 / J. Aberth. N. Y., 2005.

Ahrweiler H. Byzance et la mer / H. Ahrweiler. P., 1966.

Alexandrescu-Dersca M. M. La champagne de Timur en Anatolie (1402) / M. M. Alexandrescu-Dersca. L., 1977.

Angelov D. Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204—1330 / D. Angelov. Cambridge, 2006.

Arnakis G. G. George Pachymeres — a Byzantine Humanist / G. G. Arnakis // GOThR. 1966—1967. Vol. 12. № 2. P. 162—168.

Atiya A. S. The Crusade in the later Middle Ages / A. S. Atiya. L., 1938.

Balard M. La Romanie Génoise (XIII — début du XVe siècle) / M. Balard. Roma ; Genova, 1978. T. 1—2.

Balfour D. Politico-historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429) / D. Balfour. Wien, 1979.

Balivet M. Romanie byzantine et pays de Rûm turc: Histoire d'un espace d'imbrication gréco-turque / M. Balivet. Istanbul, 1994.

Barker J. W. Emperor, Embassies, and Scholars. Diplomacy and the Transmission of Byzantine Humanism to Renaissance Italy / J. W. Barker // Church and Society in Late Byzantium / ed. D. G. Angelov. Michigan, 2009. P. 158 — 179.

Barker J. W. Late Byzantine Thessalonike: A Second City's Challenger and Responses / J. W. Barker // DOP. 2003. Vol. 57. P. 5—33.

Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship / J. W. Barker. N. Brunswick ; N. Jersey, 1969.

Baxandall M. Guarino, Pisanello and Chrysoloras / M. Baxandall // J. of the Warburg and Courtauld Institutes. 1965. Vol. 28. P. 183—204.

Beck H.-G. Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia / H.-G. Beck // Antike und Abendland. 1969. Bd. 15. S. 91—101.

Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend / H.-G. Beck. München, 1994.

Beck H.-G. Der byzantinische "Ministerpräsident" / H.-G. Beck // BZ. 1955. Bd. 48. S. 309—338.

Beck H.-G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur / H.-G. Beck. München, 1971.

Beck H.-G. Humanismus und Palamismus / H.-G. Beck // XII[e] Cong. Intern. des Etudes Byzantines. Belgrade ; Ochride, 1961. Rapp. 3. S. 1—20.

Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich / H.-G. Beck. München, 1959.

Beck H.-G. Reichsidee und nationale Politik im spätbyzantinischen Staat / H.-G. Beck // BZ. 1960. Bd. 53, H. 1. S. 86—94.

Beck H.-G. Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis / H.-G. Beck // Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Philosophische-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1974. Bd. 294. Abh. 4. S. 5—16.

Beldiceanu-Steinherr I. La conquête d'Andrinople par les Turcs: la pénétration turque en Thrace et la valeur des chroniques ottomanes / I. Beldiceanu-Steinherr // TM. 1965. Vol. 1. P. 439—461.

Bernardinello S. La Grammatica di Manuele Caleca / S. Bernardinello // XII[e] Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 51—56.

Beyer H.-V. Der «heilige Berg» in byzantinischen Literatur / H.-V. Beyer // JÖB. 1981. Bd. 30. S. 171—205.

Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. München, 1974. Bd. 1.

Blanchet M.-H. Georges Gennadios Scholarios (vers 1400 — vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à la disparition de l'empire byzantine / M.-H. Blanchet. P., 2008.

Blum W. Einleitung / W. Blum // Georgios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355—1452) / übers. und erl. von W. Blum. Stuttgart, 1988.

Browning R. Byzantine Scholarship / R. Browning // Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. P. 3—20.

Browning R. Byzantinische Schulen und Schulmeister / R. Browning // Das Altertum. 1963. Bd. 9, H. 2. S.105—118.

Browning R. Homer in Byzantium / R. Browning // Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. 17. P. 15—33.

Cammelli G. I dotti bizantini e le origini dell'Umanesimo, I. Manuele Crisolora / G. Cammelli. Firenze, 1941.

Charanis P. The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370—1402 / P. Charanis // Byz. 1942—1943. Vol. 16. P. 286—314.

Chrysostomides J. The Byzantine Empire from the Eleventh to the Fifteenth Century / J. Chrysostomides // The Cambridge History of Turkey. Vol. 1 : Byzantium to Turkey, 1071—1453 / ed. by K. Fleet. Cambridge, 2009. P. 6—50.

Ciccolella F. Donati Graeci: learning Greek in the Renaissance / F. Ciccolella. Leiden ; Boston, 2008.

Coulton G. G. The Medieval Panorama / G. G. Coulton. Cambridge, 1955.

Constantinides C. N. Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204 — ca. 1310) / C. N. Constantinides. Nicosia, 1982.

Dąbrowska M. Ought one to marry? Manuel II Palaiologos' point of view / M. Dąbrowska // BMGS. 2007. Vol. 31, № 2. P. 146—156.

Dagron G. Manuel Chrysoloras: Constantinopel ou Rome / G. Dagron // BF. 1987. Bd. 12. P. 281—288.

Dagron G. Empereur et prêtre: étude sur le «césaropapisme» byzantin / G. Dagron. P., 1996.

Darrouzes J. La date la mort d'André Chrysobergès O.P., archevêque de Nicosie et légat apostolique en Chypre / J. Darrouzes // Darrouzes J. Litterature et histoire des textes byzantins. L., 1972. **19**. P. 301—305.

Davis J. Manuel II Palaeologus' A Depiction of Spring in a Dyed, Woven Hanging / J. Davis // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 411—421.

Denifle H. Die Universitäten des Mittelalters bis 1400 / H. Denifle. Berlin, 1885. Bd. 1—2.

Dennis G. T. The Byzantine-Turkish Treaty of 1403 / G. T. Dennis // OCP. 1967. Fasc. 1. P. 72—88.

Dennis G. T. Defenders of the Christian People: Holy War in Byzantium / G. T. Dennis // The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World / ed. A. Laiou, P. Mottahedeh. Washington, 2001. P. 31—39.

Dennis G. T. Demetrios Kydones and Venice / G. T. Dennis // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 495—502.

Dennis G. T. Imperial Panegyric: Rhetoric and Reality / G. T. Dennis // Byzantine Court Culture from 829 to 1204 / ed. H. Maguire. Washington, 1997. P. 131—140.

Dennis G. T. John VII Palaiologos: «A Holy and just Man» / G. T. Dennis // Βυζαντίο κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νικου Οικονομίδη. Αθήνα, 2003. P. 205—217.

Dennis G. T. The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike / G. T. Dennis // DOP. 2003. Vol. 57. P. 255—264.

Dennis G. T. The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382—1387 / G. T. Dennis. Roma, 1960.

Dennis G. T. The Second Turkish Capture of Thessalonica 1391, 1394 or 1430? / G. T. Dennis // BZ. 1964. Bd. 57, H. 1. P. 53—61.

Dennis G. T. An Unknown Byzantine Emperor, Andronicus V Palaeologus / G. T. Dennis // JÖB. 1967. Bd. 16. S. 175—187.

Dennis G. T. Reality in the Letters of Demetius Cydones / G. T. Dennis // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 401—410.

Dictionary of the Middle Ages. N. Y., 1986.Vol. 7.

Dieten J.-L. van. Politische Ideologie und Niedergang im Byzanz der Palaiologen / J.-L. van Dieten // Zeitschrift für historische Forschung. 1979. Bd. 6, H. 1. S. 1—35.

Ditten H. Βάρβαροι, Ἕλληνες und Ῥομαῖοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern / H. Ditten // Actes du XII^e Congr. intern. d' études Byzantines. Beograd, 1964. T. 2. S. 273—299.

Dölger F. Johannes VII., Kaiser der Rhomäer / F. Dölger // BZ. 1931. Bd. 31. S. 21—36.

Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches / F. Dölger. München ; Berlin, 1965. T. 5.

Dölger F. Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz / F. Dölger // JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 3—18.

Dölger F. Zum Aufstand des Andronikos IV. gegen seinen Vater Johannes V. im Mai 1373 / F. Dölger // REB. 1961. T. 19. P. 328—332.

Enepekides P. Der Briefwechsel des Maximos Margunios, Bischof von Kythera (1549—1602). Ein Beitrag zur Kirchen und Gelehrtengeschichte der Griechen im 16. Jahrhudert und denen Beziehungen zum Abendland / P. Enepekides // JÖB. 1951. Bd. 1. S. 13—66.

Eubel C. Hierarchia catolica medii aevi / C. Eubel. Munster, 1914. Vol. 2.

Eszer A. K. Das abenteuerliche Leben des Johannes Laskaris Kalopheros. Forschungen zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen im XIV. Jh. / A. K. Eszer. Wiesbaden, 1969.

Fatouros G. Bessarion und Libanios. Ein typischer Fall byzantinischer Mimesis / G. Fatouros // JÖB. 1999. Bd. 49. S. 191—204.

Fenster E. Laudes Constantinopolitanae / E. Fenster. München, 1968. (Miscellanea Byzantina Monacensia ; **9**).

Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter / F. Fuchs. Leipzig ; Berlin, 1926.

Ganchou Th. Dèmètrios Kydônès, les frères Chrysobergès et la Crète (1397—1401). De nouveaux documents / Th. Ganchou // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 435—493.

Ganchou Th. Ilario Doria, le gambros génois de Manuel II Palaiologos: beau-frère ou gendre? / Th. Ganchou // REB. 2008. T. 66. P. 71—88.

Ganchou Th. Les ultimae voluntates de Manuel et Iôannès Chrysolôras et le séjour de Francesco Filelfo à Constantinople / Th. Ganchou // Byzantinistica. Spoleto, 2005. Vol. 7. P. 195—285.

Geanakoplos D. J. Constantinople and the West : Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches / D. J. Geanakoplos. Wisconsin, 1989.

Geanakoplos D. J. Greek Scholars in Venice / D. J. Geanakoplos. Cambridge ; Mass., 1960.

Geanakoplos D. J. Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330—1600) / D. J. Geanakoplos. N. Haven ; London, 1976.

Glycofrydi-Leontisini A. Demetrius Cudones as a Translator of Latin Texts / A. Glycofrydi-Leontisini // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 175—185.

Graecogermania. Griechische Studien deutschen Humanisten. Die Editiontдtigkeit der Griechen in der Italienischen Renaissance (1463—1523) / ed. D. Harflinger. Hannover, 1989.

Grecu V. Kritobulos aus Imbros / V. Grecu // BS. 1957. Vol. 18. S. 1—17.

Grecu V. Georgios Sphrantzes / V. Grecu // BS. 1965. Vol. 26/1. S. 62—65.

Hale J. The Civilization of Europe in the Renaissance / J. Hale. L., 2005.

Halecki O. Un empereur de Byzance à Rome. Vingt ans travail pour l'union des églises et pour défense de l'empire d'Orient. 1355—1373 / O. Halecki. Warszawa, 1930. (Travaux historiques de la société des sciences et des lettres de Varsovie ; **8**).

Harris J. Greek Emigres in the West 1400—1520 / J. Harris. Camberley, 1995.

Hartmann G. M. Die Bedeutung des Griechentums für die Entwicklung des italienischen Humanismus / G. M. Hartmann // Probleme der neugriechischen Literatur. Berlin, 1960. Bd. 2. S. 3—36.

Hatlie P. Redeeming Byzantine Epistolography / P. Hatlie // BMGS. 1996. Vol. 20. P. 213—248.

Hatlie P. Life and Artistry in the Publication of Demetrios Kydones' Letter Collection / P. Hatlie // GRBS. 1996. Vol. 37, №. 4. P. 75—102.

Haynes A. Manuel Chrysoloras — a Byzantine Scholars / A. Haynes // History today. 1977. Vol. 27. P. 297—305.

Hinterberger M. Tränen in der byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte der Emotionen / M. Hinterberger // JÖB. 2006. Bd. 56. S. 27—51.

Hofmann G. Quellen zu Isidor von Kiew als Kardinal und Patriarch / G. Hofmann // OCP. 1952. Vol. 18. S. 142—151.

Homeyer H. Zur Synkrisis des Manuel Chrysoloras, einem Vergleich zwischen Rom und Konstantinopel. Ein Beitrag zum italienischen Frühhumanismus / H. Homeyer // Klio. 1980. Vol. 62/2. S. 525—534.

Hunger H. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz / H. Hunger // Ösrerreichische Akademie der Wissenschaft. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1972. Bd. 277. Abh. 3. S. 3—27.

Hunger H. Aus den letzten Lebensjahren des Johannes Chortasmenos. Das Synaxarion im Cod. Christ Church Gr. 56 / H. Hunger // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 159—218.

Hunger H. Byzantinischen Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels / H. Hunger. Amsterdam, 1967.

Hunger H. Byzanz — eine Gesellschaft mit zwei Gesichtern / H. Hunger // Historisk-filosofiske Meddelelser. Kobenhavn, 1984. Bd. 51/2. S. 3—35.

Hunger H. Der Ethikos des Theodoros Metochites / H. Hunger // Ἑλληνικά: παράρτημα. 1957. T. 9. S. 146—151.

Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner / H. Hunger. München, 1978. Bd. 1—2.

Hunger H. Johannes Chortasmenos, Persönlichkeit und Werk / H. Hunger // Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schriften / publ. H. Hunger. Wien, 1969. P. 11—48.

Hunger H. Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts / H. Hunger // XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 83—95.

Hunger H. Laudes Thessalonicenses / H. Hunger // Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἑορταστικὸς Τόμος, 50 χρόνια 1939—1989. Θεσσαλονική, 1992. Σ. 99—113.

Hunger H. On the Imitation (μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature / H. Hunger // DOP. 1969—1970. Vol. 23/24. P. 15—38.

Hunger H. Phänomen Byzanz — aus europäischer Sicht / H. Hunger. München, 1984.

Hunger H. Prooimion: Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden / H. Hunger. Wien, 1964.

Hunger H. Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur / H. Hunger. Graz ; Wien ; Köln, 1965.

Hunger H. Spätbyzantinische Bildbeschreibung der Geburt Christi / H. Hunger // JÖBG. 1958. Bd. 7. S. 125—140.

Hunger H. Thukydides bei Johannes Kantakuzenos. Beobachtungen zur Mimesis / H. Hunger // JÖB. 1976. Bd. 22. S. 181—193.

Imber C. The Ottoman Empire, 1300—1650: the Structure of Power / C. Imber. Hampshire, 2002.

Iorga N. Byzance après Byzance. Continuation de l’Histoire de la vie Byzantine / N. Iorga. Bucarest, 1935.

Irmscher J. Γεώργιος Γ. Πλήθων. Δάσκαλος τῶν Ἑλλήνων καὶ δάσκαλος τῆς δύσης / J. Irmscher // Βυζαντιναι Μελέται. 1991. T. 3. Σ. 66—75.

Irmscher J. Georgios von Trapezunt als griechischer Patriot / J. Irmscher // Actes du XII[e] Congr. intern. d’ études Byzantines. Beograd, 1964. Vol. 2. S. 353—363.

Irmscher J. Griechischer Patriotismus im 14. Jahrhundert / J. Irmscher // XIV[e] Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. S. 26.

Irmscher J. Nikäa als «Zentrum des griechischen Patriotismus» / J. Irmscher // RESEE. 1970. T. 8, № 1. S. 33—47.

Ivanka E. Der Fall Konstantinopels und das byzantinische Geschichtsdenken / E. Ivanka // JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 19—34.

Kahlmeyer J. Seesturm und Stiffbruch als Bild im antiken Schriftum / J. Kahlmeyer. Hildesheim, 1934.

Kapetanaki S. An Unpublished Supplication on Barren Olive-Trees by Macarius Macres / S. Kapetanaki // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate, 2003. P. 457—460.

Karla G. A. Rhetorische Kommunikation in den Kaiserreden des 12. Jhs.: Der Kontakt zum Publikum / G. A. Karla // JÖB. 2007. Bd. 57. S. 83—93.

Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du X[e] siècle analysés et commentés / G. Karlsson. Uppsala, 1962.

Karpozilos A. Realia in Byzantine Epistolography XIII—XV Centuries / A. Karpozilos // BZ. 1995. Bd. 88, H. 1. P. 68—84.

Karpozilos A. Thomas Aquinas and the Byzantine East / A. Karpozilos // EkklPhar. 1970. Vol. 52. P. 133—143.

Kazhdan A. P. Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries / A. P. Kazhdan, A. W. Epstein. Berkeley ; Los Angeles ; London, 1985.

Kazhdan A. Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte / A. Kazhdan // JÖB. 1979. Bd. 28. S. 1—21.

Kazhdan A. People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies / A. P. Kazhdan, G. Constable. Washington, 1982.

Kazhdan A. The Fate of the Intellectual in Byzantium : a Propos of Society and Intellectual Life in Late Byzantium by I. Ševčenko. L., 1981 / A. P. Kazhdan // GOThR. 1982. Vol. 27, № 1. P. 83—97.

Kazhdan A. Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelfth Century / A. P. Kazhdan // The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World / ed. A. Laiou, P. Mottahedeh ; Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Washington, 2001. P. 83—100.

Khoury A.T. Polémique byzantine contre l'Islam / A.T. Khoury. Leiden, 1972.

Kianka F. Demetrios Kydones and Italy / F. Kianka // DOP. 1995. Vol. 49. P. 99—110.

Kianka F. Demetios Cydones and Thomas Aquinas / F. Kianka // Byz. 1982. Vol. 52. P. 264—284.

Kianka F. Demetrios Cydones (ca. 1324 — ca. 1397): Intellectual and Diplomatic Relations between Byzantium and the West in the Fourteenth Century / F. Kianka. N. Y., 1981.

Kianka F. The Letters of Demetrios Kydones to Empress Helena Kantakouzene Palaiologina / F. Kianka // DOP. 1992. Vol. 46. P. 155—164.

Kiel M. The incorporation of the Balkans into the Ottoman Empire, 1353—1453 / M. Kiel // The Cambridge History of Turkey. Vol. 1 : Byzantium to Turkey, 1071—1453 / ed. K. Fleet. Cambridge, 2009. P. 138—191.

Kiousopoulu T. Emperor or Manager: Power and Political Ideology in Byzantium before 1453 / T. Kiousopoulu ; transl. with a pref. P. Magdalino. Geneva, 2011.

Kioussopoulou A. La ville chez Manuel Chrysoloras: Σύγκρισις Παλαιᾶς καὶ Νέας Ῥώμης / A. Kioussopoulou // BS. 1998. T. 49, № 1. P. 71—79.

Klette Th. Beiträge Geschichte und Literatur der Italienischen Gelehrtenrenaissance / Th. Klette. N. Y., 1970.

Koder J. Latinoi — the Image of the other according to Greek sources / J. Koder // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 25—39.

Konstantinou E. Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance der 15. Jhr. / E. Konstantinou // Byzantina. 1985. T. 13/2. S. 1005—1017.

Koskenniemi H. Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. / H. Koskenniemi. Helsinki, 1956.

Kristeller P. O. Humanismus und Renaissance. Die antiken und mittelalterlichen Quellen / P. O. Kristeller. München, 1973. Bd. 1/2.

Kristeller P. O. The Renaissance and Byzantine Learning / P. O. Kristeller // Kristeller P. O. Renaissance Concepts of Man and other Essays. N. Y. ; Evanston ; S. Francisco ; London, 1972.

Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zu Ende des oströmischen Reiches (527—1453) / K. Krumbacher. München, 1897.

Kuruses St. J. Αἱ ἀντιλήψεις περὶ τῶν ἐσχάτων τοῦ κόσμου καὶ ἡ κατὰ τὸ ἔτος 1346 πτῶσις τοῦ τρούλλου τῆς ἁγίας Σοφίας / St. J. Kuruses // ΕΕΒΣ. 1969—1970. Τ. 37. Σ. 211—234.

Kushch T. V. Die byzantinische Wissenschaft im 15. Jahrhundert in Abschätzungen der Zeitgenossen // XXe Congr. intern. des études byzantines. P., 2001.Vol. 3. P. 87.

Kushch T. V. Gifting as an Attribute of the Late Byzantine Epistolary Etiquette / T. V. Kushch // Proc. of the 22st Intern. Congr. of Byzantine Studies (Sofia, 22—27 August, 2011). Vol. 3 : Abstracts of Free Communications. Sofia, 2011. P. 150.

Kushch T. V. The Natural World in late Byzantine Epistolography / T. V. Kushch // Proc. of the 21st Intern. Congr. of Byzantine Studies : Abstracts of Communications. L., 2006. Vol. 3. P. 103.

Kushch T. V. The Beauty of the City in late Byzantine Rhetoric / T. V. Kushch // Byzanz — Das Römerreich im Mittelalter. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Bd. 84,1 / hrsg. F. Daim, J. Drauschke. Mainz, 2010. T. 1 : Welt der Ideen, Welt der Dinge. P. 173—181.

Labowsky L. Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana / L. Labowsky. Rome, 1979.

Labowsky L. Manuscripts from Bessarion's Library / L. Labowsky // Medieval and Renaissance Studies. 1961. Vol. 5. P. 108—131.

Laiou A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of Arrested Development / A. Laiou // Viator. 1973. Vol. 4. P. 131—151.

Laiou A. The Greek Merchant of the Palaeologan Period: a Collective Portrait / A. Laiou // Proceedings of the Academy of Athens. Athens, 1982. P. 96—124.

Le monde byzantine. T. 3 : Byzance et ses voisins 1204—1453 / dir. de A. Laiou et S. Morrisson. P., 2011.

Λαϊου Α. Στο Βυζαντιο των Παλαιολογων: οικονομικά και πολιτικά φαινόμενα / Α. Λαϊου // Ανατυπο απο το Ευφροσυνον αφιερώμα στον Μ. Χατζηδακη. Αθήνα, 1991. Σ. 283—296.

Lalande D. Jean II le Meingre. dit Boucicaut (1366—1421). Étude d'une biographie héroïque / D. Lalande. Genève, 1988.

Laourdas B. Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine Society / B. Laourdas // Κληρονομία. Θεσσαλονική, 1970. Σ. 273—292.

Lampsides U. Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt / U. Lampsides // BZ. 1935. Bd. 35. 15—17.

Lampros Sp. Das Testament des Neilos Damilas / Sp. Lampros // BZ. 1895. Bd. 4. S. 585.

Lemerle P. La notion de décadence à propos de l'Empire byzantin / P. Lemerle // Classicisme et déclin culturel dans l'histoire de l'Islam : actes du sympos. intern. d'histoire de la civilisation musulmane, Bordeaux, 25—29 juin 1956. P., 1957. P. 263—277.

Leontiades I. G. Gelehrtenkreise im Thessaloniki der Palaiologenzeit / I. G. Leontiades // Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἑορταστικὸς Τόμος, 50 χρόνια 1939—1989. Θεσσαλονική, 1992. Σ. 245—255.

Levi P. The journeys of Cyriac of Ancona / P. Levi // Classical review. 1980. Vol. 30, № 1. P. 126—132.

Lexikon des Mittellalter. München, 1988.

Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. München, 1974.

Lexikon des Mittelalters. München ; Zürich, 1977.

Littlewood A. R. The Byzantine Letter of Consolation in Macedonian and Comnean Periods / A. R. Littlewood // DOP. 1999. Vol. 53. P. 19—41.

Loenertz R.-J. Démétrius Cydonès, citoyen de Venise / R.-J. Loenertz // EO. 1938. Vol. 37. P. 125—126.

Loenertz R.-J. Jean V Paléologue à Venise (1370—1371) / R.-J. Loenertz // REB. 1958. Vol. 16. C. 217—230.

Loenertz R. La première insurrection d'Andronic IV Paléologue, 1373 / R.. Loenertz // EO. 1939. Vol. 38. P. 342—345

Loenertz R. La société des frères pérégrinants. Étude sur l'Orient Dominicain / R. Loenertz. Rome, 1937.

Loenertz R.-J. Pour la biographie du cardinal Bessarion / R.-J. Loenertz // OCP. 1944. Vol. 10. P. 116—149.

Lovejoy A. O. The Great Chain of Being : a Study of the History of an Idea / A. O. Lovejoy. N. Y., 1936.

Ljubarskij Ja. The Byzantine Irony — the Case of Michael Psellos / Ja. Ljubarskij // Βυζαντίο κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νικου Οικονομίδη. Αθήνα, 2003. P. 350—360.

Ljubarskij Ja. The Fall of an Intellectual: the Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium / Ja. Ljubarskij // Byzantine Studies. Essays on the Slavic World and the Eleventh Century. N. Rochelle; N. Y., 1992. P.175—182.

Malamut E. De 1299 à 1451 au cœur des ambassades byzantines / E. Malamut // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo) : Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000 / ed. Ch. A. Maltezou, P. Schreiner. Venezia, 2002. P. 79—124.

Mango C. Byzantine Literature as a Distorting Mirror / C. Mango // Mango C. Byzantium and its Image. L., 1984. P. 3—18.

Marrou H. I. A History of Education in Antiquity / H. I. Marrou. N. Y., 1956.

Masai Fr. Le probleme des influences byzantines sur le platonisme Italien de la Renaissance / Fr. Masai // Bulletin de l'Association Guillaume Bude. janvier 1954. P. 82—90.

Matschke K.-P. Gesellschaft und Krankheit: Bewohner und Besucher Konstantinopels während und nach der Pest von 1436 / K.-P. Matschke // BB. 1998. T. 55 (80). C. 48–53.

Matschke K.-P. The Late Byzantine Urban Economy, 13—15th Centuries / K.-P. Matschke // The Economic History of Byzantium: From the Seventh through Fifteenth Century / ed. A. Laiou. Washington, 2002. P. 463—495.

Matschke K.-P. The Notaras Family and its Italian Connections / K.-P. Matschke // DOP. 1995. Vol. 49. P. 59—72.

Matschke K.-P. Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz. Studien zur spätbyzantinischen Geschichte zwischen 1402 und 1422 / K.-P. Matschke. Weimar, 1981.

Matschke K.-P. Die spätbyzantinische Öffentlichtkeit / K.-P. Matschke / Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter. Beitrag zur Mentalitätsgeschichte. Gedenken für E. Werner / ed. S. Tanz. Frankfurt a/M, 1993. Bd. 2. S. 155—223.

Matschke K.-P. Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen und Lebensformen / K.-P. Matschke, F. Tinnefeld. Köln ; Weimar ; Wien, 2001.

Medvedev I. P. The so-called θέατρα as a Form of Communication of the Byzantine Intellectuals in the 14th and 15th Centuries / I. P. Medvedev // Ἡ ἐπικοινωμία στὸ Βυζάντιο. Αθήνα, 1993. P. 227—235.

Mergiali-Shas S. A Byzantine Ambassador to the West and his Office during the Fourteenth and Fifteenth Centuries: a Profile / S. Mergiali-Shas // BZ. 2001. Bd. 94, H. 2. P. 588—604.

Mergiali S. L'Enseignement et les Lettrés pendant l'époque des Paléologues (1261—1453) / S. Mergiali. Athena, 1996.

Mercati G. Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleka e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della teologia e della letteratura bizantina del secolo XIV : studi e testi, 56 / G. Mercati. Città del Vaticano, 1931.

Mešanović S. John VII Palaiologos in Thessalonica / S. Mešanović // Βυζαντινὸς Δομός. Περιοδικὸ Μεσαινικῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ. 1995—1997. Vol. 8—9. P. 75—92.

Meuthen E. Zum Itinerar der deutschen Legation Bessarions (1460—1461) / E. Meuthen // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 1957. Bd. 37. S. 282—333.

Meyendorff J. Byzantine Views of Islam / J. Meyendorff // DOP. 1964. T. 18. P. 113—132.

Meyendorff J. Society and Culture in the Fourteenth Century: Religious Problem / J. Meyendorff // XIIe Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 51—65.

Miller T. S. The Plague in John VI Cantacuzenos and Thucydides / T. S. Miller // GRBS. 1976. Vol. 17. P. 385—395.

Mohler L. Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann / L. Mohler. Padeborn, 1967. Bd. 1/2.

Mohler L. Theodor Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefen / L. Mohler // BZ. 1943. Bd. 42. S. 50—75.

Mondrain B. Jean Argyropoulos professeur à Constantinople et ses auditeurs médecins, d'Andronic Éparque à Démétrios Angelos / B. Mondrain //

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ : Miscellanea für P. Schreiner zu seinem 60. Geburtstag / hgrs. C. Scholz, G. Makris. München ; Leipzig, 2000. P. 223—250.

Monfasani J. Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other Emigres / J. Monfasani. L., 1995.

Monfasani J. Greek Renaissance Migrations / J. Monfasani // Monfasani J. Greeks and Latins in Renaissance Italy : studies on Humanism and Philosophy in the 15th Century. Aldershot, 2004. P. 1—14.

Moravcsik G. Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker / G. Moravcsik. Berlin, 1958. Bd. 1/2.

Mullett M. Aristocracy and Patronage in the Literary Circles of Comnenian Constantinople / M. Mullett // The Byzantine Aristocracy to the IX—XIII Centuries / ed. M. Angold. L., 1984. P. 173—200.

Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late Empire / N. Necipoğlu. Cambridge, 2009.

Nelson R. S. The Italian Appreciation and Appropriation of Illuminated Byzantine Manuscripts, ca. 1200—1450 / R. S. Nelson // DOP. 1995. Vol. 49. P. 209—235.

Νεπαντζη-Βαρμαζη Β. Βυζαντινη Θεσσαλονικη εγκωμια της πολης / Β. Νεπαντζη-Βαρμαζη. Θεσσαλονικη, 2005.

Nicol D. The Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100—1460. A Genealogical and Prosopographical Study / D. Nicol. Washington, 1968.

Nicol D. The Last Centuries of Byzantium 1261—1453 / D. Nicol. Cambridge, 1993.

Nicol D. M. Thessalonica as a Cultural Centre in the Fourteenth Century / D. M. Nicol // Ἡ Θεσσαλονίκη μεταξὺ Ἀνατολῆς και Δύσεως. Πρακτικὰ Συμποσίου τεσσαρακονταετηρίδος τῆν Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Θεσσαλονίκη, 1982. P. 121—131.

Norwich J. J. Byzantium: the Decline and Fall / J. J. Norwich. L., 1995.

Oehler K. Aristotle in Byzantium / K. Oehler // GRBS. 1964. Vol. 5, № 2. P. 142—149.

Oikonomides N. Byzantine diplomacy, A.D. 1204—1453 : Means and Ends / N. Oikonomides // Byzantine Diplomacy. Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies. Cambridge 1990 / ed. J. Shepard and S. Franklin. Hampshire, 1992. P. 73—88.

Ostrogorsky G. Observations on the Aristocracy in Byzantium / G. Ostrogorsky // DOP. 1971. Vol. 25. P. 3—32.

The Oxford Dictionary of Byzantium. 3 Vol. N. Y. ; Oxford, 1991.

Πανκοσμίο Βιογραφίκο Λεξίκο. Αθηνα, 1985.

Papadopulos S. Thomas in Byzanz. Thomas—Rezeption und Thomas—Kritik in Byzanz zwischen 1354 und 1453 / S. Papadopulos // Theologie und Philosophie. 1974. Bd. 49. S. 274—304.

Papadopulos A.Th. Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259—1452 / A.Th. Papadopulos. Amsterdam, 1962.

Patrinelis C. G. An Unknown Discourse of Chrysoloras addressed to Manuel II Palaeologus / C. G. Patrinelis // GRBS. 1972. Vol. 13. P. 497—502.

Philippidis-Braat A. La captivité de chez les Turcs: dossier et commentair / A. Philippidis-Braat // TM. 1979. T. 7. P. 136—166.

Podskalsky G. Theologie und Philosophie in Byzanz / G. Podskalsky. München, 1977.

Polemis D. The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography / D. Polemis. L., 1968.

Poljakovskaja M. A. Freisinn oder Angst? Die moralischen Dominanten zweier Korporationsgruppen der byzantinischen Gesellschaft / M. A. Poljakovskaja // Byzantium: Identity, Image, Influence : Abstracts : XIX Intern. Congr. of Byzantine Studies. Copenhagen, 1996. S. 7621.

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976—1994. Fasz. 1—12.

Radošević N. Waiting for the End — the Byzantine Rhetoric of the First Half of the Fifteenth Century / N. Radošević // ЗРВИ. 2006. Т. 43. P. 66—70.

Reinert S. Manuel II Palaeologos and His Müderris / S. Reinert // The Twilights of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Impire / ed. S. Ćutčić, D. Mouriki. Princenton ; N. Jersey, 1991. P. 39—51.

Reinert S. W. Political Dimensions of Manuel II Palaiologos' 1392 Marriage and Coronation. Some New Evidence / S. W. Reinert // Novum millennium: Studies on Byzantine History and Culture dedicated to P. Speck / ed. C. Sode, S. A. Takács. Ashgate, 2001. P. 291—303.

Rhoby A. Stadtlob und Stadtkritik in der byzantinischen Literatur / A. Rhoby // Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. Geburtstag / hrsg. M. Hinterberger, E. Schiffer. Berlin ; N. Y., 2007. S. 277—295. (Byzantinisches Archiv ; Bd. 20).

Runciman S. The Last Byzantine Renaissance / S. Runciman. Cambridge, 1970.

Runcimen S. Lukas Notaras, «γαμβρός τοῦ βασιλέος» / S. Runcimen. Heidelberg, 1966.

Russel N. Palamism and the Circle of Demetrius Cydones / N. Russel // Porphyrogenita. Essays on the the History and Literature of Byzantium and Latin East in Honor of Julian Chrysostomides. Ashgate. 2003. P. 153—174.

Ryder J. The Career and Writings of Demetrius Kydones. A Study of Fourteenth-Century Byzantine Politics, Religion and Society / J. Ryder. Leiden ; Boston, 2010.

Saradi H. The kallos of the Byzantine city: the development of a rhetorical topos and historical reality / H. Saradi // Gesta. 1995. Vol. 34/1. P. 37—56.

Schamiloglu U. Preliminary Remarks on the Role of Disease in the History of the Golden Horde / U. Schamiloglu // Central Asian Survey. 1993. № 12. P. 447—457.

Schmitt O. J. Kaiserrede und Zeitgeschichte im späten Byzanz: Ein Panegyrikos Isidor von Kiev aus dem Jahre 1429 / O. J. Schmitt // JÖB. 1998. Bd. 48. S. 209—242.

Schreiner P. Hochzeit und Krönung Kaiser Manuels II. im Jahre 1392 / P. Schreiner // BZ. 1967. Bd. 60. H. 1. S. 70—85.

Schreiner P. Zum Tod des Johannes Chortasmenos / P. Schreiner // JÖB. 1995. Bd. 45. S. 219—221.

Setton K. V. The Byzantine Background to the Italian Renaissance / K. V. Setton // Proc. of the American Philosophical Society. Philadelphia, 1956. Vol. 100, № 1. P. 3—76.

Ševčenko I. The Decline of Byzantium Seen through the Eyes of its Intellectuals / I. Ševčenko // DOP. 1961. Vol. 15. P. 169—186.

Ševčenko I. Renaissances before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages / I. Ševčenko. California, 1984.

Ševčenko I. Society and Intellectual Life in Late Byzantium / I. Ševčenko. L., 1981.

Ševčenko I. Society and Intellectual Life in the XIVth Century / I. Ševčenko // XIV Congr. Intern. des Etudes Byzantines. Bucarest, 1971. P. 7—30.

Ševčenko I. Théodore Métochites, Chora et les courants intellectuels de'époque / I. Ševčenko // Art et société a Byzance sous les Paléologues. Venise, 1971. P. 13—39.

Speck P. Die kaiserlich Universität von Konstantinople / P. Speck. München, 1972.

Sykutris J. Epistolographie / J. Sykutris // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft / ed. G. Wissowa, W. Kroll. Stuttgart, 1931. Supplbd. 5. S. 186—220.

Talbot A.-M. Bluestocking Nuns: Intellectual Life in the Convents of Late Byzantium / A.-M. Talbot // Harvard Ukrainian Studies. 1983. P. 604—618.

Tatakis B. La philosophie byzantine / B. Tatakis. P., 1949.

Thomson I. Manuel Chrysoloras and the Early Italian Renaissance / I. Thomson // GRBS. 1966. Vol.7. P. 63—82.

Thorn-Wickert L. Manuel Chrysoloras (ca. 1350—1415). Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen vor dem Hintergrund der hellenischen Studien in der itallienischen Renaissance / L. Thorn-Wickert. Frankfurt a/M ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; N. York ; Oxford ; Wien, 2006.

Thraede K. Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik / K. Thraede. München, 1970.

Ђурић И. Световни достојанственици у «Ектесис неа» / И. Ђурић // ЗРВИ. 1978. Т. 18. С. 189—211.

Tinnefeld F. Das Leben des Demetrios Kydones / F. Tinnefeld // Demetrios Kydones. Briefe / übers. und erl. F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981. T. 1, Hbd. 1. S. 4—52.

Tinnefeld F. Die Briefe des Demetrios Kydones: Themen und literarische Form / F. Tinnefeld. Wiesbaden, 2010.

Tinnefeld F. Demetrios Kydones: His Cultural Background and Literary Connection in Thessalonike / F. Tinnefeld // Macedonian Studies. 1989. Vol. 6, № 2. P. 33—43.

Tinnefeld F. Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones / F. Tinnefeld // OCP. 1972. Bd. 38, H. 1. S. 141—171.

Tinnefeld F. «Freundschaft» in Briefen des Michael Psellos. Theorie und Wirklichkeit / F. Tinnefeld // JÖB. 1973. Bd. 22. S. 151—168.

Tinnefeld F. Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos / F. Tinnefeld // Byz. 1985. T. 55. Fasc.1. S. 210—244.

Tinnefeld F. Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike / F. Tinnefeld // DOP. 2003. Vol. 57. P. 153—172.

Tinnefeld F. Brief und Gegenbrief in der Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Kaiser Manuel II. Palaiologos / F. Tinnefeld // Geschehenes und Geschriebenes : Studien zu Ehren von G. S. Henrich und K.-P. Matschke / hrsg. S. Kolditz und R. C. Müller. Leipzig, 2005. S. 181—190.

Tinnefeld F. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates / F. Tinnefeld. München. 1971.

Tinnefeld F. Kriterien und Varianten des Stils im Briefcorpus des Demetrios Kydones / F. Tinnefeld // JÖB. 1982. Bd. 32/3. S. 257—266.

Tinnefeld F. Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jahrhundert / F. Tinnefeld // BF. 1979. Vol. 6. S. 241—280.

Tinnefeld F. Schooling in the Palaiologan Period / F. Tinnefeld // Byzantium: Identity, Image, Influence : Abstracts : XIX Intern. Congr. of Byzantine Studies. Copenhagen, 1996. P. 7521.

Tinnefeld F. Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung in Byzanz / F. Tinnefeld // Gymnasium. 1989. Bd. 96, H. 5. S. 429—443.

Tinnefeld F. Zur Entstehung von Briefsammlungen in der Palaiologenzeit / F. Tinnefeld / ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ : Miscellanea für P. Schreiner zum seinem 60. Geburstag. Leipzig, 2000. P. 365—381.

Trapp E. Die Stellung der Ärzte in der Gesellschaft der Palaiologenzeit / E. Trapp // BS. 1972. Vol. 33/2. S. 230—234.

Treu K. Φιλία und ἀγάπη. Zur Terminologie der Freundschaft bei Basilios und Gregor von Nazianz / K. Treu // Studi Clasice. 1961. Vol. 3. S. 428—431.

Τσαρας Γ. Σφραντζης, Φιαλιτης ἤ Φραντζῆς / Γ. Τσαρας // Byzantina. 1977. T. 9. Σ. 123—139.

Vacalopulos A. E. Origins of the Greek Nation. The Byzantine Period, 1204—1461 / A. E. Vacalopulos. N. Brunswick ; N. Jersey, 1970.

Verpeaux J. Contribution à l'ètude de l'administration Byzantine / J. Verpeaux // BS. 1955. Vol.16. P. 278—286.

Vlachos Th. Bessarion als päpstlicher Legat in Venedig / Th. Vlachos // RSBN. 1968. Vol. 5. S. 123—125.

Vryonis S. Byzantine Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages / S. Vryonis // GRBS. 1971. Vol. 12. P. 263—286.

Vrionis S. The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam / S. Vrionis // BS. 1996. T. 57. № 1. P. 69—111.

Vogel M. Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance / M. Vogel, V. Gardthausen. Hildesheim, 1966.

Weiss R. Iacopo Angeli da Scarperia (c. 1360 — 1410/11) / R. Weiss // Weiss R. Medieval and Humanist Greek : collected Essays. Padova, 1977.

Weiss G. Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert / G. Weiss. Wiesbaden, 1969.

Werner E. Die Geburt einer Großmacht — die Osmanen (1300—1481) / E. Werner. Weimar, 1985.

Werner E. Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart / E. Werner, W. Markov. Berlin, 1978.

Wilson N. G. From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance / N. G. Wilson. Baltimore, 1992.

Zachariadou E. Manuel II Palaeologos on the Strife between Bayezid I and Kadi Burhan al-din Ahmad / E. Zachariadou / Zachariadou E. Romania and the Turks (ca. 1300 — ca. 1500). L., 1985. **4**. P. 471—481.

Ζακυθηνὸς Δ. Α. ᾽Ιδεολογιαὶ συγκρουσεις είς τὴν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολιν / Δ. Α. Ζακυθηνὸς // Νεά Ἑστια. 1950. Τ. 47. Σ. 794—799.

Zgoll Ch. Geschichtsdeutung und Herrscherbild in Zeiten des Niedergangs. Demetrios Kydones über die Not des byzantinischen Reiches und Manuel II. Palaiologos / Ch. Zgoll // Geschehenes und Geschriebenes : Studien zu Ehren von G. S. Henrich und K.-P. Matschke / hrsg. S. Kolditz, R. C. Müller. Leipzig, 2005. S. 191— 222.

Ζηση Θ. Γενναδιος Β᾽ Σχολαριος: βιος — συγγραμματα — διδασκαλια / Θ. Ζηση. Θεσσαλονικη, 1980.





СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДСВ	Античная древность и средние века
ВВ	Византийский временник
ВДИ	Вестник древней истории
ВИ	Вопросы истории
ВО	Византийские очерки
ЖМНП	Журнал Министерства народного просвещения
ЗРВИ	Зборник Радова Византолошког института
ТОДРЛ	Труды Отдела древнерусской литературы
СВ	Средние века
BF	Byzantinische Forschungen
BMGS	Byzantine and Modern Greek Studies
BNJ	Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher
BS	Byzantinoslavica
BZ	Byzantinische Zeitschrift
Byz	Byzantion
DOP	Dumbarton Oaks Papers
ΕΕΒΣ	Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
EkklPhar	Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος
EO	Échos d’Orient
GOThR	Greek Orthodox Theological Review

GRBS	Greek, Roman and Byzantine Studies
JÖB	Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JÖBG	Jahrbuch der Österreichischen byzantinistischen Gesellschaft
OCP	Orientalia Christiana Periodica
ODB	The Oxford Dictionary of Byzantium
PG	Patrologiae cursus completus. Series graeca
PLP	Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit
REB	Revue des Études Byzantines
RESEE	Revue des Études Sud-Est Européennes
RSBN	Rivista di Studi Byzantini e Neoellenici
TM	Travaux et mémoires





Оглавление

Научное издание

Кущ Татьяна Викторовна

НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ

На первой странице обложки: Византийская школа. Миниатюра из Мадридской рукописи Хроники Иоанна Скилицы. Вторая половина XIII в. Мадридская национальная библиотека

На фронтисписе: Мануил Хрисолора. Рисунок. 1406. Париж, Лувр

На форзаце: Грамматика греческого языка Мануила Хрисолоры в редакции Гварино да Верона. Около 1481. Баварская государственная библиотека

Редактор Р. Н. Кислых
Корректор Р. Н. Кислых
Оригинал-макет Л. А. Хухаревой
Дизайн обложки Е. Р. Дауровой



Подписано в печать 15.02.2013. Формат 60 × 84 1/16.
Уч.-изд. л. 25,5. Усл. печ. л. 26,5. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 302.

Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press.info@usu.ru